

18+

ПИТЕР
АКРОЙД

ИСТОРИЯ АНГЛИИ

Расцвет Империи

От битвы при Ватерлоо
до Бриллиантового юбилея королевы Виктории

Расцвет империи. От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории

Питер Акройд

Аннотация
Питер Акройд. Расцвет империи. От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории
1. Озлобленные души
2. Та Тварь
3. Работа вечности
4. Неспокойный мир
5. Дверь к переменам
6. Ложные надежды
7. Инспектор
8. Пар и скорость
9. «Свинью зарезали»
10. Юные надежды
11. Городские огни
12. Благотворящее правление
13. «Саламандра»
14. Великолепнейшее зрелище
15. Жажда крови
16. Сумрачный мир

17. Веяния моды
18. «Бойцовый петух»
19. Неожиданная революция
20. «Она не может продолжать»
21. Дело Тичборна
22. Ангел
23. Императрица
24. Депрессия
25. Ужасные новости
26. «Паук-сенокосец»
27. Утраченные иллюзии
28. Ложе родовых мук
Заключение
Библиография
Фотоматериалы

Аннотация

История Англии — это непрерывное движение и череда постоянных изменений. Но всю историю Англии начиная с первобытности пронизывает преемственность, так что главное в ней — не изменения, а постоянство. До сих пор в Англии чувствуется неразрывная связь с прошлым, с традициями и обычаями. До сих пор эта страна сопротивляется изменениям в любом аспекте жизни. Питер Акройд показывает истоки вековой неизменности Англии, ее консерватизма и приверженности прошлому.

Повествование в этой книге начинается с анализа причин, по которым национальная слава после битвы при Ватерлоо уступила место длительному периоду послевоенной депрессии. Освещаются события времен Георга IV, чьим правительством руководил лорд Ливерпул, решительно настроенный против реформ, и правление Вильгельма IV, прозванного «Король-моряк», чья власть ознаменовалась модернизацией политической системы и отменой рабства. Начало

эпохе важнейших инноваций положило восшествие на престол королевы Виктории в возрасте восемнадцати лет. Всю страну охватил технический прогресс, появление среднего класса изменило облик общества, а научные достижения трансформировали старые взгляды Англиканской церкви и способствовали распространению светских идей. Интенсивная индустриализация принесла владельцам фабрик успех и процветание, но рабочие классы по-прежнему страдали в условиях плохого жилья, продолжительного рабочего дня и крайней нищеты. И вместе с тем это было время расцвета литературы: читатели получили возможность наслаждаться творчеством поэтов — Байрона, Шелли и Вордсворта, а также великих романистов XIX века: сестер Бронте, Джордж Элиот, Элизабет Гаскелл, Теккерея и Диккенса, с чьими произведениями стала ассоциироваться викторианская Англия. В политике экспансионизм уже не ограничивался самой Британией: к концу своего правления Виктория стала императрицей Индии, а Британская империя доминировала на большей части земного шара и подтвердила свое право считаться

«владычицей морей».

Глубокий, многомерный исторический анализ сопровождается множеством литературных цитат и богатым иллюстративным материалом.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Питер Акройд
Расцвет империи
От битвы при Ватерлоо до Бриллиантового юбилея королевы Виктории

Peter Ackroyd
THE HISTORY OF ENGLAND
Volume V. Dominion

Впервые опубликовано в 2018 году издательством Macmillan, импринтом Pan Macmillan
Перевод с английского Виктории Степановой

© Peter Ackroyd, 2018
© Степанова В. В., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021
КоЛибри®

* * *

Информативное исследование основных тенденций, определивших ход развития Англии в период раннего Нового времени.

Publishers Weekly

Достойное продолжение интереснейшей серии книг потрясающего рассказчика и внимательного историка.

Christian Science Monitor

Мастерски проведенная оценка эпохи, которая ознаменовалась изменениями во всех областях жизни.

History Revealed

Захватывающая панорама жизни общества, заключенного в тиски стремительных перемен, касающихся индустриализации, урбанизации, появления железных дорог и электрического телеграфа.

Times

1
Озлобленные души

Уильям Мейкпис Теккерей завершает написанный в середине XIX века роман «Ярмарка тщеславия» (1848) следующими назидательными словами: «Ах! Vanitas Vanitatum! Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего желает его сердце, а получив, не жаждет большего?.. Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено»[1].

Теперь пришло время снова открыть ящик, смахнуть с кукол пыль и поставить их на ноги. Это уже не персонажи романа, а герои викторианского мира, который окружает и одухотворяет их, придавая им характерные нотки лукавства, корысти и жизнерадостности.

Предыдущий том окончился заключением всеобщего мира и удалением со сцены Наполеона Бонапарта. Радости мирного времени оказались как нельзя более мимолетными. Со времени создания в 1793 году Первой коалиции прошло

---

[1] Примечания: 1

Перевод М. Дьяконова. — *Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.*

двадцать с лишним лет. Все это время нужды армии и флота, потребности людей и настойчивость союзников побуждали фермеров, промышленников и торговцев активно заниматься своим делом и зарабатывать деньги. Казалось, спрос на зерно, хлопок и оружие будет всегда высок, но, увы, это не так. В 1815 году в Annual Register отмечали, что приметы «национального величия» повсеместно вытеснены «признаками всеобщего упадка».

И все же Веллингтон по-прежнему был национальным героем, а Британия вышла победительницей гонки, утвердив новую власть в мире. Так или иначе, она приобрела семнадцать новых колоний со всем сопутствующим престижем и влиянием и сохраняла их не менее полувека. Впрочем, не имело смысла рукоплескать уходящим волынщикам, когда им некуда было идти. Те ветераны, которым повезло больше остальных, смогли вернуться к своим прежним занятиям, но многих уволенных с военной службы ожидали жизнь в нищете и бродяжничество. Впрочем, некоторым все же пригодился армейский опыт, когда они занялись организацией маршей луддитов и возглавили бунтовщиков, разъяренных голодом и отсутствием работы.

Послевоенный упадок продолжался около

шести лет, и публике, слабо разбирающейся в хитросплетениях экономики, нужно было найти то или тех, кто мог быть в этом виновен. Разумеется, вину за происходящее возложили на правительство — или, скорее, на бессилие и распущенность тех, кто им руководил. Раздавались призывы «удешевить правительство», хотя никто толком не знал, как этого добиться. Страх и ненависть, которые навлек на себя правящий класс, никуда не исчезли и во многом повлияли на дальнейшие беспорядки и призывы к политической и избирательной реформе.

Немало людей в то время еще продолжало жить на старый лад. Некоторые джентльмены все так же выпивали перед сном пару бутылок портвейна, хотя пьянство уже решительно выходило из моды. Другие по-прежнему преклонялись перед королевским двором и высшим обществом, пока на первые места в мире выходили торговцы и приобретенные торговлей состояния. Богатые жители лондонских пригородов продолжали держать свиту лакеев и несколько экипажей с кучерами в напудренных париках. Счетные конторы и торговые предприятия Сити вели дела на условиях полной анонимности — рекламой им служила лишь медная пластинка под дверным

звонком. На центральных улицах едва могли разъехаться, не столкнувшись, две нагруженные пивными бочками телеги. Все мужчины и женщины знали, какое место они занимают в обществе сообразно своему рангу, достатку и возрасту.

Во втором и третьем десятилетии XIX века наблюдатели стали замечать в обществе новые настроения, новый дух серьезности и целеустремленности. В эту эпоху жили персонажи романов Чарльза Диккенса Мартин Чезлвит, Николас Никльби, Филип Пиррип по прозвищу Пип — и, конечно, сам Диккенс с его ясным взглядом и быстрой походкой, которому ничего не стоило пройти пешком 30 миль (48 км). Нравственные качества этих вымышленных персонажей как нельзя лучше соответствовали наступившим новым временам. На следующий день после смерти Диккенса в Daily News написали: «В созданных им картинах современной жизни потомки смогут увидеть жизнь и характеры XIX века яснее, чем в записках современников». Очертания XIX века встают перед нами в романах и повестях многих других авторов: мы видим ту задумчивую меланхолию и фривольный юмор, боязливость и поэзию утраты, жалость и способность к чудо-

вищным злодеяниям, иронию и неуверенность в себе, умение прочно стоять на ногах в материальном мире и в то же время стремиться (по крайней мере, если говорить о серьезном среднем классе) к духовному и трансцендентному. И все же мы не можем подойти к нашим предкам совсем близко. Их мир — не наш. Если бы человек XXI века оказался в таверне или ночлежке того времени, ему, несомненно, стало бы дурно — от запахов еды и самой еды, от чужого дыхания и общей атмосферы вокруг.

Главным в те годы было слово «хватка», подразумевавшее такие качества, как отвага и способность преодолевать любые препятствия. Кроме того, это называли «характер» и «стойкость» — то был своего рода глубокий вдох перед прыжком в быструю воду Викторианской эпохи. Людям тогда приходилось, как выразился один священник, «нестись по течению через пороги». От тех, кто жил до них и после них, они отличались безоговорочной верой в силу человеческой воли, — какой бы религии они ни придерживались, этот принцип лежал в основе их мировоззрения. Они были готовы, собрав все силы, решительно идти до конца. Отсюда возник культ независимости, позднее увековеченный в

принципе «помоги себе сам», который проповедовал Сэмюэл Смайлс. Он составлял часть знакомой каждому «жизненной битвы», складывающейся из ясно обозначенного долга и усердного труда. Работа была величайшей из наук. Она требовала решительности, твердости, энергии, настойчивости, педантичности и непреклонности. Это были главные добродетели грядущей Викторианской эпохи.

Общество помолодело, в том числе благодаря поразительному росту рождаемости: если в 1811 году численность населения составляла 12 млн человек, к 1821 году она достигла 14 млн, а к 1851 году — 21 млн человек. Около половины из них были моложе 20 лет и жили в городских или приближенных к городским условиях. Причины этого огромного прироста до конца не поддаются объяснению, — можно предположить здесь естественную реакцию страны, стоящей на пороге грандиозных перемен; свою роль, очевидно, сыграло и снижение детской смертности. Там, где современное домохозяйство состоит из 3–4 человек, в начале XIX века их было 6–7. Большие семьи никого не удивляли. Религиозная перепись 1851 года показала, что по воскресеньям места религиозного поклонения посещают 7 млн чело-

век, примерно половину из которых составляют англиканцы. Однако, по данным того же опроса, 5,5 млн человек не считали нужным посещать какие-либо храмы или церкви. Англия находилась в состоянии шаткого равновесия, за которым, с точки зрения религии, могло последовать только падение вниз.

Возможно, именно молодостью нации объясняется царившее везде и всюду оживление. Кредо серьезности просуществовало почти сто лет и на исходе этого срока было высмеяно Оскаром Уайльдом, а в те ранние годы самым модным танцем был вальс, появившийся в 1813 году и поначалу считавшийся «возмутительным и непристойным» из-за необыкновенной близости партнеров друг к другу. Он кружился и порхал по бальным залам Англии как символ безудержной, бьющей через край энергии эпохи.

В 1815 году победители обглодали кости старого мира на конгрессе в Вене. В Европе осталось четыре великие державы — Россия, Австрия, Пруссия и Великобритания, — три из которых были абсолютными монархиями, а последняя могла с натяжкой называться демократическим государством. Земной шар держали на плечах несколько человек. Одним из них был лорд

Каслри, министр иностранных дел в Уайтхолле, всеми силами старавшийся сохранить сложившиеся многовековые традиции и баланс сил. Само по себе могущество Англии никто не подвергал сомнению. Выступая перед палатой общин, Каслри сказал: «Люди в целом склонны приписывать нам заносчивую гордость, неоправданное высокомерие и надменную начальственность в политических вопросах» — и он не собирался всего этого отрицать. О Каслри также говорили, что он как волчок, который «тем лучше вращается, чем усерднее его подхлестывают».

Премьер-министр лорд Ливерпул сменил несколько министерских постов, но в кресле главного министра оказался уже после убийства Спенсера Персиваля в 1812 году. Он был тори вполне типичного для того периода образца: питал неприязнь к любым реформам и переменам, за исключением самых неспешных, и больше всего заботился о сохранении в существующем обществе гармонии или хотя бы ее видимости. О нем говорили, что в первый день Творения он умолял бы Господа немедленно прекратить этот беспорядок. Возможно, он, как многие его коллеги, мечтал о католической эмансипации и свободной торговле, но время этих решений еще

не пришло. Его работа заключалась в поддержании собственного превосходства. Ливерпул мало чем запомнился современникам, однако его это не слишком волновало. Дизраэли называл его «архипосредственностью», и, может быть, именно в этом состояло его главное достижение. О нем можно сказать все, что обычно говорят о главных министрах: он был честен, он был тактичен. Кроме того, он был дипломатичен, осторожен и благонадежен (все три качества — верный способ кануть в забвение) и вполне безмятежно заседал в палате лордов, где было не слишком трудно прослыть человеком выдающегося ума. В 1827 году, пробыв на посту главного министра 15 лет, он вышел в отставку по причине слабого здоровья. Как только он ушел, о нем тут же забыли.

Прежде чем окончательно похоронить его под ворохом банальностей, обратим внимание на одну любопытную деталь. В напряженные моменты Ливерпул имел привычку плакать под влиянием так называемой слабости. Его считали чересчур сентиментальным, другое поколение сказало бы — слезливым. Просматривая Morning Post, он не мог сдержать дрожь, а жена одного из его коллег, Чарльза Арбатнота, писала о его подчеркнуто холодной манере держаться и в высшей степени

раздражительном, неустойчивом характере. Не слишком похоже на тактичность и внешнюю уравновешенность, которые на самом деле могли быть лишь маской, прикрывающей тревожность и глубокую неуверенность. Первые десятилетия XIX века и эпоху Регентства иногда представляют как время всеобщего легкомыслия, конец которому положила только крепко сомкнувшаяся на скипетре маленькая рука Виктории. Как сообщает современник Сидней Смит, в эти годы почти каждому было хорошо знакомо «стародавнее, глубинное чувство страха, от которого трясутся руки и сводит желудок». Убийство предшественника Ливерпула, Спенсера Персиваля, было воспринято публикой с явным удовольствием. В тот период ни в чем нельзя было быть уверенным: отовсюду доносились сообщения о беспорядках, слухи о заговорах и революциях, угрозе голода и новой европейской войны.

Лорд Ливерпул был тори в то время, когда метка принадлежности к партии мало что означала. Две основные партии, виги и тори, не имели никаких установленных порядков и представляли собой скорее разношерстные фракции под руководством сменяющихся временных лидеров. В 1828 году герцог Кларенс сказал: «Эти имена могли

что-то значить сто лет назад, но сейчас превратились в бессмыслицу». Виги лишились власти в 1784 году, когда превратились из удобных для короля держателей полномочий в противостоящую ему олигархическую фракцию. Тори под руководством Уильяма Питта захватили власть и не горели желанием ее возвращать. Уильям Хэзлитт сравнивал партии тори и вигов с двумя дилижансами, которые поочередно вырываются вперед на одной дороге, обдавая друг друга грязью.

Тори жаловались на негативное отношение вигов к королевской прерогативе и стремление к реформам, в том числе к католической эмансипации. Виги, в свою очередь, считали, что тори глухи к народным требованиям и слишком снисходительны к исполнительной власти. В остальном они почти ничем не отличались. Маколей пытался с достоинством обозначить позиции обеих партий, назвав одну из них защитницей свобод, а другую — хранительницей порядка (что говорит о его выдающейся способности упорядочивать мир с помощью слова). Лорд Мельбурн, будущий главный министр из партии вигов, просто говорил: «Все виги — кузены». Именно эта семейственность подрывала их положение. В поэме «Дон Жуан» (1823) Байрон

писал об этом:

Все мчится вскачь: удачи и невзгоды,
Одним лишь вигам (господи прости!)
Никак к желанной власти не прийти[2].

Политика вершилась словно за занавесом. Кабинеты часто созывались без какой-либо цели или повестки дня, и министры могли только догадываться, зачем они вообще собрались. Протоколы заседаний не велись, и только премьер-министру разрешалось делать записи, которые не всегда были надежными. До 1830-х годов партийные лидеры крайне неохотно высказывались на тему государственной политики, так как это могло быть компрометирующим. Списки избирателей сбивали с толку и одновременно были довольно случайными, и на голосование могла влиять одна важная персона или один преобладающий вопрос.

У Ливерпула было множество прозвищ — в числе прочего его называли «Старая плесень» и «Большой переполох» (Grand Figitatis). В его защиту заметим, что у него было более чем достаточно поводов для волнения. Послевоенный

---

[2] Примечания: 2
Перевод Т. Гнедич.

упадок во всех областях жизни заставил всколыхнуться ожесточившуюся за годы войны страну. Интересы сельского хозяйства противоречили интересам правительства: приток дешевого иностранного зерна привел к резкому снижению цен, однако попытка искусственно поднять цены на зерно могла спровоцировать народные волнения. Что делать? Фермеры опасались, а многие люди, наоборот, надеялись на неизбежное развитие свободной торговли. Однако снижение цен и прибылей привело к тому, что многие остались без работы, и число безработных еще увеличилось за счет притока ветеранов войны. Это происходило каждый раз, но, очевидно, никто никогда не был к этому готов. Работы почти не было, платили мало, — единственным, чего хватало с избытком, была безработица. Озлобленные люди могли в любой момент обратиться к насилию.

Беспорядки начались в 1815 году в Северном Девоне и в следующие месяцы охватили всю страну. К недовольным присоединились те, кто выступал за промышленную реформу, в частности за ограничение детского труда. Многие считали, что практические перемены к лучшему действительно возможны. Из этого рождалась агитация за политические реформы. Кроме того,

надо было что-то делать с миллионами новых подданных существенно разросшейся империи. Как быть, например, с ирландцами, которые с 1800 года входили в состав Соединенного Королевства? Один из министров, Уильям Хаскиссон, отмечал, что все партии «не удовлетворены и встревожены» сложившимся положением дел.

В 1815 году по земле еще не ходили поезда, а по воде не плавали пароходы. До появления на улицах Лондона конных железных дорог и омнибусов оставалось тринадцать лет. Все люди, за исключением самых важных и высокопоставленных особ, ходили пешком. Ежедневные поездки в дилижансе обходились слишком дорого, поэтому огромные толпы людей передвигались на своих двоих. Вскоре после рассвета в потоки измученных пешеходов со стертыми ногами вливались клерки и посыльные, спешащие с окраин на службу в Сити. Подмастерья подметали полы в лавках и поливали водой мостовую перед входом, в пекарнях уже толпились дети и слуги. Если повезет, вы даже могли увидеть в окрестностях Скотленд-Ярда танцующих угольщиков. В этот ранний утренний час, как и в любое другое время суток, единственным развлечением для бедняков оставались плотские утехи. Аллеи и кусты

исполняли роль общественных туалетов, а также служили для других, более интимных целей: соития с проститутками за пару пенсов были обычным делом.

Живший тогда в Лондоне Генри Чорли отмечал, что по утрам люди особенно стараются «продемонстрировать с лучшей (или худшей) стороны свою любовь к музыке и веселый нрав (или пустоумие), горланя под окнами модные новые песни». Популярные мелодии насвистывали на улицах и в тавернах, их скрипуче выводили шарманки. Печатные листки с нотами и стихами продавали на улицах, обычно в перевернутых зонтиках, и самые предприимчивые продавцы постоянно обновляли ассортимент. Уже принимались за работу торговки рыбой и зеленью, продавцы устриц, печеного картофеля и каштанов. Позднее, незадолго до полудня, поодиночке и группами появлялись негритянские певцы. Наблюдательный прохожий легко мог узнать дома ткачей в Спиталфилдсе, каретных мастеров в Лонг-Эйкре и часовщиков в Клеркенуэлле, палатки с подержанной одеждой на Розмари-лейн. Собачьи бои, петушиные бои, публичные казни, увеселительные сады и позорные столбы — все это усиливало общую атмосферу оживленного действа.

Ночи стали светлее. Раньше Лондон освещался по ночам только свечами и масляными лампами, но затем в игру вступили силы газа и пара. Газ одел улицы сиянием, затмившим все остальные источники света. Агитаторы и передовые политические мыслители с самого начала были правы. В конце концов, это была эпоха прогресса. Страна постепенно расставалась с приметами XVIII века. Правда, желудки бедняков по-прежнему пустовали. Не для них открывались таверны и мясные лавки, и даже картошка за пенни была им недоступна.

В марте 1815 года был принят Хлебный закон, запрещавший ввоз иностранного зерна до тех пор, пока собственный продукт не достигнет стоимости в 80 шиллингов за бушель. В результате цены взлетели слишком высоко. Не получив никакой поддержки, бедняки и недовольные начали бунтовать. Члены парламента жаловались, что их бросает туда-сюда, словно волан между ракетками игроков. Лишь немногие из них разбирались в экономической теории, хотя еще в 1807 году отец Джона Рескина писал: «Великая наука, первая и наиглавнейшая из наук для всех людей… это наука политической экономики». С тем же успехом фермеры могли бы сами заниматься

высокими расчетами, привычно полагаясь на наблюдение и опыт, здравый смысл и «Альманах старого Мура» (Old Moore's Almanack).

Рецессия набирала обороты. Роберт Саути писал в British Review: «Горестно созерцать приметы крайней нищеты в центре цивилизованного и процветающего государства». Вызванные Хлебным законом волнения в Лондоне ни к чему не привели, но в Ноттингем вернулся луддизм. Беспорядки развернулись от Ньюкасла-на-Тайне до Норфолка, а также в Саффолке и Кембриджшире. В 1816 году отряды безработных прошли через Стаффордшир и Вустершир. Сообщалось, что большое количество людей «маршируют по улицам, собираются группами и изъясняются в самых угрожающих выражениях». В газете Liverpool Mercury в конце года писали: «Скорбь царит в наших домах, голод на наших улицах — более четверти населения страны живет на подаяние». Накал страстей в публичной прессе повышали такие издания, как Black Dwarf и Weekly Political Register («Еженедельный политический реестр») Коббета. Их выпускали и распространяли радикальные общества, самым эффективным среди которых была сеть Хэмпденских клубов, зародившаяся в Лондоне и вскоре перекочевавшая

на северо-восток. Подписка стоимостью пенни в неделю считалась не слишком дорогой платой за возможность распространить среди прядильщиков, ткачей, ремесленников и заводских рабочих сведения о взяточничестве и коррупции государственных чиновников. Многие опасались, что в руки радикалов могут попасть рычаги массового движения. Собственно говоря, именно тогда появилось слово «радикалы» — так называли любую группу «озлобленных душ», которые, говоря словами викария из Харроу, «отрицали Писание» и «презирали все государственные устои страны». Министр внутренних дел открыто называл их врагами общества, и некоторое время любое диссидентское или оппозиционное течение автоматически считалось «радикальным».

Кроме того, возникла еще одна крупная дилемма. В своих «Наблюдениях о влиянии промышленной системы» (Observations on the Effect of the Manufacturing System; 1815) Роберт Оуэн отмечал: «Промышленная система производства уже так широко распространила свое влияние в Английской империи, что произвела существенное изменение в общем характере народных масс». Люди превращались в специализированные механизмы, предназначенные только для

извлечения прибыли для своих работодателей. Машины поощряли и обеспечивали разделение труда, при котором каждый рабочий играл относительно простую и четко определенную роль. Машины гарантировали единообразие работы и однородность продукта, не допускали сбоев по причине невнимательности и лени. Вместе с машинами пришла рациональная и упорядоченная система труда. Это произошло тихо и почти незаметно. Теперь экономисты и образованные земледельцы хотели разобраться в сути происходящего и открыть новую главу жизни. Среди первых слушателей технических и финансовых лекций были Роберт Пиль и Джордж Каннинг, два тори с блестящим будущим.

Монархом номинально оставался Георг III, но к этому времени он окончательно впал в безумие. Страной правил регент, принц Уэльский, о котором герцог Веллингтон отзывался так: «Худший человек, которого мне приходилось встречать, самый себялюбивый, самый неискренний, самый злонравный, полностью лишенный каких бы то ни было располагающих качеств». Именно в это время, когда в стране бушевали голод и беспорядки, принц-регент начал строить Королевский павильон в Брайтоне. Всю свою жизнь он гонялся

за химерами и сооружал воздушные замки.

2
Та Тварь

Лицемерие густым облаком окутывало XIX век. Без него невозможно представить себе эпоху респектабельности. В 1821 году Байрон писал: «По правде говоря, величайший *primum mobile* Англии — это лицемерие. В политике, поэзии, религии, нравах — оно везде, многократно отраженное в самых разных явлениях жизни». Чтобы проиллюстрировать свою мысль, он грозил превратить Дон Жуана в методиста, но множество диссентеров и англикан тоже обращались к Богу только ради приличия. Лицемерие было зеркалом своекорыстия, замаскированного под благожелательность, жадности, выдающей себя за благочестие, «национальных интересов», в действительности отражающих интересы нескольких привилегированных семей. В лицемерие облачался политик, который улыбался, продолжая оставаться негодяем; на языке лицемерия говорили реформаторы нравственности, закрывавшие пабы по воскресеньям; и политический лексикон нации, который часто хвалили

за классическую структуру и звучную риторику, базировался на лицемерии. Историки нередко изумляются многословности и пылкости членов парламента XIX века — но их слова были лицемерием. Большинство людей, обладающих хотя бы некоторой способностью к самоосознанию, понимали, что их убеждения и добродетели — пустой звук. Впрочем, следуя негласной общей договоренности, они продолжали поддерживать этот обман. Ни одна эпоха еще не была так озабочена тем, чтобы произвести правильное впечатление.

Лицемерие лежало в основе возникшего осенью 1815 года Четверного союза. Его предшественником был Священный союз, объединявший Россию, Австрию и Пруссию. Когда в межгосударственных делах начинают рассуждать о святости, это повод насторожиться. Было объявлено, что с этих пор страны станут руководствоваться в своей внешней политике чувствами взаимной любви и доброжелательности, но в действительности монархи боялись друг друга так же, как собственного народа. Каслри называл Священный союз «образчиком возвышенного мистицизма и бессмыслицы», рожденным в мыслях «не вполне твердого разумом» монарха. Однако он не сделал ничего, чтобы помешать принцу-ре-

генту одобрить это начинание. Впрочем, толика любви и доброжелательности могла принести Англии некоторую пользу, поскольку Четверной союз был заключен с явным намерением укрепить монархическое единство и изгнать из своей компании династию Бонапартов. Итак, «Европейский концерт», главным дирижером которого был Каслри, начался со звонких фанфар.

Великий храм лицемерия в Вестминстере распахнул свои двери в начале 1816 года, и его прихожане хлынули в палату общин и палату лордов. Первую контролировал Каслри, вторую — лорд Ливерпул. Почему армию не расформировали полностью? Почему принц-регент явился на открытие парламента в маршальском мундире? Чем важен Королевский приют для детей военнослужащих? О настоящих невзгодах страны почти не говорили. «Я обеспокоен тем, что в вашем округе сложилось столь бедственное положение, — сказал одному из депутатов министр внутренних дел виконт Сидмут, — но я не вижу причин полагать, что его можно облегчить какими-либо действиями публичных собраний или даже самого парламента». Когда несколько стригалей попросили отправить их в Северную Америку, Ливерпул ответил, что станки в сукон-

ном производстве не могут быть остановлены.

Подоходный налог, или налог на имущество, изначально вводился как чрезвычайная мера для военного времени, и после окончания боевых действий его должны были отменить. На заседании парламента в 1816 году правительство отозвало свое обещание и, к всеобщему гневу и смятению, высказало желание продолжать собирать налог в размере одного шиллинга с каждого фунта стерлингов. Заседание, как всегда, превратилось в громкую перепалку, и правительство проиграло голосование. Подоходный налог отменили: как вампиры стародавних времен, он не был мертв, а лишь погрузился в сон. Каслри писал своему брату Чарльзу: «Вы увидите, как мало то, что вы называете сильным правительством, способно повлиять на текущую ситуацию в этой стране». Многие уже критиковали Каслри, лидера палаты общин, как одного из виновников ужесточения внутренней политики. Шелли посвятил ему отдельное четверостишие в поэме «Маскарад анархии» (1819):

И вот гляжу, в лучах зари,
Лицом совсем как Кэстельри,
Убийство, с ликом роковым,

И семь ищеек вслед за ним[3].

Разумеется, он был вовсе не так ужасен, каким его изображали, но любую добродетель нетрудно представить как замаскированный порок — спокойствие выдать за бесчувственность, а дружелюбие расценить как беспринципность. На самом деле он был в высшей степени тревожным и беспокойным человеком, и именно это состояние ума в конечном итоге подтолкнуло его к самоубийству. В то время его правительство осталось с доходом в 9 млн фунтов стерлингов, при этом расходы составляли 30 млн фунтов стерлингов. Ему пришлось в числе прочего ввести косвенные налоги на ряд товаров. На одной карикатуре того времени канцлер казначейства Николас Ванситтарт выныривает из лохани и спрашивает прачку: «Ну-с, вам хватает мыла?» Но при следующем вотуме доверия тори едва избежали поражения: их традиционные сторонники предпочли воздержаться, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации.

Впрочем, мыло было наименьшей из проблем. Все обманутые надежды того времени вылились в череду спонтанных столкновений и беспоряд-

---

[3] Примечания: 3
Перевод К. Бальмонта.

ков. С апреля до конца мая главной причиной народного недовольства служили цены на хлеб. Люди нападали на фермеров, владельцев лавок, мясников и пекарей, громили их хозяйства. Это был знак — в новом столетии извечная склонность населения к насилию никуда не делась. Недавняя война была практически забыта. Повсюду раздавался крик: «Хлеба или крови!» — что означало кровь сельских джентльменов, кровь аристократов и монополистов. Другими словами, английскую кровь. Цены на хлеб неумолимо росли.

Обеспокоенные сельские джентльмены и крупные фермеры переходили на сторону тори. Всего несколько месяцев назад партию тори объявили кликой своекорыстных управляющих, вознамерившихся пошатнуть национальные свободы. Теперь они были официальным лицом закона и порядка, над которыми нависла серьезная угроза. Виги хотели ославить их как предателей нации — теперь же тори стали ее хранителями. (Тори вообще довольно часто удавалось обратить всеобщее недовольство в свою пользу.)

Уильям Коббет, которого правильнее было бы назвать не вигом или тори, а радикалом, обладал писательским талантом, позволяющим ярко

выразить всеобщее недовольство. В каком-то смысле он хотел вернуться к старой Англии без бумажных денег и государственного долга, биржевых маклеров и фабричных городов. Он хранил верность идеалу спокойной и добропорядочной страны и традициям равноправного общества, не испорченного деньгами. В отличие от многих, он считал залогом прекращения беспорядков всеобщую избирательную реформу. Его широко поддерживали ткачи и другие ремесленники, пострадавшие от индустриализации. Имея только таких союзников, он не мог изменить общество.

Он высказывался резко и безапелляционно и не скупился на сарказм, однако проник в самую суть дела: «Кто будет делать вид, что страна способна просуществовать еще хотя бы год, не рискуя пережить великие и ужасные потрясения, если только в способах государственного управления не произойдет серьезная перемена?» Он опасался «той Твари, что кусает нещадно». Этой Тварью для него была вся та же построенная на подкупах и взятках, давно прогнившая система, которая высасывала из страны жизненные силы. Его аргументы, пусть не всегда переданные его же словами, разошлись дальше, чем он мог себе представить. Двумя годами ранее, в 1814 году,

газету The Times начали печатать с помощью парового станка. На сцену вышел новый игрок. Несмотря на все попытки правительства ограничить или взять под контроль тираж радикальных газет, обуздать жажду новостей в период тревог и неопределенности было невозможно. В период с 1800 по 1830 год продажи газет и периодических изданий увеличились вдвое. В 1816 году Коббет начал издавать свой Weekly Political Register в виде брошюры ценой в два пенса. Брошюры активно распространялись среди трудящихся классов, хотя те, кто стоял чуть выше на социальной лестнице, презрительно называли их двухпенсовым мусором. 12 октября того же года Коббет призвал к созыву «реформированного парламента, избранного самим народом».

Коббет хорошо представлял, с какими врагами столкнулся, — обращаясь к своей матери, он описывал их как «злобных расчетливых негодяев, которые доводят обнищавших людей до безумия и преступлений». Он видел повсюду одни и те же благородные семьи, те же лица, тех же кузенов. Он слышал, как эти голоса ревут в парламенте: «Верно! Правильно!» Он был возмущен до глубины души. Найдутся ли еще на свете люди «столь униженные, низведенные почти до рабского

положения, как те несчастные на “просвещенном” Севере, которых принуждают работать по четырнадцать часов в день при температуре в восемьдесят четыре градуса по Фаренгейту (ок. 29 °C) и наказывают даже за попытку выглянуть в окно фабрики?». Он видел бродяг на дорогах, видел людей, которые шли, сами не зная куда, в поисках работы, видел, как сельские дома разрушаются под действием ветра и дождя. И он спрашивал: что положит этому конец?

До появления работных домов пристанищем «негодных, беспутных и развратных», а также немощных и слабоумных служили приходские дома для бедных. О тяжелой жизни бедняков в ранней викторианской Англии говорили так часто, что это может показаться почти преувеличением. Коббет, обладавший тонким чутьем к смешанным метафорам, писал, что они «тощи, как селедки, едва волочат за собой ноги, бледны, как побелка, и раболепны, как попрошайки». Если треть населения страны на протяжении всего XIX века проживала в бедности, назвать этот век процветающим можно лишь ради красного словца или из общей склонности к криводушию. И все же его называли именно так. Из поколения в поколение жизнь бедняков почти не менялась.

Когда в 1894 году, после столетия перемен, одну женщину спросили, как ей удавалось содержать семью из пятерых детей на 17 шиллингов в неделю, она сказала: «Боюсь, мне нечего вам ответить — я так много работала, что просто не успевала задумываться о том, как мы живем». Проблема трудоустройства бедняков, в свою очередь, была тесно связана с проблемой численности населения. И здесь нашим глазам является дух преподобного Томаса Роберта Мальтуса, утверждавшего, что переизбыток бедняков прискорбным образом увеличивает естественный разрыв между скоростью прироста населения и скоростью возобновления ресурсов. Безработные и нетрудоспособные считались врагами.

Коббету противостоял не менее красноречивый и влиятельный (хотя и не столь умный и дальновидный) Генри Хант, еще один заступник народного дела. В середине ноября 1816 года он произнес речь перед большим собранием в Спа-Филдс в Ислингтоне. Один из его сторонников при этом держал над головой надетый на пику фригийский колпак. Трудно было не угадать в этом намек на разгуливающий по стране дух Французской революции. Похожая демонстрация через две недели прошла еще более бурно:

демонстранты пронесли в сторону Сити окровавленную буханку хлеба. Войска быстро отогнали протестующих от Королевской биржи: власти не собирались рассматривать это как невинную шутку. Несколько лет назад, в предыдущем столетии, призывы к реформе были едва слышны. Теперь о реформах говорили даже носильщики портшезов и мальчишки-факельщики, освещающие им дорогу. Узкий кружок заговорщиков готовился к кровавой революции, но большинству было вполне достаточно время от времени собраться в таверне, выкурить трубку и выпить за разгром своих врагов. Эти люди были слишком апатичны и безынициативны, но охотно вливались в толпу на собрании и присоединяли свой голос к общей какофонии.

Оппозиционная партия вигов пребывала в необычайном замешательстве и не имела никаких ясных предложений. В любом случае виги не стремились к тем реформам, за которые агитировали радикалы, и в глазах своих противников они оставались аристократами и сельскими джентльменами, то есть младшими представителями «той Твари». Так или иначе, возмущение было выгодно для всех партий. Министры-тори, в свою очередь, делали все возможное, чтобы с

помощью своих шпионов и агентов спровоцировать измену и восстание. В конце 1816 года Коббет писал в Weekly Political Register: «…они вздыхают о заговоре. О, как они вздыхают! Они усердно трудятся, работают на износ, терзаются и томятся, покрываясь испариной: они жаждут заговора и тоскуют о нем!»

Вскоре произошло почти такое же удачное событие. В конце января 1817 года, когда принц-регент ехал в своей карете после открытия парламента, что-то — камень, пуля, или сорвавшийся кусок кирпичной кладки — разбило окно его экипажа. Никому не было дела до регента, живого или мертвого, но всем было выгодно притворяться, что это так. Сам регент наслаждался вниманием и хвастал своей сангвинической реакцией на эту выходку — увольте, он не из тех людей, кого могут запугать уличные хулиганы. Каслри явился в палату общин в гораздо более серьезном настроении. Он производил впечатление ледяной уверенности в себе.

Ряд поспешно созванных комитетов вскоре представил парламенту доказательства того, что разнообразные тайные общества и подпольные повстанческие ополчения намеревались штурмовать Банк Англии и Тауэр. Это привело к отмене

закона *habeas corpus*, согласно которому человека нельзя было содержать в тюрьме без предъявления обвинения. Это был беспрецедентный удар по британским свободам. Также был принят ряд репрессивных законов, известных как Акты о принуждении, или Акты о затыкании рта, — они запрещали любые собрания как потенциально подстрекающие к мятежу. Под запрет попали также лекции по медицине и хирургии, а Кембриджский союз закрылся. Внутренний ажиотаж помог скрыть плачевное состояние экономики, которая была близка к краху. Активист партии вигов Джордж Тирни сообщал коллегам, что министры «обезумели» и что «все сторонники правительства из нижней палаты в отчаянии». Государственное банкротство могло оказаться ничем не лучше революции.

Ажиотаж, вызванный преследованием радикалов в феврале 1817 года, спровоцировал новую череду внутренних возмущений. Общество Норвичского союза заявило: «Все, чего мы хотим, — исполнения конституции нашей страны в ее изначальной чистоте, справедливого и полного представления народа в ежегодном парламенте и избавления палаты общин от засилья должностных лиц и получателей пенсий,

которые жиреют, высасывая жизненные силы из полуголодных угнетенных людей». В военных конфликтах такая расстановка сил называется «с пехотой на кавалерию». До спасительного пожара 1834 года парламент был мрачным, плохо освещенным и плохо проветриваемым местом. Далеко не все депутаты считали обязательным мытье и стирку одежды. Участники заседаний клали ноги на спинки передних скамеек или растягивались на полу, приходили и уходили когда вздумается, выкрикивали с места, смеялись, обменивались шутками, зевали, несли чушь, перебивали говорящего ради забавы — словом, вели себя тем более вопиюще, чем больше вокруг было разговоров о социальной и политической революции.

Многочисленные петиции Хэмпденских клубов к принцу-регенту с просьбой об улучшении тяжелых экономических условий оставались без ответа, поэтому ткачи и прядильщики Манчестера отправились в грандиозное паломничество в Лондон, чтобы лично подать ему свою петицию. В числе прочего они также требовали всеобщего избирательного права и ежегодного созыва парламента.

Все они несли с собой одеяла и накидки для

тепла, поэтому их называли бланкетирами (от *blanket* — «одеяло»). У них не было ни единого шанса. Их развернули обратно прежде, чем они достигли Дербишира, и после некоторого сопротивления заставили разойтись. Так или иначе, они не достигли цели. Коббет уехал в Соединенные Штаты, чтобы избежать судебного преследования. Неудачное столкновение с йоменами спровоцировало еще один мятежный «заговор» в Ардвике, районе Манчестера. Повсюду слышались разговоры о всеобщем восстании, всеобщем бунте. Виги и тори доводили себя до истерики. Заговоры и бунты мерещились под каждым кустом и за каждой живой изгородью, но судебные слушания по ним прекращались, когда становилось ясно, что единственные данные по делу исходят от доносчиков. Восстание могло, вполне могло бы произойти. В других странах так и происходило. Английская же беднота и большая часть среднего класса оказались на удивление спокойными. Они так и не восстали. Как минимум один раз лорд Каслри был узнан лондонской толпой. «Кто это явился сюда в напудренном парике?» — закричали люди. Ему пришлось спасаться бегством, но, поскольку дело происходило в Лондоне, а не в Париже, его все же

не повесили на фонарном столбе на Пикадилли.

Возмущение, вызванное судебными преследованиями радикалов, быстро утихло, когда стало ясно, что присяжные не собираются осуждать подозреваемых, которых скорее следовало бы назвать просто недовольными. Руководителей собраний в Спа-Филдс освободили, не предъявив обвинений. У радикалов сложилось впечатление, что им не удалось найти нужные слова, чтобы поднять страну, и что-то важное осталось невысказанным. Власти больше не предпринимали никаких ответных действий, и интерес к радикальной пропаганде уменьшился.

События следующих нескольких месяцев имели тот же привкус незавершенности. Хороший урожай 1817 года и улучшение торговых перспектив помогли развеять мрачные настроения. Лорд Эксмаут отметил, что «паника среди фермеров стихает и в первую очередь отовсюду исчезает до этих пор самый ходкий товар — недовольство». Вместе с ростом сельского хозяйства росла торговля. Пришло время восстановить *habeas corpus* и устранить нанесенный свободам ущерб. Страна пережила потрясение, но снова обрела устойчивость. В 1818 году правительство выделило грант в размере одного миллиона фунтов стерлингов

на строительство сотни новых церквей, что, вероятно, можно считать выражением благодарности: правительство день ото дня становилось все более религиозным.

Возможно, новообретенная уверенность и ощущение твердой почвы под ногами также сыграли свою роль в удлинении усов. Во времена Наполеоновских войн английские военные были чисто выбриты, но теперь волосы постепенно начали отрастать. Примерно в 1820 году появились усы, затем их сменили большие бакенбарды, к 1860-м годам повсеместно распространившиеся среди легкой кавалерии и тяжелых драгун. Многие мужчины отпускали длинные волосы. Мода на растительность на лице оказалась довольно устойчивой. Военные, вернувшиеся из Крымской кампании, носили бороды, — не прошло и десяти лет, как им стали подражать гражданские.

Переубедили ли Господа сто церквей, построенных в Его честь, — вопрос открытый. Летом 1818 года, когда торговля наладилась, тори решили пойти в деревню, то есть обратиться к свободным землевладельцам, чьи земли приносили не менее 40 шиллингов в год. Поскольку условия участия в выборах открывали возможность для махинаций, а общего реестра избирателей не

существовало, процесс неизменно осложнялся претензиями и контрпретензиями. Именно поэтому всеобщие выборы продолжались в среднем от двух до трех недель. Они сопровождались ярмарками, пьяными кутежами, сведением старых счетов, кулачными боями, бесконечными парадами, маршами и заседаниями в пивных. Сторонники системы считали *concordia discors*, рождение гармонии из конфликта, плодом древней британской конституции, которой на самом деле никогда не существовало. Один политиктори, сэр Роберт Инглиш, заявил, что она росла и расцветала, словно дерево, и добавил: «Насколько мне известно, нет никаких доказательств в пользу того, что наша палата когда-либо формировалась на основе какого-либо принципа представительства населения или вообще какого-либо твердого принципа представительства… Подобно творению природы, она приспосабливалась к нашему росту».

В сложившихся обстоятельствах виги получили в парламенте 33 места, но это не давало им никаких осязаемых преимуществ в той разнородной и разобщенной палате общин, которая приступила к работе в начале 1819 года. Правительство, по словам одного из депутатов, было

«так основательно обездвижено, что не осмеливалось действовать». Принца-регента охватила паранойя, он почти не выходил на улицу (в любом случае при его громоздкой фигуре ему было бы трудно сыграть в происходящем изящную роль). Сами виги избегали общественного внимания, опасаясь, что в один далеко не прекрасный день их попросят войти в администрацию. На первых страницах книги Джордж Элиот «Феликс Холт, радикал» (Felix Holt: The Radical; 1866), действие которой происходит в 1832 году, изображена характерная сцена между матерью и сыном:

> — Но я не буду кандидатом от тори.
>
> Миссис Трансом ощутила нечто вроде удара электрическим током.
>
> — Что же тогда? — довольно резко спросила она. — Не собираешься ли ты назвать себя вигом?
>
> — Боже упаси! Я радикал!
>
> Миссис Трансом затрепетала, она упала в кресло.

На этом заседании парламента было сказано много прекрасных слов о состоянии финансов страны, выдвинуты предложения о сокращении расходов и даже о повышении налогов. Почти

всем было ясно, что экономическая реформа неизбежна. Одному специальному комитету поручили рассмотреть проблемы денежного оборота, другому — проблемы государственных финансов. Администрация наконец собралась с духом и начала бороться с явлением, которое Каслри как-то назвал «поспешным и безграмотным налогообложением».

Одну правительственную меру стоит упомянуть отдельно, хотя бы потому, что она стала предвестницей более масштабных реформ. В 1819 году, после четырех лет агитации, был принят Закон о фабриках, или, точнее, Закон о хлопкопрядильных фабриках. Он запретил трудиться на хлопкопрядильных фабриках детям младше 9 лет и в целом ограничил детский труд 12 часами в день. На фоне всеобщих тягот это казалось почти насмешкой, и по этому закону было вынесено только два обвинительных приговора, но в то время он вызвал бурный протест, поскольку ставил хлопковое производство в «особое положение». Гуманистические чувства, разбуженные варварскими картинами рабства в чужих странах, пока еще не обратились к трудоспособному населению своей страны. И все же Закон о фабриках означал, что администрация впервые решитель-

но воспротивилась политике невмешательства в экономические процессы. Он также означал, что у правительства появилась возможность и власть пересилить желания родителей. Чтобы довести это начинание до конца, потребовалось больше ста лет.

Одного человека можно по праву назвать зачинателем (хотя и не единственным зачинателем) назревших изменений. Роберт Оуэн был сыном лавочника и уже в молодости стал управляющим ткацкой фабрикой в Манчестере. Открыв собственную фабрику в Нью-Ланарке в Шотландии, он заботился не только о прибылях, но и о своих работниках. Он считал, что характер человека формируют обстоятельства, и задался целью организовать обучение и досуг находившихся под его опекой детей. Он открыл первое в Великобритании детское дошкольное учреждение и организовал фонд поддержки немощных и престарелых. Его влияние и личный пример непосредственно отразились на дальнейшем фабричном законодательстве и принесли ему звание первого великого реформатора в промышленности.

Весной и в начале лета 1819 года в Глазго, Манчестере, Лидсе и других местах прошли де-

монстрации и массовые митинги за расширение избирательного права. Парламент, отметив расстояние, отделяющее недовольных от Вестминстера, решил их игнорировать. Призывы к избирательной реформе звучали и раньше, но никогда ни к чему не приводили. Зачем было обращать на них внимание сейчас? Но обстоятельства изменились. Появились новости, что работники ткацких мануфактур собирают вооруженные отряды. Король издал прокламацию, осуждающую воинственный настрой народа. 16 августа было объявлено о большом публичном собрании в Манчестере. Тори снова ощутили страх перед революцией. В назначенный день Генри Хант, теперь известный как Хант Оратор, прошел через толпу собравшихся и поднялся на платформу. Стоило ему заговорить, как к нему направился полицейский отряд. Толпа свистала и осыпала полицейских насмешками, но они обнажили оружие. В общем переполохе к ним присоединились гусары[4], в результате одиннадцать человек погибло и несколько сотен демонстрантов было ранено. Все это произошло на площади Святого Петра, а кровавое событие

[4] Примечания: 4

А именно 15-й гусарский полк, атаковавший французов при Ватерлоо. — *Прим. ред.*

стало известно как бойня при Петерлоо.

Это был переломный момент. Размер толпы и характер событий потрясли многих, считавших, что в Англии нет и не может быть места неограниченной монархии. Теперь «та Тварь» отвесила поклон, сняла шляпу и показала свое лицо. Когда Хант Оратор прибыл в Лондон, где его должны были судить, его приветствовали около 300 000 человек. Возможно, эта цифра, как многие подобные оценки, не вполне верна, но у нас есть свидетельство Джона Китса, который сообщал своему брату Джорджу, что «все расстояние от “Ангела” в Ислингтоне до “Короны и якоря” было заполнено множеством людей». «Корона и якорь» стоял недалеко от современного вокзала Юстон. Раскол нации имел также менее очевидные последствия. В октябре 1819 года один источник отмечал: «Наиболее тревожный признак нашего времени — ежедневно и вполне явно усиливающееся отделение высшего и среднего классов общества от низшего класса».

Необходимо было что-то делать, даже если никто точно не знал, что именно. Главной причиной для недовольства, как обычно, служили налоги. Как писал Сидней Смит в Edinburgh Review за январь 1820 года, «налогами обложен

всякий предмет, который кладут в рот, надевают на спину или ставят под ногу».

Правительство немедленно ответило на события выпуском так называемых Шести актов. Они никак не помогали смягчить сложившуюся ситуацию, однако запрещали публичные собрания числом более 50 человек, а также несанкционированную военную подготовку и подтверждали право представителей власти входить в частные дома без ордера. В отличие от предыдущих актов, они не приостанавливали действие закона *habeas corpus*, но положили начало одному из самых обширных расследований радикальной деятельности в истории XIX века. В конечном счете Шесть актов не принесли почти никакой пользы, но зато стали предметом повсеместных насмешек и осуждения. Коббет заявлял: «Когда я родился, никаких Шести актов еще не было». Когда принц-регент вернулся с каникул из Коуза, у дверей дома его обшикала огромная толпа, и люди едва не опрокинули портшез его любовницы леди Хертфорд, но ее спасли Бегуны с Боу-стрит[5].

Министр внутренних дел виконт Сидмут был

---

[5] Примечания: 5
Первые профессиональные полицейские.

уверен, что заговоры поджидают за каждым углом. Многие представители власти искренне боялись за свою жизнь в случае всеобщего восстания, и в 1820 году их опасения отчасти оправдал небольшой эпизод, который стал известен как Заговор на Като-стрит. Като-стрит была узкой оживленной улицей близ Паддингтона. Горстка заговорщиков, тайно встречавшихся на чердаке невзрачного здания, руководствовалась больше восторженным порывом, чем здравым смыслом: они планировали захватить Лондон и убить как можно больше членов кабинета министров. Сидмут знал об этом заговоре и просто позволял ему существовать до тех пор, пока не появилась возможность сделать с его помощью грозное предупреждение всем остальным политическим авантюристам. Главных заговорщиков повесили и обезглавили. Это был последний на ближайшие несколько лет акт репрессий, в основном потому, что для подобных актов больше не было причин. Запугиваниями, уговорами и подкупом страну привели к спокойствию.

Иногда возникает впечатление, что правительство состояло в тайном сговоре с собственными врагами, но, пожалуй, такая теория заговора переигрывает любые реальные заговоры, возни-

кавшие после войны с Наполеоном. Возможно, происходящее имело гораздо более приземленное объяснение — в чувстве волнения и повышенного возбуждения, которое безраздельно царило в общественной жизни с тех пор, как все себя помнили, а также свою роль, безусловно, играл алкоголь. Известно, что Сидмут, перед тем как явиться в парламент, выпивал за обедом двадцать бокалов вина, и это не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Он, как и многие другие министры, страдал подагрой; в наши дни так называют воспалительное заболевание артерий стопы, но раньше это заболевание ассоциировалось также с упадком духа и чрезмерным употреблением алкоголя. Рискнем предположить, что пьянство Сидмута было средней тяжести по меркам Вестминстера, и бывали случаи, когда заседание парламента больше напоминало потасовку в пивной.

Фарс и трагедия превратились в пантомиму, когда принц-регент взошел на трон под именем Георга IV в конце января 1820 года. Его отец, безумный, слепой и бородатый, как библейский пророк, пребывал где-то между миром живых и мертвых. Он разговаривал с умершими так, словно они были еще живы, и с живыми так, будто

их уже похоронили. Он умер 29 января 1820 года, и его смерть не принесла ничего нового, кроме официальной коронации его сына. В прошлом году на свет появился новый отпрыск этой странной семьи, принцесса Александрина Виктория, больше известная под своим вторым именем. Она была дочерью принца Эдуарда, четвертого сына Георга III, и принцессы Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. В семье ее матери все были немцами, и она гордилась этим фактом. Она вышла замуж за немца, и при ее дворе в Виндзоре и в других местах часто говорили на немецком.

К этому времени Георг IV окончательно обленился, располнел и пустился во все тяжкие. И он отнюдь не расположил к себе подданных, когда отправил поздравление городским властям Манчестера после событий Петерлоо. Люди говорили, что он мог бы, по крайней мере, дождаться результатов расследования. Впрочем, не он был главным действующим лицом в упомянутом фарсе. Эта роль досталась его жене, королеве Каролине, которая после возвышения супруга решительно вознамерилась занять свое законное место королевы Великобритании. Трудно было представить особу, меньше похожую на королеву. Она была такой же толстой и распутной,

как ее муж, меняла любовников как перчатки и теперь, окруженная облаком дурных запахов, порожденных отсутствием гигиенических привычек, вернулась в свою страну.

Георг и Каролина поженились при неудачном стечении обстоятельств четверть века назад в часовне Святого Иакова. Во время церемонии принц с трудом держался на ногах: потрясение, вызванное видом и запахом невесты, оказалось для него слишком сильным. По словам Мельбурна, «принц выглядел как человек, движимый глубоким отчаянием. Он напоминал Макхита, идущего на казнь, и он был совершено пьян». Время не изгладило первого впечатления. Принцесса Каролина уехала, оставив мужа в Англии, чем вызвала в обществе большой скандал. В Европе она предавалась увеселениям и тратила деньги, а путешествуя по Ближнему Востоку, однажды въехала в Иерусалим на осле. В другой раз она явилась на бал с половиной тыквы на голове. После ее возвращения в Англию в качестве законной королевы новый король делал все возможное, чтобы избавиться от нее. Он обвинил ее в супружеской неверности и потребовал для нее суда, что послужило поводом для множества саркастических замечаний. Она пережила это

испытание. Генри Броухам, допрашивая свидетелей, чтобы найти улики против нее, снова и снова слышал ответ: *Non mi recordo* — «Я не помню». Все повторяли эту расхожую фразу, словно строчку из модной итальянской песни. Реформы на время оказались забыты, единственной темой для разговоров стал суд. «Слышно что-нибудь новое о королеве?» — спрашивали все.

Удивительнее всего в этом злополучном деле была та популярность, которой Каролина пользовалась у английского населения. Куда бы она ни отправилась, ее приветствовали криками и аплодисментами. На какое-то время она стала королевой всех сердец. Правительство унижало ее, король дурно с ней обходился… Разве не то же самое происходило со всей страной? Знала она об этом или нет, но для радикалов она была символической фигурой, олицетворявшей все тяготы и обиды несчастных подданных короля. Женщины Лондона совместно с радикалами города организовывали массовые собрания и шествия в ее поддержку. Казалось, страданий одной женщины может оказаться достаточно, чтобы свергнуть существующую власть. Сара Литтелтон, придворная дама и жена члена парламента, писала: «Король настолько непопулярен,

его характер вызывает такое презрение, а все его поступки столь безрассудны и беспринципны, что вряд ли кто-нибудь может желать ему удачи, разве только из страха перед революцией».

Прошло несколько недель, и вся жалость и сочувствие к Каролине испарились. В моду вошел стишок:

— Мадам, мы смеем вас просить
Уйти и больше не грешить.
— Ах, это слишком тяжкий труд!
— И все же вам не место тут[6].

Приняв от администрации ежегодную ренту размером 50 000 фунтов стерлингов, она потеряла симпатии публики. Когда летом 1821 года она появилась у дверей Вестминстерского аббатства и безуспешно пыталась открыть то одну, то другую дверь, чтобы попасть на коронацию своего отлученного от брачного ложа супруга, ей кричали «Позор!» и «Вон!». Вскоре о ней забыли, и через несколько недель она умерла, никем не оплаканная. В какой-то мере причиной ее опалы стали непостоянство и забывчивость толпы, с

[6] Примечания: 6
Most gracious queen, we thee implore / To go away and sin no more, / But if that effort be too great, / To go away at any rate.

нетерпением ждавшей очередного скандала или сенсации. Проницательные политики приняли к сведению этот урок и сделали вывод, что любая популярность или непопулярность не длится долго.

Некоторые министры тоже почувствовали витающие в воздухе изменения. Роберт Пиль, младший министр, которого ждало блестящее будущее, в марте 1820 года в письме своему другу спрашивал, не думает ли тот, что «настроения в Англии более виговские — если выражаться одиозным, но понятным языком, — чем политика правительства» и считается ли сейчас необходимым изменить способ правления. Он попал ближе к цели, чем мог предположить. Через два года его перевели в торийский кабинет министров лорда Ливерпула, где он начал работать над смягчением Уголовного кодекса. Это стало одной из причин, почему 1820-е годы на фоне волнений предыдущих лет и борьбы за реформы 1830-х годов прошли относительно спокойно.

В мае 1820 года лорд Ливерпул представил (или, скорее, упомянул) перед делегацией торговцев из Сити одну предложенную вигами меру. Преимущества свободной торговли манили Ливерпула. Он знал: некоторые люди считают, будто Бри-

тания процветает при протекционизме, но он был уверен, что страна достигает успехов не благодаря, а вопреки этому. В свойственной ему медленной, непрямой и бесконечно осторожной манере он не выдвигал собственных предложений. Вместо этого он создал ряд парламентских комитетов для изучения множества сложных вопросов, решение которых вело, по сути, к изменению государственной политики. В результате появилась возможность ввозить товары в Англию на иностранных кораблях и ввозить иностранные товары из любого свободного порта, были отменены три сотни устаревших статутов о торговом мореплавании. В Annual Register охарактеризовали эти меры как «несомненно обширные» и назвали их «первым случаем, когда государственные деятели открыто признали, что действуют в соответствии с буквальными принципами политической экономии». Итак, процесс начался.

В 1825 году в Оксфорде открылась кафедра политической экономии. Воспоминания и письма того времени полны упоминаний об этом. Виконт Сидмут писал весной 1826 года: «Везде и всюду, на обедах и званых вечерах, в церкви и в театре только и слышно разговоров, что о политической

экономии и бедствиях нашего времени». Редко случалось, чтобы академическая дисциплина привлекала столько внимания и рождала столько оживленных дискуссий о труде и прибыли, ценных бумагах и драгоценных металлах. Любопытная связь прослеживается в этот период между радикальной политикой и театральным искусством. Весь смысл и эмоциональный накал георгианского театра заключался в преднамеренном смешении реального и воображаемого — именно это привлекало «ловцов безграничных мечтаний», в том числе тех радикалов XIX века, которые стремились изменить условия своего времени со свойственным им прямолинейным оптимизмом и верой в прогресс. В «низких» театрах сюжет нередко вращался вокруг внезапных перемен и нестабильности жизни — бедность, болезни и безработица составляли неотъемлемую часть драмы.

На другом берегу моря, как обычно, бурлил котел бесконечных неприятностей. В 1820 году в Европе вспыхнули четыре революции, огонь охватил Испанию, Португалию, Неаполь и Пьемонт. Некоторые страны Четверного союза, изначально обещавшие поддерживать монархию, были готовы вмешаться. Каслри,

британский министр иностранных дел, был против. Он не хотел иметь к этому ни малейшего отношения, тем более что доктрина невмешательства с некоторых пор вышла на уровень государственной политики. Как он сказал одному коллеге, ему смертельно надоели эти хлопоты и переживания и, если удастся от них избавиться, он никогда не вернется к ним снова. Англия не будет участвовать в континентальных раздорах. Такая позиция могла привести к потере влияния на мировой арене, но это было все же лучше, чем вмешиваться в дела, предвидеть конец которых не в человеческих силах.

В послании к министру иностранных дел Австрии принцу Меттерниху Каслри сообщал: «Нас следует принимать, к лучшему или к худшему, такими, какие мы есть, и, если континентальные державы не могут идти с нами в ногу, им не следует ожидать, что мы будем подстраиваться под их шаг. Подобное нам чуждо». Он осуждал лихачество и рисовку. В важном дипломатическом документе кабинета министров от 5 мая 1820 года говорилось: «Эта страна не может и не будет действовать, опираясь на абстрактные и умозрительные принципы предосторожности». В начале лета следующего года он заявил в палате

общин: «Возводя себя на трибуну, чтобы судить внутренние дела других, некоторые государства претендуют на власть, присвоение которой прямо противоречит государственным законам и принципам здравого смысла». Он сполна обладал тем прагматизмом и практичностью, которые так ценят англичане. Меньше всего Министерству иностранных дел был нужен оторванный от жизни теоретик.

Торговля постепенно набирала обороты, и при открытии парламента в 1820 году король мог, не покривив душой, сказать, что «затруднения во многих промышленных районах… значительно сократились». Даже французский поверенный в делах отметил «спокойствие, царящее в Лондоне и во всей Англии». Король мог двигаться вперед с легким сердцем — хотя, кроме сердца, в нем больше не было ничего легкого. Роскошное коронационное одеяние тяжело облекало его грузную фигуру, — во время церемонии он едва не потерял сознание и немного оживился, только когда ему подали нюхательную соль. Тем не менее он держался неплохо. Возможно, он был неотесан и иногда смешон, однако хорошо понимал, в какой момент на него устремлены все взгляды. Через месяц после церемонии он отправился в Ирлан-

дию и, по словам наблюдателя, прибыл на место «мертвецки пьяным». Именно тогда его жена скончалась от пьянства и разочарований. Каслри сообщал, что Георг «воспринял эту прекрасную новость самым благопристойным образом». «Это, — сказал он по прибытии в Дублин, — один из самых счастливых дней в моей жизни».

3
Работа вечности

В те дни почти не оставалось предметов и явлений, так или иначе не затронутых религиозными разногласиями. Религия была воздухом, которым дышали респектабельные люди. Сама по себе религия была «ни холодна, ни горяча». Где-то религиозная жизнь бурлила и кипела, где-то едва теплилась. Существовала Низкая церковь евангелистов и диссентеров и Высокая церковь, больше тяготевшая к католическим ритуалам. Кроме того, была Широкая церковь, отличавшаяся либеральными взглядами на теологию и стремившаяся примирить высокое и низкое течения в масштабах страны. От этих крупных религиозных течений ответвлялись разнообразные секты и группы, верившие в Промысел Божий в отношении одного человека или всего человечества, в неизбежное искупление или адские муки. Кальвинисты, методисты, квакеры, арминиане, пресвитериане, конгрегационалисты и баптисты — все они входили в неофициальный евангелический союз, искавший точки соприкосновения с

англиканами. Все они открыто стремились к благочестивой и праведной жизни. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Восемь из девяти членов гребной команды Кембриджа, выиграв лодочную гонку Оксфорд — Кембридж на Темзе, отправлялись затем проповедовать в Ист-Энд. Среди англиканцев «установленной церкви» подобного рвения не наблюдалось. Они почитали все привычное и респектабельное и смотрели на бедняка едва ли не с большим ужасом, чем на злодея. В романе «Путь всякой плоти» (The Way of All Flesh; 1903), действие которого происходит в 1834 году, Сэмюэл Батлер так писал о сельском церковном собрании: «Они симпатизировали или, по меньшей мере, терпимо относились ко всему знакомому и ненавидели все незнакомое. Они в равной степени ужаснулись бы, услышав, как подвергают сомнению принципы христианской веры, и увидев, как их воплощают в жизнь». Это были порядочные, степенные, не склонные к рассуждениям люди.

В отчете составителей переписи от 1851 года упоминается, что «работающие люди не могут посетить место совершения богослужений, не получив в том или ином виде настойчивое напоминание о собственном низком положении.

Отгороженных скамей для избранных и расположения прочих свободных мест уже достаточно, чтобы отвратить их от посещения церкви». Что касается малоимущих и живущих на грани нищеты, никто не ожидал, что они будут ходить в церковь. Если бы они попытались туда зайти, вероятно, их просто выгнали бы. Один торговец зеленью сообщил социальному исследователю Генри Мэйхью, что «зеленщики почему-то путают религиозность с респектабельностью и не знают толком, в чем состоит разница. Для них это загадка».

По-настоящему интересным, по мнению наблюдателей, было то, что многие представители «респектабельных» классов вообще не имели веры. Броня скептицизма защищала их от доводов священников и проповедников. Многие из них не знали, во что верить — и верить ли вообще во что-нибудь. Французский историк Ипполит Тэн отмечал, что обычные английские мужчины и женщины верят в Бога, Святую Троицу и ад, «однако без особенного пыла». Это важное наблюдение. Англия не была светским государством — она была безразличным к религии государством. Проповедники, грозившие адскими муками, в целом воспринимались публикой как новое и

любопытное зрелище, хотя у них было довольно много активных сторонников. Экстазы и обмороки, столь популярные в XVIII веке, перестали быть частью английского стиля. Единственным источником общественного воодушевления теперь были церковные гимны. Мертвое затишье английского воскресенья, о котором с осуждением писал, в частности, Диккенс, явно свидетельствовало о том, что церковь не способна вызвать у людей искренние сильные чувства и духовный подъем. Не было также народной веры, еще распространенной, например, в России или Америке. Устоявшиеся догматы вызывали у людей сдержанное раздражение — особенно доставалось в этом смысле концепции загробных мук. Постепенно вера становилась менее догматичной и менее конкретной, а некоторые доктрины молча отбрасывались. Однако по-прежнему сохранялись региональные различия, сложившиеся еще в XVII веке, — на юго-востоке страны преобладало англиканство, а на юго-западе и северо-западе примитивный методизм.

Сам лорд Ливерпул был по характеру «методистом» и в 1812 году сыграл важную роль в принятии закона о расширении терпимости по отношению к диссентерам. Уильям Коббет в сво-

ей книге «Поездки по сельской местности» (Rural Rides; 1830) описывал диссентеров как «шайку крикливых ханжей» и «бродячих фанатиков», но к этому течению принадлежало немало английских верующих, и все они, от квакеров до Коннексии графини Хантингдон, держались отдельно от англиканской церкви. Однако им было запрещено посещать университеты в Оксфорде и Кембридже, и они были обязаны заключать браки в церквях и хоронить своих умерших на кладбищах под руководством англиканских священников.

Второй по величине религиозной группой в стране был тот неофициальный альянс евангелистов и утилитаристов, чья деятельность во многом определила характер эпохи. И те и другие стремились к исправлению нравов, но одни шли к просветлению дорогой разума, а вторые — дорогой духовного возрождения. Их перекликающиеся светские и религиозные принципы — учиться и трудиться, проповедовать и осуждать праздность и роскошь — со временем заметно изменили английский характер. Евангелисты придерживались крайне строгого толкования Священного Писания, и они были хорошими помощниками в *felicific calculus* — исчислении

счастья, с помощью которого утилитаристы хотели достичь наибольшего блага для наибольшего количества людей. И им в равной мере были свойственны как прагматизм, так и догматизм, и они послужили моральными проводниками многих социальных и религиозных реформ. Говоря словами одного из них, это была «работа вечности», бесконечный труд. При этом они активно стремились улучшить то время, в котором жили сами. Поток брошюр и периодических изданий, посвященных самосовершенствованию и нравственной практике, предназначался для всех, умеющих читать.

Провидение, прогресс и цивилизация считались равноценными составляющими Божьего промысла. Евангелисты призывали каждого человека к духовному возрождению, утилитаристы продвигали доктрину самопомощи. Их первым успехом стало введение в тюрьмах «шаговой мельницы», а в 1830-х годах их взгляды уже транслировались на уровне государственной публичной политики. Не все их начинания касались таких мрачных предметов. Евангелисты энергично выступали против работорговли, а утилитаристы — против Хлебных законов и других факторов, препятствующих свободной

торговле. Они требовали реформ, и их объединенные усилия помогли постепенно изменить политику 1820-х годов. Они притягивали к себе людей, стоящих на пороге индустриальных перемен. Джордж Элиот писала: «Настоящая драма евангелической церкви — а в ней найдется множество превосходных драм для всякого, кто способен распознать и изложить их, — кроется в среднем и низшем классах». Именно эти классы полностью изменили Британию.

Лондонец Чарльз Бэббидж, родившийся в Уолворте в 1791 году, был одним из величайших изобретателей и аналитиков XIX века. Он разработал и сконструировал так называемую разностную машину и аналитическую машину, которые могут считаться прямыми предшественницами цифрового компьютера. Это были сложные устройства с перфокартами и дисками набора, действие которых мало кто понимал тогда и мало кто понимает сейчас. Любопытно, что герцог Веллингтон, несмотря на свою репутацию консерватора и реакционера, в глубине души, очевидно, осознавал потенциал машин.

В семнадцать лет Бэббидж страстно увлекся алгеброй. Он пытался понять, каким образом числа обретают жизнь, и проникнуть в суть математи-

ческого процесса, позволяющего создавать новые числа. Он вспоминал: «Впервые, насколько я помню, идея о вычислительных таблицах пришла ко мне в 1820 или в 1821 году… Я говорил с другом о том, как хорошо было бы задействовать в вычислениях силу пара». В каком-то смысле это была метафора, поскольку, согласно другому источнику, он сказал: «Я думаю, все эти таблицы [логарифмы] можно рассчитать с помощью механизмов». Сила пара, двигатели и машины составляли единое облако знаний. Бэббидж набросал несколько эскизов вычислительной машины, но затем слег с нервным расстройством. В своем воображении он нарисовал устройство для создания математических таблиц, предвосхитившее новый мир механизированных инструментов и инженерных технологий. Задумка Бэббиджа настолько опережала все остальные вычислительные инструменты того времени, что в руках его современников выглядела как телеприемник в руках обезьян.

Первая машина Бэббиджа называлась разностной машиной, потому что рассчитывала числовые таблицы методом конечных разностей. Вскоре изобретатель начал работу над новым устройством — аналитической машиной, кото-

рая, по сути, представляла собой автоматический калькулятор. Она работала по принципу хлопкопрядильной фабрики: материалы, то есть числа, хранились на складе отдельно от механизмов, но в нужный момент их извлекали и обрабатывали на станке. Каждая часть устройства предназначалась для совершения отдельного действия, такого как сложение и умножение, но при этом оставалась связанной со всеми остальными частями. Бэббидж писал, что машина «кусает сама себя за хвост» и что «вся арифметика теперь подвластна механизму». Вероятно, современникам эти рассуждения казались совершенно потусторонними, и до середины XX века они в общем и целом оставались без внимания. Машины Бэббиджа называют одним из величайших интеллектуальных достижений в истории человечества, но в то время в Англии мало кто проявлял к ним хотя бы каплю интереса.

Вычислительная машина Бэббиджа пришлась не ко времени. Современники оказались категорически не готовы понять и по достоинству оценить ее устройство. Это была самая хитроумная и сложная машина, когда-либо построенная человеком, и она появилась задолго до того исторического периода, когда ее смогли бы долж-

ным образом освоить. Трудно сказать, сколько еще точно так же опередивших свое время гениальных изобретений кануло в пучину времени. Копия аналитической машины Бэббиджа выставлена в Музее науки в Лондоне — она и сейчас напоминает какого-то странного идола, извлеченного из неведомой пещеры и, как ни парадоксально, по-прежнему выглядит чужой во времени. Сохранилось и кое-что еще. Половина мозга Чарльза Бэббиджа хранится в музее Хантера, а другая половина — в Музее науки.

Тот факт, что имя Бэббиджа до сих пор не так хорошо известно публике, как имена поэтов и романистов того времени, свидетельствует об общем равнодушии викторианской интеллигенции к прикладной науке. Одним из немногих, кому все же удалось войти в историю исключительно благодаря масштабу своего гения, был Джереми Бентам. Воспользовавшись одним из его неологизмов, мы можем назвать его «панпрародителем» утилитаристов и *felicific calculus*. Хотя он начал свою работу и свои исследования в XVIII веке, более уместно рассматривать его в контексте следующего столетия. Это был еще один великий лондонский провидец (он родился в Спиталфилдсе в 1748 году) и практический

гений, которого можно поставить в один ряд с Бэббиджем. Бентам не был широко известен при жизни, но удостоился обильных славословий после смерти. Его история, как и история Бэббиджа, подтверждает справедливость избитой истины: нет пророка в своем отечестве.

В своей околореформенной деятельности Бентам опирался на простую веру в «наибольшее счастье для наибольшего количества людей». Эта радикальная максима вела его тернистыми путями правовой реформы, тюремной реформы и реформы Закона о бедных. Будь он христианином, он мог бы сделать своим девизом евангельское изречение: «Кривые пути распрямятся, а неровные сделаются гладкими» (Лк. 3:5). Он участвовал в подготовке Избирательной реформы 1832 года, впервые наделившей избирательным правом всех взрослых мужчин, и утверждал, что «всякий закон есть зло, ибо всякий закон есть нарушение свободы». Главной задачей того времени стал поиск рациональных решений и рациональных способов их воплощения в жизнь. В нем звучала музыка механизмов, конкуренции и прогресса. Никто больше не спрашивал: «Быть или не быть?» Вопрос стоял иначе: как это работает?

Бентам также приложил руку к основанию

институтов мастеровых, ставших одним из признанных триумфов Викторианской эпохи. В эти заведения стекались не только ремесленники, но и клерки, подмастерья и владельцы лавок, привлеченные отблесками до этих пор недоступного им мира знаний. По сути, целеустремленным представителям средних классов институты дали больше возможностей, чем работникам физического труда, для которых задумывались изначально. В самых увлекательных биографиях и художественных произведениях того времени нередко встречается тема нелегкого, иногда даже мучительного самообразования вопреки всем тяготам и препятствиям. Кто-то вставал до рассвета, чтобы почитать учебник при свече, кто-то читал при свете огня в таверне, кто-то пешком одолевал 13 миль (ок. 21 км) до ближайшей книжной лавки, а кто-то даже платил пенни, чтобы прочитать газету в местной пивной.

Таким образом, как мы еще раз убедимся на следующих страницах, XIX век вряд ли можно назвать религиозным временем. Растущее уважение к науке как к способу познания мира ничем не помогало тем, кто проповедовал религиозные истины, а растущее безразличие к самой религии стало одним из первых признаков надвигаю-

щейся секуляризации общества. Христианская вера постепенно становилась все более фрагментированной и расплывчатой. Драма эволюции вытеснила драму искупления, и стало ясно, что научная модель дает для понимания практической стороны жизни намного больше, чем любая брошюра Общества распространения христианского знания.

Книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» (1859) — явление столь же типично викторианское, как Всемирная выставка или Альберт-холл. Главной движущей силой в ней выступает непреодолимый инстинкт борьбы и конкуренции, под действием которого в развернувшейся жизненной битве «северные виды смогли возобладать над менее могущественными южными видами». В ней ничего не говорится об искуплении, покаянии или благодати. Она рисует по-настоящему мрачный мир, где господствуют вынужденная необходимость в труде и стремление к власти, бесконечная борьба и смертоубийство. Взглянуть на викторианскую цивилизацию с точки зрения Чарльза Дарвина — значит увидеть ее более ясно. Дарвин также соглашался с доктриной Мальтуса, гласящей, что популяции обречены на вымирание, поскольку

их численность растет быстрее, чем количество доступных им ресурсов. Где-то здесь, вероятно, кроются истоки викторианской меланхолии, сыгравшей в истории не менее важную роль, чем викторианский оптимизм.

В свете всего сказанного неудивительно, что изучение Евангелий постепенно уступало место стратиграфическим изысканиям. Пожалуй, столь же неудивительно, что нонконформисты интересовались этим предметом намного больше, чем англикане. Геология стала самой популярной из наук: ее приверженцы могли свободно рассуждать о временных периодах протяженностью в миллионы лет. Самая важная особенность геологической науки в XIX веке заключалась в том, что ею занимались по большей части непрофессионалы, движимые чисто интеллектуальным любопытством. Геологические изыскания были излюбленным занятием священников. Однако самой известной из непрофессиональных исследователей стала Мэри Эннинг из Лайм-Реджиса, родившаяся в 1799 году. Ее отец был краснодеревщиком, но вскоре почти оставил свое дело ради охоты за ископаемыми. Лайм идеально подходил для этой цели. Местные скалы быстро разрушались, и скрытые в них окаменелости

можно было брать практически голыми руками. С юных лет Мэри Эннинг сопровождала отца в его экспедициях, — вероятно, именно его советы вкупе с приобретенным личным опытом развили у нее почти сверхъестественную способность распознавать и идентифицировать останки ранее неизвестных видов. По словам подруги детства, она была «энергичной молодой особой с независимым характером и не слишком интересовалась светскими церемониями». Обычно это связывали с тем, что в возрасте пятнадцати месяцев Мэри выжила после сильного удара молнии, от которого скончались три других человека. До этого, как многие другие дети в Лайме, она была слабым и болезненным младенцем, но с тех пор стала оживленной и предприимчивой.

После смерти отца Мэри не оставила своего увлечения — даже наоборот, приступила к более активным поискам «крыльев Купидона», «дамских пальчиков», «чертовых ногтей» и прочих ископаемых. Часть найденных окаменелостей она продавала приезжим около остановки дилижанса у трактира «Блю Капс Инн» в Лайме. За один аммонит, выложенный на стол вместе с остальными находками, она могла запросить полкроны. Однако первый большой успех при-

шел к ней летом 1811 года, когда ее младший брат Джозеф наткнулся в скалах на голову какого-то животного необычной формы. Голова обнаружилась в геологическом образовании Блю-Лиас, состоящем из известняка и сланца. Джозефу было некогда заниматься раскопками, и эта работа выпала на долю Мэри. Потребовался год осторожных кропотливых раскопок, чтобы освободить животное, на первый взгляд напоминавшее большого крокодила. Соединив его кости, одну за другой, в единое целое, Мэри воссоздала существо длиной более 17 футов (5 м). Позднее его назовут ихтиозавром. После этого Мэри Эннинг стала знаменитостью. Коллега-энтузиаст Джон Мюррей писал: «Однажды я с радостью воспользовался возможностью совершить вместе с нею геологическую прогулку и был немало удивлен ее тактом и проницательностью. Ей достаточно было бегло взглянуть на краешек окаменелости, выступающей из массива Блю-Лиас, чтобы определить и немедленно объявить ее природу, название и характер».

Многих поражало, что эта «бедная невежественная девушка» способна разговаривать на языке науки с профессорами и выдающимися геологами и обладает не менее обширными

познаниями. Однако ее имя не упоминали в лекциях, и ее не приглашали на научные семинары. Она была всего лишь женщиной. Она писала своей подруге Анне Марии Пинни: «Свет обходился со мной так сурово, что, боюсь, это сделало меня подозрительной ко всему человеческому роду. Надеюсь, вы простите меня, хотя я этого не заслуживаю. Как я завидую вашим ежедневным визитам в музей!» Сама Пинни писала о ней: «Ученые мужи высосали ее мозг и многого добились, опубликовав работы, содержание которых было продиктовано ею, в то время как сама она не получила от этого никакой выгоды».

Итак, в первые десятилетия XIX века стремящиеся к свету напрасно искали бы этот свет в трактатах Джона Генри Ньюмана или евангельских миссиях Чарльза Сперджена в Саутуорке. Они могли обратиться к Хэмфри Дэви и началам электрохимии, к Джону Дальтону и атомной гипотезе, Майклу Фарадею или Томасу Янгу. Конечно, религия еще не была окончательно забыта. Такие исследования, как «Рассуждения о предметах, преимуществах и удовольствиях науки» (Discourse on the Objects, Advantages and Pleasures of Science; 1826) Генри Брума, напечатанные Обществом распространения интеллекта,

считались перспективным направлением естественной теологии. Чарльз Лайелл в книге «Принципы геологии» (Principles of Geology; 1830–1833) заявлял: «Мы обнаруживаем повсюду ясные доказательства работы Разума Творца, Его дальновидности, мудрости и могущества». Этот подход, освобожденный от дикарского видения Дарвина, был предпочтительней проповеди в соборе Святого Павла.

4
Неспокойный мир

В августе 1822 года Каслри перерезал себе горло перочинным ножом. Бесконечная выматывающая работа и необходимость постоянно сохранять бдительность сделали свое дело. За несколько дней до этого он отвечал невпопад и вел себя странно, а когда домашний слуга попытался его подбодрить, он приложил руку ко лбу и пробормотал: «Я совсем обессилел. Совсем обессилел». Он попросил аудиенции у короля, признался ему в своей гомосексуальности и заявил, что готов бежать из страны, прежде чем его разоблачат. Он вел себя до того странно, что король счел нужным предупредить о его состоянии лорда Ливерпула. Каслри был уверен — возможно, так проявлялась последняя стадия нервного срыва, — что три года назад его заметили в мужском борделе и до сих пор продолжают этим шантажировать. Возможно, он был прав; возможно, нет — в пользу этого есть некоторые анекдотические свидетельства, — но примечательно, что его разум ослабел именно в то время, когда Лондон был захвачен го-

мосексуальным скандалом в графстве Тирон, где епископа Клогерского застали с солдатом. Чтобы избежать оглушительного, как ему казалось, публичного и частного скандала, Каслри зарезался.

К концу 1820 года стало очевидно — и по людям, и по принимаемым ими мерам, — что кабинет должен или измениться, или пасть. С уходом Каслри правительство Ливерпула получило серьезный удар. Стало также ясно, что его место придется занять первому противнику Каслри — Джорджу Каннингу. Каннинг был уже готов ехать генерал-губернатором в Индию, но не смог устоять перед соблазном занять высокий пост на родине. Никто не мог сравниться с ним в популярности или красноречии. Только у него хватало внутренней энергии и политического интеллекта, чтобы вести дела в Министерстве иностранных дел и одновременно возглавлять палату общин. Однако благодаря своим симпатиям к католикам он нажил много врагов. О Каслри говорили, что каждая произнесенная им речь приносила ему одного нового друга, — о Каннинге говорили, что он терял одного друга каждый раз, когда открывал рот. По словам Уилберфорса, хлыст его сарказма «сорвал бы шкуру даже с носорога». Он был постоянно погружен в

заговоры и интриги. Казалось, он не мог «даже выпить чаю, не разработав для этого какую-нибудь хитроумную стратегию». В сущности, он проводил почти такую же политику, как Каслри, только делал это более напористо и явно. К большой досаде приверженцев старой школы, он был политиком другого типа. Он действовал открыто. То, что его мать была актрисой, не добавляло ему преимуществ, но ему не требовалось благородное происхождение, чтобы добиться успеха. Как только он занял место в кабинете, стали говорить, что он выглядит и ведет себя как премьер-министр. Веллингтон упоминал, что Каннинг способен в считаные минуты вывести его из себя. Он, как выразился один современник, «постоянно созидал и уничтожал». Многие говорят о разнице между тори, тяготеющими к вигам, и ультратори, но эти слова значат очень мало, и, пожалуй, лучше говорить о тех, кто поддерживал Каннинга, и о тех, кто его не переносил. Что касается лорда Ливерпула, то он, еще более сдержанный и отстраненный, чем когда-либо, придерживался золотой середины.

Лорд Ливерпул принял в свое правительство подкрепление в виде группы разочаровавшихся вигов под руководством лорда Гренвилла, искав-

ших должностей и жалований. Маркиз Бэкингем получил герцогство, а один из его помощников — место в кабинете министров. От этого выиграли все. Правительство Ливерпула еще более оживилось благодаря уверенному восхождению Роберта Пиля. Пиль стал главным секретарем Ирландии в возрасте двадцати четырех лет и, по общему мнению, хорошо себя зарекомендовал. Он в самом деле прекрасно справлялся со своими обязанностями и в 1822 году впервые вошел в кабинет в качестве министра внутренних дел. Тогда же к кабинету присоединился Уильям Хаскиссон из Торговой палаты. Смена состава оказала на правительство благотворное, хотя и не мгновенное действие. Оно стало казаться более сильным и выносливым, наполнилось энергией новых устремлений. Некоторые наблюдатели не соглашались с тем, что «та Тварь» может измениться. «Конечно, — писал Коббет, — когда один умирает или перерезает себе горло (как это случилось с Каслри), на его место приходит другой. Сущность явления от этого не меняется».

Всякий, имеющий глаза, чтобы видеть, или уши, чтобы слышать, понимал, что происходит. Стихи Шелли и Байрона, проза Уильяма Хэзлитта рождали в обществе язвительные и

угрюмо-циничные настроения, а также презрение к гнусностям власть имущих. Роберт Саути гневно называл их «людьми с больным сердцем и развращенным воображением, чей образ мыслей, всецело отвечающий их образу действий, восстает против священнейших таинств человеческого общества». Трудно не ощутить стоящую за этим силу возмущения против аристократии и «тупоумных сквайров» — а были они вигами или тори, авторов нисколько не интересовало. В этот период в печати выходило не менее 19 воскресных газет. Подстрекательские брошюры и листовки, критикующие правительство, пользовались огромным спросом, и новый король подвергался в них не менее жестоким оскорблениям, чем Ливерпул или Каннинг. Законодатели жили словно на краю вулкана. Впрочем, Каннинг искренне наслаждался этим неудобным положением и, в отличие от своего предшественника, охотно заигрывал с публикой всякий раз, когда того требовал случай.

Наличие собственного мнения в описанном выше виде было, по сути, отличительным признаком среднего класса, постепенно обнаруживающего свою силу. Дело было не в политике как таковой — хотя вопрос о подоходном налоге

вполне мог разбудить спящего зверя, — дело было в соблюдении общепринятого кодекса долга, бережливости и трудолюбия, нарушение которого могло иметь самые ужасные последствия. Отныне все имеющие право голоса составляли средний класс.

Как уже было сказано, обновленный кабинет оказался во всех отношениях либеральнее предыдущего. Пиль приступил к смягчению уголовного кодекса и вытряхнул из него весь мусор мелких и устаревших законов, в том числе отменил смертную казнь за сотню разных преступлений. Тем самым он произвел революцию в уголовном правосудии XIX века. Он изменил законы о транспорте, отменил нефиксированные выплаты для судей, заменив их жалованьем, и упростил уголовное законодательство. Все эти действия заслужили полное одобрение Каннинга. Немного позднее была создана столичная полиция.

Уильям Хаскиссон из Торговой палаты сосредоточил свое внимание на свободной торговле. В то время эти слова были у всех на устах, хотя далеко не все правильно понимали, как свободная торговля воздействует на ценообразование или рынок труда. Продолжая двигаться проложенным ранее курсом, он снизил тарифы на

импортные товары и впустил иностранные суда в английские порты. Все это давно пора было сделать. Более ста лет назад в поэме «Виндзорский лес» (1713) Александр Поуп предсказывал: настанет время, когда вольная как ветер и океанские волны Темза будет «для союзов и для встреч, для рода человеческого течь»[7].

Хаскиссон также рискнул затронуть цены на зерно, тем самым сделав предварительный шаг к отмене Хлебных законов в 1832 году. Он не мог надеяться угодить одновременно и фермерам, и покупателям, кроме того, нужно было учитывать множество дополнительных факторов, от состояния мелкопоместных дворян-землевладельцев до вероятности голода среди бедных слоев населения. Ему приходилось продвигаться крайне медленно и осторожно. Он предложил ввести скользящую шкалу, согласно которой пошлина на импортное зерно варьировалась в зависимости от его цены на внутреннем рынке. Те, кто не понимал смысла этого шага, сочли его разновидностью компромисса. Несмотря на это недопонимание, мера вступила в действие.

Пока Хаскиссон постепенно выводил эконо-

---

[7] Примечания: 7
Перевод В. Микушевича.

мику изпод опеки государства, Каннинг бросил вызов общепринятым дипломатическим традициям, признав независимость зарождающихся южноамериканских государств. Каннингу всегда приходилось играть роль громоотвода во время бури перемен. Заняв пост министра иностранных дел после смерти Каслри, он столкнулся с очередным Конгрессом «Священной лиги», стремившимся искоренить народные свободы. Каннинг никогда не был членом так называемого Венского клуба старых университетских приятелей, разделивших между собой Европу. Он не желал иметь к этому никакого отношения и выразил свое недовольство, предупредив, что, если Франция или Испания осмелятся напасть на Португалию, давнюю союзницу Британии, Каннинг, несомненно, вмешается. Герцог Веллингтон, выступавший на конгрессе как представитель Британии, заявил: «Мы стоим в одиночестве, поскольку таков наш выбор». Британия не была заинтересована в изменении режима правления в других странах, но она считала нужным признать и поддержать правительства, возникшие де-факто по требованию народа. Вряд ли нужно говорить, что главной движущей силой в этом вопросе были торговля и финансы.

Когда испанцы начали сдавать свои южноамериканские колонии французам, английские торговцы, разъяренные перспективой потери рынка, обрели сильного союзника в лице собственного правительства. Британские торговые суда действовали как неофициальный военный флот, обеспечивая снабжением и коммуникациями занятые повстанцами территории. Армия из шести тысяч британских добровольцев помогла Симону Боливару доказать, что он не напрасно носит титул Освободителя во всех странах от Венесуэлы до Эквадора. Каннинг играл в происходящем самую видную роль, возглавляя политическую атаку (или как минимум подрывную деятельность). К концу конфликта Британия признала государственную независимость Колумбии, Мексики, Бразилии и Аргентины. Позднее к этой цепочке присоединились Венесуэла и Гондурас, тем самым гарантировав, что Южноамериканский континент никогда больше не попадет в руки Испанской империи. Однако коренному американо-индейскому населению предстояло вытерпеть еще много десятилетий принудительного труда под гнетом испанских поселенцев.

Большая часть кабинета высказывалась про-

тив поддержки мятежников, восставших против законных властей: европейских монархов и монархистов приводила в ужас перспектива возникновения за океаном доброго десятка новых республик. В столицах Европы при активном или молчаливом одобрении некоторых членов британского кабинета министров разрабатывали заговоры против Каннинга, которые, впрочем, ни к чему не привели. Позднее Каннинг заметил, что некоторые пытались «изменить политику этого правительства, изменив меня самого». На стороне Каннинга было неоценимое преимущество в виде поддержки американцев. Принятая в декабре 1823 года доктрина Монро объявляла, что «американские континенты в силу того свободного и независимого состояния, которое они приобрели и поддерживают, отныне не должны рассматриваться как субъекты будущей колонизации какими-либо европейскими державами». Выступая перед палатой общин, Каннинг выразился более лаконично: «Размышляя об Испании, какой ее знали наши предки, я решил, что если Франция одолела Испанию, то Испания не должна обладать обеими Индиями. Я вызвал к жизни Новый Свет, чтобы восстановить равновесие в Старом Свете». Георг IV яростно выступал против

какой бы то ни было независимости для покоренных народов: по его мнению, агитаторы за свободу были не кем иным, как предателями собственного монарха, императора Фердинанда VII. Этот выстрел попал слишком близко к цели. Король отказался вслух зачитать отчет Каннинга на открытии парламентской сессии, жалуясь на то, что из-за подагры не может ходить, а также потерял свою вставную челюсть. И все же он был не в силах обуздать стремления Джорджа Каннинга и помешать его политике. Последние звенья королевской власти начали покрываться ржавчиной.

Кроме того, в кабинете не было согласия по вопросу католической эмансипации: Пиль выступал против, а Каннинг — за. «Я думаю, — писал Пиль, — что в этой стране никто не испытывает особенного сочувствия к этому вопросу. Люди устали от него, устали противиться ему или обдумывать его». Разумеется, это было верно только для тех, чья религия находилась в выгодном положении. Закон о помощи католикам 1791 года устранил многие препятствия, разрешив свободу вероисповедания, но для гипотетического «века улучшения» этого было недостаточно. Кроме того, оставалась еще маленькая проблема

католической Ирландии, которая вряд ли решилась бы сама собой. Уния 1800 года упразднила ирландский парламент, заменив его не справляющимися со своей задачей государственными учреждениями и некомпетентной английской администрацией. Англо-ирландская аристократия была по большей части продажной и бессильной, а католическое фермерство под властью англичан терпело жестокие лишения и было поставлено на грань нищеты. Предоставление права голоса католикам в Англии и Ирландии было мерой естественной справедливости, еще более необходимой в XIX веке. Каннинг продавливал это решение со всем присущим ему упорством и тягой к публичности. Как можно было поддерживать Симона Боливара в его стремлении к независимости, одновременно отказывая в подобной услуге Дэниелу О'Коннеллу?

О'Коннелл основал Католическую ассоциацию в начале 1823 года, когда надежды ирландцев, разбуженные вигами, были вдребезги разбиты монархией, а раздражение и нежелание подчиняться властям неуклонно росли. Большинство выживало благодаря тому, что приносил крошечный клочок земли, терпело постоянные притеснения со стороны арендодателей и было

вынуждено отдавать десятую часть своего урожая (десятину) в пользу протестантской церкви. Наиболее воинственно настроенных католиков, выступающих против угнетателей, терроризировали и избивали члены протестантской ассоциации Peep-o-Day Boys и риббонисты; за католиков, в свою очередь, выступала группа «Защитники». В 1825 году Католическая ассоциация была запрещена, но вскоре она возобновила деятельность под видом учебно-просветительской группы. Это никого не обмануло, но привлечь ее к ответственности стало труднее. О'Коннеллу удалось создать организацию, объединившую в своих рядах духовенство и мирян.

Когда-то любое организованное объединение рассматривали как клику заговорщиков, но теперь это слово приобрело более широкое значение. Закон об объединениях 1799 года, запрещающий создание профессиональных союзов, был принят на волне реакции на якобинскую угрозу того времени. Однако в 1820-х годах объединения возникли среди таких далеких друг от друга групп, как портные, корабельные мастера, пильщики и бондари. Они устанавливали размеры заработка, ограничивали число подмастерьев и отказывались работать с теми, кто не входил в

объединение. Парламентский комитет обнаружил, что некоторые из этих групп неофициально существовали почти столетие, но только в 1820-х годах обрели название и самоопределились. Союзное общество новых хлопкопрядильщиков Стокпорта образовалось в 1824 году, в это же время другие «союзные общества» возникли в других профессиях. Их называли профессиональными союзами, поскольку они представляли тех, кто занимался той или иной исторически сложившейся профессией, однако они не имели никакого отношения к рабочему классу заводов и фабрик.

Одной из ведущих фигур зарождающегося союзного движения был Фрэнсис Плейс по прозвищу «Радикальный портной с Чаринг-Кросс». Он был одним из городских радикалов, имеющих такую же долгую историю, как и сам город: везде, где есть большие группы мужчин и женщин, неизбежно возникает общее недовольство и общие обиды. Он организовал забастовку производителей кожаных бриджей, которые в то время были неотъемлемой частью рабочего костюма, — попытка не увенчалась успехом, но это не помешало ему в дальнейшем создавать другие радикальные ассоциации. Его главной

целью была отмена законов, запрещавших создание профессиональных союзов. С помощью соратников в парламенте в 1825 году удалось добиться принятия Закона об объединениях, определявшего права профессионального союза в крайне узком смысле, как собрания для переговоров, касающихся заработной платы и условий труда (все остальное могло быть истолковано как преступная деятельность). Закон позволял рабочим «вступать в любое объединение для получения аванса, либо установления размера заработка, либо для сокращения или изменения часов или продолжительности рабочего времени, либо для уменьшения количества работы». В газете Sheffield Mercury от 8 октября 1825 года сообщалось, что мастеровые королевства, объединившись в союз, готовы действовать в соответствии с этими узкими ограничениями. Закон был принят в период процветания, но, когда процветание сменилось кризисом и угасанием, новые профессиональные союзы оказались не в силах справиться с экономическим спадом.

Католическая ассоциация под руководством Дэниела О'Коннелла по-прежнему преуспевала в Ирландии. Римско-католическая церковь поддерживала ее и оплачивала из своих денег членские

взносы, а сам О'Коннелл стал одним из героев либеральной реформы. Ирландия подходила на роль жертвы не меньше, чем Сицилия или Греция, и о «бедных ирландцах» вскоре привыкли говорить как о народе, а не как об отдельном классе. Георг IV ничуть не помогал делу. Он написал Роберту Пилю: «Король опасается распространения слухов о том, что он якобы благосклонно относится к католическим притязаниям… И он более не намерен мириться с тем, что вопрос католической эмансипации продолжают обсуждать в его кабинете». Разумеется, это письмо было показано многим, в том числе Веллингтону, который написал: «Если мы не можем избавиться от Католической ассоциации, нам остается надеяться на гражданскую войну в Ирландии».

Разговоры о гражданской войне шли всегда, но страсти особенно накалились, когда в 1825 году политик-реформатор сэр Фрэнсис Бердетт представил в парламенте Билль об эмансипации. В конце апреля 1825 года билль был одобрен палатой общин. Пиль и лорд Ливерпул пригрозили уйти в отставку, если законопроект преодолеет последние препятствия. Ливерпул заявил: «Я с особым неприятием отношусь к римской католической религии, поскольку она проникает во все

уголки домашней жизни и насаждает систему тирании, не имеющую себе равных». Знакомый клич «Нет папистам!» снова разнесся по стране. Палата лордов отклонила законопроект, но всем было совершенно ясно, что ради естественной справедливости и сохранения мира в стране католикам в конце концов позволят добиться успеха.

Затем случился финансовый крах 1825 года — лопнул еще один пузырь алчности и самоуверенности. К середине 1826 года работавшие без передышки фабрики были вынуждены закрыться, работников перевели на сокращенный график работы. Казалось естественным и даже неизбежным, что несколько лет подряд экономика переживает подъем, а затем идет на спад. Никто до конца не понимал смысла этого урока. Экономические качели, как иногда называют это явление, были самым ярким символом этого финансового века. Жестокая паника длилась десять дней — на это время многие крупные организации закрыли двери, пережидая бурю.

Финансовый кризис совпал с католическим кризисом, одинаково ударившим по землевладельцам, фермерам, ремесленникам и социальным реформаторам. «Что касается министров, — замечал один член парламента, — они

полностью доказали свою неспособность к управлению. Никогда еще в обществе не царило столь единодушное убеждение в несостоятельности министров, как в настоящий момент; никогда столь общим не было чувство, что все сословия уповают на их отстранение, видя в этом свою единственную надежду».

Положение существенно осложнялось хроническим дефицитом зерна в результате неурожая. Очень немногие люди имели землю в собственности, и нехватка зерна означала вполне реальное всеобщее бедствие. Многие предприятия и промыслы были вынуждены закрыться. Евангелисты опасались, что Господь в порыве праведного гнева занес над страной Свою руку. Эдвард Ирвинг начал свое провидческое служение двумя годами ранее, и теперь многие считали его порицания и пророчества абсолютной истиной. Неужели следовало ожидать второго пришествия? Разговоры об апокалипсисе, ниспосланном свыше наказании и грядущем гневе Господнем не утихали. В 1822 году Джон Мартин написал картину «Разрушение Помпеи и Геркуланума», в 1834 году был опубликован роман Эдуарда Булвер-Литтона «Последние дни Помпей».

Парламент вел себя более практично и при-

земленно. К большой досаде землевладельцев и фермеров, со складов было отпущено полмиллиона кварт бондового зерна. Каннинг объявил об этой мере глубоко недовольной палате общин. «Я никогда не видел, — заметил один наблюдатель, Томас Криви, — ничего подобного той ярости, в которую речь Каннинга привела землевладельцев-вигов и землевладельцев-тори, хотя тори все же бесновались намного сильнее». Этот шаг был воспринят ни много ни мало как уничтожение Хлебных законов. Многие полагали, что свободный рынок зерна будет иметь и другие пагубные последствия, поскольку наступление на землевладельцев и фермеров еще на шаг приближало общество к всеобщей реформе, способной «привести к свержению существующей социальной и политической системы нашей страны». Уничтожение Хлебных законов подрывало унаследованную систему. Однако, по мнению реформаторов, поддержка Хлебных законов навсегда уничтожила бы свободу. Эти громкие заявления высказывались обеими сторонами вполне серьезно и воспринимались так же серьезно. Некоторые даже называли дефицит зерна прямым следствием свободной торговли и принятых нововведений. У Каннинга был на

это ответ. «Те, кто огульно противостоит всякому усовершенствованию по причине его новизны, — сказал он, — могут оказаться вынужденными в конце концов подчиниться нововведениям, которые нельзя назвать усовершенствованиями».

Несмотря на собственное возмущение и угрозу голода, землевладельцы не пытались возражать народным требованиям. Никто не хотел навлекать на себя гнев Божий. В небе искали знаки. О том, что Всевышний разгневан, снова заговорили, когда плохо организованная английская армия, собиравшаяся аннексировать процветающий регион Ашанти в Западной Африке, была разбита самими ашанти на берегу реки Адумансу и после сражения всех британских офицеров обезглавили. Новости из столь отдаленного региона с труднопроизносимым названием лишний раз свидетельствовали о могуществе Бога.

В июне 1826 года прошли выборы, но они практически не изменили расстановку сил, разве что слегка склонили чаши весов в пользу протестантского дела. Лорд Ливерпул еще какое-то время держался, но его силы постепенно угасали.

Следующий эпизод может претендовать на некоторое символическое значение. Герцог Йоркский, убежденный тори и наследник престола,

скончался от водянки в начале января 1827 года и был похоронен в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На затяжной церемонии похорон присутствовали герцог Веллингтон, епископ Линкольнский, герцог Монтроз, Джордж Каннинг и другие высокопоставленные лица. Ужасный холод и долгое стояние на каменном полу ледяной часовни не лучшим образом повлияли на некоторых из них. Епископ вскоре умер, Веллингтон и Каннинг серьезно заболели. Старую гвардию скосила холодная коса.

На фоне общего недовольства лорд Ливерпул наконец надумал умереть. Через шесть недель после того, как он проводил в могилу герцога Йоркского, у него случился критический приступ, однако он продержался еще восемнадцать месяцев, прежде чем окончательно отойти в мир иной. С его смертью война партий разгорелась с новой силой: после десяти с лишним лет притворной гармонии, злостных сплетен и произнесенных шепотом оскорблений стороны больше ничто не сдерживало. Место Ливерпула, разумеется, должен был занять Каннинг, но, после того как его назначили первым министром, шестеро его коллег по кабинету подали в отставку. Ему пришлось пригласить на осво-

бодившиеся места нескольких коллег-вигов (ходили слухи, что он сам наполовину виг). Палмерстон, в то время военный министр, встал на его сторону в споре против, как он сам называл это, «глупой старой партии тори». «Идет ли речь о католическом вопросе, — писал он, — о принципах торговли, о Хлебных законах, о рабстве в колониях… во всех этих и подобных этим вопросах правительство встречает поддержку со стороны вигов и сопротивление со стороны его самопровозглашенных друзей». Разве Каннинг не вступался за католиков, в отличие от Роберта Пиля, одного из ушедших в отставку министров? Некоторые издевательски замечали, что Пиль и его друзья теперь могут официально считаться «оппозицией его величества». Только Ливерпулу удавалось поддерживать в правительстве порядок, и, возможно, именно это и было самым веским подтверждением его способностей. С кем он втайне соглашался: с Пилем или с Каннингом? Этого так никто никогда и не узнал. Он был сдержанным, немногословным и загадочным. Заместитель министра внутренних дел считал, что «у Ливерпула было, пожалуй, меньше личных друзей и меньше способностей располагать к себе людей, чем у любого из когда-либо живших

министров».

Он жил в неспокойном и тревожном мире. В конце 1826 года лорд Холланд писал: «Политических партий больше нет. Принадлежность к вигам и тори, фокситам и питтитам, министрам и оппозиции перестала быть знаком различия. Теперь друг против друга встали классы и крупные интересы — те, кто выращивает зерно, и те, кто его употребляет, земли и фонды, ирландцы и англичане, католики и протестанты». Как заметил герцог Веллингтон, в этот период правительство было «практически бесполезным».

5
Дверь к переменам

Итак, Джордж Каннинг стал первым премьер-министром, пользовавшимся открытой поддержкой тех вигов, которых он пригласил в правительство. Многие не доверяли ему, но вряд ли существовала какая-то клика заговорщиков, стремившаяся его уничтожить. Люди, которые отказывались работать с ним, ссылаясь на то, что он поддерживает католиков, делали это вполне открыто. Уже в начале своего руководства он добился некоторых успехов, сумев разработать и принять государственный бюджет. Внешняя политика по-прежнему занимала все его мысли: ему приходилось вести переговоры с Грецией, Турцией, Испанией и Португалией, разбирая их разнообразные жалобы. «Я изрядно выдохся», — как-то сказал он коллеге-министру. Тогдашний министр иностранных дел лорд Дадли, видевший его чаще остальных, писал, что «никогда не слышал от него грубого, язвительного или хотя бы нетерпеливого слова. Он был быстрее молнии и до самого конца оставался жизнера-

достным и веселым…». Впрочем, по-своему прав был и скептически настроенный Уильям Хэзлитт, который описывал Каннинга как человека, обожавшего играть в политические игры и живо интересовавшегося казуистическими дилеммами и дипломатическими подтекстами. Он всегда был самым умным учеником в Итоне и по-прежнему блистал остроумием и непринужденным красноречием. «Истина, свобода, справедливость, человечность, война и мир, цивилизация и варварство не имели для него большого значения, — добавлял Хэзлитт, — если только не служили темой для его выступления». Зная о его красноречии и обаянии, можно предположить, что это утверждение имело под собой некоторые основания.

Подвела его, правда, не изменчивая тонкость чувств, а сама природа. Он сказал королю, что чувствует себя «совсем больным», и 8 августа 1827 года, проведя на своем посту сто дней, он умер так тихо, что окружающие не сразу это заметили. Он был одним из тех государственных деятелей XIX века, которых работа почти в буквальном смысле свела в могилу. За ним не стояло ни государственных учреждений, ни какой-либо партии — его поддерживали лишь друзья и ближайшие

родственники. Остальное довершило вино. Его враги за рубежом ликовали: репутация Каннинга внутри страны была, как и у Оливера Кромвеля, «лишь тенью той славы, которая гремела о нем за границей», где он был известен как гроза тиранов.

Разумеется, он оставил незавершенные важные дела: в последние часы жизни он постоянно возвращался мыслями к Португалии, хотя никто не понимал, что он имеет в виду. Надежды либеральных тори угасли вместе с ним. В частности, многим казалось, что дело католиков проиграно.

Преемником Каннинга стал, пожалуй, наименее известный из всех британских премьер-министров. Виконта Годрича называли «Годрич-добряк» и «Мямля»: при столкновении с любыми трудностями он совершенно терялся. Рассказывали, что, подавая королю прошение об отставке, он расплакался. Поддерживать баланс между вигами и тори было для него такой же непосильной задачей, как пройти вслед за Шарлем Блонденом по натянутому канату над Ниагарой. Он продержался на посту всего шесть месяцев и поставил примечательный для премьер-министра рекорд, умудрившись за все это время ни разу не показаться в парламенте. Он был чрезвычайно

тонкокожим и избегал любого внимания.

Нет никаких свидетельств в пользу того, что Годрич или его министры разделяли увлечение Каннинга внешней политикой, и лишь по чистому совпадению во время непродолжительного пребывания Годрича в должности министра британский флот одержал выдающуюся победу. Адмирал Кодрингтон в попытке поддержать Грецию в войне за независимость от Османской империи отправил турецкую эскадру на дно Наваринской бухты. Его союзниками в этом сражении были французский и русский флоты. Их согласованные действия не смогли в тот же час принести Греции независимость, однако победа стала предвестницей отделения Греции от Османской империи. По словам Меттерниха, это сражение «открыло новую эпоху» в европейской политике. Новые эпохи приходят и уходят, но герцог Веллингтон был не прочь сохранить Османскую империю в качестве противовеса России.

Одобрял ли Годрич военное предприятие в Наваринской бухте, не так важно. Он недостаточно долго продержался на своем посту, чтобы его мнение стало иметь какое-то значение. Хаскиссон говорил о новом премьер-министре, что «его

здоровье расстроено, сила духа подорвана, работоспособность и умение решать возникающие проблемы оставляют желать лучшего». Еще о нем говорили, что он так же тверд и непреклонен, как камыш. Он с большим облегчением подал в отставку. Он не имел ни склонности, ни способностей к высокому посту, поэтому устал от него быстро и бесповоротно.

Король, по-видимому сожалея о его назначении, теперь выбрал совершенно другого лидера — грозного герцога Веллингтона. (Здесь так и просится трюизм о том, что из хороших солдат не всегда получаются хорошие политики.) Веллингтон никогда не прислушивался к общественному мнению. Лучше всего он проявлял себя на поле боя. Чем была для него Португалия, как не местом, где одержано столько побед? Рассказывают, что после первой встречи кабинета в новом составе он заметил: «Поразительное дело. Я отдал им приказ, но они пожелали остаться и обсудить его». На стороне Веллингтона был Пиль, министр внутренних дел и лидер палаты общин, но он не смог уберечь кабинет от раскола. После первой встречи кабинета один из министров заметил, что они вели себя «с любезностью людей, только что дравшихся на дуэли». Лорд-канцлер предло-

жил не проводить заседаний после обеда: «Мы все слишком много пьем и невежливы друг с другом». Они встречались, спорили, не соглашались. Они ни о чем не могли договориться. Веллингтон был глубоко удручен тем, что, приняв пост первого министра, он больше не может быть главнокомандующим — соединение обеих должностей в одних руках имело подозрительный привкус военной тирании. Король уже жалел о том, что назначил его премьер-министром, и обвинял его в отсутствии гибкости. Появилась присказка: «Либо король Артур пойдет к дьяволу, либо король Георг вернется в Ганновер». (Веллингтона звали Артур.)

Сам Пиль резко отзывался о некоторых своих консервативных коллегах: «Их поддерживают, несомненно, самые верные и задушевные друзья, но эти верные друзья — преуспевающие сельские джентльмены, любители лисьей охоты и проч., и проч., — превосходнейшие люди, согласны уделить делу один-два вечера, но вряд ли готовы оставить свои любимые занятия, чтобы сидеть до двух или трех часов ночи, обсуждая вопрос в деталях…»

Пиль знал лучше, чем кто-либо в Вестминстере, что именно детали лежат в основе политики.

Администрация представляла собой в лучшем случае непрочную коалицию разрозненных интересов, представленных его сторонниками, бывшими сторонниками Каннинга и самого короля. «Я должен обходиться своими силами, — сказал Веллингтон своему коллеге, — и, если Господу будет угодно, несмотря на все мои страдания, мне удастся дать стране сильное правительство, и тогда я смогу с честью уйти в отставку». Что ж, даже самые благородные планы могут сорваться.

В это время произошло несколько удачных событий. Одним из самых важных среди них был успех вигов, сумевших весной 1828 года отменить Законы о присяге. Эти законы были приняты для того, чтобы исключить из правительства протестантских диссентеров. Ранее диссентерам разрешалось занимать государственные должности, только если они в определенные дни года принимали протестантское причастие. Теперь эти ограничения сняли, и государственные должности открылись для диссентеров наравне с приверженцами «установленной церкви». Это был еще один шаг по направлению к либерализации общества, но одно из его важнейших последствий — уничтожение ранее неразрывной связи Церкви и государства — стало очевидным

лишь по прошествии некоторого времени. Многие считали, что за этим шагом обязательно последует католическая эмансипация. Предчувствие этого мы различаем в предсмертных словах Артура в «Королевских идиллиях» Теннисона: «Уходит старое и уступает путь новому; так Бог устроил мир…»[8]

Отменить Законы о присяге предложил один из наиболее выдающихся вигов того времени. Лорд Джон Рассел происходил из старинной знатной семьи вигов. Рассел был щуплым и на вид хилым человеком, однако обладал силой воли и духа, изумлявшими его противников. Он был невысоким, сухопарым и чопорным, с пронзительным голосом, перешедшим от него по наследству к следующим поколениям семьи. Его поместье в Пемброк-лодж описывали как «скромное, непритязательное, чем-то напоминающее улитку, которая прячется в своей раковине, полная высоких принципов и религиозных чувств». Он был возвышенным и уязвимым. Виктория считала его импульсивным, неосмотрительным и тщеславным. По сравнению с тем, что она говорила о других политических лидерах, это был почти

[8] Примечания: 8
Перевод Г. Кружкова.

комплимент. Впрочем, один иностранец отмечал «его очевидную холодность и безразличие к тому, что говорят другие». Кроме этого, Рассел обладал еще одной характерной чертой виговской аристократии — бесстрастным умом. Природный шарм и высокомерие, типичные для представителя твердо стоящего на ногах виговского рода, сочетались в нем с остротой и живостью ума, которые помогали ориентироваться в парламентской неразберихе.

Тогда же, весной 1828 года, сторонники Каннинга, движимые досадой или, возможно, недопониманием, массово покинули кабинет Веллингтона. Это был весьма впечатляющий исход. Виконт Мельбурн, виконт Палмерстон и лорд Дадли Уорд одновременно сложили с себя полномочия. По словам Дэвида Сесила, дело было так:

> Все трое отправились повидать Хаскиссона, а затем, приказав своим кабриолетам медленно следовать за ними, двинулись в обратный путь в приятной тишине весеннего вечера, чтобы в последний раз обсудить дело. Уорд шел посередине. «Ну что же, — начал он, — теперь, когда мы одни на улице и нас не

слышит никто, кроме постового, скажите мне без обиняков, что делать дальше — уходить или оставаться?»

«Уходить», — сказал Палмерстон, и Уильям [Мельбурн] эхом повторил его слова… Бедный Уорд сделал последнюю попытку: «Все же есть что-то в том, чтобы стоять рядом с таким великим человеком, как герцог». — «Что касается меня, — невозмутимо возразил Уильям, — я не считаю его таким уж великим человеком. Но это дело вкуса».

На следующий день все трое ушли в отставку.

Итак, к вящему восторгу тори, Хаскиссон, Палмерстон и другие видные парламентарии ушли. Веллингтон так мало возражал против их ухода, что стало ясно: он с самого начала не слишком хотел видеть их рядом с собой. Их выбрали, потому что они оказывали успокаивающее действие на Каннинга, но они не были незаменимыми. Теперь, когда за главных остались Веллингтон и Пиль, перед тори распахнулись врата рая.

В июне 1828 года Дэниел О'Коннелл победил на дополнительных выборах в графстве Клэр. Он был реформатором, а не революционером, но под-

держивал любые меры, в перспективе ведущие к освобождению угнетенных народов. Однако он выступал против запугивания или агитации в Ирландии, считая, что свобода, полученная парламентским путем, надежнее и безопаснее, нежели освобождение посредством вооруженной борьбы. У О'Коннелла было три лица: одно, которое он открывал своим близким союзникам, другое, которое он позднее продемонстрировал палате общин, и третье, которое он показывал своему народу. В этом состояло его мастерство и сила как лидера. Для своего народа он был таким же уроженцем Ирландии, земляком с хорошо подвешенным языком, каких немало встречается среди завсегдатаев любого бара. В парламенте он говорил страстно и временами почти бессвязно. С друзьями он был любезным и даже вальяжным. Он мастерски умел менять настроение и образ.

Ему, как и многим другим, пришло в голову, что, хотя католики не могут сидеть в Вестминстере, ничто не мешает им баллотироваться на выборах. Он принял участие в дополнительных выборах от графства Клэр — и выиграл. Он не мог занять свое место в Вестминстере, поскольку он был католиком и не стал бы приносить служебную присягу. Что было делать? Если ему

откажут в месте на парламентской скамье, это может обернуться мятежом и даже гражданской войной в Ирландии, но если он займет это место, то же самое может произойти в Англии, где король цеплялся, как утопающий за соломинку, за свою коронационную клятву. Чтобы переубедить его, понадобился бы дворцовый переворот. Если добавить к этому рой пылких реформаторов и вечно недовольную протестантскую толпу, бродящую по улицам Лондона, дилемма становится слишком очевидной. Никаких всеобщих выборов быть не могло, поскольку католики, следуя примеру О'Коннелла, избрали бы отряд католических депутатов, которым нельзя было разрешить занять свои места. Если Католическая ассоциация окажется сильнее традиционных земельных интересов, зачем нужна протестантская конституция, которая рычит и раскидывает лапами землю, но ничего не может сделать?

Веллингтон и король часами беседовали об этом, и король часто плакал от горя и гнева. Веллингтон окончательно убедился в том, что католическая эмансипация — единственный целесообразный и практичный путь. Волнение короля все возрастало, и он, как раньше его отец, оказался на грани безумия. Симпатизировавшая

вигам леди Холланд слышала из надежных источников, что он был готов часами говорить на эту страшную тему «и каждый раз приходил в совершеннейшую ярость». Он угрожал удалиться в Ганновер и больше никогда не возвращаться в Англию. Он хвастал (или делал вид), будто сражался при Ватерлоо. После этого Веллингтон пришел к выводу, что король действительно сошел с ума. Веллингтон и Пиль знали, что игра окончена и что ирландцев больше нельзя не допускать в Вестминстер. Заламывая руки и вновь проливая слезы, 4 марта 1829 года король написал Веллингтону:

> Мой дорогой друг, поскольку страна не может оставаться без управления, я решил склонить свое мнение к тому, которое, по мнению кабинета, отвечает непосредственным интересам страны. В этих обстоятельствах вы можете, с моего согласия, действовать сообразно предложенным вами мерам. Одному Господу известно, с какой болью я пишу сейчас эти слова. GR.

Это должно было быть сделано. И это было сделано. Король мог играть в управлении страной

лишь незначительную роль.

Пиль представил Закон о католической эмансипации в марте 1829 года. Все знали, что это неизбежно: Пиль знал, что время католиков пришло, и Веллингтон тоже это знал. Пожалуй, теперь никакая сила на свете не могла их остановить. Визи-Фицджеральд, бывший противник Дэниела О'Коннелла в графстве Клэр, бил тревогу: «Я полагаю, их успех неизбежен — никакая сила на свете не может остановить их наступление. Может быть, вспыхнет восстание и вы осудите на смерть тысячи человек и подавите его, но это лишь отодвинет день неизбежного компромисса». К концу месяца закон прошел третье чтение и в апреле был принят палатой лордов с большинством в два голоса. «Артур [Веллингтон] — король Англии, — жаловался король, — О'Коннелл — король Ирландии, а я, вероятно, могу называть себя деканом Виндзорским». Король убедил себя, что за ним стоит почти вся страна. Многие думали, что двигателем либеральных перемен станет общественное мнение, но оно не отличалось устойчивостью и не имело единого голоса.

13 апреля билль получил одобрение короля, и католическая эмансипация вступила в силу. Приверженцы ранее гонимой религии отныне

могли занимать любые государственные должности в Соединенном Королевстве, за исключением должности лорда-канцлера Англии и лорда-наместника Ирландии. Не все прошло гладко. Устранение неправоспособности католиков повлекло за собой резкое увеличение количества имеющих право голоса мелких землевладельцев в ирландских графствах. Имущественный ценз повысили с 40 шиллингов до 10 фунтов стерлингов. Двести тысяч избирателей лишились права голоса. Католическая ассоциация, из которой вышел Дэниел О'Коннелл, прекратила свое существование. Однако иезуитам запретили наставлять новообращенных в надежде, что влияние черных ряс само собой сойдет на нет.

Тем не менее можно было утверждать, что трехсотлетнему англиканскому господству пришел конец. Религия неуклонно отходила на задний план, и духовенство англиканской церкви примерило на себя профессиональную роль, переняв светские привычки и манеры юристов и представителей других профессий. Увеличилось количество дипломированных священнослужителей, а церковная власть перешла к Судебному комитету Тайного совета.

В процессе партия тори, изначально представ-

лявшая собой антикатолический союз, сильно сократилась: до последнего сражались 173 члена палаты общин и сотня из палаты лордов. Впрочем, это был еще не конец. Дверь к переменам распахнулась, и вдалеке виднелась перспектива избирательной реформы и отмены Хлебных законов. Пиля и Веллингтона считали предателями. Вдовствующая герцогиня Ричмонд, убежденная, что Веллингтон «сбежал» от протестантов, словно крыса с тонущего корабля, заполнила свою гостиную чучелами крыс с именами министров. Веллингтон, умудренный жизненным опытом, считал, что суматоха вокруг католиков не стоит выеденного яйца, если они джентльмены. Словно повинуясь трубному гласу, шесть католических пэров впервые вошли в палату лордов. Дело было уже не только в партии, вигах или тори, — они добавили свои голоса к многочисленному хору, в котором каждый по-своему реагировал на злободневные вопросы. Политический обозреватель Чарльз Гревилл заметил: «Если у правительства нет оппонентов, у него не может быть и массы сторонников, на которых оно могло бы опереться». Чтобы еще усложнить картину, добавим: об администрации Веллингтона говорили, что это «правительство тори, придерживающихся

виговских взглядов».

Эта неопределенность взглядов отчасти объясняет, почему Роберту Пилю в бытность министром внутренних дел удалось протолкнуть так много новых законов. В 1829 году он разработал законопроект об усовершенствовании столичной полиции, который в другое время вызвал бы массу вопросов. Ранее предполагалось, что за порядком в городе с населением более миллиона человек должны следить 350 полицейских. «Подумайте о том, что творится в Брентфорде и Дептфорде, где по ночам нет никакой полиции! — сказал Пиль Веллингтону. — Я думаю, мне не стоит утомлять вас дальнейшими объяснениями. Этому необходимо положить конец». Он организовал в высшей степени эффективный полицейский корпус из 2000 человек, разбитых на несколько дивизий под надзором двух магистратов, или полицейских комиссаров. Осенью 1829 года «пилеры», или «бобби», как их называли в честь их создателя, с дубинками и в цилиндрах на железном каркасе начали патрулировать свои участки. Нельзя сказать, что они пользовались большой популярностью, — многие подозревали, что они следят за бедными людьми, чтобы защитить собственность богатых. Когда одному

человеку предъявили обвинение в убийстве полицейского во время беспорядков, присяжные оправдали его с формулировкой «обоснованное человекоубийство». Этот год принес много безумства и ажиотажа, и Пиль воспользовался открывшейся возможностью, чтобы заложить основы совершенно нового общества.

Мысль о регулярных полицейских силах была встречена с ужасом как посягательство на свободу личности. Если на вас напали, разве дело нельзя было решить шпагой или пистолетом? А если происходил несчастный случай, неизменно бдительная толпа тут же поднимала крик и шум. Неужели этого недостаточно? «Что? Англия ли это, страна мужественных сердец? — восклицал Коббет. — Не она ли смеялась над французами с их покорностью?» Но остановить утилитаристов, евангелистов и все прочие не терпящие возражений силы того времени было невозможно. В стране происходило слишком много беспорядков, и это требовало усиленных мер безопасности.

Проблемы католиков затмил продовольственный кризис. Торговцы, фабриканты, фермеры, рабочие — все по-прежнему ощущали на себе тяжелые последствия «нелегких времен», впервые заявивших о себе в 1826 году. Член парламента

от Кента сообщал, что все фермеры в его графстве неплатежеспособны. Шелкопрядильщики Сомерсета были вынуждены жить на полкроны в неделю, которых с трудом хватало на соль и картофель. В марте беспорядки вспыхнули в Лондоне, вслед за этим в Манчестере, Эштон-андер-Лайне и других местах. В Стокпорте был зачитан Закон о массовых беспорядках. Пилю предстояло решить, в какой момент обдуманный нейтралитет правительства перейдет в вооруженное вмешательство. В 1830 году для продвижения социальных и политических реформ были созданы Манчестерский политический союз и Столичный политический союз. Забастовки, митинги за избирательную реформу и политическая активность представителей различных профессий не ослабевали в течение следующих двух лет. В конце года Томас Эттвуд учредил Политический союз Бирмингема и провел крупнейшее в истории собрание в закрытом помещении. В свете всего сказанного неудивительно, что имущие классы постепенно начали ощущать себя осажденными.

6
Ложные надежды

В 1830 году забастовки достигли апогея, и многие из них были направлены против штрейкбрехеров — негодяев, упорно продолжавших выходить на работу. Одна профсоюзная газета, Union Pilot and Co-operative Intelligencer, весной того года предупреждала рабочих: «Совершенствование механизмов скоро позволит полностью обходиться без вас». Возникло множество профсоюзов: Большой национальный союз, Гончарный профсоюз, Большой национальный объединенный профсоюз и Профсоюз строительных рабочих. «История этих профсоюзов, — писал Фридрих Энгельс, — есть длинная череда поражений трудящихся, перемежаемых редкими победами». Тем самым он хотел сказать, что законы экономики — или, возможно, законы капитализма — незыблемы.

Зрители, наблюдавшие за борьбой вокруг католической эмансипации, заметили в ней несколько повторяющихся особенностей. Например, оказалось, что всего два или три члена кабинета

министров могли убеждением или уговорами склонить монарха к предложениям, которые он сам считал глубоко предосудительными. И что у тех же двух или трех членов кабинета иногда оказывалось достаточно сил, чтобы повлиять на палату общин и палату лордов своими доводами, угрозами или взятками. И что страна в целом не слишком обеспокоена тем, каким образом ее лидеры осуществляют конституционные права. Возможно, великанов и чудовищ традиционной политической повестки попросту не существовало. Возможно, люди боялись собственной тени. Ни одна собака не залаяла, когда католикам и диссентерам предоставили гражданские свободы. Это была уже не та страна, в которой пятьдесят лет назад разгорелся антикатолический бунт лорда Гордона.

Высказывалось предположение, что средние классы в тот период были слишком озабочены своим социальным и финансовым благополучием, чтобы обращать внимание на религиозные разногласия. В конце концов, и католики, и диссентеры могли надеяться стать джентльменами. Анонимная статья, появившаяся в Quarterly Review в январе 1830 года, перечислила основные черты идущего в гору среднего класса. В

статье утверждалось, что эти люди «решительно и осознанно связывают себя с партией, которая носит название тори, но которую скорее следовало бы назвать консервативной партией. К этой партии, по нашему мнению, принадлежит наиболее обширная, состоятельная, разумная и респектабельная доля населения этой страны, без поддержки которой любому сформированному правительству будет недоставать твердости и стабильности».

Слово «консервативный» быстро стало популярным. И, в силу каких-то загадочных сингулярных, нумерологических или хронологических причин, именно в этом году ранее разобщенные виги начали консолидироваться и вырабатывать согласованную платформу партийной политики.

Сельской бедноте повезло меньше. Единственной переменой, которая ее интересовала (не считая скорейшего уничтожения фермеров и землевладельцев), было увеличение количества монет в карманах их залатанных штанов. Слой бедняков состоял в основном из безработных сельскохозяйственных рабочих, наводнивших английскую деревню после окончания Наполеоновских войн. Оставшуюся часть составляли фабричные рабочие, лишившиеся заработков из-

за резких колебаний занятости на мануфактурах. В 1830 году, когда формировались зачаточные рабочие объединения, сельские работники организовали фиктивную группу «капитан Свинг» — этим именем они подписывали свои воззвания. Летом 1830 года в Восточном Кенте было совершено несколько нападений на молотилки, а к октябрю была уничтожена сотня молотилок вместе с другими атрибутами сельской тирании — амбарами для сбора десятины и старыми работными домами. Поджигатели стогов в буквальном смысле держали в руках огонь. Они протестовали против десятины и огораживания, Закона об охоте и Закона о бедных и всех остальных причин сельских бедствий и нищеты. За год было совершено более тысячи актов насилия.

Бунт Свинга не был общенациональным скоординированным движением: его очаги вспыхивали везде, где местные претензии обострялись из-за нехватки средств существования. Шотландский адвокат и издатель Фрэнсис Джеффри писал: «Настоящая битва идет не между вигами и тори, либералами и нелибералами и прочими категориями джентльменов, а между собственностью и отсутствием собственности, между Свингом и законом». Другой известный виг, граф Грей,

писал в феврале 1830 года: «Всякое уважение к положению и авторитету полностью утрачено — личность любого общественного деятеля может быть выставлена на осмеяние…»

Король Георг IV находился в ужасном состоянии, он буквально «разваливался на части». Его реакция на католическую эмансипацию, его истерические выходки, обильные слезы, периоды прострации, вспыльчивость и привычка бесстыдно передразнивать приближенных министров отнюдь не располагали к королю Веллингтона и его коллег по кабинету. Свои последние дни король провел в изменчивом настроении — он то впадал в полузабытье, то, подкрепив себя настойкой опия, черри-бренди или другим кордиалом, становился безудержно болтливым. Король начал свой медленный, но бесповоротный спуск в могилу, и молчаливое желание народа состояло в том, чтобы этот путь завершился поскорее. «Боже мой, да это же смерть!» — сказал он одному придворному, как будто встречая долгожданного гостя. Да, это была она. Никто его не оплакивал. Никому не было до него дела.

Его преемником стал Вильгельм IV по прозвищу «Король-моряк», имевший очевидно благие намерения, но не слишком изящные манеры.

«Посмотрите на этого идиота, — говорил о нем Георг IV. — Они еще вспомнят меня, если он когда-нибудь окажется на моем месте». (Но, разумеется, о нем никто не вспомнил.) Голова нового короля напоминала формой ананас, но ее содержимое было вполне дельным. Его называли Королем-моряком, потому что он некоторое время занимал пост лорда-адмирала. Судя по некоторым намекам, он был кем-то вроде вига. «Повсеместно распространено впечатление, — писал Чарльз Гревилл в своем знаменитом дневнике, — что король не совсем в своем уме, и, смею сказать, в этом есть некая доля правды. Он крайне вспыльчив и в гневе ведет себя совершенно непристойно». Впрочем, то же самое говорили почти обо всех правителях со времен первого Вильгельма, — вероятно, таковы издержки профессии.

Однако четвертый Вильгельм держался со всеми снисходительно и едва ли не фамильярно. Один современник описывал его как «маленького, красноносого, потрепанного, веселого старичка с неловкими и нелепыми манерами». Он в одиночку ходил по улицам и собирал вокруг себя огромные толпы. Выезжая верхом на лошади, он часто спрашивал кого-нибудь из жителей Лондона, не нужно ли их «подвезти». Мельбурн

отмечал, что «в нем нет джентльменского духа; он знает, что это такое, но не обладает им».

После смерти короля требовалось провести новые выборы, но единственный вопрос, по-видимому, заключался в том, поддержит ли Вильгельм Веллингтона и его консерваторов или обратит внимание на графа Грея и вигов. Кампания началась 23 июля, но почти сразу в нее неожиданно добавили перца известия о новой революции в Париже. Остается только догадываться, сколько англичан знало о событиях по ту сторону Ла-Манша, но, несомненно, бурные выступления «капитана Свинга» были как-то связаны с июльскими событиями в Париже, когда режим Карла X уступил место конституционной монархии Луи Филиппа. Буржуазия изгнала аристократов почти без кровопролития, но многие в Англии всерьез опасались за конституционное равновесие своей страны.

На деле оказалось, что выборы 1830 года ничего не решили, однако они выдвинули на первый план все те проблемы сельскохозяйственной и избирательной реформы, над которыми бился прошлый кабинет министров. Бунтов Свинга оказалось достаточно, чтобы посеять панику среди землевладельцев. Они хотели мира практически

любой ценой, и требования политической реформы становились все более настойчивыми.

Однако тори не могли этого гарантировать. Их партия давно находилась в состоянии близком к разложению, и уже несколько лет они не могли прийти к единому мнению по вопросам Хлебных законов и католической эмансипации. Среди них были ультратори, либеральные тори и просто тори, а также множество еще более мелких течений и подгрупп. Конечно, подобная картина характерна для всех политических партий, но большая удача, как и большое несчастье, одинаково способны углубить раскол и усилить разногласия. В дебатах после открытия нового парламента граф Грей выступил с речью, в которой заявил о настоятельной необходимости реформировать парламент. Герцог Веллингтон поднялся, чтобы ответить ему, и в своей речи, продемонстрировавшей абсолютно неверное понимание настроений в стране, сообщил, что не имел и не имеет ни малейшего намерения проводить парламентскую реформу. Кроме того, он сказал: «И я прямо заявляю — пока я занимаю какое-то место в правительстве страны, я всегда буду считать своим долгом сопротивляться подобным мерам, предложенным другими». Его

речь была встречена протестующим ропотом. Сев на свое место, герцог спросил коллегу, что происходит: «Я ведь не сказал ничего лишнего?» — «Мы скоро узнаем», — ответил лорд Абердин.

На следующее утро акции упали, а к вечеру члены парламента один за другим высказались против Веллингтона. Всем было совершенно ясно: диктатор отрекся от реформы. Вскоре возникли опасения, что радикалы (кто бы это ни был в нынешних обстоятельствах) собираются устроить беспорядки на улицах Лондона. Страх перед нестабильностью усиливался на фоне слухов о возможном гражданском восстании и свержении правительства и монархии, как это недавно произошло во Франции. По городу распространялись листовки: «К оружию! К оружию! Свобода или смерть!» Авторов этих воззваний можно было бы обвинить не только в подрывной деятельности, но и в плагиате. Однако у населения было больше здравого смысла, чем у подстрекателей, и толпы на улицах города сохраняли благодушное настроение. День закончился без единого ружейного выстрела. Несколько вялых попыток бунта в Бекингемшире, Хэмпшире, Уилтшире и Беркшире быстро пресекли лорды-наместники округов.

Несколько лет спустя герцог Веллингтон

вспоминал об этом так. «Я убедил, — писал он, — магистратов сесть на лошадей, возглавив отряды из своих слуг и челяди, конюхов, псарей и егерей, вооружить их хлыстами, пистолетами, охотничьими ружьями и прочим, что удастся достать, и атаковать при необходимости сообща или поодиночке эти толпы, рассеять их и уничтожить, а тех, кто не успеет бежать, захватить и препроводить в тюрьму». Защита королевства по-прежнему осуществлялась почти средневековыми методами.

Опрометчивая речь Веллингтона стала причиной его падения. Положение усугубил еще один эпизод, воспринятый публикой как проявление трусости. Король должен был присутствовать на городском банкете в День лорд-мэра. Администрация отказалась разрешить это. При этом она больше боялась покушения не на короля, а на герцога. Палата общин традиционно пришла в бурное возмущение по поводу малодушия кабинета министров. Враждебность вызывало и присутствие новой полиции — чересчур французское для английского вкуса нововведение, противоречившее принципам личной свободы. Веллингтон больше не мог распоряжаться большинством даже в собственной партии, не говоря уже о палате общин. После голосования, в кото-

ром многие высказались против его дальнейшего пребывания на посту, он подал новому королю прошение об отставке, и Вильгельм IV призвал графа Грея возглавить новую виговскую администрацию. Веллингтон пробыл премьер-министром около трех лет. Эти годы были наполнены невзгодами и недоразумениями, и о его уходе никто не сожалел. Теперь герцога сменил граф, убежденный виг, сегодня больше известный как чай, а не как человек. Грей отличался аристократической невозмутимостью, а его высокий лоб намекал на возвышенность мыслей. Он любил «народ» в абстрактном смысле, но предпочитал любить его на расстоянии. Его выступления в парламенте были такими же продуманными и полными достоинства, как и его поведение. Присоединившись к парламенту в возрасте двадцати трех лет, он почти сразу приобрел вид и манеры заслуженного государственного деятеля.

Виговский кабинет Грея был самым аристократическим собранием начиная с XVIII века. В компании из тринадцати министров нашлось место лишь для троих простолюдинов. Палмерстон, как ирландский пэр, также заседал в палате общин, но его вряд ли можно назвать простолюдином. О демократии не шло никакой речи.

И все же мысли министров постоянно возвращались к избирательной реформе. По словам одного коллеги, Грей был «глубоко удручен» тем, что ему пришлось стать первым министром, и постоянно жаловался на это. Не в последнюю очередь его тяготила дилемма избирательной реформы. В прошлом он часто давал понять, что с благожелательным интересом относится к этому вопросу, но его вряд ли можно было назвать демократом. Он ставил перед собой цель поддержать аристократию и с помощью некоторых поправок укрепить ее власть. Он считал, что надлежащим образом проведенная реформа «пробудит реальный потенциал высшей аристократии… и я признаю, что выбрал бы аристократа, поскольку этот класс служит гарантией безопасности государства и престола». Он возрождал старинный образ вигов как аристократов, направляющих и контролирующих ход реформ. Позднее Дизраэли вполне справедливо описывал убежденного вига как «демократического аристократа», даже если он сам, по собственному признанию, не понимал, что это значит. Кабинет при Грее представлял собой обширную коалицию противоречивых интересов. Среди министров был один тори — герцог Ричмонд. В остальном новые министры

решительно вытеснили партию тори, до этого остававшуюся у власти почти шестьдесят лет. Как гласила тогдашняя поговорка, все любят лордов.

Для изучения животрепещущего вопроса избирательной реформы был создан комитет. Грей и его коллеги считали, что необходимо выработать «окончательное решение этого обширного и важного вопроса, с тем чтобы его обсуждение более не зависело от домыслов отколовшихся и недовольных, а мудрые и всеобъемлющие положения этого решения вселяли во все слои общества уверенность в том, что их права и привилегии наконец должным образом защищены и закреплены…». При этом никто не обращался к народу. Ни слова не прозвучало о свободе и равенстве, не говоря уже о братстве. Вовсе не эти вопросы заботили членов комитета. Их главной целью было сохранение единства и гармонии в стране и — в особенности — защита прав собственности землевладельцев-джентри. Слова «окончательное решение» могли означать только то, что виги собираются остаться у власти на неопределенный срок. Включая в свои рассуждения респектабельных земельных собственников, комитет надеялся добиться некоторого примирения между землевладельцами и средним классом,

чтобы и те и другие могли беспрепятственно распоряжаться в своих владениях. В январе 1831 года Грей написал своему коллеге: «Я еду завтра в Брайтон, чтобы представить нашу просьбу о реформе. Это сильная и действенная мера. Если король согласится на это, я думаю, общественное мнение нас поддержит. Если не согласится — кто знает, что будет дальше?» Его опасения оказались напрасными. Король целиком и полностью одобрил проект реформы.

По крайней мере, король так говорил. Он не хотел возражать или спорить со своим новым первым министром. Он умел чувствовать так называемый дух времени. Несмотря на то что социально-экономическое положение страны значительно изменилось, политическая система оставалась прежней. Применительно к ней обычно употребляли такие эпитеты, как «парализованная» и «загнивающая». Корнуолл присылал в парламент 44 представителя, а Лидс, Бирмингем и Манчестер — ни одного. Из местечка Олд-Сарум прибывали два депутата, выдвинутые семью избирателями, — на самом деле их голоса были привязаны к пустым полям, поскольку выборы контролировал местный землевладелец. Список нелепостей был огромен. В

пользу реформаторов говорило все, кроме одного решающего аргумента. Несмотря на все свои несуразности и недостатки, система работала. Как сказал король Палмерстону, ныне новому министру иностранных дел, она поддерживала «спокойствие государства, мир и процветание страны». Перемены могли иметь ужасающие последствия. На смену великим деятелям, заседавшим в парламенте прежде, придут бесконечные шеренги посредственностей, которых будут контролировать избиратели. Интересы крупных землевладельцев будут отодвинуты на задний план новым классом горожан и торговцев, не имеющих традиционных связей с землей. И это будет только началом преображения страны. Вся Англия станет похожа на Лондон, которым правят толпы и демонстрации.

Одним словом, обсуждение Закона об избирательной реформе проходило в обстановке сильного волнения. Вечером 1 марта 1831 года лидер палаты общин лорд Джон Рассел начал зачитывать подробности своего предложения. Многие из присутствующих ожидали, что распущены или переформированы будут около 20–30 избирательных округов. Рассел решил упразднить 56 «гнилых местечек», каждое из которых

присылало в парламент по два представителя. Еще 30 избирательных округов лишились одного из своих представителей. Освободившиеся 143 места передавались графствам и новым городам. Поднявшаяся буря возмущения полностью соответствовала размаху самого законопроекта, представлявшего собой наиболее радикальное изменение избирательной системы за всю историю Англии. Как минимум 102 парламентских места прекращали существование. Вместо них представительство получали другие места, которые только предстояло определить.

Этот грандиозный план вызвал у тори приступ истерического смеха. В него просто невозможно было поверить. Лорд Маколей писал своему знакомому: «Такой сцены, какая разыгралась в прошлый вторник, я никогда не видел и не думаю, что еще когда-нибудь смогу увидеть… Это было все равно что наблюдать своими глазами, как на Цезаря нападают с кинжалами в здании Сената или как Оливер Кромвель берет со стола жезл». Далее он описал, как палата общин в чрезвычайном нетерпении ожидала итогового подсчета голосов и как «Чарльз Вуд, стоявший у двери, вскочил на скамейку и закричал: “Их всего триста и один”. Мы подняли такой крик,

что нас, наверное, было слышно до Чаринг-Кросса, размахивали шляпами, топали ногами и что было сил хлопали в ладоши». Что касается тех, кто выступал против реформы: «У Пиля отвисла челюсть, Твисс стал похож лицом на грешника, осужденного на вечные муки, а Херрис выглядел как Иуда, накидывающий петлю себе на шею». Новость переходила из одного клуба в другой и вскоре распространилась по всему Вестминстеру и его окрестностям. Повсюду звучали крики: «Мы победили!», «Зверь загнан!», «С ними покончено!».

Однако билль прошел с перевесом всего в один голос, что было немногим лучше поражения. Грей собирался распустить парламент, несомненно ради того, чтобы затем добиться более внушительной поддержки реформы. Оппозиция решительно стремилась избежать этого ужасного, по ее мнению, события и красноречиво противилась любым поползновениям к роспуску. Король, в свою очередь, счел это заговором против собственной прерогативы и приехал в Вестминстер с твердым намерением распустить парламент. Дело было сделано.

Следующие выборы 1831 года вошли в историю как «сухие выборы», поскольку впервые

избирателей не нужно было подкупать, чтобы заполучить голос. Рассказ Диккенса о выборах в Итенсуилле в «Записках Пиквикского клуба» (опубликованы в 1836 году, действие происходит в 1827 году) служит едким напоминанием о той атмосфере взяточничества и пьянства, которая обычно окружала процесс выборов. Избирателей непрерывно поили и не выпускали из трактира до тех пор, пока не приходило время голосовать. Грей распустил парламент и инициировал всеобщие выборы под неофициальным лозунгом «Билль, полный билль, и ничего, кроме билля». В стороне не остался никто, кроме самых робких. Пожалуй, это было самое близкое к референдуму событие, которое когда-либо знала Англия. В честь него весь Лондон украсился «иллюминацией» — иносказательное выражение, обозначающее разгул произвола и уличного шантажа: в действительности тем, кто не ставил на видное место зажженную свечу, выбивали окна. О перемещениях толпы можно было догадаться по тянущемуся за ней следу из битого стекла.

Собрание Национальной ассоциации в пользу реформы в трактире «Корона» на Музеум-стрит провозгласило: «Зло, неотъемлемо присущее дурному руководству, слишком долго и жестоко

тяготило людей, и спокойно терпеть это более невозможно, поэтому мы прежде всего обратим свои усилия на то, чтобы положить конец системе, действия которой принесли людям столько несчастий». Герцог Веллингтон считал, что началась революция, и видел впереди только гражданскую войну и кровопролитие. К тому времени это стало банальностью, имеющей к реальности не больше отношения, чем дурной сон, но ее продолжали повторять. На деле кабинет графа Грея вернулся, получив дополнительную поддержку из 136 голосов. Сами виги были удивлены масштабом поддержки реформы и даже отчасти встревожены глубиной общественных симпатий, которые им удалось пробудить.

Дебаты по второму Закону о реформе начались летом, когда Темза медленно катила близ Вестминстера свои зловонные воды. Казалось, с наступлением жары все вокруг начало гнить и разлагаться. Отовсюду несло коррупцией. Второй Закон о реформе был принят в июне 1831 года большинством в 136 голосов. Однако противники реформы решительно сопротивлялись и добились успеха, поскольку в стане сторонников начались споры и разногласия. Силы Рассела начали ослабевать, и он был вынужден уступить

свое место виконту Олторпу, но и тот, несмотря на свою природную стойкость, через некоторое время не выдержал нагрузки. Билль дошел до палаты лордов только в сентябре. В начале октября пэры отвергли его большинством в 41 голос. Следом наступила расплата. Chronicle и Sun вышли в черной траурной рамке, но в Chronicle объявили, что «торжество нечестивых не будет длиться вечно». Ноттингемский замок подожгли в нескольких местах, а на собрании в Бирмингеме 150 000 человек поклялись не платить налоги до тех пор, пока Закон о реформе не вступит в силу. Фрэнсис Плейс, радикальный сторонник реформы, выступил с речью, в которой заявил: «Никакая реальность, которую мы можем создать, не будет достаточной для наших целей. Мы должны подыгрывать воображению графа Грея. Мы должны притвориться, что сами напуганы».

В Бристоле развернулись массовые беспорядки, и впервые с XVII века в некоторых загородных усадьбах для обороны выставили пушки. Магистраты предупредили, что ни один мятежник или демонстрант не должен погибнуть: если это случится, виновных ждет суровый суд. Никто не хотел брать на себя ответственность за еще одно Петерлоо. Епископов освистывали на улицах, и

они боялись выходить по делам своей епархии. Коббет сообщал: «Каждый встречный, казалось, с головы до ног трепетал от ярости… Призывы к республике раздавались со всех сторон». Вслед за Политическим союзом Томаса Эттвуда в Бирмингеме возникли другие такие же общества, и дошло даже до того, что в Лондоне появился объединенный Национальный политический союз, ставивший своей целью распространение избирательного права на нижний средний класс и рабочих. Власти восприняли это как угрозу закону и порядку и пытались (по большей части тщетно) пресечь деятельность союзов.

Разлад в политической жизни усугублялся телесными недугами населения. Осенью 1831 года по городу начала распространяться холера. Врач Джон Хогг писал: «Болезнь обычно начинается с безболезненного расслабления кишечника и опорожнения бесцветным веществом». Затем следовали болезненные спазмы кишечника и диарея, состояние больного быстро ухудшалось, он «испытывал мучительные боли и полный упадок сил». О приближении смерти возвещало посинение или побагровение тела, системы организма прекращали работу, за исключением «периодического выведения жидкости, похожей

на шоколад». К счастью, смерть наступала в течение 36 часов. Эпидемия усиливалась. Летом 1832 года в Ламбете вывесили плакат, вопрошавший:

> Неужто разгневанную СМЕРТЬ пригласили Комиссары Общественных Коллекторов на поселение в Ламбете? В этом чумном мегаполисе, позоре государства, на главных улицах до сих пор нет общей канализации… И если в ближайшее время не будут приняты меры, чтобы успокоить растущее недовольство людей, карательное правосудие начнет вершить свою целительную месть посредством фонаря и петли.

Политический огонь продолжал гореть на фоне болезней и смертей. Несмотря на провокационные заявления недовольных, правительство могло спать спокойно: тяжелобольные и деморализованные люди не начинают революций. Вместо этого жертвы нередко обращались к так называемому лечению холодной водой и прыгали с моста Ватерлоо.

Первый и второй закон о реформе натолкнулись на сопротивление палаты лордов, но в конце 1831 года и в начале следующего го-

да была предпринята третья попытка. Лорды, опасаясь общественных беспорядков и угрозы своим привилегиям, приняли билль 14 апреля 1832 года. Через три недели они провели к нему враждебную поправку, и принятие закона опять сорвалось. Затевать опасные игры с населением было неразумно. Герцога Веллингтона снова попросили сформировать правительство с явной целью провести более умеренную реформу. Страна ополчилась против него. Люди угрожали изъять вклады из Банка Англии под девизом: «Чтобы остановить герцога, забирайте золото». Впрочем, этого не потребовалось. В этих беспрецедентных обстоятельствах Веллингтон не мог сформировать правительство.

Король не находил себе места в своих покоях. Никакие ухищрения и комбинации, в том числе приглашение Веллингтона, не действовали. Оставался только один выход: заполнить палату лордов таким количеством послушных пэров, которое позволило бы наконец принять Закон о реформе. Король изнемогал, плакал и молился, но знал, что это конец. В итоге он написал записку: «В случае возникновения любого препятствия при дальнейшем продвижении билля Его Величество передает графу Грею право назначать

пэров в количестве, необходимом для того, чтобы билль был принят». Этого оказалось достаточно. Угроза возымела действие. Собственный статус беспокоил пэров гораздо больше, чем право голоса для нижестоящих. Большинство из них теперь приготовились воздержаться от голосования за реформу, что позволило бы избежать назначения новых пэров. Сколько их должно было появиться: сорок? Пятьдесят? Это было немыслимо. Этого не должно было случиться. 4 июня 1832 года закон о реформе прошел третье чтение.

Ранее считалось, что новые обстоятельства способствовали более активному участию народа в избирательном процессе и что средний класс смог побороть интересы высших классов. Факты говорят об обратном. «Старая фирма» все так же существовала. Все коррупционные схемы по-прежнему действовали, хотя теперь, возможно, не так явно. «Карманные местечки», которыми управлял один вельможа или одна семья, никуда не делись. Садбери и Сент-Олбанс по-прежнему были доступны любому, кто предложит более высокую цену. Пэры и землевладельцы продолжали пользоваться необыкновенным и незаслуженным влиянием на выборах. Открытые войны между партиями воспринимались как должное.

Без тайного голосования, которое было введено позднее в XIX веке, избирателей можно было «обрабатывать» и подкупать любыми способами.

Система голосования не претерпела существенных изменений: к имеющимся 435 000 избирателей добавилось еще 217 000 человек. Число сыновей пэров и баронетов в палате общин медленно сокращалось, но за 35 лет крупные землевладельцы потеряли только сотню представителей. В первый реформированный парламент избрали несколько радикалов, но они затерялись на фоне традиционных влиятельных групп. Джон Стюарт Милль писал другу в 1833 году: «Наша Жиронда — это иллюзия… У нас нет лидеров, а без лидеров не может быть организации. Среди радикалов нет ни одного человека, имеющего способности к руководству». Жирондой называлась группа из двенадцати французских республиканцев, но здесь не было революции. В «Размышлениях о представительном правительстве» (Considerations on Representative Government; 1861) Милль пришел к выводу, что реформа никак не изменила характер представительства и не смогла освободить место для каких-либо меньшинств из общей массы населения. По сути, реформа позволила сохранить

существующий общественный строй, при этом удовлетворив претензии части городских жителей и радикальных энтузиастов. Предложения не предусматривали избирательного права для всех взрослых мужчин или ежегодного созыва парламента, что когда-то было ключевым требованием радикалов. Грей представил реформу как возвращение к издревле существовавшему (точнее сказать, вымышленному) укладу. Корона, крупные землевладельцы, средний класс и народ должны были сложиться в единое целое, как политический кубик Рубика.

Так или иначе, одни приняли реформу за неимением ничего лучшего, другие — в ожидании дальнейших нововведений. Выяснилось, что крупные землевладельцы теперь могут отстаивать свои интересы, объединившись с верхушкой среднего класса и преуспевающей городской элитой. Возможно, это смутило тори, но это вполне устраивало вигов, которые теперь могли привлечь больше заинтересованных сторон, чтобы удержаться у власти. Однако реформа не принесла ничего нового рабочему классу и низшим слоям среднего класса. Они остались абсолютно в том же положении. Если они не имели в своем распоряжении домовладения расчетной стоимо-

стью 10 фунтов стерлингов в год (на правах если не собственности, то хотя бы аренды), они лишались права голоса. Пролетариат (воспользуемся этим анахроничным определением) оставался полностью за рамками этой системы. Реформа не имела никакого отношения к демократии. Демократия оставалась непонятным и ненужным явлением. Главным мотивом реформы был не принцип, а целесообразность: она устранила некоторые старые злоупотребления, но оставила другие искажения и неувязки. Возможно, аристократы испытали от этого некоторые неудобства (хотя и это сомнительно), но радикалы и реформаторы в действительности получили крайне мало. Грей стремился всего лишь бросить голодному крошку хлеба, чтобы не доводить до восстания. Согласно его расчетам, в каких-либо дальнейших улучшениях не было необходимости.

И все же этот закон мог послужить толчком к более серьезным изменениям. Джон Брайт, один из видных радикалов, сказал: «Это был плохой закон, но, когда его приняли, он стал великим законом». Иными словами, его величие заключалось именно в том, что его все-таки приняли. Никогда еще в английском парламенте не предлагали и не принимали подобной меры,

и это полностью опровергало теорию Эдмунда Бёрка о том, что избирательную систему можно изменить только органичными интуитивными методами. В Законе о реформе 1832 года не было ничего органичного или интуитивного. Его разработали люди, заботившиеся о сохранении собственной касты и укреплении государственной стабильности.

В процессе раскрылись и другие аспекты политического уклада. Стало ясно, что при любом столкновении между народом и лордами последним придется уступить. Состоятельный средний класс также сыграл свою роль, что само по себе ознаменовало важные изменения в английской системе государственного управления. Грей мог с полным правом гордиться своим наконец состоявшимся триумфом: если бы дело дошло до назначения новых пэров, король был бы вынужден совершить шаг, вызывавший у него глубокое отвращение. Выбирать было не из кого.

Один из депутатов, Александр Бэринг, предупреждал: «Когда настанет решающий момент, в реформированном парламенте землевладельцы не смогут выстоять против активных, напористых, умных людей, присланных из промышленных районов». Кто стал бы утверждать,

что он неправ? Действительно, по поводу работы первого в истории Англии реформированного парламента существовали некоторые опасения — в основном в связи с тем, что он может оказаться неуправляемым. Один из членов кабинета министров предсказывал, что, если правительство «на первом же заседании потеряет контроль над реформированной палатой, Метеор взлетит в космос, и наступит Хаос». К концу 1833 года сын Грея отмечал, что кабинет министров «совершенно лишен единства цели и колеблется при любом дуновении ветерка». Никто не верил в возможность успешного и эффективного правления. Когда герцога Веллингтона спросили, что он думает о созванном после реформы новом парламенте, он ответил: «Я никогда в жизни не видел такого большого количества скверных шляп».

Разумеется, реальные последствия избирательной реформы были намного значительнее и не исчерпывались только вопросами гардероба. Заинтересованный средний класс, в настоящее время составлявший, по оценкам, около 20 % населения, стал более ответственным и влиятельным; эти люди забрасывали королевский кабинет петициями по вопросам работорговли и торговли зерном. Сила политических и трудовых

объединений давала материальные преимущества сторонникам заводской реформы и реформы профсоюзов. Влияние политических партий значительно возросло за счет притока недавно получивших избирательные права граждан, и начиная с 1830-х годов центральные партийные организации и клубы стали неотъемлемой частью политического ландшафта.

Перераспределение парламентских мест, относившихся к «карманным местечкам», и вызванный этим дефицит независимых представителей привели к усилению партийных связей. На сцене остались две основные партии, и реформа стала главным словом их политического лексикона. Виги выступали за реформу, чтобы сохранить аристократические привилегии, сделав некоторые уступки среднему классу. Тори выступали за реформу, чтобы позаботиться о бедных в привычном патерналистском духе — например, через введение понятия «честной цены». Тори также критиковали новый Закон о бедных как подрывающий традиционные полномочия землевладельцев-джентри.

Многих наблюдателей разозлило то, что все изменилось, но при этом ничего не изменилось. Это, по-видимому, вообще свойственно природе

английской жизни. Произошла революция, но она не изменила характер правления. Уильям Коббет, как обычно, высказался о происходящем наиболее емко: «Счастливые дни политического жульничества ушли навсегда. Джентльмены из оппозиции могут называться таковыми лишь в смысле своего местоположения — они сидят на противоположной стороне палаты, вот и все. Во всем остальном они отличаются друг от друга не больше, чем пастор от клирика или, скорее, грач от галки: один каркает, другая стрекочет, но оба имеют одну и ту же цель, оба ищут одинаковую пищу». Бенджамин Дизраэли — посторонний, отчаянно пытавшийся проникнуть внутрь, — спрашивал в 1835 году: «Что они [радикалы] подразумевают, произнося свою любимую фразу “Народный дом”? Члены палаты общин образуют в государстве отдельный класс, привилегированный и безответственный. И наследственный, как и пэры».

Лорды подчинились, но силы, которая прочно утвердилась бы над ними, пока еще не появилось. Палата общин одержала победу, но пока еще не заняла первостепенного положения внутри содружества. Множество вопросов, касающихся статуса и взаимоотношений короля и парламен-

та, остались без ответа. Всякий раз, стоило лишь подойти ближе к одному из таких вопросов, вы натыкались на путаницу, двусмысленность, непоследовательность, неискренность и ложные надежды.

7
Инспектор

Первый реформированный парламент был распущен 3 декабря 1832 года. На следующих выборах Грей имел большой численный перевес по сравнению с оппонентами. Новый парламент приступил к работе 29 января 1833 года. Виги, увенчанные лаврами избирательной реформы, получили в парламенте 441 место — для сравнения: от тори под руководством Веллингтона и Пиля прошло только 175 человек. Пиля в целом считали перспективным политиком.

В новую администрацию при Грее вошло несколько радикалов, воодушевленных поддержкой реформы. Знаковыми плодами работы этого правительства реформаторов, противопоставлявших себя непримиримым тори, стали Закон о фабриках (1833), Закон об отмене рабства на всей территории империи (1833) и новый Закон о бедных (1834). Их начинания имели отчетливо бентамитский характер: Бентам и его принципы были особенно близки по духу молодым и либеральным вигам.

Первые шаги к Закону о фабриках были сделаны 14 лет назад, когда Роберт Пиль предложил ограничить возраст трудящихся на хлопкопрядильных фабриках детей (не моложе 10 лет) и продолжительность их рабочего дня (не больше 10 часов). Он пошел по стопам своего отца, богатого владельца ткацких мануфактур, стремившегося улучшить условия труда работников. Эти предложения канули в накаленный пустой болтовней воздух палаты общин и явились обратно обескровленными и практически негодными к исполнению. О них снова вспомнили в тяжелые 1830-е годы, когда реформатор Ричард Остлер в своем письме в газету Leeds Mercury описал положение «тысяч наших собратьев, подданных нашего государства, мужчин и женщин, несчастных обитателей города Йоркшир, которые в этот самый момент пребывают в более ужасном состоянии рабства, чем жертвы адской “колониальной” системы». Графство Йоркшир в то время было представлено в парламенте гигантом аболиционизма Генри Брумом, боровшимся с системой почти двадцать лет.

Рассказ Остлера вызвал большое волнение. Сущность фабричной системы была еще не до конца понятна, а в 1842 году один комментатор

замечал: «Фабричная система — дитя современности. История не проливает света на ее природу, поскольку история еще не признала ее существование… Явление технического новшества такой огромной силы невозможно было предвидеть». Даже если бы из ниоткуда вдруг возникли герои Рабле Гаргантюа и Пантагрюэль, они не вызвали бы такого оцепенения, как это обновленное устройство мира. Все казалось слишком большим, слишком сложным для понимания, слишком разнообразным. Мыслить в масштабах страны об армиях и обороне было не ново, но никто раньше не пытался взглянуть под тем же углом на вопросы санитарии, образования, жилья и занятости.

В конце 1831 года Джон Кэм Хобхаус представил законопроект о десятичасовом рабочем дне, имевший целью ограничить труд детей на фабриках и заводах. Был создан комитет для изучения условий жизни той категории населения, которую уже называли «белыми рабами». Закон, вступивший в силу 1 марта 1834 года, запрещал брать на работу детей младше 9 лет, устанавливал 48-часовую рабочую неделю для детей в возрасте от 9 до 13 лет и максимальный 12-часовой рабочий день для подростков от 13 до 18 лет. Закон широко

саботировали и игнорировали, и многие жаловались, что подобные правительственные меры противоречат принципам свободной торговли и мешают добросовестному исполнению контрактных обязательств. Однако правительство стояло на своем. Впервые администрация взяла на себя ответственность за тяжелое положение детей младше 18 лет. Это был первый нерешительный шаг по направлению к системе государственного образования, хотя о таком результате тогда никто еще не догадывался.

После вступления в силу новых законов на хлопкопрядильных фабриках появились независимые инспекторы, в задачу которых входило следить за соблюдением предписаний правительства. Общее усиление бюрократического контроля привело к появлению инспекторов, наблюдавших за условиями в тюрьмах и жилых домах, за соблюдением строительных норм, состоянием мостовых и уличного освещения. В 1840-х годах все в целом соглашались, что местные вопросы должен решать центральный орган, располагающий собственными группами наблюдателей. Роль инспекторов во всех публичных сферах, в том числе санитарии и образования, была одной из самых важных составляющих

викторианской социальной системы, которая постепенно менялась, превращаясь из частной инициативы во всепроникающую структуру государственного вмешательства. На смену многочисленным обществам поддержки того и распространения этого пришли чиновники и официальные документы Министерства внутренних дел.

Сравнительно недавно попытку изучить влияние евангелической веры на социальные и политические вопросы в первой половине XIX века предпринял Бойд Хилтон в своей книге «Век искупления» (The Age of Atonement). Ее название точно отражает настроения, преобладавшие среди христианских верующих того периода: как все граждане обновленного мира, они взирали на все, что было до них, с ужасом и негодованием.

Работающие в шахтах дети вызывали у семей среднего класса по всей стране по меньшей мере чувство стыда. Детская смерть стала одним из центральных мотивов эпохи. «Маленькая Нелл умерла?» — спрашивали те, кто ожидал в 1841 году корабль, доставивший в порт Нью-Йорка тираж «Лавки древностей» Диккенса. Сын убитого премьер-министра Спенсера Персиваля затронул обнаженные нервы своего времени, во

всеуслышание заявив в палате общин: «Я стою перед вами, чтобы предупредить вас: праведный гнев Господа близок, и вскоре он падет на ваши головы». Коллеги попытались силой усадить его на место, а в Hansard сообщили, что на заседании «царило неописуемое смятение». Именно в такой атмосфере летом 1833 года был принят закон об отмене рабства.

Над этой реформой много работали евангелисты, в частности отдельная группа реформаторов, известная как Клэпхемская секта. Двадцать шесть лет назад в империи отменили работорговлю. Теперь рабство также оказалось под запретом на всей ее территории. Инициатива исходила от Религиозного общества друзей (квакеров), чья миссионерская и пропагандистская деятельность вдохновила множество политических, гуманитарных и филантропических движений того времени. Кроме этого, имелся еще один фактор. Торговля рабами шла по трансокеанским и прибрежным маршрутам, и морское превосходство Англии должно было принести с собой силу английского закона. Все рабы младше 6 лет подлежали полному и безусловному освобождению, а те, кто был старше этого возраста, становились подмастерьями с ограниченным рабочим вре-

менем и гарантированной заработной платой. Насколько быстро и полно эти условия выполнялись на другом конце света — другой вопрос, но рабовладельцам была выплачена компенсация в размере 20 миллионов фунтов стерлингов.

Однако в самой Англии многие свободные люди оставались лишь номинально свободными: оковы бедности держали их так же крепко, как железные оковы рабов. В 1830 году пятая часть государственных доходов уходила на оказание помощи неимущим, в попытках удержать их от поджога стогов, бродяжничества и поломки машин. С распадом старого общества, в котором бедность была частью иерархического порядка вещей, привычные представления о нужде трудящихся и святости нищеты совершенно устарели. В 1832 году Королевская комиссия по Законам о бедных завершила свою работу и пришла к выводу, что все прежние попытки помочь бедным так и не достигли своей цели.

Комиссия представила новый проект оказания систематической помощи малоимущим, проводивший различие между теми, кто не желал работать, и теми, кто не мог работать. Старый Закон о бедных исполнялся силами жителей отдельных приходов, которые лучше чем кто бы

то ни было знали, кому в окрестностях требуется какая-либо помощь. Закон действовал с начала XVII века, однако новое поколение бюрократов посчитало его отжившим и устаревшим. Новый Закон о бедных предложили в 1834 году как образец организованности и эффективности. Он был выдержан в бентамитском духе. Старые приходы объединялись в «союзы» и под наблюдением заседавшей в Уайтхолле комиссии по Закону о бедных осуществляли управление новыми учреждениями — работными домами, где с этих пор содержались бедняки. Новый принцип централизации и местного управления стал главным вкладом XIX века в социальную политику.

Членов комиссии в Уайтхолле называли «три султана из Сомерсет-Хауса», «трехголовый Сатана» или «троица». Инструментами их власти служили местные попечительские советы, следившие за тем, чтобы в работный дом попадали только больные или остро нуждающиеся. Оказывать помощь трудоспособным мужчинам вне работного дома запрещалось. Одной нищеты было недостаточно: в конце концов, взрослый мужчина всегда мог самостоятельно поправить свое положение. Внутренний уклад работных домов способен был оттолкнуть всех, кроме

совершенно отчаявшихся: семьи в них разлучали, предметы первой необходимости выдавали строго нормированно, подопечных нагружали монотонной, бесполезной, выматывающей работой. Один из сторонников системы, преподобный Г. Х. Милман, писал: «Работный дом — место тяжелых испытаний, грубой пищи, униженности и смирения. В нем царит строгость и даже суровость. Он должен быть настолько отталкивающим, насколько позволяет человеческая природа».

Введение этой жесткой системы отчасти объясняет происхождение чартизма как массового протестного движения. Люди, особенно бедняки, ненавидели работные дома, служившие средством угнетения, — их называли Бастилиями. В сущности, отправиться в работный дом было все равно что попасть в тюрьму. Работный дом был детищем реформированного парламента: ни одному из прежних парламентов не удавалось создать нечто столь казенное и единообразное. Чтобы осуществить это начинание, потребовались виги, реформаторы, догматики и бентамиты. Не следует также забывать, что новый Закон о бедных предложили и приняли виги, а не тори. Многие тори, конечно, поддерживали его,

но была и группа радикальных тори, которые осуждали его как враждебный народу. Очень скоро эти заведения начали вызывать самые серьезные подозрения, и это отчасти объясняет, почему родители не желали отправлять своих детей в новые школы, которые часто строили из того же унылого серого камня, что и работные дома. Дизраэли называл эту систему новым бруталитарианством. Работные дома с их суровыми условиями и не менее суровым ханжеством не одно десятилетие служили образцом так называемого викторианского духа, который рождался из высоких устремлений и твердых принципов, но, стоило на него пролиться свету, становился гнетущим и тягостным.

В этот период принцесса Виктория совершила несколько поездок по Англии, чтобы познакомиться со страной, которой однажды станет повелевать. Одна из первых записей в ее дневнике гласит: «Мы только что проехали город, где находятся все угольные шахты. Можно видеть, как вдалеке во многих местах мерцает огонь в машинах. Мужчины, женщины, дети, все дома и окрестности здесь черные…» Эта безмятежность при виде страданий подданных станет отличительным признаком ее правления. Также

в молодости Виктория страдала приступами ярости, во время которых набрасывалась на окружающих. Король Вильгельм любил свою племянницу, но глубоко презирал ее мать, герцогиню Кентскую, которую подозревал в интригах и изменах. Детство Виктории не было счастливым — ее то запугивали, то слишком опекали. Она росла в тепличных условиях, а окружающие больше интересовались собственной выгодой, чем пользой для девочки. Впрочем, она умела бдительно подмечать любые признаки неповиновения. Даже маленьким ребенком она вела себя как настоящая королева и предпочитала услужливых и почтительных компаньонов. «Я могу называть тебя Джейн, — сказала она в детстве одной приятельнице, — но ты не должна называть меня Викторией». Даже будучи фактически пленницей, она была избалованной пленницей и всю жизнь оставалась своенравной, капризной и требовательной.

При этом она была дисциплинированной корреспонденткой, — по некоторым подсчетам, полное собрание ее писем могло бы составить 700 томов. (Так выглядит викторианская тенденция, доведенная до крайности.) К счастью для всех, старый король умер через месяц после того,

как Виктория достигла совершеннолетия, и это позволило обойтись без регентства, при котором новой королеве пришлось бы подчиняться герцогине Кентской и ее советникам.

8
Пар и скорость

Первый пароход пересек Ла-Манш в 1816 году. При несильном ветре переход занимал 3–4 часа. Вскоре колесные пароходы начали ходить из Ньюхейвена в Дьепп, а также в Гамбург и Гетеборг. Первая железная дорога выглядела не слишком впечатляюще: рельсы тянулись всего на пару миль до соседней шахты. Принято считать, что по-настоящему век железных дорог начался в 1815 году. Именно тогда пар поднялся на новую высоту. Многие знают, что Джеймса Ватта вдохновил вид кипящего чайника, но немногие видели гравюру «Аллегория о значении силы пара»: Ватт дремлет на стуле в углу, а над ним в кольце пара встают картины фабрик, заводов и дымящих труб как предчувствие Новой Англии.

Пар наступал медленно. На гравюре 1809 года «Круговая железная дорога, или Железнодорожный цирк Ричарда Тревитика» изображен изобретатель и инженер, ведущий свой паровой локомотив по кругу перед толпой зрителей, словно дрессированного слона в цирке. Аттракцион

назывался «Поймай меня, кто сможет». Правда, его главное значение прошло мимо публики.

Железная дорога олицетворяла, говоря словами того времени, «отмену времени и пространства». Сам ландшафт, казалось, изменился. Бескрайние густые леса давно исчезли, но теперь и поля, вересковые пустоши и сельские общины сокращались до небольших огороженных участков, освобождая место для новых железных дорог. Глазам иностранных путешественников английская сельская местность представала чем-то вроде большого сада с заборами и живыми изгородями, но далеко не везде она была одинаково живописной. Северные фабричные города, куда вскоре протянулись железные дороги, могли поспорить мрачностью с лондонскими трущобами с их грязным воздухом и отравленной водой. В некоторых сельских районах стены домов до сих пор возводили из глины, смешанной с дорожным щебнем, а крестьяне по-прежнему жили бок о бок со свиньями в крытых дерном хижинах. Все это было такой же частью Англии начала XIX века, как Хлебные законы и Георг IV. Вскоре поезда начали развивать такую скорость, что, проносясь мимо закопченных трущоб и шахтерских поселков, вы не могли отличить одно от другого.

Строительство железных дорог стало величайшим делом человеческих рук, осуществленным в примечательно короткое время. В 1825 году под руководством Джорджа и Роберта Стефенсонов открылась железная дорога, соединившая Стоктон и Дарлингтон, еще через пять лет заработала линия Манчестер — Ливерпуль. Магистральная ветка Стоктон — Дарлингтон, идущая от Шилдона до Стоктона, протянулась на 22 мили (ок. 35,5 км) — это была самая длинная на тот момент локомотивная колея. Ее использовали как дорогу общего пользования: по ней ходили товарные паровые поезда, конные рельсовые повозки и дилижансы. В начале любого большого предприятия бывают свои неувязки: паровая машина к этому времени была достаточно хорошо известна, как и металлические рельсы, по которым она совершала свои короткие путешествия, но никто не знал, как должен выглядеть железнодорожный вагон. Поначалу эту роль исполняли обычные дилижансы, поставленные на железнодорожные колеса, с отделением для багажа и решеткой для чемоданов на крыше. Длина такого вагона составляла около 20 футов (6 м), ширина — 6 футов (1,8 м), а высота — 6–7 футов (1,8–2,1 м); они были похожи на вагоны из «Алисы в Стране

чудес», если бы «Алиса» в то время уже была написана.

Процесс набирал обороты. С конца 1844 года до начала 1849 года было проложено более 3000 миль (ок. 4830 км) железных дорог — для сравнения: в это же время появилось всего 172 мили (ок. 277 км) новых дорог и улиц. Количество поездок на поезде за этот период увеличилось с 33 до 60 млн. Нет ничего удивительного в том, что все ярко выраженные приметы того периода так или иначе связаны со скоростью. О каналах забыли, заставы на дорогах сделались анахронизмом, сами дороги почти опустели. Кареты, коляски, брички, кабриолеты, двуколки, фаэтоны, повозки и телеги быстро уходили в прошлое. Но какой был смысл в скорости? Уильям Коббет однажды встретил крестьянку, никогда в жизни не выезжавшую за пределы своего прихода. Он восхищался ею и с горечью писал: «Появившиеся сейчас средства для перемещения человеческого тела из одного места в другое — проклятие этой страны, погубители промышленности, морали и, разумеется, счастья». Между тем свою окончательную форму обрела система лондонских доков: в 1816 году завершилось строительство Ост-Индского и Вест-Индского доков, а также Лон-

донского, Коммерческого и Суррейского доков.

Великое новшество — скорость — само по себе стало одной из самых удивительных особенностей жизни. Современник У. Р. Грег размышлял о том, на что похожа жизнь «без досуга и без пауз, жизнь в постоянной спешке, когда… у нас нет времени подумать о том, где мы были и куда собираемся пойти». Несомненно, на это жаловались многие поколения, которым выпало жить в эпоху масштабных перемен. Книга Томаса де Куинси «Английская почтовая карета», полная рассуждений о скорости и роке, едва успела выйти из печати, как ее обогнал мчащийся поезд. За год до публикации этого эссе Чарльз Диккенс в книге «Домби и сын» (1848) описал апофеоз железной дороги и линии, тянущиеся из Лондона в неизведанное будущее. Директор школы Рагби Томас Арнольд заявил в 1832 году: «За три десятка лет мы проживаем три столетия». К началу XXI века люди привыкли считать перемены неотъемлемой частью жизни, но в дни первых железных дорог перемены были подобны удару электрического тока. В 1833 году Булвер-Литтон заметил: «Любой век можно назвать эпохой перехода… переходы из одного состояния в другое никогда не прекращаются, но только в наше

время мы можем увидеть этот переход собственными глазами». В том же году возник термин «ученый-естествоиспытатель».

Наступил, как это называл Карлейль, «век механики», и вскоре стали очевидны его закономерности. Он поощрял единообразие и анонимность. Он поощрял благопристойность и сдержанность. Это была эпоха быстрых действий и реакций: люди быстро ели, быстро работали, быстро одевались. Заглянув в глубины Темзы, вы могли увидеть туннель, строительство которого продолжалось уже четыре года, в окружении водолазных колоколов. Подняв взгляд вверх, вы видели в небе наполненные водородом шары. Скоро совсем исчезнут измученные лошади и пьяные почтовые кучера, больше не будет слышно крика «Поберегись!», когда дилижанс выезжает с постоялого двора. Всё вокруг стремилось вперед.

Ральф Уолдо Эмерсон в эссе «Английские черты» (English Traits; 1856) заметил: «Шахты, кузницы, фабрики, пивоварни, железные дороги, паровой насос, паровой плуг придали механическую регулярность всем привычкам и действиям людей». Паровой двигатель стал символом эпохи, и многие рассуждали о том, какой пользы можно было бы ожидать, если бы люди умели

работать, как машины. Что ж, это можно назвать прогрессом.

То была эпоха, когда осуждать прогресс считалось немодным и неправильным, особенно после того, как в конце 1840-х годов широкой публике стало известно о существовании электричества. Значение электричества как средства материального прогресса и увеличения производственной мощности быстро стало очевидным. Идея соединения электрической культуры с индустриальной машинной культурой представлялась бесконечно многообещающей. Гальваническая батарея, изобретенная в начале XIX века, и сделанное в 1820 году открытие о том, что электрический ток создает магнитное поле, дали людям новые способы воздействовать на природу и контролировать ее. Викторианцы были родоначальниками науки, свидетелями науки, демонстраторами науки и толкователями науки. Тех, кто занимался наукой, считали чем-то средним между чародеями и цирковыми артистами, а электричество стало главной приметой эпохи и предметом бесконечного изумления и восторга. В Национальной галерее практических наук можно было увеличить блоху до размеров крупного слона и понаблюдать за тем, как элек-

трический угорь оглушает свою добычу. (Когда угорь издох, об этом написали во многих газетах.) Рождественские лекции Фарадея торжественно открылись в 1825 году. В ноябре 1845 года этот провидец объявил, что свет, тепло и электричество «всего лишь модификации одного великого универсального принципа».

Если мир можно было рассматривать как электрическую схему, то ученый становился ее интерпретатором и, может быть, эксплуататором. Тексты XIX века полны рассуждений о силе и мощности. Вошедший в моду месмеризм опирался на утверждение о том, что состоянием и поведением человека можно управлять с помощью невидимого электрического флюида, создающего «животный магнетизм», который связывает одного человека с другим. Английский физик Джеймс Джоуль называл электричество «этот изумительно оживленный стихийный огонь».

В этот период теории тепла, скорости света и электричества были тесно связаны с динамической природой энергии. Все представляло собой единое целое. Эти теории, в свою очередь, рождали гипотезы о власти и доминировании в социальных и сексуальных отношениях. Кон-

цепция политического и социального «строя» возникла в 1840-х годах, и с самого начала в обсуждении всплывали такие понятия, как «динамика системы», «силовые поля» и «центры притяжения». Вполне объяснимо, что английский вклад в науку того времени был сделан в первую очередь в области физики и анализа энергии: весь мир вращался вокруг электричества, магнетизма, электромагнетизма и термодинамики. Возникли специализированные исследовательские общества, такие как Лондонское электротехническое общество, появилось новое поколение профессиональных ученых. В ходе одного весьма плодотворного эксперимента исследователи подвергли воздействию электрического тока свежий труп повешенного, от чего «все его мускулы ужасающим образом одновременно пришли в действие, на лице поочередно изобразились ярость, ужас, отчаяние, тоска, жуткие ухмылки. Несколько зрителей были вынуждены покинуть помещение, поддавшись панике или приступу дурноты, а один джентльмен потерял сознание».

Здесь мы почти заходим на территорию романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818), в котором человек становится своего рода механизмом, вызванным к жизни с

помощью электричества. Это тоже был один из символов XIX века: фабричных рабочих нередко представляли почти такими же машинами, как станки, которые они обслуживали, по сути, всего лишь «гальванизированными трупами». Машины несли с собой порядок, контроль и дисциплину.

В 1836 году экспериментатор Эндрю Кросс заметил, что на поверхности камня, долгое время находившегося под воздействием электрического тока, появились насекомые. Ученый пришел к выводу, что их на самом деле создало электричество. Он сообщил: «На двадцать восьмой день насекомые задвигали лапками и через несколько дней после этого начали отделяться от камня и в беспорядке перемещаться по поверхности, хотя в целом они не слишком стремились к движению, особенно сразу после зарождения». Это было так же ужасно и отвратительно, как сообщение об оживленном трупе, и вызвало такую же реакцию. Местные фермеры, полагая, что электрические насекомые испортили их урожай, провели в окрестностях ритуал экзорцизма. Помимо того что это исследование от начала до конца могло быть изощренной мистификацией, высказывалось предположение, что эти существа были

случайно попавшими на оборудование сырными или пылевыми клещами. Эксперимент больше не повторяли.

Итак, если электричество было живой силой, значило ли это, что механизмы тоже могут ожить? «Ни один класс существ, — писал Сэмюэл Батлер в романе «Эревон» (Erewhon; 1872), — никогда еще не прогрессировал с такой скоростью. Не следует ли нам бдительно наблюдать за ними в настоящий момент и контролировать происходящее, пока это еще в наших силах? И разве не нужно для этого уничтожить самые современные машины, которыми мы пользуемся сейчас, хотя принято считать, что сами по себе они безвредны?» Угроза представлялась вполне реальной. «Изощренность конструкции механизма» могла способствовать развитию машинного языка, столь же сложного, как наш, который «позволил бы им ежедневно овладевать все новыми навыками и давал все больше возможностей для самоуправления и самостоятельного действия, превосходящих любой интеллект… Если машина способна систематически воспроизводить другие машины, мы, несомненно, можем сказать, что у нее есть репродуктивная система». Далее приводились сходные доводы, в точности повторяющие

опасения гораздо более позднего времени.

Легче всего понять все это в контексте теологии XIX века — наука как великий зажженный светильник, предмет всеобщего поклонения. Храмами нового божества были викторианские выставочные залы, Галерея Аделаиды в Лоутер-Аркаде и Политехнический институт на Кавендиш-сквер. Здесь можно было увидеть паровую пушку, ферроэлектрический шар и оксигидрогеновый микроскоп. Для демонстрации возможностей колесного парохода выкопали 70-футовый (ок. 21 м) канал. Коллекция отличалась крайней эклектичностью: в нее входило, например, «оружие, которым был убит капитан Кук, отнятое у аборигенов Оуайхи». Это показывает, что даже в 1840-х годах элементы научного прогресса воспринимались скорее как чудеса и диковинки, чем как открытия, сделанные людьми. У них не было собственного эпистемологического статуса. С тем же успехом экспонаты выставки можно было рассматривать как потребительские товары, наподобие тех, что заполняли недавно появившиеся торговые галереи. Машины и механизмы, до этого встречавшиеся только в мастерских и на фабриках, постепенно занимали свое место в повседневной жизни.

В 1830 году индустриализация в Англии набирала обороты быстрее, чем в любой другой стране. На таком же высоком уровне держался английский экспорт: страна производила 80 % европейского угля и 50 % европейского железа. Все паровые двигатели в мире делали в Англии. В 1832 году Натан Ротшильд заявил, что Англия служит «банком для всего мира. Все сделки, заключаемые в Индии, Китае, Германии и во всем мире, направляются сюда и совершаются в этой стране». Впрочем, эти выкладки не вполне отражают истину. Это своего рода бухгалтерская книга, и в ней ничего не говорится о реальной жизни Лондона и всей страны. Олтон Локк, герой одноименного романа Чарльза Кингсли, вспоминал, каким был Лондон в этот период расцвета: «Я кокни и живу среди кокни… Мое первое воспоминание — это пригородная улица, мешанина стоящих вплотную домишек и лавчонок, каждая из которых словно задалась целью перещеголять соседей своим причудливым уродством». Бог сделал его кокни с особой целью — «чтобы я мог научиться сочувствовать несчастным, которые всю жизнь, от колыбели до могилы, проводят в тесноте вонючих чердаков и мастерских, впивают болезнь с каждым вздохом, запертые в своих

темницах из кирпича и железа, укрытые погребальным саваном тумана и ядовитого дыма. Я испил до дна ту чашу, из которой пили они». Говорил ли им кто-нибудь, что их город, бесформенный, бесцветный и безжизненный, был банком для всего мира?

Но даже если Англия была банком мира, это не значит, что в остальном она была готова живо участвовать в делах этого мира. Министры сменялись, но главная цель британской внешней политики оставалась прежней — держаться настолько далеко от европейских событий, насколько позволяли приличия и соображения государственной безопасности. Весной 1831 года австрийские войска вошли в Модену и Парму, чтобы подавить восстание и отразить французские притязания на сюзеренитет. Последствия не заставили себя ждать, разгоревшийся пожар превратил всю Северную Италию в поле битвы. Война длилась почти два года. Виконт Палмерстон, в то время министр иностранных дел, изложил политику Англии предельно ясно: «Англия не сможет встать на сторону Австрии в войне, начатой ради подавления свободы и поддержки деспотизма. Мы также не можем встать на сторону Франции в состязании, результатом

которого может стать расширение ее территорий. Поэтому мы будем держаться в стороне от этого столкновения так долго, как сможем». А как же люди, по чьим землям свободно маршировали австрийцы? «Если нам удастся путем переговоров добиться для них некоторой доли конституционной свободы, тем лучше; но мы все заинтересованы в сохранении мира…» Это был один из определяющих моментов английской внешней политики. Мир означал торговлю. Мир означал индустриализацию. Мир означал низкие налоги и процветание. Мир был превыше всего.

Вскоре произошло событие, потрясшее многих. В сентябре 1830 года было объявлено о пробном запуске паровоза под названием «Ракета» — его котел выкрасили в ярко-желтый цвет, а трубу в белый. Это была заря эпохи паровозостроения. Одновременно Уильям Хаскиссон, член парламента от Ливерпуля, согласился участвовать в торжественном открытии 15 сентября первой в стране железнодорожной линии и лично совершить поездку из Ливерпуля в Манчестер. Открытие железной дороги стало сенсацией дня. Видный инженер того времени, Николас Вуд, писал, что запланированное открытие, по единодушному общему мнению, представляет собой «важный

эксперимент, который решит судьбу железных дорог. Глаза всего научного мира прикованы к этому великому начинанию».

Путешествие из Ливерпуля началось вполне благополучно, в Парксайде сделали остановку, чтобы набрать воды. Приглашенных гостей попросили не выходить из вагонов. Однако Хаскиссон спрыгнул из вагона на землю между двумя колеями. Он хотел перейти рельсы, чтобы поздороваться с герцогом Веллингтоном, ехавшим в другом вагоне, но вдруг осознал, что по параллельному пути к нему приближается «Ракета». Двери распахнулись, руки протянулись, чтобы помочь ему, но ему не удалось вскочить в вагон. Он упал на рельсы, и локомотив раздробил ему ноги. Через несколько часов Хаскиссон скончался. Смерть молодого и уже известного политика стала огромным потрясением для читающей газеты публики, но ужасные и беспрецедентные обстоятельства смерти вызвали настоящую сенсацию. По-видимому, Хаскиссон никогда раньше не видел поезда и полагал, что он может свернуть в сторону, как лошадь или дилижанс.

Еще одним поводом для сенсации стало то, что один из локомотивов доставил искалеченного Хаскиссона в больницу, преодолев расстояние

примерно в 15 миль (24 км) за 25 минут, хотя раньше было принято считать, что железная дорога позволяет развивать скорость лишь 8–10 миль (ок. 13–16 км) в час. Невиданная скорость поразила наблюдателей и комментаторов. Как ни парадоксально, первый смертельный случай на железной дороге подтвердил превосходство поезда и продемонстрировал общественности силу и возможности нового вида транспорта. Внезапно стало казаться, что остров уменьшился в размерах. Что касается времени, о его эластичности свидетельствует тот факт, что один член кабинета лорда Ливерпула был ограблен разбойником с большой дороги, а другой попал под поезд.

В 1830 году актриса Фанни Кембл, прокатившаяся на одном из новых локомотивов с разрешения его создателей, Стефенсонов, сообщала: «Вы не можете представить, как странно было нестись вперед без всякого видимого движущего приспособления, на этой магической машине, выдыхающей белые облака и издающей неизменный ритмичный стук». Инстинктивное сравнение сложных механизмов с волшебством и сказкой — одна из самых интересных особенностей первой половины XIX века. Тогда это был единственный язык чудес. Фанни Кембл была ненасытной иска-

тельницей новых ощущений и, можно сказать, презирала опасность. Подавляющее же большинство пассажиров железной дороги в то время вели себя далеко не так восторженно. Скорость, шум и просто новизна передвижения на паровом составе по металлическим рельсам вызывали тревогу и откровенный страх.

Закон о железных дорогах 1844 года, принятый через много лет после того, как забылся несчастный случай с Хаскиссоном, закреплял стандарты работы уже ставшего массовым транспорта. Первый железнодорожный бум набирал обороты. Некоторые инвесторы нервничали, прочитав в брошюре «Вся правда о выгоде железных дорог» (Railroad Impositions Detected), что железная дорога Манчестер — Ливерпуль до сих пор не принесла даже 1 % прибыли. Однако осторожное инвестирование и постепенный успех изменили взгляды биржевиков, а переломным моментом стало открытие линии Лондон — Бирмингем осенью 1838 года. В 1844 году парламент дал разрешение на строительство 800 миль (ок. 1290 км) железнодорожных путей, в следующем году утвердил еще почти 3000 миль (ок. 4830 км). Как выразился один писатель в 1851 году: «Пресса поддерживала всеобщую манию, правительство

одобряло ее, люди платили за нее. Железные дороги были одновременно и модой, и предметом помешательства. Вся Англия оказалась исчерчена планами будущих железных дорог». За полвека железные дороги протянулись от моря до моря, от одной реки к другой, связали между собой порты, поселки, города, рынки и шахты. Недавнее прошлое ускользало из поля зрения. Старинные постоялые дворы и деревенские таверны стали одним из любимых объектов фотографов, стремившихся запечатлеть так называемую старую Англию. Они отлично вписывались в столь популярное у англичан увлечение древностями. Кроме того, они были живописны и превосходно получались на фотографиях.

По некоторым оценкам, самым популярным сюжетом в работах викторианских фотографов были развалины. Они настраивали на приятную задумчивость и позволяли отрешиться от видов и звуков современности. Поэт Садакити Гартманн так писал о дагеротипе: «Он лежит в своем футляре среди старых бумаг, писем и редких вещиц. Хрупкая рамка из дерева с черной тисненой бумагой. Мы не можем устоять перед соблазном открыть и взглянуть на него… Какой-то господин с тростью или дама в капоре и платье с пышными

рукавами встают перед нами, словно призрачное видение». В то время, когда перед глазами проносились по железным дорогам первые паровозы, это было все равно что читать книгу об истории (например, такую как эта).

В этот же период появилась новая система связи — телеграф, впервые продемонстрировавший свои достоинства в 1827 году, когда сообщение из Холихеда в Ливерпуль удалось передать примерно за 5 минут. Еще через десять лет телеграфную линию установили вдоль Большой Западной железной дороги, а в 1851 году был успешно проложен телеграфный кабель между Англией и Францией. В те дни, когда домовладелец, по слухам, отправлял местной пожарной компании письмо, чтобы сообщить, что его дом горит, скорость телеграфной связи полностью изменила представления о времени и пространстве. В 1858 году молодой Чарльз Брайт получил рыцарское звание за прокладку первого трансатлантического кабеля. В The Times назвали это «величайшим открытием со времен Колумба» и «грандиозным расширением… сферы деятельности человека». Диккенс соглашался, что «из всех чудес современности это самое чудесное». Эти восторженные похвалы были вполне заслуженными для своего

времени. Способность передавать сообщения в пространстве на сотни миль означала, по сути, ускорение человеческой эволюции.

9
«Свинью зарезали»

К началу 1834 года администрация графа Грея оказалась в крайне тяжелом положении. Весь предыдущий год Грей думал об отставке. «Я плетусь на службу, словно мальчишка на урок, почти не надеясь должным образом справиться со своими задачами и обязанностями», — говорил он. Личные сомнения усугублялись нестабильным положением его партии в палате общин, где старшие министры ожесточенно спорили о мелких политических вопросах. Однако Роберт Пиль не хотел, чтобы кабинет вигов пал до тех пор, пока его партия не будет готова взять управление на себя. Проблема заключалась в том, что среди тех, кто называл себя вигами, около полутора сотен человек были скорее реформаторами или радикалами: их политические устремления были не до конца понятны и, по сути, непредсказуемы. Один из этих людей был профессиональным боксером, другой дрался на дуэли со своим наставником, но вместе с тем в «радикальное крыло», если его можно так назвать, входили и старые реформа-

торы, такие как Уильям Коббет. Таким образом, в интересах тори было поддерживать правительство в периоды колебаний или при угрозе падения. Они, точно так же как умеренные виги, не желали радикального переворота.

Напряжение, вызванное необходимостью сохранять свое шаткое положение, и разнообразные кризисы во внешней политике отнюдь не добавляли Грею желания оставаться на посту. Его сын жаловался, что Грей «больше не в силах контролировать группу людей, каждый из которых преследует собственные отдельные интересы… вследствие чего правительство совершенно лишено единства целей и колеблется при любом дуновении ветерка». Продуваемое всеми ветрами правительство — плохое убежище. Грей часто признавался, что устал, но коллеги не отпускали его.

Министры словно нарочно изматывали друг друга бесконечными прениями. Они могли предпринимать конкретные шаги, но не могли заставить себя обсудить принципы своих действий. Это было бы слишком опрометчиво. Нагляднее всего это проявлялось на примере Ирландии, для которой одни рекомендовали реформы и примирение, а другие — ужесточение

мер. На деле все заканчивалось полумерами и противоречивыми сигналами и замыслами. Например, Закон о принуждении 1833 года был одним из первых, изданных администрацией после избирательной реформы. Он должен был укрепить власть правительства Ирландии и подавить деятельность радикалов, установив в стране нечто вроде военного положения. В то же время администрация пыталась успокоить католиков и предлагала Закон о реформе ирландской церкви. Некоторые епархии планировалось ликвидировать, наиболее пылких протестантских священников исключить из католических приходов. Что-то было дано, а что-то отнято.

Все это были разные стороны так называемого «ирландского вопроса», хотя сама суть вопроса оставалась не вполне ясной. Как отмечал Дизраэли, иногда было трудно понять, идет ли речь о папе римском или о картофеле. Хотя с тем же успехом это мог быть вопрос о церковной десятине или о постое английских солдат в домах ирландцев. Одни министры хотели, чтобы эти средства изымались в пользу государства, в то время как другие требовали оставить их под контролем ирландской церкви. После того как этот вопрос вызвал в кабинете новый раскол, четыре

министра подали в отставку. Ирландия была открытой раной, которую не могло залечить ни одно английское правительство. Дэниелу О'Коннеллу делали самые разные предложения, чтобы заручиться поддержкой ирландских членов парламента, но Грей и остальные не собирались соглашаться ни на какие сделки или компромиссы. Когда О'Коннелл понял, что его обманули, он встал со своего места в палате общин и в красочных недвусмысленных выражениях объявил, что его предали. «Ну всё, — прошептал лорд Олторп Джону Расселу, — свинью зарезали». Олторп был одним из тех, кто ввел О'Коннелла в заблуждение, и теперь подал в отставку. Столь безнадежны были разногласия в администрации и столь расплывчаты ее убеждения в отношении Ирландии, что через несколько дней Грей тоже ушел в отставку. «Моя политическая жизнь подошла к концу», — сказал он с некоторым облегчением. Ирландия стала для него последней каплей.

Лучше всех о ситуации высказался Мельбурн: «То, в чем решительно сомневались мудрецы, и то, что предвещали глупцы, все же произошло». Означало ли это, что кабинет рухнет и Грей потонет вместе с ним, как капитан на палубе гибнущего корабля? На этот вопрос он

ответил: «Теоретически да, но фактически нет». Что касается короля, он предпочел бы кабинет, состоящий из Веллингтона, Пиля и наиболее надежных вигов. Этому не суждено было случиться. Веллингтон вежливо отказался, сославшись на невозможность объединить людей, «по-видимому не имеющих единого мнения ни по одному политическому вопросу или принципу». Что ж, это признавал даже король. Без особой охоты он решил обратиться к Мельбурну как единственному «условно подходящему» вигу (и то в основном из-за того, что он ни для кого не представлял прямой угрозы). Мельбурн прямо заявил о своем нежелании связываться с этим делом. По словам его личного секретаря Томаса Янга, «он считал, что это смертельная скука», но что он мог поделать? Может быть, он подчинился своему государю из чувства долга, а может быть, заглянув в себя поглубже, он осознал открывающиеся возможности. В это время Янг сказал ему: «Какого черта, такую должность не занимал никто из древних греков и римлян, и даже если вы продержитесь всего два месяца, дело того стоит — не каждый может сказать, что был премьер-министром Англии». — «Ей-богу, это правда, — ответил Мельбурн. — Я пойду».

Античные примеры всегда отлично действовали на политиков-аристократов, в любой ситуации готовых порассуждать о чести и благородстве.

Мельбурн держался сдержанно, ничем не выдавал своих чувств и говорил осторожно и несколько бессвязно. Король с неохотой выбрал его, «заранее предупредив, что не стоит допускать в кабинет мечтателей, фанатиков или приверженцев республиканских принципов». Впрочем, в этом совете не было необходимости. Фанатик или мечтатель нашел бы у Мельбурна не больше поддержки, чем католический монах или египетский заклинатель. Одной из первых принятых им мер стал отказ от Закона о принуждении и предложение более мягких условий. Это отнюдь не обрадовало короля, по мнению которого изначальный закон уже был слишком миролюбивым.

Проблемы, связанные с католической верой, возникали не только в Ирландии. Какая-то часть английского населения всегда симпатизировала англокатолицизму — движению «высокой церкви», стремившемуся сохранить ритуалы и церемонии римской католической церкви. Они стремились изгнать дух и суть Реформации и вернуть английскую церковь в лоно старой веры.

Разумеется, это вызывало крайнее негодование у большинства протестантов, видевших в этом угрозу скромному домашнему укладу англиканства. Теперь и внутри «установленной церкви» появилось немало тех, кто желал перейти под римское благословение.

Осенью 1833 года вышла первая брошюра из серии «Трактаты для нашего времени» (Tracts for the Times), в которой были изложены основы духовной позиции высокого англиканства. Всего в серии насчитывалось 90 выпусков. Сторонники этих доктрин стали известны как трактарианцы, а поскольку многие из них были связаны с Оксфордским университетом, все вместе это получило название «Оксфордское движение». Один из его приверженцев, Дин Черч, охарактеризовал трактаты как «строгий призыв к совести и разуму, не отягощенный излишней риторикой и пустословием и имеющий перед собой самую серьезную цель». Трактатам предшествовала проповедь, посвященная «национальному вероотступничеству», — ее произнес летом 1833 года в церкви Святой Марии в Оксфорде Джон Кебл, прославившийся в то время сборником стихов о христианских праздниках «Христианский год» (The Christian Year; 1827). Он хотел возродить

установленную веру, опирающуюся на прочную связь с Отцами Церкви и неоспоримую красоту святости.

Первый трактат написал Джон Генри Ньюман, чьи духовные поиски и стремление к простоте чувств легли в основу нового движения. Его аскетизм, чистота и непоколебимость служили образцом для трактарианцев, противопоставивших апостольскую преемственность своего движения унаследованному от XVIII века латитудинарианству и не слишком ревностному благочестию традиционного англиканского сообщества. Ньюман и его сподвижники были апостолами в пустыне условностей XIX века. «Я всего лишь один из вас, — писал он в первых строках своего трактата. — Я священник, поэтому не называю своего имени, чтобы не брать на себя слишком много, говоря от собственного лица. Однако я должен говорить, ибо настали злые времена и никто не возвышает голоса против них». Трактарианцы были категорически против либерализма и размывания морального авторитета церковных догматов. Их религиозный пыл, во многом типичный для XIX века, перекликался с евангелическим возрождением, глашатаями которого стали Уилберфорс и Клэпхемская секта.

Все они представляли разные стороны английского благоверия.

Они напомнили многим христианам о пределах благочестия «установленной церкви» и этим вызвали полемику, не утихавшую до конца XIX века. Их называли папистами и даже хуже. Некоторых исключали из колледжей и лишали кафедры. По мнению мирян, преданность папе делала их врагами короны. На самом деле они не представляли никакой опасности. Они были полностью лояльными, а с учетом глубоко укоренившегося почтения к власти, пожалуй, даже более надежными, чем светские вольнодумцы или диссентеры. И они не имели ровно никакого отношения к Католической ассоциации О'Коннелла.

Это было время ассоциаций, братств и всевозможных клубов по интересам. Но в какой момент ассоциация превращалась в хорошо обученный отряд, а братство — в гильдию или даже союз? В 1834 году под руководством Роберта Оуэна и других деятелей возник Большой национальный объединенный профсоюз. До этого существовали Большой всеобщий союз прядильщиков Соединенного Королевства и Национальная ассоциация охраны труда. Эти организации

заботились главным образом о материальном благосостоянии своих членов, но Большой национальный объединенный профсоюз имел более смелые намерения. Он был нацелен против Закона о реформе 1832 года, в результате которого пять из шести рабочих остались без права голоса. Под влиянием Оуэна Большой профсоюз предложил организовать каждую профессиональную отрасль так, чтобы трудящиеся могли взять под контроль экономические механизмы страны. Это была вдохновляющая идея, и она привлекла около полумиллиона сторонников, но, как многие утопические проекты, она не выдержала столкновения с реальностью. Множество забастовок вспыхивало и гасло, выступления рабочих систематически подавлялись усилиями политиков и магистратов. Работодатели приняли собственные контрмеры и соглашались брать на работу только тех, кто подписывал «документ» — отказ от участия в профсоюзах и любой их деятельности.

На этом фоне разворачивался процесс Мучеников из Толпадла — шести сельскохозяйственных рабочих из Дорсета, которых приговорили к семи годам каторжных работ в Австралии. Их преступление заключалось в том, что они создали союз и произнесли некие «тайные клятвы»,

хотя на самом деле они следовали стандартной профсоюзной практике в таких вопросах. Мельбурн и его коллеги подтвердили приговор, чем заслужили презрение со стороны большинства трудоспособного населения страны и даже многих своих политических союзников. В Лондоне организовали грандиозную демонстрацию, однако она ровно ни к чему не привела. Мельбурн со школьных лет питал инстинктивную симпатию к дисциплинарным воздействиям и наказаниям. Он как-то сказал королю, что порка всегда оказывала на него «поразительное воздействие»; она доставляла ему такое удовольствие, что он охотно практиковал ее на своих служанках.

Первый кабинет Мельбурна продержался всего четыре месяца. Его работу парализовали массовые отставки министров, и сам Мельбурн понимал, что его политическое будущее весьма неопределенно. «Все испытывают какую-то неясную тревогу, — писал Веллингтон в октябре брату короля, герцогу Камберлендскому, — никто не понимает причины, но все недовольны происходящим». Сам Мельбурн производил впечатление или, по крайней мере, видимость спокойствия и даже апатии. Многих потрясло его назначение на пост премьер-министра. Он казался вялым,

бездеятельным, неспособным на решительные поступки. Когда высокопоставленная виговская семья Холланд нанесла ему визит вскоре после его вступления в должность, они «нашли его распростертым на оттоманке без рубашки и без галстука, закутанным в просторный халат и крепко спящим». Одной из его любимых фраз было «Мне безразлично». Она хорошо передавала его отношение ко многим вопросам. «В целом я считаю, — говорил он, — что никакое утверждение не абсолютная истина, особенно если его отстаивает признанный авторитет». Он обладал глубокими познаниями в истории (хотя в его случае они были бесполезны), но навлек на себя резкую критику, признавшись, что не читал «Экскурсию» (The Excursion) Вордсворта. Это было время, когда даже выдающиеся политики следили за лучшими новинками современной литературы. «Но я купил книгу, — сказал он. — Вы удивитесь, как много можно узнать о содержании, даже оставив ее на столе непрочитанной». Суть его политики можно выразить кратко: «Если сомневаешься, ничего не делай».

Затем случилась чистка — по крайней мере, символическая. Ранним вечером 16 октября 1834 года небо осветилось красным заревом. Вскоре, к

изумлению и восторгу взволнованных наблюдателей, стало ясно, что горит здание парламента. Для кого-то это стало самым запоминающимся событием в жизни — видеть, как огонь пожирает центр управления империей. Многие сразу решили, что это заговор. Но кто за ним стоял: католики или, хуже того, ирландцы? Может быть, французы или русские? Радикалы или профсоюзные деятели? Другие считали, что огонь послан рукой Господа в наказание за принятый два года назад Закон об избирательной реформе. Для третьих пожар стал долгожданной переменой к лучшему. Старый парламент был тесным старинным зданием, пропитанным сыростью и зловонием, а его запутанные коридоры как будто олицетворяли собой все проволочки и бесцельные извивы законотворческой деятельности. Пострадали также ближайшие окрестности, которые архиепископ Вестминстера кардинал Уайзмен описывал как «лабиринт переулков, дворов, тупиков и трущоб, гнездо невежества, порока, разврата и преступлений». Слово «трущобы» появилось недавно, но все интуитивно понимали, что оно означает.

Многое из этого было уничтожено пожаром, распространившимся так широко и бушевавшим с такой силой, что в полночь стало светло

как днем. «Это была совершенно волшебная сцена», — вспоминал один наблюдатель (снова подтверждая, что под тонким налетом рациональности в душе человека XIX века скрывалось царство чудес и магии). Когда отдельные части здания рушились, некоторые зрители аплодировали, как будто во время представления. Художник Бенджамин Хейдон писал: «Людей охватило необычайное чувство единства — все обменивались шутками и радикальными остротами». В моменты душевного подъема лондонцы XIX века проявляли свои настоящие чувства: «Перекинулось на палату лордов», «Похоже, горит решение по Закону о бедных», «А теперь и сами законы». В пятницу утром первые лучи солнца осветили картину разрушения. Расписанная палата и библиотека палаты общин сильно пострадали. Главный фасад палаты общин и аркада перед палатой лордов полностью сгорели, стены лежали в руинах, крыши провалились.

Не успел дым развеяться над Вестминстером, как король сообщил Мельбурну то, о чем все знали или хотя бы догадывались: кабинет вигов, парализованный отставками и уходами, не в состоянии осуществлять управление страной. Влияние администрации в палате общин было

настолько слабым, что королю пришлось снова призвать на пост первого министра герцога Веллингтона. Однако тот отказался и порекомендовал вместо себя Роберта Пиля, которого все партии считали наиболее заслуживающим внимания из всех претендентов. Тот факт, что Пиль был не вигом, а тори, не имел никакого значения. Неоднозначную реакцию, однако, вызвало то, что король фактически сверг свое правительство, никак не согласовав этот вопрос с парламентом или с общественностью. Ни один монарх в дальнейшем не решался повторить подобный эксперимент.

Тори во главе с Робертом Пилем долго ждали этого момента. Виг или тори, Пиль был тогда единственным человеком, способным проводить последовательную политику и твердо придерживаться принципов. Поскольку он в это время находился в Италии, его обязанности временно взял на себя Веллингтон. Герцог принял управление страной точно так же, как принял бы командование в армии. С середины ноября до начала декабря он занимал все государственные должности. Его называли диктатором, а не временно исполняющим обязанности, но он не обладал и сотой долей яростного честолюбия

Кромвеля. Ему просто нужны были порядок и эффективность. Это было время самых разнообразных домыслов, и в своем романе «Конингсби» (Coningsby; 1844) Дизраэли так вспоминал зиму 1834 года: «Сколько надежд, сколько страхов, как высоки ставки!.. Все, кто был у власти, и все, кто стремился к власти, все, кто имел что-либо, и все, кто рассчитывал что-либо иметь, оказались на виду».

Спешно возвратившись из Рима, Пиль попал в страну, уже готовую к всеобщим выборам. Он чувствовал витающие в воздухе настроения. По мнению Мельбурна, избирательная реформа, «если только в ней не было абсолютной необходимости, была наиглупейшим решением из всех возможных». Однако для Пиля это был решающий шаг, итогом которого стало создание нового электората. Теперь перед ним стояла задача заинтересовать этот новый электорат программой ограниченных реформ. Он обладал трезвым, хотя и неутонченным умом и, по его словам, подходил к решению политических проблем как к математическим уравнениям.

Он внимательно изучил сложившиеся обстоятельства. За последние двадцать лет обязанности министров значительно расширились, выросла

группа парламентских руководителей и специалистов, разбирающихся в экономике, а также внешней и внутренней политике империи. Нужен был первый министр, способный справляться со своими непростыми обязанностями и понимающий требования времени. Расширение парламентской деятельности привлекло внимание общественности — газеты и другие периодические издания в это время имели особенно широкую аудиторию. Они внимательно следили за происходящим и публиковали подробные отчеты, чем способствовали появлению министров нового типа. Одним из первых в их числе был Пиль.

Пиль распустил парламент в последнюю неделю 1834 года, возможно надеясь на то, что это поможет ему усилить позиции своей партии или даже каким-нибудь чудом получить перевес. Затем он направил письмо своим избирателям в Тамворте, тем самым укрепив недавно возникший интерес к формирующемуся общественному мнению. В своем послании он обещал провести серьезную реформу Церкви и государства и заявил, что Закон о реформе явился «окончательным и неотменяемым решением крупного конституционного вопроса». В своем

Тамвортском манифесте Пиль подчеркивал, что обращается к «обширному и разумному классу общества», чтобы «открыто и честно изложить общие принципы и взгляды, которых, по-видимому, ждут с нетерпением». Другими словами, он разговаривал с теми, чьим интересам отвечала избирательная реформа 1832 года, и обещал действовать от их имени. В итоге он получил достаточно много парламентских мест — 98, но этого все же было недостаточно, чтобы претендовать на большинство. Кроме того, он столкнулся с дополнительным препятствием в виде союза оппозиционных партий. Присутствующие в парламенте виги, радикалы и ирландцы заключили так называемое Личфилдхаусское соглашение, договорившись объединить усилия ради падения Пиля. Когда 18 февраля собрался новый парламент, Пиль уже знал, что его дни сочтены — не самый лучший знак для нового премьер-министра. Пиль мог удержаться, хотя бы потому, что иначе правительство снова возглавил бы Мельбурн.

За шесть недель было отклонено шесть выдвинутых им законопроектов, и к весне 1835 года королю и первому министру стало ясно, что дело зашло в тупик. Занавес упал, когда парламент от-

клонил предложенный Пилем акт об ирландской десятине. Один из многих парадоксов этих трудных лет заключался в том, что Ирландия стала причиной падения не одного английского правительства. Однако те без малого сто дней, которые Пиль провел на своем посту, самым благоприятным образом отразились на его репутации как сильного и целеустремленного политика. Кроме того, за это время он помог сформировать Консервативную партию, свободную от привычной реакционности и далекую от шаблонного образа твердолобого герцога, охранителя традиционных ценностей. В The Times назвали его отставку «ужасным национальным бедствием» и осудили «излишнее партийное рвение», которое привело к его падению. Некоторые были недовольны тем, что оппозиционные партии объединились, не имея в действительности никаких общих целей, кроме стремления уничтожить премьер-министра.

Сдержанный, немногословный и не разменивающийся по мелочам, Пиль стал влиятельной фигурой. Он показал, что обладает трезвым административным складом ума. Возможно, он был политиком без идеалов, но для чего нужны идеалы? Тамвортский манифест был достоин

партии, которую Дизраэли позднее назвал «партией без принципов» (еще позднее эту шпильку вернули самому Дизраэли). Дэниел О'Коннелл сказал о Пиле, что «его улыбка напоминает серебряную табличку на крышке гроба», но эти холодность и высокомерие в какой-то мере объяснялись застенчивостью. Он был от природы замкнутым человеком. Дизраэли, набрасывая его литературный портрет, заметил: «Он был крайне стеснительным, но с ранних лет не по своей воле занимал ответственные должности и обзавелся искусственной манерой держать себя высокомерно и непреклонно или, напротив, чересчур обходительно, от которой, в сущности, был не в состоянии избавиться». По словам лорда Роузберри, Пиль с самого начала был «способным, добросовестным, трудолюбивым, чутким человеком». Он был достаточно богат, но незнатен и расстраивался из-за своего сомнительного статуса. До конца жизни он говорил с ланкаширским акцентом. Он был в первую очередь человеком дела и в палате общин чувствовал себя как дома. Его часто сравнивали с маяком на скалах, капитаном корабля в бурном море, светом на горизонте — все остальные банальности вы легко можете вообразить сами. Он не ладил с некоторыми чле-

нами парламента и мог пренебречь одним или закрыть глаза на другое, но если поставить перед ним сложную задачу, он почти наверняка мог ее распутать. Кроме того, он совершенно не выносил боли и однажды потерял сознание, когда ему прищемило палец дверью.

Итак, после своего первого прихода в правительство он ушел в отставку, как писали в Annual Register, «не просто первым, но не имея соперника». Его противники-виги еще не успели прийти в себя после того, как сурово с ними обошелся король. Мельбурн и Рассел, ключевые фигуры вигов, в период краткого господства Пиля могли утешиться разве что перспективой занять должность в правительстве. У Вильгельма не было иного выбора, кроме как восстановить Мельбурна на посту первого министра, — для суверена, который, по сути, лично отстранил его несколько месяцев назад, это было изрядным унижением и к тому же показало, что парламент и народ имеют больше власти, чем монарх.

После большого пожара старое здание парламента представляло собой обгоревший остов, и новый парламент собирался в сильно пострадавшей от огня, но в целом пригодной для заседаний палате лордов, в то время как сами лорды раз-

местились в сильно пострадавшей Расписанной палате. Мельбурн руководил лордами, Рассел занимал ведущее положение в палате общин. Все либералы, умеренные, ультрарадикалы, радикалы и философские радикалы сплотились вокруг Мельбурна. В свете Личфилдхаусского соглашения виги могли получить большинство только при поддержке ирландских депутатов Дэниела О'Коннелла. Они играли ключевую роль. Парламентские радикалы, к какой бы партии они себя ни причисляли, не могли тягаться с ними и вскоре выродились в секты или даже меньше чем секты. Их слабость позволила Расселу не допустить дальнейшей либерализации Закона о реформе, которой страстно желали радикалы (благодаря этому он получил прозвище «Бесповоротный Джек»).

В партии тори также имелось множество внутренних течений, но высокие тори, или ультратори, и либеральные тори вполне могли встать под знамена Консервативной партии. У нее был свой клуб «Карлтон», свои ассоциации и свои посредники. При этом было одно существенное отличие, которое в конечном итоге дорого обошлось Пилю. Он надеялся и верил, что способен создать современную партию тори, готовую

бороться с теми трудностями, которые страна испытывала в 1830-х годах. Однако большинство в партии составляли фермеры, землевладельцы и арендаторы, чьей главной заботой были цены на зерно и сельскохозяйственные интересы. Заботы, занимавшие Пиля, и заботы партии тори далеко не всегда совпадали.

Второй срок Мельбурна на посту премьер-министра прошел под знаком Закона о муниципальном самоуправлении, обсуждение которого шло в специальном парламентском комитете. Королевская комиссия сообщила: «В подавляющем большинстве самоуправляемых городов преобладает общее и, по нашему мнению, справедливое недовольство муниципальными учреждениями, недоверие к самоназначенным муниципальным советам… недоверие к городской магистратуре, недовольство тяжестью местных налогов». Комиссия представила всесторонне дискредитирующий отчет о состоянии дел. Города и округа находились во власти группы присвоивших себе должности олигархов, мэр и городские советы организовывали сборы средств в собственных интересах, ради личного обогащения или укрепления власти своей семьи на местах. Закон, вступивший в силу в 1835 году в результате этих

обсуждений, лишил власти гражданские гильдии и своекорыстные объединения торговцев и ремесленников, контролировавших городские богатства.

Вместо этого право муниципального выбора предоставлялось всем постоянным налогоплательщикам или домовладельцам. Раз в три года они должны были выбирать своих представителей. Мэр или старейшина могли действовать только с одобрения выборного городского совета. Это был аналог избирательной реформы на муниципальном уровне. Закон прошел через руки Мельбурна, в то время первого министра, но вряд ли он имел какое-то отношение к его разработке. Хотя закон касался только крупных городов, он разбил лед и преодолел апатию, десятки лет царившую в деревнях. В сущности, можно утверждать, что новое поколение городских советников решало местные проблемы, например связанные с общественным здравоохранением и санитарией, намного эффективнее, чем парламент. В некоторых случаях большинство в городских советах составляли нонконформисты и диссентеры, что, вероятно, способствовало проведению более прогрессивной политики. «Закон возвещает пришествие среднего класса во всех

городах Англии, — писал один обозреватель, — и дает ему чудовищную силу».

Эта сила была вполне ясна Мельбурну, стремившемуся продвигать интересы диссентеров. В 1836 году его администрация создала систему гражданской регистрации рождений, браков и смертей, тем самым подорвав англиканскую монополию в этой области, а также приняла Закон о браке для диссентеров, впервые сделавший легитимным гражданский (нецерковный) брак. В том же году Лондонский университет получил свой устав, открывавший доступ к обучению диссентерам, которым до этого было запрещено посещать все старейшие университеты. Хотелось бы написать, что во всем этом Мельбурном двигали благие побуждения, но на самом деле он хотел удержать диссентеров на своей стороне в парламенте. Они были в числе его сильнейших сторонников.

На том же заседании государственная пошлина на газеты была снижена с четырех пенсов до одного. Morning Chronicle быстро стала достаточно авторитетным изданием — Джон Стюарт Милль называл ее «рупором мнения, далеко опережающего любые, ранее регулярно отстаиваемые в газетах», имея в виду, что это была первая газета,

представившая в печати теорию Бентама.

Противников Мельбурна в партии тори морально поддерживал король и даже некоторые члены партии вигов. Может показаться, что он стоял на скале в окружении бушующих волн, но время и прилив работали в его пользу. Ирландцы и радикалы не хотели терять его, опасаясь, что его место займут тори. Пиль придерживался умеренного курса в ожидании того момента, когда сможет рассчитывать на твердую победу на выборах. Это время было еще впереди. В сущности, администрация Мельбурна оставалась у власти при косвенной поддержке Пиля. Оба они были людьми консервативного склада и могли сотрудничать, даже если со стороны казалось, что каждый из них действует отдельно. И все же Мельбурн был не вполне властен над своей судьбой. Над ним тенью нависало глубокое недовольство короля: Вильгельм IV отнюдь не желал его возвращения.

Тем не менее в сложившейся ситуации Мельбурн был самым подходящим лидером: он источал добродушие и не имел принципов, за которые стоило бы держаться любой ценой. Это делало его бесконечно податливым и гибким. Палата общин могла принять предложенную

правительством меру только для того, чтобы ее затем отклонила палата лордов. Начинался долгий процесс обсуждений и компромиссов, и наконец предлагалась совсем другая мера. Мельбурн не возражал против всего этого, пока за ним стоял его кабинет. «Я буду поддерживать вас до тех пор, пока вы правы», — сказал ему один из министров. «Но это совершенно бесполезно, — ответил он. — Мне нужны люди, которые поддержат меня, когда я неправ». Он ни в коем случае не был реформатором. Проволочки, откладывания и двусмысленности были его излюбленной тактикой. Даже когда палата лордов в первый раз отвергла выдвинутый им Закон о муниципальном самоуправлении, его это, похоже, ничуть не задело. «Какое это имеет значение? — спросил он. — Последние пятьсот лет советы вполне сносно справлялись со своими делами». В конце концов палата лордов утвердила решение, и закон вступил в силу. «Ну, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Мельбурн. В любых делах он всегда сохранял некоторую дистанцию, а все подробности обычно оставлял на усмотрение Рассела, обладавшего амбициями и склонностью к руководящей работе (и вследствие того обреченного на разочарования).

Кроме того, у Мельбурна был незаменимый союзник в кабинете министров — виконт Палмерстон, министр иностранных дел, довольно скоро укрепивший союз браком с Эмили Лэм, сестрой Мельбурна. Палмерстон занимал этот пост с 1830 года (за вычетом короткого эпизода с Пилем), а до этого был лордом Адмиралтейства и военным министром. Он хорошо разбирался в дипломатических маневрах и искусно разыгрывал свою партию, сочетая ловкость с бравадой. Он, как и Мельбурн, не придерживался никакой конкретной политической линии, за исключением чисто прагматичного желания сделать так, чтобы Британия всегда на шаг опережала своих врагов. Он проводил успешную и мудрую политику, хотя те, кто работал под его началом, искренне его ненавидели — в основном потому, что он заставлял их так же усердно и добросовестно работать.

Когда на кону стояли интересы страны, он мог быть грозным и непреклонным. Он вмешивался в дела Бельгии, Португалии, Испании и Сирии — во всех этих случаях Палмерстон усматривал угрозу репутации Британии, поэтому именно ему, министру иностранных дел, следовало, как полицейскому западного мира, проследить за тем, чтобы Британию в равной мере уважали и

боялись. В каком-то смысле он был единственным источником яркого света в сумерках кабинета Мельбурна. Свое мнение он всегда высказывал прямо. Например, однажды он заявил: «Всем этим полуцивилизованным правительствам Китая, Португалии, Южной Америки и так далее нужно каждые восемь-десять лет задавать хорошую взбучку, чтобы они не забывали свое место… Их ум слишком мелок, чтобы вместить полученное впечатление на сколько-нибудь длительный срок, а делать им предупреждения бесполезно. Слова для них ничего не значат, поэтому они должны не только увидеть палку, но и почувствовать ее на своих плечах — тогда они уступят». Эти самонадеянные ксенофобские настроения чуть позднее назовут джингоизмом.

Вскоре шовинистов-джинго можно было встретить на фондовой бирже, в армии и на флоте, на модных улицах, где собирались толпы гуляющих, среди клерков, лавочников и портовых рабочих. Палмерстон как будто интуитивно угадал настроения нации. Он называл Австрию «старухой» и «европейским Китаем». Он не стеснялся запугивать и грозить. Иногда он досаждал даже союзникам, за что получил прозвище «лорд Наждачный Камень» (Pumicestone). Чаще его

называли добродушным прозвищем «Пэм» или загадочным «Мангуст» — возможно, из-за способности обезвреживать иностранных змей. Булвер-Литтон отмечал: «Обычно, когда Палмерстон говорит о дипломатии, он говорит о военных кораблях». Палмерстон послал сицилийским повстанцам оружие прямо из Вулвичского арсенала, поскольку решительно не одобрял действий короля Неаполя Фердинанда. Он вообще не любил правителей — не важно, наследных или избранных. Луи Филипп называл его *l'ennemi de ma maison*[9], а королева Виктория нередко жаловалась, что он принимает важные решения, не посоветовавшись с ней или ее мужем. В ответ на это он просто пожимал плечами. Он всегда владел фактами и не сомневался в своей правоте. Он относился к миру как к огромной игре и мог сымпровизировать или уступить там, где это требовалось.

Палмерстон был сторонником политики постоянного вмешательства: он бесконечно делал предупреждения монархам, угрожал премьер-министрам — словом, энергично помешивал в большом котле международной политики, не да-

---

[9] Примечания: 9
Враг моего дома (*фр.*).

вая ему остыть. Как объяснил королеве Мельбурн: «Главный принцип его действий — ничто так не вредит политике, как слабость и робость, и в целом эта теория вполне верна». В данном случае речь шла о Северной Африке, где египетский паша Мухаммед Али решил восстать против своего номинального суверена, турецкого султана. Это не понравилось Палмерстону, поскольку упадок или распад Османской империи, где правил султан, мог дать России или Франции возможность заполучить Египет. Особенно серьезной угрозой считалась Франция, поскольку с этой страной у Англии издавна шло негласное соперничество. Палмерстон делал то, что считал нужным, проводил переговоры и заключал сделки, не давая коллегам сыграть в этом сколько-нибудь заметную роль.

Вскоре против Франции встал четырехсторонний союз Англии, России, Австрии и Пруссии. (Его можно было бы назвать Северным альянсом.) Однако перспектива войны с Францией нервировала английский кабинет министров. Когда Палмерстон предложил заключить договор с тремя странами, два члена кабинета пригрозили уйти в отставку. Мельбурн серьезно встревожился. Любой раскол или даже намек на раскол мог

повредить ему. «Ради бога, — сказал он, — пусть никто не уходит в отставку или все уйдут в отставку». Палмерстон сохранял невозмутимость: французские угрозы его нисколько не пугали. Он заявил, что они просто блефуют, и продолжил стоять на своем. От напряжения Мельбурн заболел. Склонность к нервной истерии, которая проявлялась в полную силу в периоды кризисов, была одной из главных особенностей викторианского характера. Спустя несколько лет Мельбурн писал Расселу о королеве: «Она может сделаться серьезно больна, если будет слишком долго находиться в состоянии беспокойства и нервного возбуждения». Писатель и общественный обозреватель Артур Янг, говоря о работе электрического телеграфа, назвал его «системой универсальной циркуляции сведений, с электрической чуткостью распространяющей в Англии малейшие вибрации чувств и опасений от одного края королевства до другого» — но эти слова вполне можно было бы отнести к душевному состоянию людей.

В каком-то смысле это было апокалиптическое воображение в действии. Так, на основании каких-то неясных или вымышленных текстов распространились слухи, что 17 марта 1842 года Лондон сгорит дотла в огромном пожаре. В вы-

шедшей в тот день газете The Times сообщали: «Неистовые вопли, обращенные к небесам мольбы о пощаде, душераздирающие крики о помощи, раздававшиеся отовсюду в течение дня, достаточно свидетельствовали о том, как сильно это народное заблуждение подействовало на разум суеверных людей». Люди толпились на причалах в ожидании парохода, который увезет их из города, поезда, отправляющиеся из Лондона, были переполнены. Некоторые искали убежища в полях, но ничего так и не произошло.

Палмерстон был прав с самого начала. Он поставил французского короля Луи Филиппа перед перспективой конфликта. Король отступил, и вскоре военный блеф Мухаммеда Али раскрылся. Эта бескровная победа над французами вызвала огромное ликование в Англии и, пожалуй, была единственным иностранным триумфом, который могло приписать себе правительство Мельбурна.

Палмерстон продолжал проводить политику по ситуации, что, впрочем, не делало ее менее успешной. Он ясно видел, в каком направлении движутся дела государства, и в тех редких случаях, когда его тянуло пофилософствовать, его высказывания отличались проницательностью и прагматичностью. К примеру, издавна было

принято считать, что Османская империя разлагается или пребывает в упадке, но Палмерстон заметил: «Половина неверных выводов, к которым приходит человечество, происходит из злоупотребления метафорами и привычки путать общее сходство или воображаемое подобие с действительным положением вещей. Поэтому люди охотно сравнивают древнюю монархию со старым зданием, старым деревом или старым человеком…» Хотя на самом деле между ними нет никакого сходства.

Однажды он сказал: «Весьма недальновидно предполагать, будто ту или другую страну можно обозначить как вечного союзника или вечного врага Англии. У нас нет вечных союзников и вечных врагов. Вечны наши интересы, и этим интересам мы обязаны следовать». О себе он мог бы так же сказать, что не причисляет себя ни к одной партии и всегда держится на расстоянии вытянутой руки от своего номинального лидера. Он предпочитал идти собственным путем. Как мы увидим, иногда он спотыкался, но всегда вставал, отряхивался и шел дальше.

10
Юные надежды

В 1830-х годах сохранялась нестабильность в сельском хозяйстве и промышленности. Колебания цен, прибылей и арендной платы затрагивали всех. Символом этого времени мог бы стать сон фараона о семи коровах тучных и семи коровах тощих (Быт. 41). Никто не понимал, от чего зависят эти изменения, что влияет на них, кроме неотменяемых условий сезонного цикла, поэтому никто не мог справиться с возросшим спросом или внезапным экономическим спадом. Социальные волнения и бунты усугублялись новым Законом о бедных и повышением налогов, а такие события, как агитация в Толпадле, не предвещали ничего хорошего для администрации Мельбурна.

В 1836 году группа лондонских и йоркширских радикалов, среди которых были такие социальные реформаторы, как Уильям Ловетт и Фрэнсис Плейс, решила основать Лондонскую ассоциацию рабочих. В мае 1837 года на торжественном собрании в кофейне на Кокспур-стрит ассоциация

представила свои требования, которые позднее стали известны как «Шесть пунктов». Среди них были ежегодный созыв парламента, избирательное право для всех мужчин (избирательное право для женщин пока еще казалось чем-то из ряда вон выходящим), равные избирательные округа, отмена имущественного ценза для членов парламента (это дало бы возможность выдвинуться молодым реформаторам), тайное голосование, позволяющее положить конец взяточничеству и запугиванию, а также денежное вознаграждение для заседающих в парламенте депутатов (это должно было помочь представителям рабочего класса, у которых не было других источников денежных средств). Эти пункты вскоре стали известны как хартия (The Charter), а ее сторонники — как чартисты.

Народная хартия выражала интересы малоимущих и голодающих, которым не помогла проведенная ранее избирательная реформа и чье бедственное положение значительно усугубил новый Закон о бедных. Администрация подкупила часть среднего класса, но они отвернулись от всех остальных.

Осенью того же года ирландский активист Фергюс О'Коннор начал публиковать в Лидсе газету

Northern Star, эхом повторявшую все разгромные и критические выступления чартистских ораторов, которые называли работные дома Бастилиями, а тамошнюю еду — адским варевом. Несмотря на то что газета стоила четыре с половиной пенса, у нее был самый большой тираж за пределами Лондона. Она представляла экономические, социальные и политические новости с точки зрения угнетенных.

Томас Эттвуд, чей Бирмингемский политический союз был распущен, теперь присоединился к чартистам в новой великой надежде спровоцировать общественную реформу. Было бы неправильно сбрасывать со счетов этих первых чартистов как мечтателей или смутьянов, оторванных от реалий своего времени. Например, они прекрасно осознавали силу ирландского национализма или колониальных повстанцев, которые могли бы помочь им в их битве с английскими властями. Однако практические мотивы чартистов оставались неясными. Они были выходцами из совершенно разных слоев общества, а их цели в отношении города и в отношении деревни были настолько неоднородны, что любая попытка организованно возглавить это движение почти наверняка была обречена на провал.

Это было массовое движение, но его размеры не помогали определить его суть, а классовое сознание его участников опиралось в основном на массовые митинги и собрания, предназначенные, казалось, лишь для того, чтобы распалять ораторов и аудиторию. Вместе с тем это была организация нового типа: она действовала через выступления и массовые митинги, а также вспомогательные материалы в виде брошюр, плакатов и газет. Никогда еще воинственная группа не была так хорошо организована.

Среди чартистов были те, кто выступал за «моральное воздействие» и за «физическое воздействие». При всей очевидной разнице в действительности граница между этими группами оставалась довольно расплывчатой. Ткачи, работавшие на ручных станках, — одна из тех групп, которые сильнее всего пострадали от экономических изменений, — обычно выступали за «физическое воздействие». Путаница еще усугублялась тем, что кое-где чартисты ассоциировались с методистами, которые собирались в том же помещении и пели такие же гимны. Следующие три года движение продолжало оставаться на виду у публики. Власти всегда опасались насилия с его стороны, но на самом деле в

эти тревожные годы было очень мало насилия.

Радикалы в парламенте все больше раздражались из-за проволочек и колебаний вигов по поводу каждого законодательного акта. Один из радикальных депутатов, Джон Артур Роубак по прозвищу «Порви Их», жаловался, что царившее в один день либеральное настроение могло бесследно исчезнуть на следующий день. «Виги всегда были элитарной аристократической фракцией, хотя временами использовали демократические принципы и высказывания как оружие против своих оппонентов… Вне государственной службы это демагоги, а придя к власти, они становятся замкнутой группой олигархов». Они прикрывались демократией, но на деле исповедовали аристократические принципы. Они много обещали, но мало делали. Они изъяснялись расплывчато, а принятые ими меры были по большей части неэффективными и бесполезными.

И все же Мельбурн, главная мишень всей этой ярости, имел одно огромное преимущество. Он знал, что король умирает и что его преемница, восемнадцатилетняя девушка, не разделяет предрассудков Вильгельма. Она смотрела на мир совершенно иначе. Финал разыгрался до-

вольно быстро. В мае и июне 1837 года королю Вильгельму стало заметно хуже, и 20 июня он скончался от сердечного приступа. Вильгельм умер рано утром, и Мельбурн едва дождался рассвета, чтобы сообщить Виктории о ее новом положении в мире. Смерть старика и воцарение новой молодой государыни неизмеримо усилили позиции администрации. Почему мир должен был оплакивать уход старого короля? Конечно, он принял Закон о реформе, и если он запомнился этим, то, вероятно, этого уже достаточно. Кроме этого, за семь лет своего правления он провел муниципальную реформу, отменил рабство и ввел новый Закон о бедных. Хотя, возможно, правильнее будет сказать, что он просто позволил этому случиться. «Он был чудной, — написала королева Виктория в своем дневнике. — Очень странный и своеобразный, и его намерения часто неверно истолковывали».

Король умер как нельзя более вовремя — через месяц после того, как Виктория достигла совершеннолетия. Это избавило молодую королеву от попыток многочисленных придворных, слуг, родственников и политиков повлиять на нее, воспользовавшись регентством. Молодая женщина сполна наслаждалась новообретенной

свободой. «Поскольку Провидению было угодно поставить меня на это место, — писала она, — я сделаю все возможное, чтобы исполнить свой долг перед страной. Я очень молода и, возможно, во многом (хотя далеко не во всем) неопытна, однако уверена, немногие имеют столько же доброй воли и искреннего желания поступать верно и правильно, как я».

Она нашла неожиданного компаньона в лице виконта Мельбурна, который стал для молодой королевы кем-то вроде отца. Его остроумие и невозмутимое спокойствие помогали ей сориентироваться в хитросплетениях текущей политики, а его дельные практические советы не грешили ненужным идеализмом. Если бы не окружавший королеву ореол божественности, можно было бы сказать, что он относился к ней как к дочери, а она относилась к нему как к отцу. Именно он привил ей ту хладнокровную выдержку, которую она сохраняла всю свою жизнь. Он сообщил ей, что не ходит в церковь, чтобы случайно не услышать с кафедры что-нибудь «экстраординарное». Он посоветовал ей не читать Чарльза Диккенса, так как его произведения нагоняют тоску. Возможно, это был не лучший совет для того времени. В действительности

Флитская тюрьма и Остров Иакова были гораздо хуже, чем их описания в «Записках Пиквикского клуба» (1836) и в «Оливере Твисте» (1838). На самом деле состояние мегаполиса оставляло желать лучшего вплоть до 1870 года, года смерти Диккенса.

Всеобщие выборы после смерти старого монарха вернули позиции вигам вместе с Мельбурном, но Пиль и тори почти не отставали. Среди парламентариев, ведомых Пилем, были Уильям Юарт Гладстон, присоединившийся к парламенту пять лет назад, и одна новая фигура — Бенджамин Дизраэли. Конечно, новая королева предпочитала держаться ближе к Мельбурну. Она была капризной и своенравной, но любила увеселения и танцы. Мельбурн до такой степени наслаждался обществом своей новой государыни, что начал пренебрегать парламентскими делами. Его и раньше не слишком привлекала вся эта чепуха, а теперь у него появилась веская причина совсем забыть о ней. Его внимание сосредоточилось на королеве. Она видела достаточно людей, стремившихся использовать ее в своих интересах, но Мельбурн не имел подобных амбиций. «Она самый честный человек, которого я когда-либо знал, — сказал он однажды. — Единственная

трудность заключается в том, чтобы убедить ее, что нельзя всегда идти напрямик, иногда нужно двигаться обходным путем». Ему был хорошо известен ее прямолинейный характер и нежелание считаться с препятствиями. «Рядом с ней, — утверждала жена российского посла княгиня Ливен, — он имеет вид любящий, удовлетворенный, немного самодовольный… и вместе с тем мечтательный и веселый».

5 ноября 1837 года Виктория открыла свой первый парламент. Тори возлагали большие надежды на новую сессию, но большое количество целеустремленных ирландских депутатов наводило на мысль, что ожидания могут не оправдаться. В этом не было ничего нового, однако на сей раз ситуация осложнялась караулящими за углом чартистами. И пожалуй, сейчас самый подходящий момент, чтобы представить вам ту разношерстную компанию мужчин и женщин, которых называют ранними викторианцами. Это были шумные, грубые, пестро одетые предки серьезных и трудолюбивых «средних викторианцев», которые, в отличие от своих жизнерадостных предшественников, ни за что не надели бы синий шейный платок и бархатные брюки, плоскую кепку или рабочие башмаки. Мы видим

ранних викторианцев на страницах романов Диккенса: созданные им образы железнодорожных магнатов, подметальщиков улиц, приютских мальчишек, старых дев, школьных учителей, отставных моряков, частных детективов, управляющих кофейнями, торговок подержанной одеждой, клерков-переписчиков и горничных наполняют обширный мир, горизонты которого оставались для них самих невидимыми.

Если говорить в самом широком смысле и в полной мере сознавая спорность утверждения, это был мир неистовой энергии и новизны, азарта и энтузиазма, скорости и сенсации, энергии и бравады. Сменяющие друг друга движения за социальные реформы часто возглавляли одни и те же люди, горячие сторонники перемен. Ремесленники, торговцы и лавочники, так часто составляющие костяк нового общества, отличались независимостью суждений и религиозных взглядов, самостоятельностью и непочтительностью. Это был электорат, созданный избирательной реформой. Джордж Элиот в 1872 году оглядывалась на те времена, когда реформы только начинались, «с юной надеждой на немедленную пользу от них — надеждой, в наши дни заметно увядшей». В «Последних

днях Помпей» (1834) Булвер-Литтон замечал: «У нас, современных людей, есть огонь, страсть и энергия — мы никогда не спим, мы копируем цвета картины, ее жизнь и ее сюжет». Писатели того времени отличались большой плодовитостью — трехтомные романы могли тянуться до скончания времен, — но при этом не страдали пустым многословием. Содержание книг Рёскина, Карлейля, Скотта и Диккенса нельзя было изложить вкратце. Новой особенностью времени стало то, что именитые писатели смотрели на XVIII век с оттенком презрения. Диккенс добавил в свою библиотеку несколько фальшивых полок с книгами, на корешках которых красовалась надпись «Мудрость наших предков» — в этом собрании были тома под названием «Невежество» и «Суеверие».

Однако света не бывает без тени, и у 1830-х годов была еще одна, намного более красноречивая сторона. Когда хартия чартистов появилась в 1838 году, власти ожидали сопутствующих митингов, выступлений, демонстраций, петиций и бунтов. Один чартист, написавший в конце века мемуары под названием «Мемуары социального атома» (Memoirs of a Social Atom; 1903), вспоминал: «Люди, не разделяющие надежд чартистов и лично

не знакомые с теми глубокими и сильными чувствами, которые ими двигали, не могут представить себе, чем наше время отличается от того, что было пятьдесят или шестьдесят лет назад. Весь правящий класс — виги даже больше, чем тори, — был предметом не только неприязни, но откровенной ненависти трудящегося населения». Разнообразные движения и общества рождали подлинный политический антагонизм. Многие массовые собрания трудящихся в 1838 году проводили при свете факелов в знак протеста против своей участи. В Болтоне и Стокпорте, в Эштоне и Ли многотысячные толпы «выстраивались в процессии и заполняли главные улицы, сотрясая небеса громогласными выкриками… Плывущие над толпой флаги с устрашающими девизами и красный свет пылающих факелов создавали картину величественную и ужасную». Казалось, города охвачены огнем.

Профсоюзы, как и радикальные виги, держались от этого движения в стороне. Лидеры агитации против Хлебных законов, которая уже тогда становилась все более ожесточенной, также не участвовали в движении. Чартистов интересовала политика, а не экономика. По сути, это была демонстрация силы рабочего класса, истоки кото-

рой лежали в многовековых традициях народной агитации, пронизывающей историю Англии от Уота Тайлера, Джона Болла и Джека Кэда до радикальных ассоциаций, политических союзов и демократических объединений последних лет. Власть с нарастающим ужасом наблюдала за масштабами и размахом протестов. Один наблюдатель был проницательнее большинства остальных. «Тори, — писал Чарльз Гревилл в своем дневнике в июне 1837 года, — предсказывают всевозможные мрачные последствия, но ничего этого, конечно, не произойдет. Ничего не произойдет, потому что в этой стране никогда ничего не происходит».

Строго говоря, это было не совсем так. Осенью 1838 года кое-что все-таки произошло. В Манчестере возникла Лига против Хлебных законов, единственной целью которой была «полная и немедленная отмена Хлебных законов». Лига не случайно появилась именно там, где бурно развивалась хлопковая промышленность, свидетельствуя о триумфе современного машинного производства и огромном значении вопроса свободной торговли в Британии. Этот вопрос требовал неотложного решения. Можно ли разрешить фермерам покупать дешево и продавать

дорого, как того требует рынок, или следует ввести ограничения и тарифы на импортное зерно, чтобы поддерживать цены и прибыль английских фермеров на высоком уровне? Консервативная партия, формально представлявшая землевладельцев и управляющих имениями, естественно, выступала за сохранение законов. Ее противники, от вигов до радикалов, стремились устранить их, чтобы зерно стало дешевле.

Множество священников-диссентеров заявляло, что Хлебные законы «противоречат Закону Божьему и самой вере». Лига начала кампанию под руководством Ричарда Кобдена и Джона Брайта, по сути представлявшую собой религиозное движение, наподобие имевшего ранее успех движения против рабства, где вопросы религии и политики также перетекали один в другой. Свободная торговля сама по себе считалась чем-то вроде религиозной панацеи: она должна была привести к удешевлению еды, увеличению экспорта, росту занятости и общему процветанию. Одна нация протянет руку другой, тем самым способствуя миру и изобилию. Джон Брайт заявлял, что это движение «торговых и промышленных классов против лордов и крупных землевладельцев». Брайт был квакером и считал, что «при

решении политических проблем следует брать за основу то, что представляется нашей совести справедливым и нравственным». Поскольку Англия имела положительный (внешне)торговый баланс, считалось, что свободная торговля будет способствовать «улучшению всего мира». Таким образом, материальный прогресс находился в тесной связи с нравственным совершенствованием, что вполне соответствовало одному из великих принципов XIX века. Палмерстон писал: «Торговля — лучший двигатель цивилизации».

Лига против Хлебных законов развернула свою кампанию в масштабах всей страны: журналы и брошюры, речи, митинги и демонстрации осуждали «олигархию, облагающую хлеб налогами, горстку мошенников, хищных гарпий, грабителей рабочего люда, нечестивых чудовищ, шайку гнилых сластолюбивых негодяев…». В свою очередь, фермеры называли сторонников отмены Хлебных законов скотами, ишаками, тупицами, лягушачьим хором, дурнями и болванами. Ситуация обострялась, поскольку в 1838 году цены на хлеб неуклонно росли. В январе кварта зерна стоила 55 шиллингов, в сентябре — 72 шиллинга, а в декабре — 74 шиллинга. В январе следующего года цена выросла почти до 80 шиллингов. Мель-

бурн слышал приглушенное ворчание тех, кто требовал свободной торговли, но предпочитал не обращать на них внимания. «Я сомневаюсь, что институты собственности и государства это выдержат», — сказал он. А может быть, он просто был не готов к изматывающим дебатам и кризисам, наподобие тех, что сопровождали избирательную реформу. «Я слаб и болен, я не могу ничего делать и ни о чем думать, — сказал он. — Сейчас это совсем некстати».

Именно консерватор Пиль в конечном счете возглавил наступление на Хлебные законы. Он был не политическим философом, а прагматичным администратором, и ему уже приходило в голову, что цены на пшеницу возмутительно высоки, к тому же положение бесконечно ухудшалось плохими урожаями в Ирландии. В Ирландии количество умерших ежедневно увеличивалось, но газеты писали, что мужчины, женщины и дети умирают от голода в Шотландии и Англии. Как политик Пиль, единожды убедившись в правильности избранного принципа или меры, больше не отклонялся от них. Его решимость не могло поколебать даже то, что подавляющее большинство Консервативной партии желало сохранить Хлебные законы. Для них это был символ веры,

но для Пиля — символ разума и справедливости. Гибельную ситуацию в Ирландии, где после ряда урожаев плохая пшеница вытеснила хорошую, также нельзя было игнорировать. И даже если он не мог полагаться на свою Консервативную партию, то мог найти достаточно союзников в других местах.

Чартисты рвались в бой не менее активно, чем сторонники лиги. В начале февраля 1839 года в Лондоне состоялся Всеобщий съезд трудящихся классов, где планировали официально принять хартию и составить петицию, которая будет затем разослана по всей стране. По сути, это было общенациональное собрание чартистов, где каждый участник представлял ряд областей, и, как подсказывает название, оно было заинтересовано в реформах, а не в революции. Оно не имело ничего общего с движением профсоюзов. Как выразился один каменщик, «профсоюзы разрушают старую систему — чартисты выступают за новую систему. Профсоюзы хотят извлечь максимум выгоды из дурной сделки — чартисты хотят заключить новую сделку». Если уж на то пошло, съезд был своего рода народным парламентом, который должен был сделать то, чего так и не смогли добиться радикалы за все время своего

пребывания в Вестминстере. Элизабет Гаскелл назвала это время «ужасными годами». В романе «Мэри Бартон» (Mary Barton; 1848) она писала: «Несоразмерность заработков рабочего класса и цен на продукты слишком многих привела к болезням и смерти. Люди голодали целыми семьями. Не хватало лишь Данте, чтобы описать их мучения».

Призывы Всеобщего съезда заставили некоторых испугаться, начались разговоры о вооруженных протестах. Организованная полиция появилась в тех городах, где ее ранее не было, армию усилили, некоторых чартистов арестовали. Один живший в то время историк выразился так: «Мы стали трезвым народом». Перспективы вооруженного конфликта не было; более того, как это часто случается, внутренние конфликты между радикалами были намного более ожесточенными, чем любая направленная вовне агитация. Они спорили о том, какие методы следует использовать: моральное воздействие, запугивание, физическое воздействие или смесь всего перечисленного? Планировали и готовили массовое шествие к парламенту, чтобы представить петицию с просьбой рассмотреть шесть пунктов своей хартии. Элизабет Гаскелл

добавляла: «Они не могли поверить, что правительство уже знает об их несчастьях… Мысль о том, что глубину их бедствий еще только предстоит раскрыть и что тогда будет найдено какое-то средство, смягчала их исстрадавшиеся сердца и сдерживала нарастающую ярость».

Общенациональную петицию собирались выработать на массовом съезде в 1839 году, а затем представители различных реформистских клубов должны были доставить ее в процессе большого шествия к Вестминстеру. Длина петиции составляла 3 мили (4,8 км) — в ней было 1 280 000 подписей. Впрочем, даже если бы под ней стоял еще миллион подписей, этого вряд ли оказалось бы достаточно. Петицию представили, но по итогам голосования 12 июля парламент отказался даже рассмотреть ее. Возникли слухи о национальной забастовке, но рабочие не были к ней готовы. Затем местные активисты заговорили о всеобщем восстании, но эта идея имела еще меньше шансов расшевелить Англию. Бунты и забастовки отнимали достаточно сил, и ни у кого тем более не было желания поднимать вооруженное восстание, которое ни один лидер не смог бы должным образом направлять и контролировать. «Священный месяц», посвященный

общему делу, в итоге сократился до трехдневной забастовки, в ходе которой самые воинственные чартисты были арестованы. Одних приговорили к условной мере наказания, других к нескольким месяцам тюрьмы. Никаких ответных массовых репрессий не было. И все же происходящее не казалось правильным. О том, что на севере царят нищета и голод, знали, но как будто не осознавали настоящий масштаб бедствия. Некоторые называли это «вопросом о состоянии Англии». Возможно, этот вопрос не имел ответа. Томас Карлейль писал в своей книге «Чартизм» (Chartism; 1839): «Очень широко распространено ощущение, что положение и настроения рабочих классов в настоящее время достаточно угрожающие, и что-то должно быть сказано, что-то должно быть сделано в отношении этого».

Стремления чартистов не имели ничего общего со стремлениями Лиги против Хлебных законов, которую они называли «партией скупых и корыстных торгашей, крупных капиталистов и богатых промышленников». Мало что способно вызвать такой гнев низших классов, как попытки использовать народное дело ради собственной финансовой и политической выгоды. Чартисты воспринимали Лигу против Хлебных законов как

очередную группу, действующую в интересах промышленников, которые хотели получить дешевый хлеб для своих рабочих, чтобы снизить им заработную плату. Не следует забывать, что именно в этот период Энгельс размышлял о причинах революции рабочего класса. Историк и литератор Дж. Э. Фруд говорил: «Повсюду вокруг нас плавучие маяки интеллекта сорвались с якорей… Огни дрейфуют вокруг, компасы не в порядке, и нам остается только прокладывать свой путь по звездам». Членский взнос участника Лиги против Хлебных законов составлял 5 шиллингов в год, — представители растущего среднего класса с некоторым усилием могли позволить себе потратить такую сумму, но простым трудящимся это было совершенно недоступно.

Таким образом, между двумя основными группами, выступавшими против властей по политическим или экономическим вопросам, было очень мало общего. Что важнее: общее избирательное право или отмена Хлебных законов? Это разделение говорило о том, что рабочий класс так и не смог организовать подлинно революционное движение, и враги правительства Мельбурна оставались разобщенными вплоть до его роспуска. Никакой классовой борьбы в обще-

принятом смысле не было. Иногда чартисты и члены лиги вместе выступали на демонстрациях или протестных акциях против властей, но их объединение носило временный и ограниченный характер.

Что касается Мельбурна, он был крайне занят своей ролью учителя и наставника при молодой королеве и уделял общественным делам еще меньше внимания, чем обычно. Конечно, он мог сказать, что это и есть его главное дело и оно имеет неоспоримую общественную важность, но на повестке дня стояли и другие вопросы. Читая Законы о полиции 1839 года, можно подумать, что они были составлены в совершенно спокойное время: они запрещают пить спиртное на ярмарках и в кофейнях, а также «выносить на тротуары бочки, кадки, обручи или колеса, приставные лестницы, доски, жерди, вывески или транспаранты». В числе прочих нарушений упоминается «нанесение непристойных надписей мелом и проч. на стены зданий, ворота домов, ограждения и проч.». В таких случаях полиции следовало «в ночное время по возможности тихо уничтожить надписи». В числе этих непристойных надписей были и лозунги радикальных агитаторов, никогда не прекращавших свою работу в больших

городах.

Однако весной этого года произошел политический скандал. Мельбурн потерял поддержку парламента в связи с Биллем о Ямайке. Местные торговцы сахаром не желали освобождать своих рабов, но за билль, приостанавливающий действие конституции на острове, проголосовало всего пять человек. Это было практически поражение, которое в любой момент могло повториться в условиях неуверенности и нехватки сил. Премьер-министру оставалось только уйти в отставку, не дожидаясь новых ударов. Он написал Виктории, выразив надежду, что она «примет этот кризис с твердостью, свойственной ее характеру». Она отреагировала на отставку своего любимого министра так бурно, как будто парламент изгнал ее саму. Она не могла ни есть, ни спать и постоянно плакала. Она написала герцогу Веллингтону с просьбой занять место Мельбурна, но тот мягко отказался. Следующим перед королевой предстал сэр Роберт Пиль, но она нашла его «непонятным» и «холодным». Они обсудили некоторые аспекты новой администрации, и он упомянул, что все придворные дамы королевы по убеждениям принадлежат к вигам и стоило бы включить в этот круг также

тори. На следующий день она прислала ему категорический отказ: она не желала разрушать свой интимный круг. Игнорируя придворный протокол, она написала Мельбурну: «Я думаю, вам было бы приятно увидеть, как хладнокровно и твердо я держалась. Королева Англии не поддается на подобные уловки. Будьте наготове — вскоре вы можете понадобиться». Этот эпизод вошел в историю как Кризис в спальных покоях, хотя сама королева добавила к нему элементы высокой драмы.

Пиль вышел из этого столкновения не самым изящным образом, и многие современники посчитали, что Виктория, по сути, нарушила неписаные законы монаршего поведения. Другие, в основном виги, приветствовали ее независимость в таком деликатном вопросе, как дела королевского двора. Итак, Мельбурна убедили отозвать свое прошение об отставке и остаться премьер-министром еще на два года. По словам герцога Аргайла, он «как нельзя лучше подходил на роль главы партии, погибающей от бездействия». Ему нужно было просто продержаться еще какое-то время. Вотум недоверия весной 1840 года был проигран с перевесом в 10 голосов, а вскоре виги потеряли три парламентских места

в разных районах — одно в сельском местечке, одно в соборном городе и одно в промышленном городе. Роберт Пиль ждал походящего момента.

Неудача общенационального съезда чартистов и почти презрительное отношение парламента к их петиции стали главным событием лета 1839 года, посеяв семена жестокого возмездия, наступившего в начале зимы. Многие видные чартисты были арестованы или освобождены под залог, но сила чартизма заключалась не в его лидерах, а в общинах, из которых он вырос. Деревенский портной или сапожник, трактирщик или ткач были не только жителями своей деревни, но и неотъемлемой частью движения. В этом была их сила, но также и слабость. Именно поэтому они были не готовы сражаться против полиции, магистратов или тех, кто сидел в Вестминстере. Мельбурн снова стал у руля, и поэт Уинтроп Макворт Прейд воздал ему должное в одном из своих стихотворений:

Сулить, откладывать, тянуть,
Забыть, оставить на потом
И даром получать свой хлеб,

Томясь бездельем день за днем[10].

4 ноября шахтеры и металлурги Южного Уэльса во главе с известными чартистами двинулись на город Ньюпорт. В это время года над страной витала тень Гая Фокса и его заговора, и бунты и беспорядки были обычным явлением. Неясно, какую цель ставила перед собой толпа демонстрантов в 1839 году, однако они окружили гостиницу в Вестгейте, где небольшой отряд военных держал под охраной нескольких чартистов. В подобной напряженной ситуации достаточно, чтобы хотя бы у одного человека сдали нервы. Раздались выстрелы. Военные открыли огонь по толпе, обратив ее в бегство, более двадцати человек погибло. Трое лидеров чартистов были опознаны, арестованы, преданы суду и приговорены к смертной казни. Затем благодаря настойчивому вмешательству лорда верховного судьи исполнение приговора для всех троих было отложено. Если бы их повесили, дальнейшие беспорядки могли спровоцировать хаос. В сложившихся обстоятельствах огонь чартистов удалось залить кровью. Движение временно приостановило

[10] Примечания: 10

To promise, pause, prepare, postpone / And end by letting things alone: / In short, to earn the people's pay / By doing nothing every day.

свою деятельность, чтобы обсудить тактику и провести некоторые внутренние реформы. Это был конец первого этапа деятельности чартистов, хотя правительство вигов уже поздравляло себя с тем, что худшее позади.

А в это время в далекой сказочной стране под названием Кенсингтонский дворец Виктория встретила своего будущего мужа и была совершенно им очарована. Она стремилась к замужеству. Альберт представлял собой все, чего только можно было желать. «Ах, чувствовать, что меня полюбил и продолжает любить такой *ангел*, как Альберт, — *не поддающийся описанию восторг*! Он само *совершенство*». Количество наклонных букв и россыпи восклицательных знаков в ее записках говорят сами за себя. Когда парламент проголосовал за то, чтобы сократить размеры содержания для Альберта после их свадьбы, она возмущенно писала: «Я чуть не расплакалась от ярости… Бедный, дорогой Альберт, как жестоко они обошлись с тобой, нежный ангел! Эти чудовища! Тори, вы будете наказаны. Месть! Месть!..» После свадьбы шекспировские страсти несколько утихли. 10 февраля 1840 года, когда свадебная церемония отгремела и супруги укладывались спать, принц Альберт предложил молодой жене

продлить их медовый месяц в Виндзоре. Это вызвало новый поток курсива и восклицательных знаков. «Ты забываешь, моя драгоценная любовь, — ответила она, — что я — королева, правительница, и это дело не может подождать». Если он рассчитывал, что будет править совместно с женой, его ждало разочарование. В лучшем случае ему разрешали приложить промокательную бумагу к исписанной ею странице. Только когда королева временно удалилась на покой, чтобы произвести на свет их первенца, принц Альберт обрел некоторую самостоятельность. Он стал исполнять обязанности ее личного секретаря и имел ключи от всех хранилищ с официальными документами. Он уже не просто промокал чернила, но держал перо.

В сущности, все это время можно назвать великой эпохой пера и чернил, поскольку именно тогда впервые появились «почта за пенни» и вертикальные почтовые ящики. Изобретатель и социальный реформатор Роуленд Хилл произвел подсчет и пришел к выводу, что оптимальным вариантом будет система предоплаты, начинающаяся с одного пенни. Он также рекомендовал использовать для писем «маленькие бумажные упаковки, которые называются конвертами».

Первые «черные пенни» (черные почтовые марки стоимостью один пенс) поступили в продажу в мае 1840 года. Это произвело социальную революцию, сравнимую с появлением электрического телеграфа, способствовало упрочению социальных связей и повышению национального самосознания и побудило Генри Коула, одного из самых изобретательных государственных служащих страны, написать в своих мемуарах: «Из всех событий, с которыми была связана моя карьера, ничто, на мой взгляд, не способно превзойти или хотя бы сравниться с точки зрения принесенной миру пользы с учреждением универсальных почтовых сборов размером в один пенс… Это слава Англии на все времена». В первом официальном отчете о работе почтовых отделений отмечалось, что почтовая система демонстрирует «деятельное усердие и энергию, в целом свойственные нации». Марка была таким символом национальной гордости, что ей даже не нужна была легенда — ее украшал только профиль государыни. «Бесчисленные друзья гражданской и религиозной свободы» приветствовали новую почту как «средство передачи мысли», способствующее развитию национального самоопределения и самосознания. Если говорить о менее формальных

отношениях, обмен фотографиями по почте был важным знаком дружбы.

Несколько сохранившихся зарисовок красноречиво свидетельствуют о том, какими были последние дни Мельбурна у власти. Однажды после продолжительного заседания кабинета министры, уже направившись к двери, услышали оклик Мельбурна. «Подождите немного, — сказал он. — Что мы решили? Мы собираемся снизить цену на хлеб или нет? В сущности, это не важно, но обычно мы все говорим одно и то же». К принцу Альберту Мельбурн относился не слишком хорошо. Естественно, он был недоволен тем, что молодой красивый иностранец занял его место в мыслях королевы. Помимо этого он серьезно сомневался в том, что искренние чувства Альберта можно использовать как политический инструмент. «Эта проклятая нравственность, — сказал он однажды, — все погубит!» Осенью 1840 года на заседании кабинета министров обсуждали (вернее сказать, не обсуждали) вероятность войны между Францией и Англией. Чарльз Гревилл, клерк Тайного совета, обратил внимание на вмешательство Рассела. «Мне бы хотелось знать, — сказал он, поворачиваясь к Мельбурну, — что вы думаете по этому поводу?» Мельбурн

ничего не ответил. Последовала еще одна долгая пауза, которую наконец прервал кто-то другой, спросив Палмерстона: «Каковы ваши последние сведения?» Палмерстон вынул из кармана целую пачку писем и отчетов от Понсонби, Ходжеса и других и начал их зачитывать. В середине чтения кто-то случайно поднял взгляд и увидел, что Мельбурн крепко спит в своем кресле.

Когда парламент вновь открылся в январе 1841 года, премьер-министр, в сущности, все так же спал. Парламент превратился в дискуссионную палату для разбора петиций. До избирательной реформы он больше напоминал театр, где Эдмунд Бёрк и другие упражнялись в ораторском искусстве. Эти дни подходили к концу, а Вестминстерский пожар 1834 года стал еще одним предвестником грядущих перемен. Теперь парламент представлял собой серьезное собрание сторонников конкретных партий, заседавших под бдительным оком прессы, которая уделяла их деятельности немало печатных полос. В партиях еще не было внутренней дисциплины или контроля в современном смысле, — по сути, это были коалиции единомышленников, каждый из которых мог в любой момент пойти своим путем. Облик партии определяли устремления ее лиде-

ра, но такой вещи, как партийная политика, еще не существовало. «Всюду беспорядок, — писал Гревилл в этом десятилетии, — смешение принципов и мнений, политического соперничества и личной антипатии». Мельбурн по-прежнему жил и работал в XVIII веке, хотя формально к этому времени был ближе Роберт Пиль.

К началу 1841 года, четыре раза подряд проиграв дополнительные выборы, Мельбурн почувствовал тень нависшего над ним меча. Катастрофа произошла в начале июня 1841 года, когда администрации Мельбурна вынесли вотум недоверия всего с одним голосом против. Последующие всеобщие выборы подтвердили широко распространенное мнение: правящей партией стали консерваторы под руководством Пиля — по возвращении в Вестминстер летом они получили большинство в размере более 90 мест. Пиль, которому не позволили занять должность во время Кризиса в спальных покоях, теперь собрал достаточно внушительную партию, чтобы проявить себя с лучшей или худшей стороны. Он стал первым по-настоящему консервативным премьер-министром — название «тори» к этому времени считалось несколько старомодным.

Выборы, как обычно, сопровождались беспо-

рядками и бесцельными дерзкими выходками. Ничего иного нельзя было ждать от страны, имеющей давнюю традицию народного протеста. В окрестностях парламента собирались большие группы людей, швыряющих камни и кирпичи и вечно недовольных состоянием политики. Это была та самая «безумствующая толпа», фигурировавшая почти во всех публичных обсуждениях. У новых хозяев Англии — среднего класса, заключившего союз со старым правящим классом, — имелись причины быть довольными. В колонке редактора The Times от 29 июля говорилось: «До сих пор мир не знал случая, чтобы партия пришла к власти в результате открытого голосования великого народа». Позиция Виктории никак не повлияла на результаты выборов, но ее симпатии к вигам были хорошо известны и широко освещались в печати. Лорд Эшли писал: «Я опасаюсь, что она в силу своего полнейшего незнания страны и конституции, природной ярости, ложной отваги, а также исключительного неукротимого своенравия обнаружит перед всеми свой характер и совершит действия, которые, хотя и не смогут повредить нам [тори], окажутся вредны для нее самой и для короны». Очевидно, Виктория тогда не пользовалась всеобщим уважением. Даже у

ее мужа были на этот счет некоторые сомнения. Своему немецкому советнику Штокмару Альберт говорил: «Виктория ведет себя так торопливо и пылко, что мне не всегда удается рассказать ей о своих затруднениях. Не дослушав меня, она впадает в ярость, начинает осыпать меня упреками и подозрениями, обвиняет в недоверии, амбициях, зависти и проч., и проч.». Словом, новая королева не производила хорошего впечатления.

Это была политическая революция, но она прошла относительно мирно. По словам лорда Кларендона, виги отошли от власти «с таким безразличием, словно их окончательно покинули силы и воля к действию». Когда-то их партия руководила страной, и эти самовольно избранные правители, представители знатнейших родов, придя к власти, чувствовали себя как нельзя более на своем месте. Теперь они обессилели и, казалось, были обречены на упадок и — в конечном итоге — исчезновение.

Новый парламент собрался на свою вторую сессию 3 февраля 1842 года, и все официальные разговоры вращались вокруг финансового положения страны. Расходы по-прежнему были слишком высоки, но многих интересовало, как Пиль собирается поступить с налогами, которые

все еще взимались с иностранного зерна. Это был ключевой вопрос. Виги шли на выборы под лозунгом «Дешевого хлеба!», но им никто не верил. Намерения Пиля оставались по-прежнему неясными — возможно, даже для него самого. Однако половину дела за него сделал обильный урожай 1842 года, за которым последовали еще три хороших урожая. Пиль немедленно снизил налог на зерно и тарифы на широкий круг товаров и, чтобы сбалансировать бюджет, решил вновь ввести подоходный налог. От него отказались после Наполеоновских войн, но сейчас возникла необходимость по-новому взглянуть на доходы государства. Возможно, Пиль пока еще не имел твердого намерения отменить Хлебные законы, но эта мысль наверняка не раз приходила ему в голову.

Пиль хотел упростить налоговую систему, пересмотреть все запутанные пошлины и тарифы и в целом упорядочить финансы страны. «Я предлагаю, — сказал он, — на какое-то ограниченное время с целью сокращения дефицита взимать в масштабах страны определенную сумму с доходов». Сумма была установлена в размере 7 пенсов на один фунт стерлингов для дохода более 150 фунтов стерлингов в год. Говоря его слова-

ми, «дальше отступать было некуда». Это стало полной неожиданностью для его оппонентов, которым потребовалось два или три дня, чтобы подготовить ответ. Он фактически инициировал финансовую революцию, в результате которой изменилась вся система государственных сборов. Это задало тон всему периоду его правления.

Пиля поддерживал сильный кабинет министров. Абердин заменил Палмерстона в Министерстве иностранных дел и, отказавшись от грубоватых манер последнего, сразу установил теплые отношения с главными союзниками Англии. Герцог Веллингтон стал лидером палаты лордов, но сам не возглавлял никакое министерство. Гладстона назначили вице-президентом Торговой палаты; в следующем году он стал ее президентом и, таким образом, занял влиятельное положение, позволявшее ему удовлетворить свою страсть к статистике и цифрам. Томас Карлейль описывал его как «самого методичного, справедливого, незапятнанного и искреннего человека», что в устах Карлейля было настоящей похвалой. Эдвард Стэнли (чуть позднее лорд Стэнли) до этого был главным секретарем лорда-наместника Ирландии, но теперь его повысили до министра по колониям; как граф Дерби

в следующем своем перевоплощении он поднимется неизмеримо выше. Бенджамин Дизраэли, к своему большому огорчению, остался среди «заднескамеечников» — рядовых членов парламента. Он считал, что его выдающиеся способности очевидны для других так же, как для него самого, но в правительстве Пиля для него не нашлось места.

Вступив в должность, Пиль поначалу вел себя как врач, изучающий больного пациента. Не делая поспешных шагов, он изучал симптомы и обдумывал, какие рецепты следует выписать. Это был худший год для начала нового правления. Новый министр внутренних дел сэр Джеймс Грэм сообщил палате общин, что из 16-миллионного населения страны миллион получает пособие по бедности. Хлопкопрядильные и ткацкие мануфактуры остановились, цены на продукты выросли. Даже банки переживали не лучшие времена, и объем инвестиций сократился. Возможно, это была самая низкая точка века. Наиболее исчерпывающим образом претензии населения выразили прядильщики Болтона: они протестовали против «снижения нашей заработной платы, несправедливых и необоснованных сокращений, навязывания нам неблагоустроенных и неблагополучных жилищ, взимания

с нас необоснованной и непомерной арендной платы» и добавляли: «Вышеупомянутые пороки проистекают из классового законодательства, и мы считаем, что нищета, невежество, бедность и преступность будут существовать до тех пор, пока Народная хартия не станет законом страны».

В этих условиях снова пробудился дух чартизма, вылившийся в поток брошюр и обращений к трудящимся, плакатов и демонстраций. «Страдания, порожденные законом, — писал Джон Брайт, — превратили все население в легковоспламеняющуюся массу, и если сейчас зажжется искра, ее будет нелегко погасить». Члены Лиги против Хлебных законов соперничали с чартистами за поддержку рабочих, хотя чартисты поддерживали рабочих намного более открыто. В некоторых кругах членов лиги по-прежнему считали идеологами свободной конкуренции, готовыми принять в великой битве сторону работодателей. В Мидлендсе и на севере, в Ланкашире и Уэст-Райдинге, угольщики бросали работу. В мае 1841 года собрался еще один общенациональный съезд, чтобы создать петицию, собравшую более 1,3 млн подписей, с просьбой о помиловании некоторых заключенных чартистов. «Многотысячная толпа наводнила широкую

дорогу, — писал Уильям Кедворт в «Прогулках вокруг Хортона» (Rambles Round Horton; 1886). — Это были тощие люди голодного и отчаявшегося вида, вооруженные огромными дубинками, цепами, вилами и пиками. У многих не было ни пальто, ни шляп, сотни были одеты в ветхие лохмотья».

Радикальный журналист писал:

> Зрелище привлекло огромное внимание — нас провожали взглядами все, от оборванного уличного подметальщика до герцогини с золотым моноклем. Городская полиция держалась очень благосклонно, но столичные синие сохраняли равнодушие. Водители омнибусов вели себя грубо и враждебно. Мы медленно двигались по Флит-стрит и Стрэнду, мимо Чаринг-Кросс и Конной гвардии к зданию парламента. В окнах государственных учреждений виднелось особенно много лиц, и на всех написано жгучее любопытство.

Парламент не собирался уступать, и петицию снова отклонили решающим голосом спикера. Это вызвало невиданную доселе ярость. Забастовки усилились, снова пошли слухи, что они

могут вылиться во всеобщее восстание. Люди громили полицейские участки, освобождали заключенных, жгли дома известных магистратов и владельцев шахт. Весна сменилась жарким летом. В следующем году в парламент передали еще одну петицию. Демонстранты пытались добиться своего снова и снова, словно морские волны, все набегающие и набегающие на скалы. Петиция, по некоторым оценкам, содержала более 3 млн подписей, и все же палата общин категорически ее отклонила.

Это спровоцировало волну так называемых Заглушечных бунтов, или Заглушечный заговор 1842 года, — протестующие снимали заглушки с паровых котлов, что делало невозможной любую дальнейшую производственную деятельность. Протесты начались в угольных шахтах Стаффордшира и вскоре распространились дальше. Закрытие угольных месторождений негативно отразилось на всех отраслях английской промышленности. Лондон также ощутил на себе всю тяжесть нужды и безработицы. В Клеркенуэлл-Грин и Паддингтоне, двух центрах активности городских радикалов, собирались большие толпы людей. 23 августа в газете Sun разместили следующий репортаж о событиях: «…предводители

толпы осуждали поведение синих мундиров, когда раздались громкие крики: “Пилеры! Пилеры!” Обернувшись, люди увидели, что к толпе быстро приближается около дюжины конных патрульных, вооруженных палашами, в сопровождении отрядов полиции». Дело кончилось пробитыми головами, сломанными конечностями и другими увечьями.

Вывод машин из строя имел двойную подоплеку, поскольку за машинами стоял, как выразился Карлейль, «дух времени». Механизмы до сих пор окружала аура загадки и таинственности. В каком-то смысле считалось, что они неподвластны человеку. Один «безутешный радикал», как он сам себя называл, писал: «Редко можно встретить человека, который решился бы открыто обратиться к проблеме машин. Они как будто вселяют в нас неясный страх. Все видят, что машины производят величайшую из революций, меняя отношения между классами, но почему-то никто не осмеливается вмешаться в этот процесс».

Некоторые не только не вмешивались, но предпочитали полностью игнорировать проблему. Возможно, именно так возникло движение «Молодая Англия», которое основал молодой Дизраэли, по-прежнему недовольный тем, что

Пиль и другие лидеры тори не оценили его явный гений. В этом случае что может быть лучше, чем собрать собственную партию? Приверженцы «Молодой Англии» отворачивались от века промышленности и устремлялись мыслями в воображаемую феодальную эпоху, иерархическую и доиндустриальную, где бедняки и знать одинаково были патриотами своей страны и добрыми христианами. Движение отвергало утилитаризм, политическую экономию, рационализм, мальтузианство и все прочие ранневикторианские лекарства для социальных недугов. В 1842 году была опубликована поэма Теннисона «Смерть Артура» (Morte d'Arthur), вдохновившая других авторов на создание множества больших и малых стихотворных форм, прославляющих Ланселота, Артура, Гвиневеру и других великих героев национальной мифологии. В оде «Духу времени» Карлейль провозгласил своим героем литератора: «Я говорю: среди духовенства, аристократии и всех существующих ныне в мире правящих классов нет класса, сопоставимого по важности со священным братством писателей».

Итак, Круглый стол снова стал одной из икон Англии. «Молодая Англия» представляла систему ценностей для молодых — идеалистических и

вместе с тем мстительно осуждавших все, что принесло недавнее прошлое. Весной 1845 года Дизраэли объявил: «Консервативное правительство — само организованное лицемерие». Министр внутренних дел сэр Джеймс Грэм счел нужным написать своему коллеге: «Что касается “Молодой Англии”, то ее марионетками управляет Дизраэли, самый способный человек среди них… Я считаю его беспринципным и нечестным. Отчаявшись [получить должность], он решил обратиться к запугиванию».

Когда жизненно важным интересам государства что-то угрожало, Пиль был готов действовать как решительный реформатор, но для начала ему нужно было склонить на свою сторону партию. В то время такой проблемой было зерно: хлеб был дешевым, но люди все равно голодали. Можно было ожидать, что консерваторы и дальше будут поддерживать фермеров и землевладельцев. Отказ защищать зерно, влекущий за собой риск сокращения сельскохозяйственных доходов, категорически не совпадал с доктриной тори. Пиль обдумал эту проблему и решил следовать своим убеждениям, куда бы они его ни привели. Он окончательно убедился в том, что Хлебные законы, которые спровоцировали повышение

цен на импортное зерно, нужно менять.

Как премьер-министр и реформатор Пиль ничем не походил на своих предшественников. Он внимательно изучал работу всех государственных департаментов, с большим интересом относился к статистике и вникал во все политические детали. Однако он подавлял коллег своим административным рвением и общей жесткостью подхода. «Пиль совершил серьезную ошибку, — писал лорд Эшли в 1843 году. — Он не считал нужным регулярно созывать своих друзей, чтобы высказать свои пожелания и воодушевить их… Они могли бы чувствовать себя товарищами по оружию, но вместо того чувствовали себя новобранцами на учениях».

Дизраэли, возможно, представлял собой уникальную фигуру, но в оппозиции к Пилю он был не одинок. Объединив силы с Джорджем Бентинком, он развернул борьбу за протекционизм и возглавил так называемую Антилигу, противостоящую конкретно Лиге против Хлебных законов. По примеру своих успешных оппонентов Антилига организовывала митинги и протесты, отстаивала ценности и принципы землевладельцев и привлекала в поддержку сочувствующих парламентариев. Она стояла в

одном ряду с теми умеренными консерваторами, которые стремились договориться с различными классами и интересами, чтобы выработать объективное твердое решение в масштабах страны. «Процветание, рост благосостояния и полную занятость при старой торговле» они противопоставляли безжалостному сокращению затрат при «победоносной свободной торговле».

Тем не менее Лига против Хлебных законов имела более сильных ораторов и, пожалуй, выдвигала более убедительные предложения. Многие утверждали, что на стороне противников Хлебных законов стоит наука. Это вообще был самый ходовой аргумент эпохи, и в данном случае он объединял в себе интеллектуальные преимущества свободной торговли с викторианской верой в прогресс и эффективность. Сторонники лиги проводили уроки политологии для тех, кто не имел о таких вещах ни малейшего представления, читали лекции о прибылях и заработной плате торговцам, ремесленникам и служащим и распространили через сеть агентов 9 млн брошюр и буклетов. В 1843 году в театре Друри-Лейн состоялось большое собрание, на котором Кобден, обратившись к наиболее современной аналогии, представил силу свободной торговли как «за-

мкнутую цепочку нерушимо прочных звеньев, сквозь которые проходит электрический ток [эти слова были встречены бурными овациями]».

Чтобы достигнуть цели, Пилю приходилось учитывать множество разных течений в стане консерваторов. Министры обсуждали сторонников «Молодой Англии», но они оказывали крайне слабое влияние на политику. Тори «старой школы» черпали свои убеждения едва ли не из времен Якова II и кризиса Билля об отводе и считали любые реформы ненужным и предосудительным делом. Ортодоксальные тори не отличались подобной воинственностью, но твердо верили, что работающее население от природы занимает низшее положение и что патриции или правящие классы действительно рождены для того, чтобы править. Либеральные тори, больше тяготеющие влево, говорили о значении индивидуальной ответственности и придавали особое значение рынку как способу привести в равновесие человеческие ценности. В целом все они были за парламентскую реформу. Радикальный торизм представлял разновидность патернализма, в задачи которого входило поддерживать нравственность и благосостояние всех слоев общества. В конце концов, Англия все

еще считалась христианской страной.

Очень немногие члены парламента, независимо от того, к какому ответвлению христианства они принадлежали, всерьез рассматривали возможность отказа от христианской доктрины. Радикальный виг и ортодоксальный тори могли посещать одну и ту же церковь или часовню. Многие считали, что с начала 1840-х годов моральное и физическое здоровье нации постепенно начало улучшаться. Худшие показатели нищеты и преступности пришлись на 1842 год, и с тех пор их размеры и масштабы постепенно сокращались. Анализ налоговых сборов показывает, что с 1840 года принятые законы привели к удорожанию спиртных напитков и, таким образом, к сокращению их потребления. В какой-то степени этому способствовали также миссии евангелистов и нонконформистов, действовавшие в Восточном Лондоне и других неблагополучных кварталах. Другим примером может служить успех Армии спасения, основанной в 1865 году.

Социальное обновление заняло пятьдесят лет. Клерк из канцелярии магистрата на Боу-стрит еще в 1816 году со знанием дела сказал комиссии, занятой изучением этого вопроса: «Несомненно, нравы в низших слоях общества намного

улучшились по сравнению с тем, чтобы было десять лет назад. Сцены безудержного пьянства, которые я наблюдал раньше, теперь встречаются уже не так часто». Ему вторил священник из церкви в Сент-Джайлсе, по соседству с которой располагалась знаменитая ночлежка «Крысиный замок» в Холборне: «Я думаю, общий облик прихода за это время улучшился. Пороки уже не так распространены, как раньше». «Вчера, — писал немецкий путешественник в 1835 году, — я забрел в Риджентс-парк. Ни следа еды, питья, пения, музыки, танцев! Люди чинно прогуливаются взад и вперед по аллеям и отдыхают на траве, уже начавшей желтеть». Это было замечательное преображение. Никаких танцев. Никакого пьянства. Никаких публичных совокуплений. Никакой грубости и богохульства.

В основном благодаря усилиям настойчивых реформаторов, таких как Уилберфорс, и просвещенных государственных деятелей, таких как Пиль, властям удалось во многом избавиться от тягот и крайностей минувших десятилетий. Были смягчены самые жестокие наказания для преступников и ссыльных, закрыты долговые тюрьмы, приняты первые акты фабричного законодательства, а также запрещено привлекать

детей к чистке дымоходов и запрягать собак в повозки вместо лошадей. Первые общественные купальни и прачечные, открытые в 1845 году, приняли за первый год работы почти 80 000 человек. Виктория-парк в Боу стал одним из зеленых оазисов Лондона. Билль об образовании фабричных работников сэра Джеймса Грэма 1843 года спровоцировал бурные дебаты: разнообразные партии сражались не на жизнь, а на смерть за право руководить нравственным и религиозным развитием рабочего класса. В итоге был достигнут неловкий компромисс между сторонами, в целом не склонными к компромиссу. Для обучения англикан выделили отдельные классные комнаты, а священников-диссентеров приглашали посещать школы один раз в неделю. Однако этого оказалось недостаточно для нонконформистов, которые возражали против постоянного присутствия в классе англиканского учителя и засилья англиканцев в школьных советах. В конце концов закон вызвал такие разногласия, что от него полностью отказались. Лорд Эшли писал Роберту Пилю: «Пусть это последнее испытание послужит веским доказательством того, что единое образование попросту невозможно. Больше никогда не следует предпринимать подобных попыток.

Диссентеры и Церковь обозначили те границы, которые не переступят никогда, и нет власти, которая могла бы силой, обманом и убеждением заставить их сделать это».

В этот период концепция самопомощи перешла в политическую плоскость, что спровоцировало рост политических обществ, ориентированных на социальные реформы. Профсоюзное движение, чартизм и сторонники фабричной реформы наперегонки с благотворительными обществами, светскими обществами и обществами воздержания заботились о сохранении социальной ткани в нелегкие времена. Ассоциация бдительности и защиты личных прав стояла в одном ряду с Национальной женской суфражистской ассоциацией, Союз исправления нравственности — рядом с Лондонским обществом за отмену обязательной вакцинации, Королевское общество защиты животных от жестокого обращения — рядом с Обществом соблюдения Господнего дня. Даже если свет чартизма в итоге угас, он осветил путь множеству рабочих объединений и — в конечном итоге — Лейбористской партии.

Одинаково большое значение придавали как физической, так и нравственной гигиене, а также физическому и нравственному развитию. Тело-

сложение англичан вызывало у современников неподдельное восхищение. Ральф Уолдо Эмерсон в эссе «Английские черты» (English Traits; 1847) отмечал, что англичане «крупнее американцев. Я полагаю, что сотня англичан, взятых наугад с улицы, будет весить на четверть больше, чем такое же количество американцев. Как мне сообщили, их скелет не больше нашего, однако они более упитанные, цветущие и красивые, обычно с хорошо развитой грудью, и среди них чаще встречаются люди крепкого и могучего сложения». Это был период, когда мужественность стала считаться новым признаком джентльмена.

11
Городские огни

Если бы какой-нибудь путешественник вошел в 1841 году в сердце королевства, собор Святого Павла, он обнаружил бы (если верить официальному отчету, составленному в том же году), что «собор постоянно и бессовестно загрязняется нечистотами, скамьи иногда превращают в *cabinets d'aisance* [туалеты], а из молитвенников вырывают листы [чтобы использовать их как туалетную бумагу]. Все памятники в соборе сплошь покрыты надписями, нередко отвратительно непристойного содержания». Все это происходило в тот период, когда Англия находилась на пике могущества и богатства. Были и другие мрачные явления. В ноябре 1841 года над Лондоном сгустился такой плотный туман, что «наемные экипажи въезжали в окна церквей, старики падали в подвалы, старухи и дети с плачем стояли у фонарных столбов на знакомых улицах, не зная, в какой стороне их дом». В то время лондонские туманы были знамениты. Белые, зеленые и желтые испарения поднимались от угольных жаровен

и пароходов, фабрик и пивоварен. Чтобы найти дорогу в тумане, люди зажигали факелы. Особое беспокойство вызывал запах и вкус тумана — его называли «шахтерская мокрота».

Представьте себе сцену. На Лондонском мосту в тумане едва угадываются две неровные цепочки экипажей. Смутно виднеется широкоплечий силуэт водителя омнибуса и красное лицо кондуктора, очевидно уже охрипшего от криков. Омнибусы пытаются вклиниться между кэбами, угольными тележками и подводами, нагруженными пивными бочками. Вокруг туман, и грязь, и какофония типично лондонских звуков: щелканье хлыста, фырканье лошадей, крики детей, голоса, выкрикивающие станции назначения.

Эта сцена могла бы служить прелюдией к всеобъемлющей теме тревог и тягот жизни в викторианском Лондоне. По какой-то (вероятно, вполне веской) причине было принято считать, что целые группы людей — богатые и бедные, привилегированные и опустившиеся на дно — страдают теми или иными нервными недугами. В журнале Edinburgh Review отмечалось: «В нашем обществе нас призывают к труду слишком рано и заставляют трудиться слишком долго и тяжело. Увы, мы проживаем свою жизнь черес-

чур быстро». На религиозных людей постоянное напряжение сознания действовало сильнее, чем физическая мука. Многие из тех, кто ютился в крошечных комнатках, считали себя обреченными попасть в ад. Нередко они сходили с ума.

Позднее Уолтер Патер писал о «неутолимой жажде, томлении и тоске по дому, о бесконечном сожалении, струны которого звучат во всей нашей современной литературе». Этот штамм подлинно викторианского характера следует поставить рядом с остальными. Это был век, когда опоры веры начали разрушаться. Когда неуверенность и сомнение, вкупе с подозрением, начали свою коварную работу, заставив, по словам английского богослова Фредерика Робертсона, многих усомниться, «есть ли вообще на свете то, во что можно верить». Это была паника перед лицом небытия, от которой викторианцы всеми силами старались избавиться. Неужели мы все были просто, как опасался Чарльз Кингсли, «шестеренками в огромном механизме»?

Следующий год стал временем контрастов. Вечером 26 мая 1842 года Виктория и Альберт прибыли в карете в Театр Ее Величества на Хеймаркете на королевский бал. За две недели до этого королевская чета украсила своим

присутствием костюмированный бал в Букингемском дворце, — они были одеты как Эдуард III и королева Филиппа. В тот же месяц участники чартистского марша представили парламенту свою вторую великую петицию — только для того, чтобы увидеть, как она будет с презрением отвергнута. По этому случаю член парламента Томас Бабингтон Маколей, позднее пользовавшийся огромным уважением за свою эрудицию, заявил: «Всеобщее избирательное право несовместимо не с той или иной формой правления, но со всеми без исключения формами правления, а также с тем, ради чего они существуют».

В этом же году Эдвин Чедвик опубликовал свой «Отчет о санитарном состоянии рабочих классов Великобритании» (Report on the Sanitary Condition of the Labouring Classes of Great Britain). Этот судьбоносный документ, подготовленный по большей части силами и средствами самого Чедвика, обнаружил, что в большинстве городов не существовало даже намека на водопровод и канализацию. Не было сточных канав, и нечистоты просто выливали на улицу, где они гнили и разлагались. Дворы и переулки были завалены мусором и отбросами, общественных колонок не существовало — беднякам негде было брать

воду. Злейшим врагом столичных приходов была лихорадка: самые бедные заболевали и умирали до того, как их уносили в работный дом.

В этом же году лорд Эшли, уже прославившийся своими фабричными реформами, убедил парламент назначить Королевскую комиссию для изучения условий работы в шахтах. Страна, ранее не подозревавшая, что в ней существует, по сути, внутренняя работорговля, узнала ужасающие подробности жизни женщин и детей в подземном мире. К отчету комиссии прилагались иллюстрации и гравюры на дереве: полуобнаженные женщины и почти голые дети перетаскивали мешки с углем и тянули вагонетки, словно вьючные животные. Они были слабыми, низкорослыми, истощенными и больными. Это был аспект викторианского мира — викторианской цивилизации, — на который публика предпочитала не обращать внимания. Почти сразу же палата общин приняла Закон о рудниках и угольных шахтах, запрещавший женский труд на шахтах и повысивший возраст работающих на шахтах детей до десяти лет. Таким образом, отчет не только шокировал публику, но и произвел некоторые благотворные перемены. Мысль о том, что английские женщины и

дети доведены почти до полудикого состояния и вынуждены долгие часы трудиться в темноте и грязи, подвергаясь всевозможным сексуальным домогательствам, рискуя быть искалеченными или убитыми по вине неисправных механизмов, была невыносимой для огромного множества людей. Закон приняли летом 1842 года, но только после того, как парламентский комитет существенно урезал его. Почему в итоге были приняты столь поверхностные меры? На то имелась тысяча причин, даже если не затрагивать вопрос прибыли. Угольная промышленность была богатой и могущественной отраслью. Должным образом изучить две тысячи угольных шахт не представлялось возможным: сколько для этого понадобилось бы людей? Условия в разных шахтах были неодинаковыми: как можно установить для всех единые стандарты вентиляции? Многие вопросы остались без ответа. Но почему никакая другая отрасль не вызвала такого пристального внимания и таких протестов? Как насчет изготовления швейных игл, мощения улиц или работы на винокуренных заводах? На это публика никак не реагировала, что заставило многих разочароваться в состоянии всей промышленной системы Англии. Именно это разочарование привело

к агитации за повышение образовательных и санитарных стандартов. Казалось, что некоторым законодателям придется начинать с самого начала.

Отчет Эдвина Чедвика о санитарном состоянии крупных и мелких городов увидел свет далеко не сразу. Он был готов к публикации уже в начале 1842 года, но у Чедвика было множество врагов, которые изо всех сил старались не пропустить его работу в печать. Члены комиссии по Закону о бедных, по официальному поручению которых и был составлен отчет, отказались его подписать. По этой причине Чедвик опубликовал «Доклад о санитарном состоянии работающего населения» (Report on the Sanitary Condition of the Labouring Population) под собственным именем. Впрочем, это не оттолкнуло читательскую аудиторию, счет которой вскоре пошел на десятки тысяч. Четверть миллиона человек ежегодно сообща пользовались сточными и канализационными канавами. 2850 человек размещались в 93 маленьких многоквартирных домах. Разбросанные экскременты «покрывали комнаты, подвалы, кладовки, площадки и дворы, затрудняя передвижение». Живые лежали рядом с мертвыми, и тех и других кусали паразиты. Они даже не

напоминали людей — скорее обломки крушения, вынесенные волнами на берег. Средняя продолжительность жизни в столице равнялась 27 годам. Половину умерших составляли дети младше 10 лет.

Отчет никак нельзя было назвать легким чтением. На первых страницах Чедвик описывает обстановку в районе Тивертон:

> Земля стоит почти на одном уровне с водой, почва заболочена, и все канализационные стоки открыты. Еще не успев доехать до места, я ощутил крайне неприятный запах, — мне стало ясно, что воздух полон тлетворных малярийных испарений. Местные жители имеют болезненный и жалкий вид, сразу отличающий их от жителей других районов города. В некоторых местах открытые сточные канавы располагаются непосредственно перед входом в дом. Другие дома со всех сторон окружены широкими канавами, заполненными отбросами животного и растительного происхождения, поступающими не только из окрестных жилищ, но и из других частей Тивертона. Во мно-

гих домах имеются больные, страдающие лихорадкой и разнообразными другими недугами. Все, с кем я беседовал, были больны либо перенесли болезнь в недалеком прошлом. Весь район представляет собой печальную картину воплощенных недугов и бедствий.

Возможно, английское общество не стояло на грани краха, но многим людям тогда казалось, что это именно так. «Уверяю, я никогда в своей жизни не видел, — писал Чарльз Гревилл, — тягот, подобных тем, которые наблюдаю сейчас. И это после тридцати лет непрерывного мира, когда мы имеем самые широкие возможности для развития всех наших ресурсов. Примечательная черта нынешнего положения дел заключается в том, что никто не может взять на себя ответственность за него и никто не пытается указать средство его исправления». В происходящем как будто не было виноватых.

И все же виноватые нашлись. Немедленно раздались крики возмущения в адрес приходских собраний и спекулянтов-застройщиков, позволивших этим общественным язвам гноиться и разрастаться. Инженеры были виновны в ненад-

лежащем обслуживании зданий, врачи — в том, что не сообщали о масштабах заболеваемости. Реакция была настолько бурной, что министру внутренних дел сэру Джеймсу Грэму пришлось учредить Королевскую комиссию по вопросам городского благополучия. Это дало ему двухлетнюю передышку, во время которой он мог продолжать ничего не делать. Виговская оппозиция не беспокоила министров: она еще не оправилась после своего поражения. Пиль и его сторонники пришли к выводу, что лучшее лекарство от социальных недугов — свободная торговля и коммерческие привилегии. «Синие книги» и статистические исследования Чедвика отражают лишь часть общественной реакции на огромное социальное зло. Появились новые организации — такие как Компания городского благоустройства, рассчитывавшая на получение прибыли, и благотворительные ассоциации, такие как Общество улучшения условий трудящихся классов, — призванные заполнить брешь, возникшую в отсутствие парламентской реакции.

Однако викторианский город во многих смыслах еще оставался городом ночных ужасов. Лорд Эшли, посетивший так называемые общественные ночлежные дома (где совместно проживали

мужчины, женщины и дети), сообщал палате общин: «В этих домах никогда не убираются и не проветривают, они буквально кишат паразитами. В помещениях почти невозможно дышать. Заходя внутрь, миссионеры испытывают приступы рвоты или теряют сознание». «Я чувствовал, — рассказывал один из них, — как паразиты падают сверху мне на шляпу, словно горошины». Города были не похожи друг на друга, и в каждом имелись свои недуги и пороки. Само слово «город» почти не употреблялось: викторианцы предпочитали говорить «крупное поселение» или «населенный район». Шеффилд представлял собой, по сути, конгломерат небольших промышленных местечек. Бирмингем обладал более целостным характером, формированием которого был обязан Джозефу Чемберлену. В Бирмингеме ключевую роль играли мелкие мастерские, в Манчестере — фабрики. В Бирмингеме проживали более квалифицированные рабочие, чем в Манчестере, жилищные и санитарные условия также были лучше. Бирмингем называли самым образцово организованным городом в Англии.

Кое-где городские власти предпочитали оформлять общественные здания в готическом, ан-

тичном или итальянском стиле. Поскольку все города были разными, общего или хотя бы одного наиболее распространенного архитектурного стиля не было. Архитектурный облик крупных городов отличался большим разнообразием: в них были ратуши, институты мастеровых, церкви, площади и скверы. В журнале Builder писали: «Невозможно пройти по Манчестеру, не встретив на пути множество архитектурных примеров грандиозного стиля. Со времен появления Венеции мир не видел ничего подобного». В Magazine of Art Бирмингем был назван «самым живописным городом в Англии». Лидс гордился «целыми улицами, сверкающими яркими красками». Подчеркнутая монументальность городских построек особенно бросалась в глаза и служила символом новой городской эпохи.

Впрочем, некоторые большие и малые города источали викторианство, как облака угольного дыма. Об Уигстоне в Лестере краевед У. Г. Хоскинс писал: «Вид Южного Уигстона сырым и туманным воскресным днем в ноябре — это переживание, которое рад был бы испытать каждый. В нем отражена глубинная, бесконечно трогательная суть английской провинциальной жизни». Город состоит из одинаковых кирпичных домиков и

одной церкви. Печать XIX века лежит на нем, как родимое пятно, а его банальность и однообразие вечным упреком уравновешивают свойственный многим викторианцам непринужденный оптимизм.

В 1830 году Генри Брум (сам носивший титул барона), выступая в Суконном дворе Лидса, сказал: «Слава богу, мы живем уже не во времена баронов — мы живем во времена Лидса, Брэдфорда, Галифакса и Хаддерсфилда». Эти города несут на себе столь отчетливый отпечаток XIX века, словно их с помощью какого-то хитроумного заклинания вылепили из пара. В Лидсе на сотне суконных фабрик работало десять тысяч человек, а в тридцати льнопрядильных компаниях насчитывалось пять тысяч рабочих. Брэдфорд также был текстильным городом, но Лидс намного опередил его со своей быстрорастущей машиностроительной промышленностью. В официальном отчете Шеффилда говорилось: «Местное население имеет уникальный для большого города характер, отчего город больше напоминает деревню: множество людей, проживающих в разных местах, очевидно знакомы и живо интересуются делами и заботами друг друга».

В Манчестере подобной общности не наблю-

далось, — наоборот, там существовала пропасть между хозяевами и работниками и между рабочими разных специальностей. Город с его неуправляемыми людьми, социальными разногласиями и контрастами стал героем многих литературных произведений. Самые известные романы о Манчестере — «Мэри Бартон» Элизабет Гаскелл (1848), вышедший с подзаголовком «Повесть о манчестерской жизни», и ее же «Север и Юг» (1855), в котором вымышленный город Милтон списан с Манчестера. Французский наблюдатель писал: «Река Ируэлл образует своего рода полуостров, и, если путешествовать по ней вверх или вниз, окрестности выглядят как серая бесцветная Венеция… но вместо черных гондол по течению в обе стороны скользят угольные баржи».

Но в его нищете было нечто величественное. В романе «Конингсби» (1844) Дизраэли предположил, что только философ способен постичь величие Манчестера, а Томас Карлейль — как раз такой философ — писал, что ежедневный запуск всех ткацких мануфактур в половине шестого утра представляет такое же или даже более возвышенное зрелище, чем течение Ниагары. Пригороды тянулись вдоль бесконеч-

ных улиц, центр города красноречиво блистал общественными зданиями и общественными пространствами. Существовала даже Манчестерская школа сторонников принципа свободной торговли, проповедовавших о пользе свободной торговли с финансовой и социальной точки зрения, — в нее входили квакеры, радикальные философы, торговцы, политические радикалы и владельцы мануфактур. Самую большую выгоду это активное брожение принесло Роберту Пилю, — о причинах проницательно высказалась Элизабет Гаскелл, описывая манчестерскую толпу: «Больше всего прохожего поражал тот отпечаток сообразительности и живого ума, который часто заметен на лицах трудящегося населения». Социальные различия вызывали не столько антагонизм, сколько оживленный интерес, и многие считали Манчестер образцом города будущего. Именно здесь возникла Лига против Хлебных законов. На месте бойни при Петерлоо в 1856 году вырос Зал свободной торговли. Это был памятник идее, впервые нашедшей здесь свое воплощение.

В последние десятилетия XIX века Бирмингем стал светочем «гражданского евангелия» и гордился славой самого образцово организованного

города в мире. В Бирмингеме было представлено больше разнообразных профессий, чем, например, в Лидсе. Концентрация небольших мастерских (в отличие от фабрик) способствовала сохранению непринужденных и даже дружеских отношений между хозяевами и работниками. Местный чартист заметил, что здесь «крупные производители не могут заткнуть рот своим людям, как это сделали в Манчестере… Ведь хорошо известно, что там [в Манчестере] трудящиеся находятся во власти фабрикантов». Рабочие Бирмингема были более квалифицированными, что способствовало большей социальной мобильности. Ричард Кобден писал: «С моральной и политической точки зрения здешнее общество находится в более здоровом и естественном состоянии… и все классы общаются между собой свободнее, чем в Ланкашире, где работника отделяет от работодателя великая непреодолимая пропасть».

Возможно, именно поэтому в 1843 году принц Альберт решил, что хочет посетить Бирмингем, к вящему беспокойству своих министров. Прошел всего год после самых ожесточенных забастовок в истории страны. Роберт Пиль считал: «Трудность заключается в том, что мэр Бирмингема — чар-

тист и городской совет придерживается тех же насильственных и опасных убеждений… Визит принца обернется грандиозной демонстрацией хорошо обученных масс второго по величине города страны». В прошлом году в воздухе витал дух бунта: Лига против Хлебных законов подготовила декларацию, провозгласившую, что «страна стоит на пороге революции и маховики правительства должны быть остановлены». Чартисты призывали к всеобщей забастовке.

Ничего подобного не произошло. Конституционный историк Уолтер Бэджхот всегда считал, что англичанам от природы свойственно уважение к порядку. Иначе как бы им удалось так долго просуществовать при столь малом количестве бюрократов, с помощью одних только дилетантов, без постоянной армии, секретной службы или других правительственных инструментов? До недавнего времени у них даже не было полиции.

Бирмингем не стал исключением. Личный секретарь принца Джордж Энсон писал: «Казалось, по этому случаю из домов вышли все двести восемьдесят тысяч жителей города, улицы буквально запружены людьми, но ничто не омрачает приподнятое настроение и явно вер-

ноподданнические чувства, охватившие всех собравшихся». За грозными предупреждениями и революционными угрозами в действительности последовали массовые проявления верности и добрых чувств. Разумеется, мы можем списать это на хорошо известное непостоянство толпы, но это вряд ли объяснит очевидную неувязку между революционными лозунгами и лояльно настроенными массами. Возможно, здесь имеет смысл повторить аналогию Эдмунда Бёрка о кузнечиках и коровах: кузнечиков мало, но они издают ужасный шум; коровы лишь негромко мычат, но именно на них держится жизнь страны. Отчет из Манчестера завершает нарисованную картину неожиданно патетической нотой: «Однако эти бедные люди ведут себя примечательно мирным образом и с радостью взялись бы за работу, если бы им дали такую возможность».

Еще один инцидент предыдущего года также может служить примером несостоявшейся городской революции. В воскресенье 3 июля 1842 года шестнадцатилетний юноша по имени Джон Уильям Бин стоял в темном пальто чуть поодаль от толпы, собравшейся на аллее Мэлл в ожидании момента, когда королева и ее кортеж проедут из Букингемского дворца в Сент-Джеймсский

дворец и Королевскую капеллу. Согласно составленным позднее описаниям, это был горбун с искривленным позвоночником и подпрыгивающей походкой человека, увечного от рождения. Благовоспитанные викторианцы называли его несчастной жертвой злой судьбы, но для большинства жителей Лондона он был просто уродцем, которого освистывали, оплевывали и забрасывали камнями мальчишки помладше. Он продал свою небольшую коллекцию книг, в числе которых была Библия, и купил за три пенса дешевый пистолет. В тот день на аллее Мэлл он дождался, когда карета с королевой проедет мимо него, прицелился из пистолета и нажал на курок. Ничего не случилось. Оружие не выстрелило. Еще один мальчик из толпы, по имени Чарльз Эдвард Дассетт, заметил это и вырвал пистолет из рук Бина. Однако он действовал слишком медленно. Вокруг места происшествия собралась толпа, одновременно распространился слух, что королеву застрелили. В поднявшейся суматохе Бину удалось ускользнуть, а Дассетта схватили с его пистолетом. Потребовалось время, чтобы разобраться, что на самом деле произошло. Наконец, был составлен список примет нападавшего: «Худой, с короткой шеей и горбатой спиной, с

вытянутым болезненным бледным лицом, ходит, немного согнувшись на сторону». Полицейские засучили рукава и притащили в отделения всех молодых горбунов, которых смогли найти. По некоторым данным, количество «задержанных уродливых человечков» поражало воображение. В конце концов Бина опознали и арестовали и приговорили к 18 месяцам каторжных работ. «Стоило стать мишенью для стрелка, — говорила позже Виктория, — чтобы убедиться, как сильно тебя любят».

У городов севера и Мидлендса имелось одно общее качество. Трущобы бедняков по-прежнему оставались тем местом, куда избегали заходить без крайней нужды. Над узкими грязными улочками нависали полуразрушенные дома. Кроме широких улиц и просторных домов Вулборо или Брэдфорда, в них были целые кварталы, где царили нищета, несчастья и болезни. В социальных недрах английских городов отсутствовали стоки и канализация, туалеты и водопровод. Мануфактуры и фабрики, гордость севера, извергали отравленные пары и ядовитую воду на окрестные улицы. «Промышленные города Англии, — писал один санитарный инспектор, — разрастаются с огромной скоростью, и новые постройки воз-

водят, не думая о личном удобстве жителей и обеспечении их насущных потребностей». Кроме того, был еще дым — дым Брэдфорда, дым Лидса, дым Манчестера, разного цвета и разной плотности, каждый со своим особым запахом. Иногда он конденсировался в верхних воздушных слоях и проливался на землю черным дождем. Мэр Мидлсбро уверенно заявлял: «Дым есть признак большой работы — это признак благополучных времен, доказывающий, что все рабочие классы заняты делом, нет никакой необходимости в благотворительности, и даже тот, кто живет в самом скромном положении, не испытывает нужды. Поэтому мы гордимся своим дымом». Если бы эти слова удалось положить на музыку, они могли бы стать самым выразительным гимном Викторианской эпохи.

Еще один гимн стоило бы посвятить так называемому ассоциативному принципу, который возник в городах как отражение общих интересов и общественных взаимоотношений. На этом принципе строилась работа различных добровольных организаций и массовых объединений, представляющих культурную и духовную жизнь городов. Хоровые общества, дискуссионные клубы, клубы для встреч и спортивные ассоциации

— все они составляли единую, плотно сотканную социальную ткань. Уважаемый гражданин или его жена могли вступить в Лондонское благотворительное общество по обеспечению бедных хлебом и углем зимой или в Благотворительное общество поддержки домашней прислуги.

Кроме того, массовое распространение получила другая форма коммерческих начинаний. В 1844 году 28 ткачей объединились в Рочдейлское общество равноправных пионеров и, сообща вложив капитал в размере 28 фунтов стерлингов, открыли кооперативный магазин на Тоуд-лейн. Они планировали продавать товары по текущим ценам и сохранять денежные излишки в качестве общей собственности членов общества. Их начинание имело очевидный успех и приносило прибыль, а репутация крепла, и вскоре они превратились в Кооперативное оптовое общество. Члены общества в свободное от работы время посещали собрания, на которых обсуждали злободневные темы. За семь лет валовая прибыль составила 900 фунтов стерлингов, и они уже заговорили о школах и жилье для своих рабочих. Кооперация стала одним из самых внушительных достижений XIX века. Она имела довольно поверхностное сходство с движением чартистов,

поскольку также опиралась на солидарность и классовые интересы, но чартизм к этому времени стремительно приходил в упадок. Его место предстояло занять другим силам. В печатных материалах общества указывалось: «Цель этого общества заключается в нравственном и интеллектуальном развитии его участников. Кроме того, общество обеспечивает их бакалейными товарами, свежим мясом, мануфактурными товарами, одеждой и обувью».

Город подразумевает толпы, мрачные и однообразные, — толпы людей, перемещающихся между домом и работой. Чьи-то башмаки или сапоги размеренно и твердо ступают по мостовой, кто-то ускоряет шаг в погоне за уличными развлечениями, кто-то бредет неторопливо и бесцельно, потому что у него нет дома и ему все равно, куда идти. Из этих и тысяч других людей складывается толпа XIX века. «Когда мы протискивались сквозь толпу, — писал Чарльз Кингсли в 1850 году, — меня поразило болезненное, изможденное выражение лиц. Потухшие глаза и бессильно расслабленные рты, сутулые плечи, тяжелые шаркающие шаги придавали людям сломленный, затравленный, бесконечно больной вид, свидетельствующий о привычке к

невзгодам и тяготам, унижающим человеческое достоинство, — привычке, незнакомой живо увлеченному своим делом ремесленнику».

Вскоре политика городов стала политикой всей страны. Один радикальный памфлет 1885 года отмечал: «Большие города в их нынешнем виде составляют источник и центр английского общественного мнения. Именно от них исходят либеральные законодательные инициативы, именно их постоянное давление обеспечивает политический прогресс страны». Они в кратчайшие сроки выдвинулись на первый план. В 1830-х годах жизнь в Манчестере еще определялась решениями поместного суда, а Мидлсбро был всего лишь точкой на карте. Однако новые люди вышли вперед и предложили собственные лекарства от социальных недугов. Они сформировали новую буржуазию. Редактор газеты Leeds Mercury замечал, что хотя эти новые города «не могут похвастаться исторической славой великих столиц Европы… они уже сейчас превосходят многие из них богатством и численностью населения и закладывают прочные основы будущего, в котором смогут соперничать в интересе и значимости со знаменитыми городами античного мира». В XIX веке население Манчестера увеличилось с

75 000 до 303 000 человек, население Бирмингема — с 75 000 до 247 000 человек, Лидса — с 53 000 до 172 000 человек. В период 1841–1901 годов население Англии и Уэльса увеличилось более чем вдвое, и было ясно, что основной рост населения происходит в городах и их окрестностях.

Также процветали приморские города, такие как Брайтон, Уэймут и Торки. Разнообразные курорты и места отдыха на взморье, уже успевшие заработать несколько сомнительную репутацию, становились тем не менее все более популярными. Коббет писал, что «в такие места стекаются все самые подлые, глупые и низкие представители рода человеческого — все игроки, карманники, блудницы…». Город, о котором он говорил, — ныне вполне благопристойный Челтнем.

12
Благотворящее правление

Те, кто выступал принципиально против правительственных мер, рисовали картины засилья в Англии финансовых злоупотреблений и экономических манипуляций, однако вскоре стало ясно, что эти опасения безосновательны. Более того, в 1844 году началось что-то вроде экономического бума, длившегося двадцать лет, за время которого удалось в общих чертах завершить строительство основных железных дорог и значительно сократить производственные затраты на ткацких мануфактурах. Общественность постепенно привыкала к новым технологиям и свободной торговле. В 1844 году Гладстон, занимавший пост главы Торговой палаты в кабинете Пиля, предложил закон, который позволил бы правительству через пятнадцать лет выкупить любую железную дорогу. Пиль не поддержал эту инициативу и вместо этого предложил, чтобы каждая железнодорожная компания ежедневно пускала поезд третьего класса по цене один пенс за милю. Раньше в этих дешевых поездах были

открытые вагоны с отверстиями в полу, через которые могла стекать вода, однако новый билль требовал, чтобы их оснастили крышами. Гладстон возражал против запуска дешевых поездов по воскресеньям, ссылаясь на то, что «работающий респектабельный мастеровой не выберет для путешествий день Господень». Однако пассажиры первого и второго классов получали привилегию ослушаться Господа согласно положению Закона о железных дорогах.

Этот же закон предусматривал использование на каждой линии электрического телеграфа. Три года назад на Великой Западной железной дороге между Паддингтоном и Вест-Дрейтоном провели первую телеграфную линию коммерческого назначения — ее длина составляла всего 13 миль (21 км), но ее появление возвещало наступление новой эпохи коммуникации. Рекламное объявление в газете гласило: «Чудо нашего времени! Мгновенное сообщение… Гальванический и электромагнитный телеграф на Великой Западной железной дороге… Электрический флюид движется со скоростью 280 000 миль [ок. 450 600 км] в секунду». Возможность мгновенного обмена сообщениями на огромном расстоянии считалась выдающимся, почти невероятным достижением.

В прежние годы о том, что американские колонии провозгласили независимость, в Лондоне стало известно лишь полтора месяца спустя, а новость о победе при Трафальгаре дошла до Вестминстера только через двенадцать дней. В сравнительно короткое время электрический телеграф стал средством массовой коммуникации. Его часто называли нервной системой викторианской культуры. Он помогал получать актуальные сведения и поддерживать порядок на железных дорогах. Ему находили сотню применений. Отменив время и пространство, телеграф произвел революцию в управлении Британской империей, — многие не сомневались, что «города, в настоящее время удаленные от метрополии на некоторое расстояние, вскоре станут ее пригородами». И кроме того, с ним можно было играть в шахматы на расстоянии. Несколько лет спустя, в 1889 году, лорд Солсбери охарактеризовал телеграф как «открытие, оказавшее непосредственное действие на нравственную и интеллектуальную природу и деятельность человечества». Говоря о нем, часто цитировали из Книги Иова: «Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: вот мы?» Одновременно его изображали как нечто чародейское, явившееся из волшебной

сказки, но даже Али-Баба никогда не встречал подобных чудес.

Сэмюэл Смайлс относил начало «железнодорожной мании» к 1844 году, когда был принят Закон о железных дорогах: «Публика, толпившаяся вокруг фондовой биржи, заразилась единым настроением. Многие люди, ничего не знающие о железных дорогах и совершенно безразличные к их огромной национальной пользе, но охваченные алчностью и жаждой выгоды, бросились в водоворот спекуляций… “Акции! Акции!” — кричали все». Вскоре «безумие распространилось повсюду. Оно охватило торговцев и владельцев мануфактур, джентри и лавочников, государственных клерков и завсегдатаев клубов… На любую схему, как бы плоха она ни была, мог найтись свой инженер». Результатом этого стало поспешное и небрежное строительство: тоннели складывали из полусырых кирпичей, опоры мостов возводили на фундаменте из щебня. Существовало 104 отдельные железнодорожные компании, а через 6 лет их число увеличилось вдвое. Популярный писатель того времени Дионисий Ларднер писал: «Чувство невыразимого изумления вызывают огромные здания и пристройки, составляющие главную конечную

станцию большой железнодорожной линии… И разумеется, скорость!»

В том же году апофеоз паровоза изобразил Уильям Тёрнер на картине «Дождь, пар и скорость — Великая Западная железная дорога». Художнику не обязательно иметь свое мнение, и совершенно не ясно, воспевал ли Тёрнер локомотив или демонизировал его. Интерпретировать тему и композицию картины можно как угодно: одни видели в ней плач по уходящей старине, другие — восторженное отображение новой силы пара, меняющей окружающий мир. Тёрнер любил путешествовать и, возможно, выразил таким образом свою реакцию на новые возможности, которые открывал поезд. На картине изображен локомотив, пересекающий Темзу по железнодорожному мосту между Тэплоу и Мейденхедом. Клубящиеся вокруг него облака тумана и пара создают воздушное и величественное ощущение. Материальный мир — поезд, мост и окрестные поля — словно окутан густой вуалью, сквозь которую местами виднеются проблески чистого цвета, рождающие в зрителе сильный и глубокий отклик. Смешение тумана и пара отражает смешение двух граней реальности. Великую Западную железную дорогу называли «самым

грандиозным делом человеческих рук», и Тёрнер придал этой грандиозности ощущение возвышенности.

Теккерей писал в Fraser's Magazine, что «мир еще не видел ничего подобного этой картине». Его заметка передает переполняющее картину чувство момента и энергии: «Вы видите, как к вам приближается поезд — он несется со скоростью пятьдесят миль [80,5 км] в час, и, если вы хотите его увидеть, вам лучше поторопиться, иначе он вылетит из картины и устремится к вокзалу Чаринг-Кросс через противоположную стену». Дождь возникает на холсте «из небрежно нанесенных капель грязноватой серо-коричневой краски, а мерцающий солнечный свет складывается из густых комковатых мазков желтого хрома». То, что одной из вершин позднего искусства Тёрнера стало изображение нового вида транспорта, подтверждает, что феномен железной дороги породил новую разновидность жанровой живописи. Основным мотивом этого жанра стала скорость. Некоторых художников больше интересовали сами локомотивы, других привлекала оживленная суета вокзалов как архитектурного отражения нового образа жизни.

В любом историческом периоде интересно

замечать, как сочетаются и взаимодействуют друг с другом его отличительные черты. Так, строительство железных дорог косвенным образом подпитывало викторианское увлечение геологией. По мнению одного художника, выемка грунта, сделанная при сооружении железной дороги Манчестер — Лидс, представляла для геолога «превосходное зрелище, демонстрирующее многочисленные прекрасные образцы чередующихся пластов горных пород, сланцев, песчаников и угля, каждый из которых сохранял на всем протяжении параллельность и толщину». Таким образом, железная дорога соприкасалась с фундаментальными интересами викторианских ученых. Примечательно и то, что в период сооружения туннелей и обширных земляных работ обострился характерный для XIX века интерес к окаменелостям и воображаемым доисторическим мирам. В «Основных началах геологии» Лайеля (Principles of Geology; 1830–1833) искали подсказки о природе Творения и Великого потопа, и железная дорога могла стать новым инструментом христианского откровения. XIX век пытался осмыслить себя в рамках созданной им же концепции глубокого времени. Считалось, что Земля была создана в ночь на воскресенье, 23

декабря 4004 года до н. э.

Те, кто занимался сооружением туннелей, насыпей и прочими железнодорожными работами, назывались навигаторами, или нэвви, и они наводили ужас на окрестные поселения. Это были грязные, грубые, совершенно не склонные к вежливому поведению люди. Среди них было много ирландцев, а также выходцев из Мидлендса и с севера. Всех их можно было узнать по характерному наряду. Нэвви носили белую фетровую шляпу с загнутыми вверх полями, плисовый длинный сюртук с прямыми полами, алый плюшевый жилет и яркий платок на шее, вельветовые брюки в рубчик, завязанные под коленом, и крепкие высокие ботинки на шнурках. Они передвигались по стране поодиночке или группами, переходя от одной строительной площадки к другой. Ни полиция, ни железнодорожные компании не пытались призвать их к порядку. Это было просто бесполезно.

По злой иронии судьбы, какие бы превосходные плоды ни приносила политика Пиля, число врагов премьер-министра в его же партии не уменьшалось. В феврале 1845 года Пиль представил так называемый «большой бюджет», предусматривавший снижение или отмену по-

шлин на импорт. Его дальнейшее стремление к свободной торговле разочаровывало даже его явных сторонников, особенно с учетом того, что он настаивал на сохранении подоходного налога, который больше не считался временной мерой. Весной этого года тори снова возмущенно всколыхнулись, когда благодаря содействию Пиля деньги налогоплательщиков были выделены на католическую семинарию в Мейнуте в Ирландии. Он был не только против фермеров, но и на стороне католиков! Повсюду распространялись слухи о предательстве. Мейнутский билль удалось принять только при поддержке вигов. Пиль хотел склонить ирландских католиков к дружбе обещаниями настоящего равенства, но, судя по всему, ему удалось только разозлить англичан. Однако настоящее предательство, по мнению многих тори, было еще впереди.

В середине октября 1845 года все расчеты спутали ужасные новости из Ирландии. Урожай картофеля погиб. Для страны, где картофель был единственной пищевой культурой, это был вопрос жизни и смерти. Герцог Веллингтон писал о реакции Пиля на разразившееся бедствие: «Я никогда еще не видел такой агонии». Позже он добавил в разговоре с коллегой: «Черт побери,

гнилой картофель сделал свое подлое дело. Он внушил Пилю страх». По тону герцога можно судить о том, как общество в целом реагировало на ирландское бедствие (оставим в стороне тот факт, что сам он был англоирландцем родом из Дублина). Англичане просто хотели, чтобы проблема исчезла. Голод не отступал. В следующие три года умерло 650 000 человек, в следующие за ними три года в могилу сошло еще 1 100 000 человек. Позднее эти события были расценены как форма геноцида, вызванного безразличием и небрежением.

В политике Англии по отношению к Ирландии всегда прослеживалась своего рода выборочная неосведомленность, особенно заметная в вопросе Великого картофельного голода. Правительство не имело прецедентов, на которые можно было бы опереться. Массовый голод таких масштабов стал катастрофой, к которой власти оказались не подготовлены ни материально, ни, что еще важнее, идеологически. Никому из находящихся у власти в то время, по-видимому, не приходило в голову, что остановить голод в масштабе целой страны — дело правительства. Многим в Англии казалось, что тяготы ирландцев не слишком отличаются от обычных: было известно, что даже в

хорошие годы ирландцам нередко приходилось затягивать пояса, ожидая, когда созреет следующий урожай картофеля, — возможно, в этот раз положение просто было немного хуже. Также легко упустить из виду, что распространение голода и связанных с ним болезней было, при всем своем ужасе, сравнительно фрагментарным. Британские чиновники, не погрешив против истины, могли сказать, что неурожаи распространены далеко не везде. Англия и Шотландия пострадали не так сильно. Тем не менее получить зерно с континента или из Америки было почти невозможно, и британское правительство имело мало возможностей решить эту проблему, когда искало альтернативы картофелю.

Вопрос усложняли две другие непреодолимые трудности: система заочного землевладения и система земельной аренды. Хотя оба явления можно в конечном итоге возвести к английскому угнетению и шовинизму, они приобрели отчетливо ирландский характер. Большинство ирландских землевладельцев жило в Англии, поэтому, когда те из них, кто имел самые лучшие намерения, вернулись в Ирландию, они, к своему ужасу и стыду, обнаружили, что вместо шестидесяти или около того арендаторов, фигурирующих в их

списках, под их дверями слабо стенают несколько тысяч человек. Как минимум с финансовой точки зрения они не имели возможности справиться с ситуацией и выполнить требования, которые в дальнейшем предъявляло к ним правительство.

Кроме того, свою роль сыграл своеобразный характер земельной аренды. В Ирландии действовала византийская система субаренды, позволявшая недобросовестным посредникам надежно спрятать мелких арендаторов от землевладельца. Более того, у этих мелких арендаторов не было никаких стоящих упоминания прав. В связи с острой необходимостью использовать всю имеющуюся землю для выращивания картофеля акры в Ирландии могли стоить не дешевле, чем акры в Мейфэре. На этом сравнения не заканчиваются: рента в Ирландии фактически представляла собой земельную ренту — крестьянин платил за привилегию жить на земле. Таким образом, здесь не существовало этики взаимных обязательств, как это было в Англии. Однако, несмотря на все эти оправдания, в политических кругах было широко распространено мнение, что ирландцы недостаточно инициативны и энергичны и эта ограниченность существенно охлаждает дружеские чувства англичан. При-

ведем один пример. Священник из Западной Ирландии, умолявший открыть зернохранилище, чтобы накормить голодающую паству, получил официальный ответ, гласивший, что такой жест противоречит принципам свободной торговли и нарушает «коммерческие интересы». Священник отреагировал с вполне понятной яростью, но подобная бюрократическая узколобость была вполне типичным явлением. Пока ирландцы падали замертво на своих полях, из страны продолжали экспортировать крупные партии говядины, свинины, баранины и множество других товаров первой необходимости.

Свободная торговля стала ирландским Шивой, владыкой разрушения. Горькая ирония заключается в том, что причиной гибели ирландцев послужили не равнодушие и небрежение, а фанатичное применение догмы о свободной торговле в условиях экономики, которая просто не была к этому готова. Импортируемые продукты оказались почти бесполезны, в то время как продукты, экспортируемые из страны, имели для нее жизненное значение. Импорт и экспорт считались священной панацеей. Викторианской Англии было свойственно, найдя для себя новую игрушку, размахивать ею при каждом удобном случае.

Свободная торговля стала как раз такой новой игрушкой, но Ирландия оказалась не в состоянии с ней играть. Впрочем, обвинение в геноциде можно с большим основанием приложить к открыто проводившейся политике «экстерминации» (хотя тогда это слово еще имело старое значение — массовое выселение). В ее основе лежало то же легкомысленное безразличие к потребностям и реалиям Ирландии, которое подпитывало экспортоманию. Считалось, что земля не может прокормить людей, поэтому людей нужно выселить с земли. Политику Англии в отношении Ирландии можно сравнить с поведением богача, внушающего нищему, что его настоящая проблема не голод, а неумение видеть перспективу.

Пиль объявил чрезвычайные меры, призванные обеспечить население импортным зерном и привлечь людей к работе над государственными проектами. Люди продолжали умирать у обочин дорог, прежде чем они были построены. Рассказывали, что при этом они не производили никакого шума и не подавали никаких знаков. Так было и с горцами Западной Шотландии, когда их картофель сгнил в земле. По наблюдениям Генри Кингсли, «старшие из трудоспособных мужчин просто ложились и как будто тихо за-

сыпали». Французский обозреватель Гюстав де Бомон отмечал: «В каждой стране есть более или менее многочисленный слой бедных людей, но целая нация нищих — зрелище до сих пор невиданное».

На заседании кабинета министров в ноябре 1845 года Пиль предложил две меры, которые могли бы помочь облегчить голод в Ирландии и успокоить гнев Англии. Он предложил приостановить действие Хлебных законов в их нынешнем виде, чтобы уменьшить хроническую нехватку продовольствия в регионе Ирландского моря. Кроме того, он предложил парламенту рассмотреть Хлебные законы в целом с целью их дальнейшей отмены. Первая мера была полностью одобрена, хотя многие министры сочли ее запоздалой. Вторая мера спровоцировала ожесточенные гневные дебаты, в результате которых Пиль подал в отставку. Ушел он ненадолго. Его противник виг Джон Рассел не так давно поклялся отменить Хлебные законы, поэтому он, естественно, принял должность, врученную ему королевой. Ему потребовалось около двух недель, чтобы понять: без авторитета Пиля он не сможет действовать. Он обнаружил, что не может даже полностью контролировать предложенный ему

кабинет, когда Палмерстон отказался занимать какую-либо должность, кроме должности министра иностранных дел. Итак, Пиль вернулся на поле боя. Газеты почувствовали, что наступает решающий момент.

На очередном заседании парламента в январе 1846 года Пиль выступил с речью, в которой объявил о своем намерении поддерживать дело свободной торговли и отмены Хлебных законов. «Из уважения к истине и к прогрессу разума я не стану отрицать, что мои взгляды на протекционизм претерпели изменения». Сидящие на скамьях позади него безмолвствовали. Дебаты продолжались до мая, когда решение было принято в третьем чтении с большинством в 98 голосов. Стоит заметить, что 222 тори при этом проголосовали против предложенных Пилем мер. Он выиграл голосование, но где-то по пути потерял свою партию. В парламенте появились фракции пилитов и антипилитов, причем более многочисленное стадо пасли Дизраэли и Бентинк. Недовольные тори отомстили на следующий день, проголосовав против предложенного Пилем Билля о защите жизни (Ирландии) — меры, которую при обычных обстоятельствах они бы поддержали. Обстоятельства были необычными.

Дизраэли уже окунул перо в самые темные чернила, когда в опубликованном годом ранее романе «Сибилла» написал, что в стране существуют две нации — все и так понимали, о чем идет речь, но он вывел это заглавными буквами — БОГАТЫЕ И БЕДНЫЕ. Однако на трюизме можно построить роман, но не правительственную программу.

Консерваторы никогда не любили Пиля и не смогли простить его. Дизраэли направил всю свою энергию на то, чтобы уничтожить Пиля. «Я люблю славу», — заявлял он и всю оставшуюся жизнь доказывал справедливость этого утверждения. Ему вряд ли нужно было повторять очевидное. Было вполне ясно, что дни до ухода Пиля сочтены.

Многие радовались запоздалому поражению Пиля, и он был вынужден уйти в отставку. Вслед за этим лорда Джона Рассела назначили главой виговского правительства меньшинства, но дело было сделано. Хлебные законы перестали существовать. Владельцы лавок и ремесленники из среднего класса ликовали, услышав эту новость. Партия тори отступила в дыму и замешательстве, но, как заметил Ричард Кобден, «интеллектуальные средние и трудящиеся классы» должны были оказаться в выигрыше.

После отмены Хлебных законов в обществе возникло почти осязаемое чувство облегчения: неоправданному притеснению, порожденному социальным неравенством и корыстными законами, пришел конец. Выступая на одном из последних заседаний Лиги против Хлебных законов, Кобден заявил:

> …В человеческом мире еще не происходило события, более рассчитанного способствовать непреходящим интересам человечества, чем установление принципа свободной торговли. Я не имею в виду те материальные выгоды, которые применение этого принципа принесет Англии, — я говорю о том, что сейчас у нас установлен принцип, вечный в своей истинности и универсальный в своем применении… Это мировая революция, да и только.

Его радостное возбуждение вполне может быть оправдано выдающимся случаем, но оно также свидетельствует о высоких принципах тогдашней политики.

Отмена Хлебных законов прекратила все разговоры о возможности революции по фран-

цузскому образцу. Несколько дней спустя Кобден написал Фрэнсису Плейсу: «Радуйтесь, что живете во времена, когда билль о реформах, пароходы, железные дороги, почта за пенни и свободная торговля, не говоря уже о ратификации гражданских и религиозных свобод, стали непреложным фактом действительности».

Либеральные консерваторы теперь следовали за Пилем, хотя он всячески открещивался от фракции пилитов (в конце концов они присоединились к вигам, выступающим за свободную торговлю). Протекционисты, лишившись лидеров, за исключением Дизраэли и Бентинка, выглядели так, будто опоздали на омнибус. Очевидно, они это понимали, — выступая в палате, Бентинк резко нападал на правительство. «Его голос взлетал до пронзительного крика, глаза сверкали, как у дикого зверя, рвущего добычу, а таких несдержанных манер не встречалось даже среди обитателей Бедлама».

Такое же ощущение неожиданной свободы возникло после Закона об избирательной реформе 1832 года. Теперь, как и тогда, появился еще один шанс расчистить сухостой, копившийся из поколения в поколение. Джон Стюарт Милль писал своему французскому коллеге-философу Огюсту

Конту в 1847 году:

> …Мы перешли к благотворящему правлению. Сегодня все кричат о том, что бедным людям следует дать не только деньги, но и посильные часы работы, санитарию, даже образование. Иными словами, нужно управлять ими по-отечески, и королевский двор, знать, богатые люди вполне с этим согласны. Но они забывают: сделанное для людей приносит им пользу только тогда, когда помогает им делать что-то для самих себя.

В этой обстановке был принят Закон о 12-часовом рабочем дне и проведены другие благотворные реформы фабричного законодательства (в первую очередь касавшиеся текстильной промышленности), приняты новые законы о шахтах, достигнут прогресс в отношении Закона о бедных и общественной санитарии. Рабочий день для женщин и детей неуклонно сокращался — с 12 часов в 1844 году до 10 часов в 1847 году. Рабочие часы детей на фабриках сократились до 6,5 часа, чтобы освободить время для учебы. Полномочия фабричных инспекторов значительно расширились.

Процесс длился несколько лет и сопровождался пламенными речами и упреками. В своих мемуарах Чарльз Гревилл отмечает, что вокруг провалившегося в итоге Билля о 10-часовом рабочем дне поднялся огромный ажиотаж, в котором «смешалось столько партий и противоположных позиций, было столько яростного пыла, вражды и взаимных упеков, брошенных каждой из сторон». В каком-то смысле это была ярость Калибана, увидевшего себя в зеркале. К 1847 году сложилась система, — как писал Дизраэли в «Танкреде» (Tancred; 1847), «люди подчинялись общему импульсу, преклонялись перед внешней необходимостью», также известной как сила общества. Однако шесть лет спустя Диккенс заявил: «Наша система не работает».

Разговоры о неудаче начались уже в 1847 году. Одним из главных двигателей железнодорожных инвестиций служила разнонаправленная тенденция мании и паники. Тем, кто изучал поведение обезумевшей возбужденной толпы, хорошо знакомо это явление. Например, в 1847 году внезапная паника произошла на финансовых рынках. Случившееся летом падение цен на зерно, вызванное отменой Хлебных законов, привело к банкротству многих торговцев. Мно-

жество банков оказалось обременено таким количеством безнадежных долгов, что им пришлось приостановить деятельность. Нехватка основных продуктов питания вызвала рост цен и торговый дефицит, спровоцировавший утечку золотых слитков из Банка Англии. Эта нестабильность покачнула систему как раз в то время, когда благодаря железнодорожной мании вырос спрос на оборотный капитал. В Америке выдался менее обильный, чем обычно, урожай хлопка — 80 % своего хлопка Англия получала из южных штатов. Смятение и страх подпитывали друг друга. Действительно ли железные дороги лишили страну капитала — или они обеспечивали доходы и занятость? Но паника улеглась почти сразу, как только возникла. Она была неотъемлемой частью делового цикла, чья изменчивая и непоследовательная природа не поддавалась никакому рациональному объяснению. Казалось, что экономическое оздоровление возникает в темной утробе времени как бы само по себе. Вот почему некоторые люди связывали экономические циклы с фазами луны.

Несмотря на интерес к социальной реформе, в деле народного образования не наблюдалось большого прогресса. Даже в 1870 году только

один ребенок из трех посещал хотя бы какое-то подобие школы. Многие сомневались в том, что здесь вообще возможен какой-либо прогресс. Дети должны были работать, вносить свой вклад в неравную борьбу семьи за выживание. Какой смысл забивать их маленькие головы фактами, которым они никогда в жизни не найдут полезного применения? Пусть лучше обучаются мастерству на булавочной фабрике или ткацкой мануфактуре. И в чем смысл всеобщей грамотности? Низшие слои общества только научатся читать непристойную пропаганду, радикальные брошюры и трактаты вигов. Эксперимент со школами для бедных, предназначенными для детей с улицы, в целом не увенчался успехом: их обвиняли в распространении вшей и вредных привычек.

И все же реформаторы в области образования упорствовали. Они создали две образовательные системы. Национальные школы, появившиеся в 1811 году, работали по разработанной Эндрю Беллом модели, в которой старшие дети играли роль воспитателей и учителей для младших. Джозеф Ланкастер, еще один выдающийся реформатор в области образования, использовал в целом аналогичную систему, но с более жесткой дис-

циплиной. Когда в 1833 году парламент выделил ежегодный грант в размере 22 000 фунтов стерлингов, сумму распределили между школами Белла и Ланкастера поровну. Вряд ли это можно назвать щедрым подарком. Существовали такие пропасти невежества, которые невозможно было покрыть никакими средствами, и такие бездны бедности, куда не проникал ни один луч света. Церковь и диссентеры боролись за право обучать оставшихся маленьких детей. В результате 75 % детей, прошедших через «систему», знали только алфавит и практически не умели читать, механически повторяя заученные слова.

Виги вместе с радикалами разных взглядов теперь управляли Британией с помощью бесконечных компромиссов, условий и оговорок. Джон Рассел, лидер партии в палате общин, был прирожденным спорщиком, но не был прирожденным политиком. Роберт Пиль, напротив, почти ушел из поля зрения. Он сказал коллеге:

> Дело в том, что состояние государственных дел в периоды заседаний парламента становится во многих отношениях предметом серьезнейшей озабоченности. Первому министру этой страны крайне

нелегко надлежащим образом выполнять свои обязанности: читать все, что ему следует прочитать, включая всю иностранную корреспонденцию, докладывать о делах королеве и принцу-консорту, видеться со всеми, кого он должен увидеть, руководить распределением почестей, распоряжаться делами гражданского и церковного попечения, собственноручно писать ответы каждому известному человеку, письменно обратившемуся к нему, быть готовым к любым дебатам, в том числе по самым надуманным поводам, — заниматься всеми этими неотложными делами и одновременно заседать в палате общин по 8 часов в день в течение 118 дней. Я невольно ощущаю, что совмещать эти обязанности невозможно, эта задача выше любых человеческих сил — по крайней мере, выше моих сил.

Пиль не покинул парламент окончательно. Он посчитал, что достаточно будет сложить с себя руководство партией и отказаться от дальнейших амбиций, но он должен был остаться, хотя бы для того, чтобы поддержать деморализованную пар-

тию вигов, оказавшуюся у власти в результате его поражения. Он не мог допустить, чтобы к власти пришли протекционисты или радикалы, поэтому делал все возможное, чтобы помочь Джону Расселу и его коллегам. Он ясно дал понять, что будет поддерживать администрацию вигов до тех пор, пока те будут продолжать начатую им политику. Многие сочли, что теперь Пиль, по сути, стоит «выше партий». Некоторые продолжали обвинять его в предательстве, но многие аплодировали его непреклонности и решимости заботиться о государстве и защищать реформу.

Все говорили об Ирландии. Без этого не обходился ни один политический разговор. Об этом думал каждый политик. Осенью 1845 года Гладстон писал жене: «Ирландия! Ирландия! Это грозное облако на западе! Надвигающийся шторм! Пособница Божьего воздаяния за жестокую, застарелую и почти уже заглаженную несправедливость! Ирландия ставит перед нами серьезнейшие общественные и религиозные вопросы. Дай Бог, чтобы у нас хватило смелости взглянуть им в глаза!» На Всевышнего ссылались по разным поводам. Многие воспринимали Великий голод как наказание за приверженность католицизму или, если верить альтернатив-

ной эсхатологии, как упрек свыше за леность и нерадивость. Те, кто придерживался светских убеждений, считали, что Провидение не имеет к этому никакого отношения — неурожаи имеют чисто биологические и механические причины. В 1847 году урожаи начали улучшаться, но болезни, лихорадки и слабость, порожденные голодом, еще долго преследовали людей.

13
«Саламандра»

Речь Пиля по случаю собственной отставки в конце июня 1846 года блистала необычайным красноречием. «Быть может, — сказал он, — я оставлю после себя имя, которое иногда будут вспоминать добрым словом в домах людей, чей удел ежедневно трудиться и зарабатывать свой хлеб в поте лица. Быть может, они вспомнят его, когда будут подкреплять истощенные силы обильной и не облагаемой налогом пищей, тем более сладкой, что ее более не отравляет кислое чувство несправедливости». Из Вестминстера его провожала рукоплещущая толпа. Когда лорд Джон Рассел вступил в должность после Пиля летом 1846 года, он предложил посты в кабинете Веллингтону и другим консерваторам, но все они отказались. Пиль по-прежнему оставался самым выдающимся политиком в парламенте, и Кобден восславил его как «*Идею* эпохи» (в тексте выделенное здесь курсивом слово было подчеркнуто дважды).

Палмерстон вошел в кабинет Рассела как ми-

нистр иностранных дел, что спровоцировало несколько выплесков недоброжелательности в иностранных столицах. Это был кабинет меньшинства в том смысле, что виги, радикалы и ирландцы при Расселе никоим образом не составляли большинства в парламенте. Однако Пиль не собирался возглавлять решительно настроенную оппозицию. Пилиты были не столько партией, сколько содружеством бывших сторонников Пиля. В газете The Times отмечали: «Их нынешняя трудность состоит в том, что они не объединены в партию: у них нет партийных связей, партийных возможностей и партийных обязательств». Они по-прежнему придерживались идеалов Пиля о свободной торговле и государственной экономии и (возможно, это было самое главное) разделяли его независимость суждений. Их вряд ли удалось бы соблазнить предложением министерских кресел.

В следующие двадцать лет шквалы и бури чередовались со штилями. Восемь кабинетов сменили друг друга, и в течение ряда лет ни одна партия не имела в парламенте стабильного большинства. Был период, когда страной правила наспех собранная коалиция вигов, радикалов и пилитов, но именно это злополучное собрание

несло прямую ответственность за Крымскую войну. В целом в политической жизни преобладало ощущение застоя, и если кто-то надеялся, что следующие всеобщие выборы летом 1847 года смогут расшевелить избирателей и кандидатов, его ожидания не оправдались. Результат оказался почти таким же, как раньше, когда Джон Рассел и его легкая кавалерия прорывались сквозь расстроенные ряды протекционистов под командованием Бентинка и сторонников свободной торговли под командованием Пиля. Какой смысл называющие себя вигами или тори вкладывали теперь в эти слова? Похоже, это уже никого особенно не волновало.

Примечательно, что новый канцлер казначейства сэр Чарльз Вуд регулярно советовался с Пилем по финансовым вопросам. В ходе одного обсуждения Пиль изложил ту позицию, которой придерживался всю оставшуюся жизнь: он не будет «поощрять в оппозиции фракционность и стремление придираться по мелочам», и он «искренне одобряет общие принципы коммерческой политики, установленные администрацией». Джона Рассела признали лидером Либеральной партии, но он знал, что, в сущности, он старомодный виг. Принятый в 1847 году Закон о фабриках

был направлен на улучшение общественного состояния, хотя премьер-министр оказал ему лишь пассивную поддержку. Женщинам и подросткам теперь разрешалось работать на мануфактурах только 10 часов в день. Это был результат пятнадцатилетней кампании. Его называли победой народа в борьбе против правительства, и возможно, это отчасти было правдой: закон возник при широкой поддержке рабочих-станочников и поощрении реформаторов, таких как лорд Эшли и Джон Филден, владелец хлопковых мануфактур и депутат парламента от Олдхема. Другие воспринимали его как победу землевладельцев над сторонниками свободной торговли, добившимися отмены Хлебных законов, — приверженцы принципа государственного невмешательства в торговлю точно так же не одобряли попыток государства вмешиваться в производственный уклад.

Джон Рассел принял роль первого министра с некоторой осторожностью. Он проводил довольно скромные и умеренные реформы, без намека на какие-либо революционные изменения. Он также уделил некоторое внимание голоду в Ирландии, хотя в этом случае неясно, насколько те или иные действия могли бы изменить поло-

жение страдающей нации. Решение вопроса, в сущности, оставили в руках Господа, которого нельзя было критиковать или обвинять в Его деяниях. Вместе с тем были приняты меры, полностью отвечающие характеру правительства, которое когда-то называли виговским. В 1847 году был основан Совет попечения о бедных. На следующий год Центральный совет по вопросам здравоохранения создал местные советы, наделенные законными полномочиями для решения разнообразных вопросов общественной санитарии, от водоснабжения до устройства кладбищ. Государственный контроль над образованием усилился, избирательное право по выборам в парламент расширилось. Постепенно формировалась служба обеспечения и поддержки общественного благосостояния. Все эти меры воспринимались как манна небесная бывшими аристократами-вигами, чьи унаследованные политические воззрения заставляли их стремиться к улучшению положения всех классов. Крупнейшие землевладельцы были (или хотя бы считали себя) хранителями нации, неизменно заинтересованными в благополучии всего народа. Сам Рассел управлял с той язвительной властностью, которую во многом диктовало его

виговское наследие, но его нельзя назвать вдохновляющим премьер-министром — он просто был одним из тех, кто долго шел и со временем достиг вершины.

Правление кабинета Рассела принесло и другие плоды. Радикальные и нонконформистские фракции парламента теперь нередко состояли из деловых людей или городских профессионалов, представлявших промышленные города и поселения. Процветание коммерческих и промышленных интересов способствовало появлению практически сформировавшегося профессионального класса в черных костюмах и высоких цилиндрах. Крупные землевладельцы еще могли оседлать эту новую волну, но характер и настроение в палате общин постепенно изменились. Она перестала быть собранием богатых землевладельцев и их арендаторов. Все большее влияние в ней приобретал, как его позднее назвали Дизраэли и Солсбери, индустриальный консерватизм. Раньше в палате были представлены в основном земельные и местные интересы, опиравшиеся на лояльность и патриархальный уклад, но теперь их стало заметно меньше. Повсеместное распространение железных дорог побуждало людей сниматься с обжитых мест, внимание многих

землевладельцев переключилось с сельского хозяйства на промышленность. Фермерам было не под силу тягаться с юристами железнодорожных компаний, и мелкие земельные интересы оказались предоставлены сами себе. Тем более что юристы также входили в парламент. Политики и агитаторы знали все о протекционизме и свободной торговле, но те, кто непосредственно зависел от сельского хозяйства, были крайне плохо подготовлены к решению текущих проблем. Их влияние неуклонно ослабевало. Попытки создать протекционистские общественные организации провалились: фермеры и сельские работники не желали участвовать в народных демонстрациях, даже если бы их удалось устроить.

Что касается сокращения населения в сельских районах, оно было в каком-то смысле иллюзией. Отчасти она возникла из-за постоянного оттока эмигрантов в Северную Америку: в течение трех лет после 1847 года океан ежегодно пересекало более полумиллиона переселенцев. И все же энергия и плодовитость людей были таковы, что численность населения продолжала расти. Мы можем говорить о депопуляции лишь с точки зрения количества семей, занятых в сельском хозяйстве, — оно действительно уменьшилось,

однако общая численность сельского населения при этом осталась прежней. Кроме того, в сельской местности улучшенные методы ведения хозяйства и более трудоемкие культуры увеличили рабочую нагрузку для тех, кто остался на земле. Существенную роль в общей картине сыграли переезды из деревень в окрестные города, но в общем и целом за 50 лет в сельской местности произошли лишь небольшие миграции на ограниченной территории. В деревнях по-прежнему существовала преемственность, хотя беглое знакомство с книгой Уильяма Коббета «Деревенские прогулки» (1830) навсегда избавило бы читателя от иллюзии о тихой и уютной деревенской жизни. Сельские рабочие нередко жили в такой же грязи и в таких же ужасных условиях, как их собаки. Они продолжали трудиться на земле, потому что ткацкие мануфактуры, не говоря уже о работных домах, вызывали у них страх и ненависть. Любая неизвестность порождала страх: когда группу разнорабочих по распоряжению какого-то землевладельца перевозили из Северного Девона в Кент, они поинтересовались, не собираются ли их «отправить за море».

В 1846 году Гарриет Мартино писала Элизабет Барретт:

> Смею предположить, вам не нужно рассказывать, сколь изобильны чувственные пороки в сельской местности… Милый старый добрый Вордсворт вечно рассуждает о невинности деревенских жителей и порицает любые связи с городом, якобы оскверняющие их чистоту. Он и не подозревает, каких высот самоотречения и утонченности могут достигнуть люди в городах, дающих куда больше возможностей для человеческого развития.

В любом случае сельское население справлялось со своими обязанностями. Король Бробдингнега считал, что «тот, кто сумеет вырастить два початка кукурузы или два стебля травы на том участке земли, где раньше рос только один, заслуживает большей благодарности от людей и оказывает своей стране более существенную услугу, чем все племя политиков вместе взятое». В 1816 году население Британских островов составляло 19 млн человек, через 45 лет эта цифра достигла 29 млн, но им по-прежнему хватало еды.

Через некоторое время внимание нации снова обратилось в сторону позабытой было внешней

политики. К великому смятению тех, кто полагал, что человечество ждет столетие мира, 1848 год вошел в историю как год революций. Пожалуй, было даже к лучшему, что в этот период самым грозным членом виговского кабинета оказался виконт Палмерстон, снова воцарившийся в Министерстве иностранных дел. Слово «воцарившийся» здесь не случайно, поскольку он действительно единолично правил в своих владениях. Это был настоящий человек дела, неутомимый труженик, скрывавший за показным безрассудством изворотливый ум и в особых случаях высокую серьезность. Страсти накалились в начале 1847 года, когда герцог Веллингтон, сам того не желая, предрек беду. В частном письме к одному из армейских товарищей он упомянул о незащищенном состоянии Британии. Как это иногда случается, его письмо просочилось в прессу. Публике стало известно, что на всем побережье «нет такого места, где нельзя было бы высадить пехоту в любое время прилива, при любом ветре и при любой погоде и где упомянутая пехота, высадившись на берег, не нашла бы на расстоянии не более пяти миль [8 км] какой-нибудь дороги, ведущей прямо вглубь страны». Незамедлительно и неизбежно

последовала паника. Очевидно, за то время, пока Британия не интересовалась иностранными делами, они успели подступить пугающе близко к ее границам.

Угроза стала еще ощутимее, когда во Франции, Германии и Италии произошли революции. В феврале, после того как Луи Филипп запретил частные собрания оппозиционных партий, на центральных улицах Парижа разгорелись уличные стычки, войска открыли огонь по толпе, волнения переросли в бунт. По словам Виктора Гюго, когда Луи снимал парик, он становился «самым обычным торговцем». После провозглашения Второй республики он бежал в Англию под именем мистера Смита. В марте восстали жители Берлина, и в результате Вильгельм, принц Пруссии, тоже бежал в Англию. Людвиг I Баварский присоединился к этой процессии, отрекшись от престола в пользу своего сына. Император Австрии Фердинанд I уехал из Вены в Инсбрук, а затем в Моравию. Венгры потребовали независимости от Австрии. Чехи из Богемии потребовали создания собственного парламента. Венеция и Ломбардия также восстали против своего старого имперского врага. Папа покинул Рим, переодетый простым священником. Затем

воздушный шар лопнул.

Одна за другой силы повстанцев терпели поражение от старой гвардии. Имперские политики ловко сыграли на этнических противоречиях, когда венгры обратились против славян вместо того, чтобы вместе выступить против общего имперского врага. Один за другим правители возвращались на свои троны. Казалось, какое-то минутное помрачение рассудка привело их всех в «убежище для всей Европы» (так называли Англию в журнале Punch). Льюис Нэмир назвал это «поворотным моментом, в который история так никуда и не свернула». Возможно, правильнее будет сказать, что желание свободы и перемен тогда намного превосходило доступные возможности. Подающие надежды общественные деятели 1848 года, возглавившие средний класс и трудящихся, в 1849 году стали мучениками и узниками в оковах.

Временный всплеск свободолюбия имел в Европе на удивление мало последствий. Во Франции к власти пришел Луи Наполеон, который некоторое время руководил умеренно успешным режимом в качестве президента Второй Французской республики, после чего объявил о создании Второй империи. Кроме того, революционный

год побудил русских к более активной политике в отношении Венгрии, где на их пути встал неукротимый республиканский герой Лайош Кошут. Кабинет министров и королевская семья не хотели, чтобы Кошут во время своих последующих скитаний в изгнании наносил визит Палмерстону, однако политик, ставший теперь кумиром народа, ответил, что будет приглашать в свой дом всех, кого пожелает. Клерк Тайного совета Чарльз Гревилл с неудовольствием отмечал: «Демонстративные попытки Палмерстона заручиться поддержкой радикалов и льстивые высказывания о демократии, которыми полны его речи, отвратительны сами по себе и представляют немалую опасность».

Палмерстон, как саламандра, жил в огне, беспрестанно забрасывая все иностранные столицы и королевские дворы суровыми дипломатическими посланиями. Это не нравилось Виктории и Альберту, безоговорочным сторонникам того старого порядка, разрушить который стремился, например, тот же Кошут. Королевская семья постоянно высказывала претензии и призывала министра иностранных дел к ответу, но он отмахивался от этих запросов или просто пропускал их мимо ушей. «Он был любезен, услужлив и

уступчив в мелочах, — писал Дизраэли о Палмерстоне, выведенном в образе графа Рохэмптона в «Эндимионе» (Endymion; 1880), — но, когда дело касалось чести или доброго имени крупных интересов, он действовал решительно и властно… Этого человека, в сущности, не интересовало ничего, кроме дел службы… однако держался он всегда жизнерадостно и неизменно прикрывался шутливой болтовней». Совсем не такого Палмерстона знала Виктория. Она как-то сказала Расселу, что тот «ведет себя не всегда прямолинейно». Это был королевский способ назвать его *лжецом* и лицемером.

События, больше всего похожие на революции 1848 года, разыгрались в Англии весной того же года, когда заново собравшиеся с силами чартисты попытались организовать демонстрацию на Кеннингтон-Коммон. Они намеревались еще раз подать в парламент петицию о необходимости всеобщего избирательного права и тайного голосования. Количество участников события точно неизвестно, но вряд ли оно достигало полумиллиона, о котором рассказывают чартистские мифы. Поскольку им запретили массово прошествовать с петицией к Вестминстеру, их предводитель Фергюс О'Коннор поехал в парламент в кэбе, а

толпы просто разошлись. Вряд ли это можно считать славной победой.

Однако паника была так велика, что власти заранее приняли чрезвычайные меры. Кавалерия и пехота дежурили по обе стороны мостов через Темзу, военные корабли стояли наготове, возле Букингемского дворца и Банка Англии выставили пушки, 170 000 человек набрали в особые добровольческие отряды с дубинками и белыми нарукавными повязками. Было ясно, что страх перед революцией, наподобие европейских, вполне реален, но толпы просто растаяли. Говорить о возможности существования в Англии какой-либо революционной партии, в сущности, было бессмысленно.

Впрочем, неприятности на этом не закончились. Летом 1848 года движение «Молодая Ирландия» сделало необдуманную и несвоевременную попытку поднять революцию в Ирландии, подражая европейским образцам. Дело кончилось перестрелкой между повстанцами и полицией, продолжавшейся несколько часов до тех пор, пока повстанцы не отступили, потеряв часть ранеными. Одну группу окружили в доме миссис Маккормак, и эта стычка вошла в историю как «Битва при капустной грядке вдовы

Маккормак». Пожалуй, можно только удивляться тому, каким стремительным и бесповоротным провалом окончилось восстание. Тем не менее английское правительство отреагировало на него с инстинктивной яростью. В 1849 году Рассел писал: «Мы выделяли гранты и ссуды, давали ирландцам работу и одежду, посещали их и обсуждали их дела. Миллионы фунтов денег, годы дебатов — только для того, чтобы получить в ответ бунт и клевету». Вполне понятное, но ничуть не оправданное высказывание человека, в пылу момента позабывшего о том, с каким презрением и жестокостью англичане веками относились к ирландцам. Англичанину легко было забыть или найти оправдание собственному варварству, но не стоило ожидать того же от ирландцев.

Также в 1848 году были опубликованы первые два тома «Истории Англии» (History of England) Маколея. Предисловие гласило: «История нашей страны за последние 160 лет есть история необычайного физического, морального и интеллектуального усовершенствования». Это хорошо иллюстрирует, как сильно формальная история может расходиться с объективной реальностью мира. Эта виговская интерпретация истории, как ее повсеместно называли, служила своего

рода интеллектуальным подорожником для тех, у кого могли возникнуть серьезные сомнения относительно будущего страны.

Здесь мы уже можем вполне обоснованно заменить вигов либералами. Новый термин появился в середине 1830-х годов, но его значение тогда было не вполне ясным. Либералы страдали от отсутствия сильных лидеров (последним примером был Джон Рассел), а их стремление к власти могло сравниться только с их неспособностью как-либо ею распорядиться. Сам Рассел признавал это и соглашался, что его партии нужны Пиль и пилиты, чтобы обрести силу и уверенность. Когда в 1848 году группа примерно из 50–60 депутатов решила назвать себя радикалами и выдвинуть собственную политическую программу, либералы пришли в замешательство. Кем были эти радикалы: потенциальными союзниками или потенциальными соперниками? Никто толком не знал. В результате репутация Рассела постепенно потускнела. Выборы 1847 года лишний раз подчеркнули известный факт: он был первым министром только потому, что в консервативной оппозиции сохранялся фатальный раскол между протекционистами и сторонниками свободной торговли.

Либералы не были демократами в полном смысле этого слова, и половину их избранных членов составляли землевладельцы или сыновья землевладельцев. Считать себя главной правящей партией им позволял скорее прошлый опыт, чем успехи в текущей политике. Даже в 1886 году в Fortnightly Review еще могли написать: «Всего несколько лет назад это наименование [виги] звучало гордо, напоминало о великом наследии, служило эмблемой выдающейся партии. Теперь это историческая память, не более чем воспоминание о былых победах…»

В 1848 году набрало силу еще одно явление. Это был год, когда особую популярность обрел спиритизм — левитации, призраки и духи, столоверчение, автоматическое письмо, телепатия и теневая фотография. В каком-то смысле он стал массово доступным аналогом научных диспутов и экспериментов с электричеством. Социалисты-утописты в числе первых занялись изучением этих методов, но кроме них новыми верованиями интересовались многие ученые и политики. Среди первооснователей Лейбористской партии было немало оккультистов. Было бы любопытно проанализировать те волны чувств — электрофизических, месмерических и духов-

ных, — которые прокатывались по стране (а также другим странам) в тот период. Теософское движение 1875 года вливалось в общий духовный поиск наравне с философией оксфордских идеалистов, отраженной в работах Т. Х. Грина, и захватывающей «Тайной Гегеля» (The Secret of Hegel) Дж. Х. Стирлинга, опубликованной в 1865 году. Откуда шли идеалистические веяния и жажда духовного пробуждения? Трудно сказать, но возможно, то была инстинктивная реакция на «неопровержимые факты» педагогической науки, которую Диккенс высмеивал в образе мистера Грэдграйнда, и на жесткую неизменность главных маркеров викторианской жизни — свободной торговли, прибылей и убытков, фабричных часов. К этому же течению можно причислить христианский социализм, возникший тогда в среде решительных и набожных молодых людей и прямо противопоставлявший себя викторианскому материализму. Его приверженцы считали, что традиционные принципы викторианского англиканства противоречат Закону Божьему. Закон жизни следует поставить выше трудового законодательства. Порочные сети наличных денег есть творение дьявола.

Среди фигур, прогуливавшихся по коридорам

палаты общин, была одна, как будто вызванная к жизни заклинанием джинна. Дизраэли передвигался молча, не глядя по сторонам, всегда ссутулившись и опустив взгляд к полу. «Если вам случится где-нибудь увидеть его, — замечал в 1847 году корреспондент Fraser's Magazine, — он бесшумно скользнет мимо вас, как будто не осознавая окружающего мира, больше похожий на тень, чем на человеческое существо». Репортер добавлял: «Начав говорить, он будто перемещается в особое интеллектуальное пространство и полностью сосредоточивается на идее, горящей в его голове». Если его перебивают, он не замечает этого или, наоборот, прерывает говорящего «нетерпеливым жестом или гримасой раздражения». На заседаниях палаты он обычно «сидит неподвижно, с поднятой головой, напрягшись всем телом и плотно прижав руки к бокам, словно автомат или древнеегипетская каменная статуя, застывшая в тысячелетней неподвижности». В то же время его речь нередко казалась небрежной и надменной. Создавалось впечатление, что его совершенно ничего не волнует. На самом же деле он всегда был осторожен и расчетлив.

После ухода Пиля Дизраэли, теоретически по-прежнему остававшийся протекционистом,

стал следующим в очереди на место лидера. Его выбрали бы далеко не все. Необычная внешность и чересчур артикулированное английское произношение создавали ему ложную репутацию иностранца. За глаза его, разумеется, называли евреем. Он знал об этом и не возражал. Возможно, он даже предпочитал это прозвище другой своей кличке — Диззи. После того как ведущий протекционист лорд Эдвард Стэнли (ставший в 1851 году лордом Дерби) перешел в палату лордов, Дизраэли пришлось с головой окунуться в суматоху парламентской борьбы. В глубине души он был реалистом. Именно поэтому любимая ранее тема протекционизма фактически потеряла для него свою привлекательность. С ее помощью больше ничего нельзя было добиться, и Дизраэли совершенно охладел к ней. После того как в королевстве возобладал принцип свободной торговли, она стала совершенно неактуальной и превратилась скорее в обузу.

И все же Дизраэли был настроен оптимистично. В феврале 1849 года он объявил своей сестре: «После долгой борьбы я наконец по праву стал лидером». За этой короткой фразой стояло множество прошлых сделок, компромиссов и невыполненных обещаний. В конце концов,

Дизраэли был самым проницательным и красноречивым из всех тори. Кроме того, он пользовался неоценимой поддержкой и даже восхищением ведущих тори в палате лордов. Лорд Эдвард Стэнли происходил из уважаемой и благородной семьи. Он, несомненно, выполнил бы свой долг перед коллегой, хотя было неясно, пойдет ли он дальше.

Рисунок на гобелене времени постепенно становился сложнее. В августе 1849 года Виктория посетила Ирландию и, несмотря на те ужасы, которые страна пережила совсем недавно, была встречена с большим воодушевлением. Когда она сошла на берег в Корке, какой-то старик крикнул: «Ах, милая королева, сделай одного из них принцем Патриком, и Ирландия умрет за тебя!» На королеве было платье из ирландского полотна, украшенное трилистниками. Она приобрела Осборн-хаус на острове Уайт, где уже шли строительные работы. «Меня воспитывали совсем по-другому, — сказала она. — У меня никогда не было собственной комнаты. У меня никогда не было дивана или кресла для отдыха и ни одного не протертого до ниток ковра». Это было время, когда в Англии свирепствовала эпидемия холеры и счет погибших за неделю доходил до 2000

человек. Многие ломали голову над тем, откуда берется эта «бродильная», то есть распространявшаяся путем брожения, лихорадка. И только врачу Джону Сноу удалось выяснить, что рассадником холеры служил зараженный водопровод в Сохо.

В конце июня 1850 года лошадь сэра Роберта Пиля поскользнулась на дороге на Конститью-шен-хилл. Какое-то время Пиль еще держался, но травмы оказались слишком серьезными. Его смерть нанесла серьезный удар политической жизни страны, хотя Пиль уже давно отошел от партийной политики. Он согласился спасти кабинет от протекционистов, но дальше этого его амбиции не простирались. Принц Альберт искренне восхищался им и старался управлять королевской администрацией в таком же эффективном и современном духе.

Смерть Пиля подняла насущный вопрос. Кто имел право и у кого хватило бы силы духа заменить его, возглавив сторонников свободной торговли? Гладстон, при жизни Пиля остававшийся преданным пилитом, заметил, что он «обладал таким авторитетом, которого не имел никто другой». Он многозначительно добавил, что «моральная атмосфера в палате общин с

момента его смерти сильно изменилась и стала совершенно иной». Пиль привносил собой строгость и интеллектуальную уравновешенность, которые никому не удавалось ни превзойти, ни хотя бы воспроизвести.

Трагический случай с Пилем произошел за три дня до того, как один из самых грозных английских государственных деятелей насладился едва ли не самым крупным своим триумфом в так называемом деле дона Пасифико. Пасифико был еврейским дельцом, родившимся на Гибралтаре (и, следовательно, британским подданным), и его дом в Афинах разграбила и подожгла антисемитски настроенная толпа. Другой министр мог бы остудить головы конференциями и компромиссами. Виконт Палмерстон после нескольких месяцев бесплодных переговоров приказал британским канонерским судам начать блокаду и захватывать греческие корабли до тех пор, пока пострадавшему не будет выплачена компенсация. Такого развития событий никто не ожидал. Королева пришла в ярость: с ней не обсуждали этот вопрос и даже не предупредили об этом. Страну поставили в рискованное положение из-за одного человека. Министр иностранных дел должен уйти в отставку. Принц Альберт быстрее

разобрался в подоплеке событий. Весной 1850 года он писал Расселу: «Смелость и ловкость Палмерстона нравятся публике и развлекают ее. Даже если его дела плохи, он может представить их совсем в ином свете, приукрасив в свою пользу».

Палмерстон отреагировал с большим хладнокровием: он пока еще не собирался в отставку. Он не питал особенного уважения к королеве и никогда не стремился выслужиться перед ней. Он выступил в палате общин с речью в свою защиту и говорил пять часов подряд, разъясняя, что долг британского правительства — «обеспечить защиту наших подданных за границей… чтобы каждый из них мог, подобно древнему римлянину, избегнуть унижения, сказав: *Civis Romanus sum*». Это эффектное заключение произвело нужное впечатление на обе палаты, обескураженные растущими размерами Британской империи. Он выиграл диспут с перевесом в 46 голосов.

К концу 1851 года президент Второй Французской республики Луи Наполеон Бонапарт взял в свои руки государственный аппарат и бросил в тюрьму множество своих противников, после чего без помех учредил во Франции Вторую империю, возглавив ее под именем Наполеона III.

Английская королевская чета и правительство решили, что им лучше никак не реагировать на эти события, но не таков был Палмерстон. Он ясно дал понять, что одобряет действия Луи Наполеона и считает их единственно возможным решением сложившейся во Франции ситуации. Для королевской четы это стало последней каплей. Дело усугубилось тем, что Палмерстон фактически поздравил Луи Наполеона с успехом, не посоветовавшись предварительно с ними. Это был Пилгерштейн, или «лорд Наждачный Камень», как презрительно называл его Альберт, в худшем своем проявлении. Первый министр лорд Джон Рассел понял, что отступать некуда — ему придется найти нового министра иностранных дел или обойтись вообще без министра иностранных дел, — и приказал Палмерстону уйти в отставку.

Он недооценил этого человека. Палмерстон не собирался тихо уходить со сцены. Вместе со своими союзниками он перешел на другую сторону и присоединился к консерваторам под командованием лорда Дерби, до сих пор больше известного своей страстной любовью к скачкам. «Палмерстон ушел! — восклицал Чарльз Гревилл в своем дневнике от 23 декабря 1851 года. — Действительно, решительно и бесповоротно ушел.

Узнав об этом вчера днем, я чуть не упал со стула...» Его преемником выбрали лорда Гренвилла, и королева поручила ему составить с помощью лорда Рассела свод общих правил поведения.

Внезапная смерть Пиля привела многих в замешательство. Сможет ли X. взять на себя руководство пилитами, останется ли за бортом Y.? Удастся ли M. обставить всех и перейти в палату лордов? И если да, что предпримет N.? «В кабинете министров и вообще в политической жизни наступила неразбериха, — писали в Punch. — Все бесконечно спрашивают друг у друга, что происходит, надеясь, что кому-нибудь известен ответ на этот вопрос». После того как Палмерстона отстранили по настоятельному требованию королевской четы, он пообещал, что при первой возможности отплатит «Джонни» Расселу той же монетой. В феврале 1852 года Рассел представил Билль об ополчении, и, когда Палмерстон успешно провел к нему поправку, Рассел подал в отставку. То была месть Палмерстона. В итоге ненадежную позицию первого министра в шатком консервативном кабинете, разделенном на пилитов и протекционистов, благополучно занял лорд Дерби.

Между тем назрел очередной кризис. Осенью

1850 года, вернувшись в Ватикан при помощи французских союзников, папа издал бреве о «восстановлении и расширении католической веры в Англии». Англия и Уэльс делились на двенадцать епархий, а во главе лондонской процессии встал Генри Эдуард Мэннинг, будущий архиепископ, а затем кардинал. В ответ поднялась огромная волна негодования. Королева посчитала это оскорбительным выпадом против своей власти, а премьер-министр лорд Джон Рассел списал действия Мэннинга на излишнее рвение новообращенного.

В письме к епископу Дарема Рассел осудил вмешательство папы как «дерзкое и вероломное». Рассел прекрасно знал, что королева считает его во всех смыслах незначительным человеком, и ему нужен был какой-то крупный повод, чтобы подняться выше. Теперь он нашел этот повод и не собирался его упускать. В своей речи на открытии парламента в 1851 году королева объявила, что готова «решительно оберегать свою власть и независимость нации от любых посягательств, с какой бы стороны они ни исходили». Все взоры обратились на папские апартаменты в Ватикане. Затем Рассел выступил с предложением запретить католическим священникам и прелатам

претендовать на какие-либо территориальные титулы и обязать их вернуть подарки, полученные от мирян.

Это, как и планировал Рассел, пришлось по вкусу людям, особенно электорату. В действительности небольшая буря в крестильной купели не принесла никаких серьезных изменений. Впрочем, клич «Нет папистам!» снова объединил англичан, богатых и бедных, религиозных и сохраняющих нейтралитет. Уличные торговцы и подметальщики знали наизусть все протестантские куплеты. Было ясно, что в Ночь Гая Фокса чучело папы будет гореть на костре в числе первых.

Послание папы усилило беспокойство в рядах англикан. Сторонникам старых традиций не нравились успехи ритуалистов в англиканской церкви: их пышные одеяния и кадильницы принадлежали Ваалу. Лорд Шефтсбери заметил, что он «предпочел бы славить Господа вместе с Лидией на берегу реки, чем с сотней облаченных в стихари священников в храме Святого Варнавы». Недавно построенная церковь Святого Варнавы в Пимлико была настоящей сокровищницей католических ритуальных принадлежностей. Там были прекрасные ткани, драгоценности и даже

резная деревянная перегородка искусной работы, отделявшая священников от прихожан, — все то, что нонконформисты осуждали как происки Сатаны. Неудивительно, что вмешательство папы вызвало столь резкий протест. «Какое удивительное брожение, — писал лорд Шефтсбери. — Оно ни на йоту не ослабевает, митинг за митингом проходят в каждом городе, во всех уголках страны… Это похоже на бурю, захлестнувшую весь народ… Все разногласия на время как будто отступили перед порывом единого чувства». Проницательный и наблюдательный Бенджамин Дизраэли писал лорду Лондондерри: «Что вы думаете о кардинале Уайзмене? Даже крестьяне считают, что их собираются сжечь заживо и доставить в Смитфилд[11] вместо их свиней».

Католицизм в Англии ассоциировался прежде всего с разнообразными ирландскими неприятностями, что только усиливало антипапские настроения. «Раньше во время ирландских восстаний, — писал один из политических союзников Гладстона, сэр Уильям Харкорт, — ирландцы жили в Ирландии. Теперь ирландская нация присутствует и в Соединенных Штатах, столь же

[11] Примечания: 11

Смитфилдские поля были и местом проведения казней еще с тюдоровского времени, и местом рынков скота. — *Прим. ред.*

враждебная к нам, но имеющая намного больше денег, абсолютно недосягаемая для нас, однако отделенная от наших берегов всего десятью днями пути». Также считалось, что в Англии ирландские переселенцы представляют угрозу для своих соседей. Юморист из журнала Punch обнаружил «недостающее звено» между гориллами из джунглей и «неграми» в лице «ирландских яху» из самых бедных районов Лондона. В Birmingham Star писали о братстве фениев: «Множество бесноватых из самых низких социальных классов тайно собираются в укромных местах для подготовки. Их девиз и цель, разумеется, “Смерть саксонцам!”, — но что они будут делать после этого убийства, ни они, ни кто-либо другой не имеют ни малейшего представления». Все это было одним из самых сильных поводов для беспокойства в Англии XIX века. Тревоги подпитывала статистика, на первый взгляд свидетельствующая о связях ирландцев с преступностью. Тот факт, что с 1841 по 1861 год численность ирландского населения в Англии выросла примерно на 30 000 человек, также усиливал враждебность. Людям не слишком нужна была статистика, они полагались на собственные наблюдения. Больше всего пострадали Южный Ланкашир и Лондон.

Однако во второй половине века ксенофобия обратилась уже против евреев из Ист-Энда. Врага можно было найти всегда.

Закон о церковных титулах, как называлась мера Рассела, был принят подавляющим большинством голосов. Через 20 лет его отменили, поскольку за все это время он не принес никаких изменений. В 1851 году Уильям Юарт Гладстон во время парламентских каникул отправился в Рим, но не для того, чтобы поцеловать кольцо рыбака. Он приехал, чтобы изучить неспокойную политику региона. По словам его первого биографа Джона Морли, именно тогда он окунулся «в могучий поток европейского виггизма, которому суждено было вознести его так высоко».

Отправившись в Неаполь якобы ради увеселительной поездки, он воспользовался возможностью посетить местные тюрьмы и взглянуть на заключенных. Увиденное потрясло его: повсеместные грязь и нищета, «больные узники с печатью смерти на лицах». Он поклялся привлечь внимание британской прессы к царящей в Неаполе беспощадной несправедливости, чтобы смягчить ее или даже положить ей конец. Это стало первым публичным проявлением тех нравственных качеств, которые никогда его не

покидали: страстной целеустремленности и неукротимой тяги к улучшениям.

Итак, Палмерстон успешно отплатил Расселу той же монетой, а несколько озадаченным победителем в этой схватке стал консерватор граф Дерби. Дизраэли называл Палмерстона «самозванцем, и совершенно выдохшимся — как имбирное пиво вместо шампанского» и добавлял, что теперь тот стал «просто размалеванным старым паяцем, панталоне». Но как известно, Панталоне может превратиться в Арлекина, а мстительного Арлекина следует избегать, поэтому Рассел впал в немилость.

14
Великолепнейшее зрелище

К этому времени вниманием общественности завладел Хрустальный дворец в Гайд-парке. Ничего подобного этому прозрачному сооружению, заполненному всевозможными механическими и электрическими чудесами, люди еще не видели. Некоторые всерьез считали его восьмым чудом света, а сам Лондон — более великим городом, чем Афины или Рим.

В первый день мая 1851 года около полумиллиона человек собрались в Гайд-парке, чтобы своими глазами увидеть, как королева торжественно открывает Всемирную выставку. В своем дневнике она написала: «Вид трансепта за железными воротами, колышущиеся пальмы, цветы и статуи, огромное множество людей, заполнивших галереи и сиденья вокруг, и звуки труб в честь нашего прибытия вызвали у нас ощущения, которые я никогда не смогу забыть. Я была очень тронута». Ее муж принимал участие в финансировании и организации строительства грандиозного дворца, возможно, с мыслью объединить монархию

и народ в прославлении могущества и изобретательности Англии.

По сообщениям, на выставку прибыло 100 000 экспонатов и чудес со всего мира. Экспозицию поделили на четыре крупные секции: в первой были представлены сырье и полезные ископаемые, во второй — промышленное оборудование и механические изобретения, в третьей — мануфактурные изделия, в четвертой — скульптура и пластические искусства. Более 2000 человек работали над изготовлением 2000 чугунных балок, 3000 колонн и стеклянных панелей общей площадью 900 000 квадратных футов (ок. 83 600 м^2). На сооружение огромного сверкающего здания ушло 4000 тонн железа и 400 тонн стекла. Его длина составляла 1851 фут (564 м) с востока на запад, ширина — 408 футов с севера на юг, а высота потолков — 128 футов (38 м). Архитектуру павильона описывали теми же словами (свод и трансепт, неф и проход), что и великие соборы, ближайшим родственником которых, очевидно, была эта постройка. Около 300 000 стеклянных панелей отражали блеск струй хрустального фонтана высотой около 27 футов (ок. 124 м). Павильон возвели на вершине пологого склона, и от западного входа открывался вид сразу на весь

интерьер.

Выставка привлекла 6 млн посетителей и задала характерный для Викторианской эпохи тон изобилия и экстравагантности. 25 000 сезонных абонементов были проданы еще до открытия. Средняя плата за вход вначале составляла 5 шиллингов, но затем для менее состоятельных организовали «шиллинговые дни». На выставке были представлены локомотивы, микроскопы, воздушные насосы и фотоаппараты. В первую очередь посетителей поражал вид раскидистых старых вязов, тянущихся к небу посреди огромного стеклянного здания. В середине XIX века не существовало четкой границы между мифологией и материальным прогрессом. Прикладная наука возникла совсем недавно и еще не имела собственной категории — ее считали сестрой искусства. Процесс вулканизации получил название в честь бога огня Вулкана. Новые производственные технологии сами по себе служили предметом изумления. Героем того времени был чугун, но для самых продвинутых на выставке были также представлены гофрированная сталь и цинк.

Цвета поражали воображение: вертикали выкрашены в синий, белый и желтый, изогнутые

балки — в синий, белый и красный, перекладины крыши — в белый и желтый. Это был абсолютно современный дизайн — интерьеры Хрустального дворца резко контрастируют с обычными тусклыми и невыразительными интерьерами Викторианской эпохи. Может даже показаться, что это фотографии не выставки, а базара или универмага: так могло бы выглядеть новое детище Фортнума и Мэйсона. Другим посетителям павильон напоминал огромный железнодорожный вокзал, тем более что там действительно выставлялись новые локомотивы. Здесь можно было почувствовать первые веяния массового рынка, который начнет активно развиваться в следующем столетии.

Завладевшее посетителями радостное возбуждение вытеснило апокалиптические брожения 1790-х годов, сельские волнения 1830-х годов и политические споры 1840-х годов. Голод в Ирландии и недавние собрания чартистов забылись. Казалось, в столице на какое-то время воцарилась атмосфера полного покоя и безопасности. Целые приходы во главе со священниками приезжали в Лондон, полковники приходили на выставку со своими солдатами, а адмиралы — со своими матросами, школы в массовом порядке приводили

учеников, а фабриканты — своих работников. В журнале Illustrated London News напечатали карикатуру «Деревенский люд посещает выставку», однако в ней не было ничего сардонического или циничного: она показывала молодых и старых, в изумлении блуждающих по выставке. Среднестатистический житель Лондона очень мало знал о промышленных и технологических достижениях, обычно скрывавшихся в мастерских вдали от взглядов публики, — Всемирная выставка оказалась для многих как минимум огромным сюрпризом.

Один из составителей «Энциклопедии полезных искусств» (Cyclopaedia of Useful Arts) писал:

> Состояние столицы во время Всемирной выставки будут вспоминать с удивлением и восхищением. Вместо беспорядка, столпотворения, безобразных выходок и даже настоящей революции, которую предрекали одни мрачные умы, вместо голода и эпидемии, о которых уверенно заявляли другие, Лондон показал изумительную способность к порядку… Все происходящее напоминало скорее гигантский пикник.

В каком-то смысле это была выставка не только достижений науки и промышленности, но и изначально присущего британскому народу миролюбия. Это действительно изумляет: 6 млн человек — и ни малейшего намека на насилие. В сознании викторианцев толпа означала агрессию и уличные беспорядки, но вид нетронутого Гайд-парка развеял привычно возникшую из ниоткуда панику. Оказалось, что «народ» в массе совершенно неопасен. Солдаты и полицейские были готовы вмешаться по первому сигналу, но этого не понадобилось. Пожалуй, именно это запомнилось многим больше всего. Кроме того, выставка создавала своеобразный фон для выставленных в числе экспонатов стеклянных пчелиных ульев, разглядывая которые можно было поразмышлять о дисциплине и совместной работе масс.

Возможно, дело было в том, что вид Хрустального дворца действительно потряс огромные толпы людей. Ничего подобного они раньше не могли себе даже представить. Перед ними, словно далекое видение на вершине горы, встали образы будущего, образы прогресса, проникнутые неистребимым оптимизмом, характерным для многих начинаний того времени. Лучше всего

это ощущение выразил Чарльз Кингсли в романе «Дрожжи» (Yeast), опубликованном одним томом в год открытия выставки:

> Оглянитесь вокруг, посмотрите, чем живет сейчас ваша страна, ваше поколение. Какое стремление, какое ожидание влечет вас прочь от бесконечной лжи и заблуждений? Мечта о благородном, рыцарственном, божественном государстве! Даже простой уличный торговец верит в то, что скоро наступят хорошие времена, и сердца уличных мальчишек и миллениариев откликаются: «Верно!»

Вместе с тем стеклянный павильон работал как гигантский классификатор продукции земных недр и отдельных стран. Производитель париков жаловался, что его товар перенесли из отдела «Искусство» в категорию «Растительные и животные субстанции, употребляемые в мануфактурном производстве и отделке». Чем был парик: произведением искусства или средством отделки? Вопрос так и остался нерешенным. Группы и подгруппы разрастались, как вязы под стеклянной крышей выставочного зала, невероятные сочетания наглядно демонстрировали

размах и разносторонность всего предприятия. На улице перед выставочным павильоном разместили глыбу угля весом 24 тонны как символ материального богатства Англии, а рядом с ней — огромную конную статую Ричарда I как символ величия нации. Мраморная копия античной статуи умирающего гладиатора соседствовала с паровым молотом Нэсмита, перочинный нож — с графическим телескопом. Посетители поражались триумфальным достижениям британской техники, от сигаретного автомата, производившего 80 сигарет в минуту, до копировального телеграфа, воспроизводившего факсимильные копии документов на другом конце линии, и «бесшумной кровати-будильника», которая в запланированный момент опрокидывала спящего на пол. Также на выставке можно было полюбоваться шелками и лентами, гобеленами и коврами, декоративными тарелками и резной мебелью искусной работы, посудой из фаянса и тонкого фарфора. Кроме поклонников нашлись и критики. В статье в Papers for the People отмечалось, что на выставке царит «фальшивая античность», «имитация лепнины и каменной резьбы, бутафорские колонны». Эту болезнь XIX века видели и осуждали Карлейль, Рёскин и

другие деятели, признававшие, что их эпоха, имея вкус к великим произведениям, не имеет способности их создавать. Несмотря на все механические и технологические достижения, возникало ощущение, будто чего-то не хватает, чего-то недостает и этот пробел не может заполнить ни паровой молот, ни электрический телеграф.

Разумеется, выставку критиковали и те, кто просто ненавидел любые новшества. Некоторые говорили, что выставочный павильон обрушится под собственной тяжестью, а если нет, то после сильной грозы от него наверняка останутся одни осколки. Что, если люди изжарятся заживо в этой гигантской оранжерее? Другие утверждали, что это просто реклама свободной торговли — гигантская попытка обдурить публику. Третьи опасались, что выставка будет иметь губительные последствия для одного из крупнейших лондонских парков, — возможно, в нем больше никогда не вырастет трава. И потом, если такие толпы людей соберутся в одном месте, разве дело не кончится эпидемией? Но главным поводом для недовольства была откровенная вульгарность экспозиции, шокировавшая некоторых современников. Эта критика особенно громко

зазвучала в начале XX века, когда викторианство сочли окончательно устаревшим. Литтон Стрейчи запечатлел эти настроения в своей книге «Выдающиеся викторианцы» (Eminent Victorians; 1918).

Однако семена разочарования были посеяны задолго до открытия выставки. Как писал Филип Джеймс Бейли в «Фестусе» (Festus; 1839):

> Английской нации недостает вкуса,
> Верного суждения о гармонии пропорций.
> Мы всегда рискуем либо переусердствовать, либо недоделать, либо испортить[12].

Уильям Моррис, посетив выставку, заметил, что представленные на ней предметы «на удивление уродливы». Других наблюдателей также совершенно не впечатлил английский вклад в общую феерию: в частности, было решено, что в производстве промышленных товаров Британию решительно опережают французы и американцы. Французы имели больше вкуса и

---

[12] Примечания: 12

What England as a nation wants, is taste; / The judgement that's in due proportion placed; / We overdo, we underdo, we waste…

утонченности, а американцы — больше энергии и размаха.

Среди посетителей было много рабочих с семьями, — возможно, выставка примирила многих из них с производственной культурой, которую раньше недолюбливали из-за потери рабочих мест. К прогуливающейся в Гайд-парке толпе присоединилась Шарлотта Бронте. «Ее величие, — писала она о выставке, — состоит не в чем-то одном, а в уникальном сочетании всех вещей. Вы найдете здесь все, что создано человеческим трудолюбием… Казалось, только магии под силу собрать эту массу богатств со всех концов Земли». И снова викторианцы интуитивно обращались к языку магии и волшебства. Он отражал их чувства, но также их восприимчивость ко всему новому. «Я вошел внутрь, — писал Маколей, — и моим глазам предстало великолепнейшее зрелище, затмевающее любые фантазии из арабских сказок. Даже Цезари вряд ли устраивали когда-нибудь более роскошные представления».

Сами по себе размеры коллекции поражали посетителей. Отдельные экспонаты, пожалуй, могли показаться не слишком утонченными и возвышенными, но одним из величайших дви-

гателей Викторианской эпохи были инновации. Среди любимых экспонатов королевы Виктории была машина для изготовления конвертов, которая могла складывать и склеивать шестьдесят конвертов в минуту. Возможно, это приспособление привлекало ее именно тем, что казалось своего рода одомашненным представителем неуклонно наступающей эпохи машин. Так или иначе, Всемирная выставка давала возможность украдкой заглянуть в душу викторианской Англии. Мечты о хитроумных механических приспособлениях и уникальном опыте побуждали людей смелее исследовать просторы своего воображения. Выставка породила настоящую одержимость новыми изобретениями. В зале, построенном на восточной стороне Лестер-сквер, демонстрировали водолазный аппарат, вакуумную флягу, аппарат для имитации северного сияния, аппарат для приготовления пищи на газу, патентованную швейно-вышивальную машинку и машину для производства бумажных гирлянд.

Проведенная в 1851 году всеобщая перепись населения подтвердила предположения о росте среднего класса. Круг клерков, лавочников и деловых людей расширялся. Росло число жестянщиков, маляров и стекольщиков, а также

краснодеревщиков, обойщиков и работников типографий. За 20 лет почти втрое выросло количество «железнодорожной обслуги», равно как и пудлинговщиков, кузнецов и литейщиков в металлургическом производстве. Казалось, этому расширению не будет конца. Кроме того, то был первый год, когда большую часть английского населения составляли городские жители. Если Всемирная выставка смогла развеять какие-то внутренние страхи общества, возможно, на тот момент это было вполне достаточное достижение.

15
Жажда крови

За поражением лорда Джона Рассела от рук Палмерстона в феврале 1842 года последовала еще одна из бесконечной череды попыток сформировать правительство. По-видимому, ни один кандидат не мог собрать коалицию, которая просуществовала бы дольше одного дня. Лорд Дерби, тори, унаследовавший титул от отца, был рекомендован королеве как наименее безнадежный вариант. Он с воодушевлением принял пост, но необходимость собрать толковый кабинет поставила его в тупик. Он признался королеве, что подумывает пригласить Палмерстона, но она ответила: «Если вы сделаете это, он не успокоится, пока не обретет над вами власть». Этот откровенный совет мог бы пригодиться многим ее министрам.

Рассказывают, что, внимательно изучив список вероятных кандидатов, Дерби сказал: «Нет, это не те имена, которые я могу представить королеве». Он так далеко отошел от старого консервативного правления, что не пригласил ни

одного человека из бывшего кабинета Пиля. В конце концов, после очередной короткой заминки в оппозиции, ему удалось провернуть дело. Когда список зачитывали в парламенте, герцог Веллингтон, к этому времени почти оглохший, громким шепотом переспрашивал после каждого имени: «Кто? Кто?» Этот кабинет так и вошел в историю под названием «Правительство кто? кто?». Пожалуй, больше всего оно прославилось тем, что должность канцлера казначейства в нем занимал Бенджамин Дизраэли. Когда Дизраэли признался, что не имеет опыта в управлении финансами, ему посоветовали не волноваться: «Вам дадут все цифры».

Дерби в общих чертах обрисовал свою программу, совершенно непохожую на программу Палмерстона (главным образом тем, что он «не позволял себе бранных и невоздержанных выражений»). Его цели были совершенно ясны. Наступали крайне нестабильные времена, и Дерби был готов решительно защищать существующий государственный уклад от набирающей силу радикальной угрозы мира. В Quarterly Review писали: «Мы смиренно, но весьма искренне желаем новому правительству предотвратить демократическую и социали-

стическую революцию». Герцог Веллингтон признавался ирландскому политику Крокеру: «Для нас, стоящих так близко к концу своего общественного пути, утешением может служить лишь то, что нам не придется своими глазами увидеть, как окончательно разрушится все, что сейчас пошло трещинами». Любопытно, что даже самые опытные наблюдатели воспринимали политику сквозь призму собственных страхов и иллюзий. Но нельзя отрицать: в обществе, где существовала глубокая пропасть между ослепительным богатством и ужасающей бедностью, с одной стороны, неизбежно присутствовали негодование и гнев, а с другой — страх и трепет. Тори Роберт Сесил (позже ставший лордом Солсбери) писал: «Борьба между английской конституцией и демократическими силами, которые пытаются ее ниспровергнуть, в действительности, если разложить ее на простейшие элементы и выразить в наиболее прозаической форме, есть борьба между теми, кто имеет и старается сохранить свое имущество, и теми, кто не имеет, но стремится приобрести».

Одна публикация того времени если не разожгла пожар, то, во всяком случае, подлила масла в огонь. Книга Генри Мэйхью «Лондонские трудя-

щиеся и бедняки» (London Labour and the London Poor), опубликованная одним томом в 1851 году, беспощадно вскрывала горести городской жизни, ее страдания, тяготы и болезни. Множество детей умирало в пагубной атмосфере убогих жилищ. Жертвы лондонской грязи и зловония знали, что смерть неизбежна и неотвратима. В своей книге Мэйхью рассказывал ужасные истории городской бедноты: «Когда я вернулся в ночлежный дом, мне сказали, что она умерла. У меня в кармане было шесть пенсов, но я не мог удержаться от слез при мысли, что потерял мать. Я все еще плачу о ней. Я не стал дожидаться, когда ее похоронят, и сам приступил к делу. С тех пор и до этого дня я попрошайничал. Я очень ослаб и умираю от голода. Я бы сделал все, чтобы избавиться от этих страданий». Это было намного страшнее всего, что только написал Диккенс. В стране существовало своего рода государство внутри государства, сообщество людей, не имевших никакой связи с внешним миром, с историческими событиями и историческими фигурами своего времени. Они не принадлежали ни к одной религии, не имели никакого представления о своей стране и ее правителях и, в сущности, ровно ничего не знали о самих себе. Они — наши предки, неиз-

вестные люди, которые жили и умирали в мире, не приносившем им ничего, кроме страданий и болезней. Очередная смертоносная вспышка холеры привела Чарльза Диккенса в ярость — в своем журнале Household Words он заявлял: некомпетентность властей означает, что «они виновны перед БОГОМ в массовом убийстве». Еще одна такая вспышка, «и вы увидите в этой стране такие потрясения, каких не бывало на Земле с тех пор, как Самсон обрушил храм на свою голову». В этих словах хорошо виден весь его гнев, сострадание и невозможность добиться хоть каких-то действий правительства.

Продовольственные бунты то и дело возникали в начале 1850-х годов, в основном в юго-западных графствах, где пока не появилось удовлетворительного железнодорожного сообщения. Кроме того, имелось много других поводов для недовольства. Фабричные рабочие объединялись с шахтерами для борьбы против работодателей, но их главной проблемой, пожалуй, было недостаточное представительство в палате общин. О парламентской реформе снова заговорили, как только стало ясно, что меры 1832 года уже не удовлетворяют требования нового электората. Ситуацию обострили принесенные «годом ре-

волюций» реформы на континенте. Во Второй Французской империи Наполеон III установил общее избирательное право для всех мужчин страны, но это вряд ли был тот пример, которому захотели бы последовать вельможи из Вестминстера.

В парламенте тоже было неспокойно. Ни один кабинет за пятнадцать лет с 1852 по 1867 год не распался по причине всенародного голосования — все они споткнулись о камни внутренних разногласий и противоречий. Внутреннее давление оказалось куда более разлагающим, чем давление извне. Новый парламент собрался 4 ноября 1852 года, но потребовалось еще две недели, чтобы подготовить погребальный экипаж для Веллингтона и организовать траурные торжества. Он умер в сентябре, но многие считали, что старика необходимо предать земле с подобающими парламентскими почестями.

Многие были уверены, что новая администрация продержится недолго, и Дерби решил покончить с этой неопределенностью при помощи летних выборов. Герцог Аргайл писал:

> 1852 год был крайне важен для парламентских партий, но при этом совершен-

но лишен тех благородных интересов, которые им следовало бы питать. С того момента, как стало ясно, что опасность миновала и протекционизм решительно ушел в прошлое, ничто, кроме личной неприязни и привычного давнего антагонизма, не мешало всем сторонникам свободной торговли объединиться и сформировать новое сильное правительство. Целый год был потрачен на бесконечные беседы и переписки в попытке осуществить это начинание.

Выборы того лета снова не принесли определенных результатов: виги получили больше голосов, а консерваторы — больше мест, но все в целом были согласны продолжать политику, начатую при Дерби. В одном из своих предвыборных выступлений Палмерстон обратил внимание на любопытный факт: во Франции трактирщик, желая привлечь больше постояльцев, назвал бы свое заведение «Новая белая лошадь» или «У нового золотого креста», тогда как в Англии оно, несомненно, называлось бы «Старая белая лошадь» или «У старого золотого креста». Это проницательное наблюдение достаточно рас-

крывает английский характер. Принято считать, что Дерби был просто символической фигурой, но в то время никому так не казалось. Виктория как-то сказала бельгийской королеве: «Лучше всего я знакома, пожалуй, только с лордом Дерби, но ведь, в сущности, он и есть правительство. Без него никакие дела не делаются». Его коллеги не вызывали у нее такой уверенности. Королю Леопольду она сказала, что у Дерби «довольно слабый кабинет»: «Но я считаю, им совершенно необходимо пройти это испытание до конца».

Дизраэли как канцлеру казначейства в правительстве Дерби предстояло снять с шеи тори ярмо протекционизма. Он сделал это осторожно и продуманно, выдвинув ряд предложений по снижению земельного налога, чтобы примирить сельскохозяйственные интересы со свободной торговлей. Ему приходилось увещевать, объяснять и доказывать: по словам леди Дороти Невилл, его усилия были сродни попыткам «втащить на гору омнибус, полный деревенских джентльменов». Его финансовая политика, заключавшаяся в сохранении низких налогов и низких государственных расходов, в сущности, не слишком отличалась от политики его главного оппонента из Либеральной партии Уильяма

Юарта Гладстона, но он планировал достигнуть поставленных целей иными способами. Гладстон был моральным лидером с твердыми принципами и сильным умом. Налоговые меры Дизраэли опирались скорее на политический расчет. Принципиальность Гладстона связывала воедино финансовые, иностранные и военные вопросы в рамках единого политического курса. Меры Дизраэли, в которых тут и там встречались какие-то причудливые элементы, не добавляли ничего существенного. Когда-то они принадлежали к одной партии, хотя Пиль явно предпочитал Гладстона.

Назначение Дизраэли канцлером казначейства для многих стало полной неожиданностью. В Edinburgh Review отметили: «[Это было] одно из самых поразительных событий во внутренней политике нашего времени. Люди без устали говорили и размышляли об этом. Он сверкал на политическом небосклоне, как звезда первой величины». Дизраэли всегда стремился оправдать ожидания и в декабре 1852 года приготовился произвести сильное впечатление на английский народ своим проектом бюджета.

«Да, я знаю, с чем мне придется столкнуться, — сказал он палате общин. — Мне придется

столкнуться с коалицией». Он имел в виду пилитов, сторонников свободной торговли, и разнообразных ирландских депутатов. Дизраэли говорил несколько часов, разъясняя и отстаивая свои меры, но все его усилия пошли прахом, когда против него выступил Гладстон, назвавший его проект легкомысленным и авантюрным. Дуэль двух государственных мужей разыгрывалась на фоне грозы, вспышек молний и раскатов грома, заглушавших одобрительный шум и возгласы, раздававшиеся с обеих сторон парламента. Дизраэли планировал с помощью своего бюджета привести в равновесие национальную казну после того, как инокуляция свободной торговлей едва не погрузила ее в своего рода нервный коллапс, и в то же время он хотел оптимизировать систему налогообложения. Например, сельское хозяйство планировалось вознаградить 50-процентным снижением налога на солод. Когда Дизраэли сел на свое место, Гладстон, вопреки всем прецедентам, вскочил на ноги. «Моя главная цель, — писал он позднее своей жене, — состояла в том, чтобы показать Консервативной партии, как их лидер обманывает и сбивает их с толку, и я имею счастье полагать, что мне удалось этого добиться». Как отмечал корреспондент газеты

The Times, речь Гладстона «от начала до конца была исполнена неподдельной искренности и поднималась к самым вершинам высоких чувств, от праведного негодования до решительного протеста». Таков был стиль Гладстона, практически не изменившийся за двадцать пять лет. Один из его коллег называл это «снаружи Оксфорд, внутри Ливерпуль».

Сын Дерби, Стэнли, писал: «Взгляд Гладстона, поднявшегося с места, чтобы ответить, я не забуду никогда в жизни. Его обычно спокойное лицо побагровело и исказилось от ярости, голос дрожал, и те, кто наблюдал за ним, опасались, что он устроит какую-нибудь выходку, несовместимую с парламентскими правилами. Такой сильной сцены я не видел еще никогда». Бюджет Дизраэли отклонили девятнадцатью голосами, и вместе с ним потерпел поражение Дерби. Принято считать, что именно Гладстон нанес решающий удар, но на самом деле бюджет Дизраэли действительно имел глубокие изъяны. «Теперь нас совершенно раздавили, — сказал Дерби. — И я должен приготовиться к поездке в Осборн, чтобы подать в отставку».

В других обстоятельствах его сменил бы Рассел и либеральное правительство, но после устро-

енной Палмерстоном «расплаты» они вряд ли пользовались доверием страны и к тому же не доверяли друг другу. Королеве пришлось обратиться к бывшим сторонникам Пиля, которые, держась в стороне от обеих партий, успели приобрести репутацию толковых государственных деятелей. Кроме того, они оказались наиболее опытными членами палаты общин. Либералы превосходили партийной численностью, но среди бывших сторонников Пиля было намного больше талантов.

Одни соглашались служить при Расселе, другие — при Палмерстоне, поэтому выбор естественным образом пал на графа Абердина. Он был лидером пилитов и в течение пяти лет занимал пост министра иностранных дел в правительстве Пиля. И он понравился королеве. Ближе к концу года он принял полномочия, четко понимая, что ему нужно примирить либералов и пилитов. Его аудиенция с королевой длилась всего час — главным образом потому, что они уже успели достичь своеобразного соглашения. Абердин был готов создать кабинет, а затем отойти от дел. Это будет его прощальным подарком стране. В предложенный кабинет вошло непропорционально много пилитов, членов старой партии

Абердина, и в последнюю минуту потребовалось внести несколько корректировок. В The Times с воодушевлением писали: «Если опыт, талант, трудолюбие и добродетель — необходимые атрибуты для того, чтобы управлять империей», то этот политический эксперимент просто обязан был увенчаться успехом.

Рассела, неизменно горячо пекущегося о чести вигов, или либералов, назначили в Министерство иностранных дел, а Палмерстона — в Министерство внутренних дел (было совершенно ясно, что королева не допустит его возвращения во внешнюю политику). Палмерстон признавался своему шурину: «Последний год я, словно прославленный канатоходец, развлекал публику своими трюками и фокусами. До сих пор мне это неплохо удавалось. Но даже мадам Саки, ловко танцующая на веревке среди разноцветных ракет, вряд ли собирается остаться там навсегда, — окончив выступление, она благоразумно спускается вниз, чтобы избежать опасного падения». Примечательно, что он сравнивает себя со знаменитой цирковой артисткой. Первый совместный ужин нового кабинета состоялся 29 декабря 1852 года, — Палмерстон много шутил и улыбался.

Оставим мадам Саки в артистическом фойе и

вернемся к кабинету министров, который стал, пожалуй, самым талантливым и самым опытным собранием за все столетие. Все его члены выступали за умеренный прогресс и свободную торговлю. Присоединившийся к правительству Гладстон оказался одним из лучших канцлеров казначейства в XIX веке. В отличие от Дизраэли, он предпочитал ярким идеям твердую политику. Выбрав казначейство, Гладстон, если можно так сказать, вытянул пикового валета. Он знал, что его ждет тяжелое испытание, но не стремился от него уклониться. Он приобрел привычку к самобичеванию после разговоров с уличными женщинами, проститутками, которых стремился «спасти» от их призвания, и эта привычка обострилась именно в 1840-х и 1850-х годах. Разные биографы писали о его «эмоциональном расстройстве», «беспросветном отчаянии» и «душевных муках». Его переполняли подавленная энергия и подавленный гнев — но вряд ли все это можно угадать в образе величественного старика, который рисуют поздние источники.

Выдвинутый Гладстоном бюджет на 1853 год отличался главным образом тем, что сохранял подоходный налог, но снижал или отменял пошлины на все товары и продукты питания, от

мыла и страхования жизни до собак и чая. Гладстон говорил почти пять часов (это была самая длинная бюджетная речь за всю историю парламента) и в конце заявил:

> Таковы предложения правительства. Они могут быть одобрены или отклонены, но я, во всяком случае, имею полную и несомненную уверенность в том, что все могут безоговорочно признать: мы не пытались уклониться от трудностей нашего положения, мы не скрывали этих трудностей ни от самих себя, ни от других, мы не пытались решить их полумерами и ненадежными бесполезными действиями, и мы предложили план, который, будучи принят вами, поможет решить множество больных финансовых вопросов.

Он, как выразился один из его коллег, «совершил в своем восхождении к власти длинный летящий скачок». По словам графа Кларендона, «это был наиболее совершенный финансовый отчет, который когда-либо слышали в стенах парламента, и это одинаково признавали друзья и недруги». Примечательно, что Гладстон умел

заглянуть на год вперед, в отличие от своего предшественника, который знал об арифметике ровно столько, сколько требовалось, чтобы подсчитать доходы своего издателя.

Это было время умеренного процветания, подкрепленного бережным отношением Гладстона к идеалам свободной торговли. Британский экспорт никогда еще не рос быстрее, чем в семь лет после 1850 года. Экспорт хлопковых тканей за этот период увеличился вдвое. Экономический либерализм и рост свободной торговли создали беспрецедентный спрос и поддерживали становление, по сути, нового финансового мира. Генри Гайндман, марксист, сумевший совместить свои убеждения с викторианским капитализмом, сравнивал 1847–1857 годы с великой эпохой открытий Колумба и Кортеса. В этот же период у английских викторианцев (по крайней мере, у индустриальных рабочих) зародилась *la semaine anglaise* — традиция посвящать вторую половину субботы досугу. Работники фабрик и мануфактур проводили субботнее послеполуденное время в мюзик-холлах или на рынках, в пабах или в парках, делали покупки, занимались спортом, выпивали, флиртовали, общались. Многие посвящали свободное время спорту, особенно футболу:

в него играли и его смотрели в промышленных городах по всей стране. Субботний поход на футбольный матч стал одним из важнейших ритуалов мужского сближающего общения в Британии. «Сейчас все говорят, — прокомментировал один инженер из рабочего класса, — что суббота — лучший день недели: работаешь меньше обычного, а потом наступает воскресенье». После фабричного звонка мужчины откладывали инструменты и собирались у дверей цехов, готовые «со всей серьезностью предаться удовольствиям».

Дизраэли говорил, что британский народ не любит коалиции — удивительная черта нации, превыше всего ставящей компромиссы. Кроме этого, многое могло бы объяснить еще одно емкое тогдашнее выражение — «воля течения». В 1853 году повсеместно распространилось ощущение, что события выходят из-под контроля и война между Россией и Турцией из-за распада Османской империи неизбежна. В такие моменты голоса пророков и предсказателей судьбы раздаются особенно громко. «Волей течения мы движемся к войне», — написал Абердин в июне 1853 года и всего через месяц повторил: «Нас безнадежно сносит в направлении войны». Слово «течение»

было у всех на устах. Но почему трезвомыслящие, рациональные люди чувствовали, словно их уносит неконтролируемый поток? «Хорошо, если бы страну удалось расшевелить, — сказал Дерби своему коллеге. — Однако мы впадаем в гибельную дремоту, за которой следует оцепенение и смерть». Может быть, тяготы жизни развивали в людях безучастность и фатализм, и даже самые опытные и старые государственные деятели предпочитали просто воздеть руки и затеряться в водовороте событий.

Абердин был создан для мирных искусств, но судьба распорядилась иначе. Это был закрытый во многих отношениях человек, надломленный ранней смертью родителей и позднее первой жены. Возможно, именно поэтому он не стремился блистать на авансцене мира. «Вы ищете впечатлений и развлечений в мирских волнениях и зрелищах, — писал он своей знаменитой современнице княгине Ливен. — Я не могу в полной мере выразить вам, как велика моя неприязнь ко всему подобному… С меня достаточно света — я охотно соглашусь не иметь с ним никаких дел свыше того, что диктуют приличия». Через четырнадцать лет после того, как были написаны эти слова, он стал премьер-министром. Он

неловко держался и обладал трудным, скрытным характером. Дизраэли вынес ему самый суровый вердикт, написав: «Он держит себя заносчиво и в то же время неуверенно, говорит дерзко и одновременно не вполне ясно, его насмешки холодны, как снега Сибири, его сарказм сух и безжалостен, как Великая степь». Однако были и те, у кого он вызывал симпатию и восхищение. Гладстон называл его «единственным из всех общественным деятелем, которого я по-настоящему любил. Я говорю это совершенно серьезно. Я любил и других, но никого так, как его». Он провел в политике большую часть жизни, но ни разу не впал в циничное самолюбование или лицемерное самоуничижение. Он не был, говоря тогдашними словами, скользким типом. Он был сухим как кость. Пожалуй, невозможно изучать его внешнюю политику, не принимая в расчет его вечное стремление «выполнить свою работу» и «довести дело до конца».

Когда в конце 1852 года Луи Наполеон Бонапарт провозгласил Вторую Французскую империю и стал императором Наполеоном III, мир испустил стон отчаяния. Царь Николай I пришел в ярость, узнав, что этот выскочка посмел причислить себя к правящей династии, но первая молния уда-

рила на Святой земле. Эта почитаемая область, включающая Палестину и святыни Иерусалима, а также территории современного Израиля и Иордании, находилась под властью Османской империи. Новый французский император, традиционно ищущий славы, взял под свою защиту группу католических монахов и поместил серебряную звезду с гербом Франции в святилище Вифлеемской церкви. Кроме того, он захватил ключи от дверей церкви и от священных яслей Христовых. Для Николая I, называвшего себя защитником Восточной православной церкви, то была прямая угроза. Он направил ультиматум о необходимости поместить под его защиту православных монахов и прихожан.

Османская империя не могла допустить подобного безобразия на своей территории. Заручившись поддержкой Франции и Великобритании, правительство Блистательной Порты объявило войну России в октябре 1853 года. В действительности ясли Христовы имели к происходящему мало отношения. «Эта ссора, — писал Палмерстон, — куда уместнее выглядела бы в давно минувшие дни, чем в наше время». В каком-то смысле ее можно было интерпретировать как спор между православными и католическими

монахами о том, кто должен охранять Святые места. В этот сюжет отлично вписался бы Ричард I на своем скакуне, но трудно было представить в подобной воинственной позе Дизраэли или Гладстона. На самом деле русские и турки, по сути, воевали за саму территорию и населяющие ее 12 млн человек.

Одни полагали, что это будет короткая война, другие считали, что она может тянуться до бесконечности. В любом случае многие были уверены, что это будет великая война, которая изменит карту Европы. В Register писали, что исход этой борьбы «мог изменить судьбы всего цивилизованного мира».

В начале войны русские заняли два региона — Валахию и Молдавию, которые сейчас вместе с Трансильванией составляют Румынию. Абердин думал только о мире и компромиссе, но другие члены кабинета с ним не соглашались. В самом начале войны Абердин сказал Джону Брайту, что испытывает «огромное горе и чувствует, будто каждая пролитая капля крови падает ему на голову». Позднее его сын вспоминал, что он отказался перестраивать заброшенную церковь в своем имении, поручив это преемнику, поскольку в книге Паралипоменон (Ветхий Завет) говорит-

ся: «Ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим».

В феврале 1854 года более пяти дивизий пехоты и одна кавалерийская дивизия направились через Мальту в северную часть Крыма, рассчитывая решить дело за два-три коротких сражения. Разве Англия с ее железными дорогами, электрическим телеграфом и винтовым пароходом не была хозяйкой мира? Пожалуй, еще важнее было то, что англичане имели на вооружении дульнозарядные ружья Минье, названные по имени своего французского создателя.

Итак, народ радостно провожал солдат, марширующих к своим казармам, аплодисментами и песнями. Вскоре пение прекратилось. Через 8 дней после объявления войны лорд Джон Рассел отозвал предложение о дальнейшей законодательной разработке избирательной реформы в связи с более значимыми событиями и сразу после этого, как сообщают современники, «в припадке истерических рыданий» опустился на пол палаты общин. Это было не лучшее время для проявления слабости. Последовавшая война уничтожила мир, длившийся с 1815 года, и положила начало долгому периоду, в течение которого все

великие державы поочередно воевали друг с другом. С 1853 по 1880-е годы Англия участвовала в европейской войне один раз, Франция — трижды, Австрия — трижды, Россия — дважды, Германия (Пруссия) — трижды, Италия — дважды, Дания — один раз и Турция — дважды. Неудивительно, что Европу иногда сравнивали с военным лагерем. Периоды мира были непрочными и такими же опасными, как периоды войны. Обескураживало и то, что во многих случаях бывшие враги становились союзниками. Французы столетиями грызлись с англичанами, но теперь были вынуждены приветствовать их, словно новообретенных родственников.

В этот период Палмерстон не отвечал за внешнюю политику, однако он решительно выступал против России и утверждал, что Британия в случае необходимости должна заключить союз с Турцией. Выбор стоял между двумя одинаково несимпатичными деспотами, но английская публика (по крайней мере, та ее часть, которая читала газеты) разделяла страх Палмерстона перед русскими. Абердин еще продолжал держаться среднего курса, когда русские выдвинулись из своего порта в Севастополе в Крыму и потопили турецкий флот в Синопской бухте на Черном

море. Это окончательно определило направление британской и французской политики. Война против России могла дать французам шанс запоздало отомстить за судьбу Наполеона в 1812 году. Англичане руководствовались скорее инстинктом: то, что одна иностранная держава потопила на море флот другой иностранной державы, бросало вызов британскому морскому владычеству. 14 декабря Палмерстон покинул правительство, но через 10 дней вернулся в свой кабинет. Все это было очень загадочно, таинственно и, пожалуй, необъяснимо. Что им двигало: старая вражда против Рассела или несогласие с вялой военной политикой Абердина? Общественное мнение не любит вакуума. Именно в этом году впервые появился термин «прагматичная политика».

Вскоре распространился слух, что во внутренних кругах правительства существует пророссийский заговор. Кто же был, по выражению Morning Advertiser, «проводником русских желаний и пособником русских целей»? Подозрение вскоре пало на единственного иностранца, занимающего при дворе видное положение, — принца Альберта. Если судить по речи и обычаям, он действительно был «чужаком». Разве он не говорил с ярко выраженным акцентом? Некоторые даже

шептались, что его посадили в Тауэр за измену. Распространение этих слухов привело королевскую чету в состояние нервного истощения. «Со вчерашнего дня мне ужасно тоскливо, — писал принц своему товарищу, — и сегодня мне пришлось весь день провести дома».

Ходили слухи, что русские давно готовятся к войне, и это стало еще более очевидным после событий в Синопской бухте. Британия потребовала, чтобы русские корабли покинули Черное море. В первые недели 1854 года возникло ощущение, что события набирают обороты. «У нас на руках, — сказал Николай I английскому послу в Санкт-Петербурге, — больной, тяжелобольной человек. И я скажу вам откровенно, будет большим несчастьем, если в ближайшие дни он покинет нас, особенно если прежде не будут сделаны все необходимые приготовления». Этим «больным человеком» были Турция и Османская империя. Зловещие слова царя идеально отражают атмосферу того периода — завуалированная угроза, намек на агрессию и смутно проступающий за ними холодок стали. Итак, русские, по-видимому, ждали этого момента. Лорд Шефтсбери сказал в палате лордов: «Это был давно разработанный гигантский замысел, возникший много лет назад

и теперь подлежащий исполнению». Чем пафоснее риторика, тем охотнее в нее верят.

Палмерстон опасался, что Россия может оттеснить Турцию, Абердин скептически относился к пребыванию европейцев под властью турок. Кабинет министров разделился, и незадолго до того, как Англия вступила в войну, Дизраэли сказал в палате общин: «Хотел бы я знать, каких военных успехов собираются достичь люди, которые еще не определились с целью войны». В рядах английского верховного командования, не знавшего, когда и куда они отправляются, нарастало нетерпение. Когда начнутся бои?

Турки считали, что борются за выживание, в то время как русские стремились укрепить и защитить свою империю. Союзники Турции — Франция и Англия — сосредоточили внимание на Севастополе, откуда ранее вышел флот, потопивший турецкие корабли у Синопа. В середине сентября союзники высадились в Каламитском заливе, на западном берегу Крымского полуострова, и через несколько дней произошло первое сражение на берегах реки Альмы. В ожесточенной, яростной битве британской пехоте, в которой особенно отличились шотландские полки, удалось в конце концов разбить русских.

Один из британских полковников сказал: «Нам придется повторить бой завтра на новом месте и, возможно, еще не раз сразиться, прежде чем мы достигнем порта Севастополь». Главнокомандующий британской армией лорд Раглан отправил министру иностранных дел депешу, в которой заявил: «Все наши опасения сосредоточены у последнего рубежа в Севастополе». Эта мысль не давала никому покоя.

Сражение на Альме предсказало характер этой войны. Путешествующий современник, осматривая погибших, закутанных в льняные полотнища, спрашивал: «Что эти люди могли знать о турецком вопросе? И все же они шли в бой, дрожали от страха, корчились в агонии. Теперь их отцы и братья, сестры и матери плачут, надрывая сердца, во всех окрестных дунайских княжествах». Многие надеялись, что солдаты двух могущественных держав быстро расправятся с русскими. Ожидания не вполне оправдались. На глазах у группы заинтересованных наблюдателей, следивших за происходящим с бутылками шампанского и оперными биноклями, погибло почти пять тысяч человек. Для зрителей это были совершенно новые ощущения: настоящая битва, кровавая и грязная, с разлетающимися во

все стороны осколками. Они читали воспоминания о Наполеоновских войнах, но это не могло подготовить их к реальности, полной криков и зловония. Сорок лет мира не сделали никого готовым к войне.

Произошедшее в следующем месяце Балаклавское сражение породило два крылатых выражения: «Тонкая красная линия» и «Атака легкой кавалерии». Оба эпизода отличались некоторой двусмысленностью, и оба можно было истолковать одновременно как триумф и как символ катастрофы. Атака легкой кавалерийской бригады осталась в веках благодаря стихотворению Теннисона, ставшему одновременно и балладой, и одой, и памятником событию, которое в противном случае вскоре забылось бы. Теннисон написал стихотворение за несколько минут, как только весть о происшествии достигла Англии. Он использовал дактилический стих, ритм которого напоминает стук копыт мчащихся галопом лошадей. Атаку британской легкой кавалерии против русских укреплений возглавлял граф Кардиган. Его бригада состояла из 4-го и 13-го полка легких драгун, 17-го уланского полка, 8-го и 11-го гусарского полка. На лошадях не было брони, поэтому они могли двигаться легко и быстро.

Солдаты вооружились копьями и саблями, чтобы нанести быстрый и мощный удар. Британской кавалерией командовал 3-й граф Лукан. Кардиган был шурином Лукана, и они презирали друг друга. Британская армия находилась под общим командованием лорда Раглана.

Раглан приказал Лукану развернуть свою кавалерию и помешать русским забрать трофейные пушки из редутов в долине при Федюхиных высотах. Теннисон назвал это место Долиной смерти. Характер ландшафта не позволял Лукану следить за передвижением русских войск поблизости. Легкая бригада видела опасность, но ни один из них не подверг сомнению приказ — все продолжали скакать навстречу смерти. Англичане были слева, а русские — справа, поэтому англичане атаковали почти вслепую. Они просто исполняли приказ. Французские войска проявили больше здравомыслия и оттеснили русских с Федюхиных высот.

Легкая бригада проскакала три четверти мили (1,2 км), прежде чем ее накрыл огненный шквал снарядов и пуль. 670 человек смогли прорваться сквозь заслон русской кавалерии, но затем при восхождении на холм 118 человек были убиты и 127 — ранены. Погибло две трети всей бригады.

То была настоящая бойня. Новость о катастрофе дошла до Англии только через три недели: Теннисон прочитал сообщение в The Times от 13 ноября. В газете писали, что произошла «ужасная ошибка», и в стихотворении Теннисона есть строки: «Ошибку приказа солдат не оспорил». Это стихотворение — не погребальный плач и не критика. Оно проникнуто чувством героизма и великолепия, и легкая бригада предстает в нем как группа оживших античных статуй.

Многие современники Теннисона тоже видели эту катастрофу в героическом свете. Это была трагедия — и в то же время триумф. Именно так англичане обычно относились к своим поражениям. И именно поэтому остальные нередко принимали за глупость и безрассудство свойственное им презрение к опасности, доблесть, выходящую за рамки служебного долга, и безразличие к смерти и ранениям. Командующий французской кавалерией заметил: «Британский кавалерийский офицер, по-видимому, совершенно убежден в том, что на войне можно скакать во весь опор и перепрыгивать препятствия так же, как во время охоты на лисиц». Злосчастная атака легкой бригады затмила совершенную ранее в тот же день атаку тяжелой бригады под коман-

дованием Джеймса Йорка Скарлетта. Тяжелая бригада вопреки всему штурмовала возвышенность, занятую гораздо более крупным отрядом русских, и одержала триумфальную победу: русские были разбиты. Эту победу, в отличие от унижения легкой бригады, скоро забыли. Могло показаться, что британцы предпочитают героические неудачи героическим успехам.

В сущности, Балаклавское сражение было совершенно не нужно, и самым примечательным в нем стали непонимание, высокомерие и промахи командования. Долина смерти, в которую устремилась легкая кавалерия, оказалась настоящей скотобойней, но театр военных действий — не место для неторопливых глубокомысленных рассуждений. Кто-то расценил атаку легкой бригады как славный подвиг, хотя и доставшийся дорогой ценой. Другие по-прежнему считали ее несвоевременной, непродуманной и неорганизованной.

За Балаклавой последовало третье из адского трио сражений — окутанная непроницаемым гибельным туманом Инкерманская битва. Один бригадный генерал вспоминал: «С нашей стороны борьба была сумбурной и отчаянной. Полковники вели небольшие отряды и сража-

лись как младшие офицеры, капитаны — как рядовые. Вступив в бой, каждый становился сам для себя генералом». Когда туман рассеялся в лучах зимнего солнца, на поле боя остались горы мертвых и умирающих.

В батальонах 73 человека из каждой сотни погибали от голода или холода. И это были войска самой богатой страны мира. Оставалось лишь признать, что они с честью выполнили свой долг — чего нельзя было сказать о стране, отправившей их в Крым. Новобранцы часто погибали первыми. Дорог не было. Топлива не хватало. Не было полевых лазаретов, а госпитали на кораблях были переполнены. В одном госпитале за месяц умерло более половины пациентов. В другом, где 2000 человек страдали дизентерией, было выстирано только шесть рубашек. Крым был гнойной раной. Принц Альберт написал в меморандуме: «У нас нет генералов, обученных и имеющих опыт исполнения обязанностей своего ранга, нет генерального штаба или корпуса, нет полевых линий связи и лазаретов, нет вещевых обозов, нет людей, обеспечивающих транспортировку и ремонт…» Инкерманское сражение вошло в историю как «солдатская битва» — рядовые бились один на один и стенка на стенку, как когда-то

бриты с англосаксами. Солдат, заблудившийся в тумане на поля боя, — один из вечных образов Крымской войны.

Наступала зима. Сражения прекратились, и главной задачей теперь стала осада Севастополя, который держали русские защитники. Город был хорошо укреплен, его оборону было очень трудно прорвать, а трудности со связью усугублялись плохой погодой и плохим знанием местности. В окрестностях Севастополя правили болезни и лишения. Однажды разразилась свирепая буря, не утихавшая три дня. Сведения об умирающих и раненых передавали в Лондон и другие места с помощью электрического телеграфа. Корреспондент The Times Уильям Говард Рассел отправлял в газету честные, неприукрашенные отчеты о царящих в зоне военных действий безалаберности и хаосе, вечных спутниках войны. Мертвых оставляли без погребения, раненых — без лечения. Ни о какой гигиене не было и речи, лекарств хронически не хватало. Мухи садились на гноящиеся раны. От антисанитарии и истощения умерло больше человек, чем от ран, полученных в бою.

Осада Севастополя лишь отдаленно напоминала осаду Трои, но идея осады как таковая ассоциируется не только с военными действиями.

Она всегда означает выдержку, личный героизм и изобретательность. Однако Севастополь не пал. Год заканчивался, в Крым рано пришла зима. Войска не имели надлежащей экипировки, обмундирования, питания. За дело уже взялась амебная дизентерия. Что касается защитников Севастополя, то они, по сообщениям, находились в бодром расположении духа и были уверены, что смогут выдержать любую осаду. Командиры союзных армий не имели актуальных сведений и даже не знали точно, сколько человек обороняет Севастополь. Граф Кларендон писал: «Мне кажется, — дай Бог, чтобы я ошибался, — мы стоим на грани чудовищной катастрофы». Он был не одинок в своих предчувствиях. Воспоминания о Всемирной выставке безнадежно затерялись в тумане и огне войны. Англичане не верили в свою победу.

В конце 1854 года Чарльз Гревилл записал в дневнике:

> Последний день самого печального и катастрофического на моей памяти года. Почти все в трауре, страну охватили горе и отчаяние. В начале года мы провожали армию, полные радостного торжеству-

ющего предвкушения… В конце года мы оплакиваем смерть бесчисленных друзей и родных, наша армия гибнет под неприступными стенами Севастополя, и после всех наших омытых кровью побед и подвигов невероятной доблести мощь русских как будто ни капли не уменьшилась и не ослабла.

Бездна страданий скрывалась за этими словами.

Британский армейский хирург писал: «Здесь есть поговорка: “Мы не взяли Севастополь, потому что французы не хотят сражаться днем, англичане не хотят сражаться в темноте, а турки вообще не хотят сражаться”». Было и небольшое утешение. В начале 1855 года развернулось строительство Большой Крымской железной дороги с веткой на Севастополь. Работы шли с большой скоростью: это была первая в истории попытка организовать механизированную войну. Британский главнокомандующий лорд Раглан умер — одни говорили, от разочарования, другие — не вынеся расстройства, третьи — от перенапряжения. В сущности, все хотели, чтобы война закончилась. Она слишком затянулась и

унесла слишком много жизней. В депеше русскому полководцу Михаилу Горчакову царь писал: «Необходимо каким-то образом положить конец этой ужасной бойне». Он был совершенно прав — это была бойня, а не война.

Еще одна бесславная битва произошла весной того же года, когда английские войска предприняли две попытки осадить Большой Редан — одну из крепостей, охранявших Севастополь. В итоге они были вынуждены отступить. В отличие от них, французы успешно взяли штурмом русские укрепления на Малаховом кургане.

Война постепенно подтачивала позиции Гладстона и его бюджет на 1854 год, заставив изменить многие статьи, принятые в 1853 году. Подоходный налог увеличили вдвое, в попытке получить дополнительный доход снова обложили налогом сахар, спиртные напитки и солод. Гладстон считал, что военные расходы следует покрывать за счет излишков дохода, а не за счет займов. «Расходы на войну, — сказал он палате общин, — есть моральный противовес, с помощью которого Всевышнему было угодно обуздать амбиции и жажду завоеваний, присущие многим странам». Эта смесь благочестия и воинственности не всем пришлась по вкусу, тем более что сам Гладстон

довольно скоро был вынужден прибегнуть к займам.

Настоящий кризис Крымской войны произошел в конце января 1855 года. Радикальный парламентарий Джон Артур Робак смог провести в парламенте резолюцию, требующую создать комиссию для расследования проявленной во время войны небрежности и злоупотреблений. По сути, это был вотум недоверия, и Джон Рассел почти сразу покинул кабинет, заявив, что правительство Абердина — худшее из тех, в которые он когда-либо входил. Некоторые списали его внезапный уход на оскорбленное самолюбие. Королева послала ему записку, в которой «выразила удивление и обеспокоенность внезапными слухами о его намерении покинуть правительство из-за инициативы г-на Робака». Рассел совершенно опозорил себя в глазах большинства наблюдателей, и королева так и не простила его, но через несколько месяцев он снова вступил в должность. Парламент согласился создать комиссию для расследования военного фиаско поразительным большинством в 157 голосов; оглашение результата встретили не аплодисментами, а молчанием и отдельными презрительными смешками.

Продержавшись два года, Абердин передал свой пост в руки королевы. Дизраэли писал: «В течение двух лет страной управляли самые способные из ее людей, и к концу упомянутого срока им удалось, объединив свои усилия и таланты, довести эту страну до полного разорения и отчаяния». Комиссия не добилась в расследовании большого успеха. «Я чувствовал коррупцию повсюду вокруг себя, — писал Робак, — но не мог схватить ее за руку». Сходное недовольство и разочарование пронизывало настроения публики. Как прямой ответ на проявленную в Крыму пагубную нераспорядительность возникла Ассоциация административной реформы. В нее входили представители Сити и лондонского профессионального класса. Однако она действовала медленно и неуклюже, и ей мало чего удалось достичь.

Кто-то должен был взять на себя вину или хотя бы согласиться встать у руля. Трудно представить, какой здравомыслящий человек захотел бы взять на себя обязанности премьер-министра в военное время, — но кто сказал, что политики отличаются каким-то особенным здравомыслием? Многие считали, что вперед должен выдвинуться Дерби как лидер консерваторов, но он, к великой ярости

Дизраэли, отказался это сделать. Дизраэли питал симпатию к Леванту и был горько разочарован тем, что его лидер в палате лордов уклонился от схватки с Россией. Впрочем, никогда нельзя было знать, о чем на самом деле думает Дизраэли. Сэр Уильям Грегори, когда-то стоявший за кулисами «Молодой Англии», заметил: «Он был человеком огромного таланта, и это не стали бы отрицать даже заклятые враги. Но даже я, его близкий друг, должен признать: со времени выхода на общественную сцену и до своего последнего часа он жил и умер шарлатаном».

Оставался только один заслуживающий внимания кандидат, однако ему не благоволила королева. Бравада и громогласный патриотизм Палмерстона вкупе со стремлением сокрушить любого находящегося в пределах досягаемости деспота помогли ему завоевать симпатии радикалов из рабочего класса, которые в противном случае отнеслись бы к войне строго отрицательно. Он чувствовал, что народ его поддерживает. И потом, на ситуацию всегда можно было взглянуть иначе. «Я возражаю против кандидатуры лорда Палмерстона по личным причинам», — сказала королева. «Королева имеет в виду, — объяснил принц Альберт, — что она не возражает против

кандидатуры лорда Палмерстона по причине его личных качеств». Этот оборот мог бы украсить сочинение Льюиса Кэрролла, если бы он писал в то время. Палмерстон (Пэм, как его называли многие) сколотил новый кабинет или, скорее, сохранил старый, избавившись от лишнего груза в лице Абердина, бывшего военного министра Ньюкасла и, конечно, Джона Рассела, который, как чертик из табакерки, вернулся позднее на должность министра по делам колоний. (Его нельзя было так просто убрать из политики.) Если бы не война, это правительство вполне могло бы выдержать взятый курс, но все же оно просуществовало достаточно долго, чтобы заключить мир. Палмерстон снова вышел вперед бодрой пружинящей походкой. Старый боевой конь рыл копытом землю. Что еще важнее, на этот раз он заручился поддержкой страны и выступал как защитник ее важнейших интересов.

Все участники устали от кровавой и грязной войны на крошечной территории, но Палмерстон не хотел прекращать ее, пока Англия и Франция не возьмут Севастополь. Как только эта цель будет достигнута, с отступлением русских можно будет всерьез начать мирные переговоры. 9 сентября 1855 года русские покинули крепость

Севастополь. Англичане и французы, можно сказать, выиграли, но они не решались преследовать врага дальше. Однако в сложившихся обстоятельствах и это посчитали славной победой. Согласно оценкам, в Севастополе, к концу боевых действий превратившемся в дымящиеся развалины, погибло 300 000 русских. Одно из захоронений называлось «Кладбище сотни тысяч». Сильнейший шторм разметал укрытия союзников. Британское войско превратилось в толпу изможденных оборванцев.

Английская публика остро осознавала беспомощность военного командования. 13 декабря 1854 года в The Times писали: «Некомпетентность, бездеятельность, аристократическое высокомерие, бюрократические помехи, фаворитизм, рутина, упрямство и глупость правят бал в лагерях под Севастополем». Тем не менее народ Британии ждал, что весенняя кампания позволит окончательно разделаться с врагом. В противном случае двухлетнее кровопролитие, в котором командиры уже потеряли треть армии, оказалось бы напрасным. Люди жадно ждали новостей. Первый номер национальной газеты за пенни Daily Telegraph вышел 29 июня 1855 года. Стены деревянных бараков, в которых укрывались

осаждающие Севастополь солдаты, покрывали картинки, вырезанные со страниц иллюстрированных газет. Прежде чем вопрос окончательно был закрыт, последовало еще какое-то количество бесславных боев. Попытка штурмовать крепость Редан провалилась: британцы просто отказались выходить из-за безопасных брустверов. Один из командиров, полковник Виндхем, назвал это «величайшим позором, который когда-либо постигал британского солдата». Эта война не располагала к красивым жестам.

Завершить свою миссию английская армия не смогла из-за Парижского мирного договора, подписанного в конце марта 1856 года. Участники войны настойчиво стремились вырваться из крымской трясины, но у них были противоречивые цели. Русские хотели извлечь из произошедшего толику выгоды или славы. Французы и британцы хотели уберечь Османскую империю как оплот против русских и одновременно возобновить собственное старинное, длившееся едва ли не с доисторических времен соперничество. В положениях договора в целом отсутствовала какая-либо определенность. Он гарантировал целостность Турции, открывал Дунай для судоходства и делал Черное море нейтральным

— и только. Парижский договор обескуражил и разочаровал тех, кто считал, что в этой войне Англия сражается за правое дело. Непоследовательный и неэффективный, по мнению многих, мир привел англичан в замешательство и даже в ужас. Глашатаев, объявивших о заключении мира, обшикали у Темпл-Бар, и никто не знал, стоит ли зажигать на окнах свечи в честь праздника — или дело кончится разбитыми стеклами. Весь патриотический накал, все ожидания, все идеалы справедливой борьбы ровно ни к чему не привели.

Вряд ли это была та победа, которой ожидали люди. Конфликт не решил никаких противоречий и не увенчал никого военными лаврами, а сама война возникла из страха перед нападением, о котором, в сущности, никто не задумывался всерьез — из почти бесплотной угрозы. Как заметил Литтон Стрейчи, «объяснить, почему эта война закончилась, так же непросто, как и объяснить, почему она началась». То была война предчувствий. Она не была справедливой или необходимой — ее раздувало общественное мнение, захваченное порывом глупого оптимизма. Заключение мира также стало преждевременным, при этом врагу было сделано слишком

много уступок (судоходство в нейтральных водах и торговля с Россией продолжались). В день, когда англичане ожидали значительной победы, эту победу одержала дипломатия, а не сила оружия. Течение несло Абердина к войне, и точно так же течение несло Палмерстона к миру. Что касается судьбы европейских народов, остававшихся под властью Османской империи, она должна была решиться в другой день.

Об остальных последствиях войны судить трудно. Разочаровавший всех мирный договор случился слишком внезапно и слишком неожиданно, чтобы обо всех его неявных последствиях можно было говорить с уверенностью. Возможно, он внес свой вклад в движение за военную реформу и заметный рост эффективности «научного корпуса». В Британии появился официальный штабной колледж. Принято считать, что рассказы о подвигах солдат породили культ героизма, воплотившийся, в частности, в Добровольческом движении 1859 года, целью которого было защитить страну от вероятной (иллюзорной) угрозы со стороны Наполеона III. Все это лишь более или менее правдоподобные домыслы. Точно известно, что в этот период солдаты, возвращавшиеся домой из-за границы, завезли в Англию сигареты

— или, как их поначалу называли, бумажные сигары.

Палмерстон «выиграл войну» главным образом потому, что не имел к ней почти никакого отношения. Гладстон оказался в изоляции в атмосфере всеобщего смятения, — по его словам, парламентская деятельность того периода напоминала «метания корабля, стоящего на якоре: движение есть, но нет прогресса». Дизраэли считал, что тори должны «поддержать положение аристократии в этой стране». Позиции аристократии действительно пошатнулись, и в некоторых случаях она покрыла себя позором, но в следующие десятилетия аристократия вернулась к борьбе. В общем и целом на внутреннем фронте не произошло ничего выдающегося. Один эпизод во время государственного визита Наполеона III в Англию в апреле 1855 года дает хорошее представление о ситуации. Когда отзвучали государственные гимны, французская императрица, прежде чем сесть, быстро оглянулась, чтобы убедиться, что за нею стоит стул. Королева Виктория села не оборачиваясь. Она была рождена, чтобы править без колебаний.

Война в Крыму стала не столько национальным унижением, сколько национальным позором.

Большое облегчение приносили усилия Флоренс Найтингейл и ее сиделок. Неустанная забота о солдатах, самоотверженное исполнение своего долга, отвага перед лицом трудностей служили утешением страдающему духу нации, являя пример трезвого и эффективного распоряжения делами. Это ободряло и возвращало людям надежду. Сообщение в The Times, пожалуй, немного приукрашивает образ, и без того не нуждающийся в украшениях, но именно такие слова люди хотели прочитать после пустой бравады Раглана и Кардигана:

> Она — подлинный ангел-хранитель в этом госпитале. Когда ее стройный силуэт тихо скользит по коридорам, лица всех несчастных смягчаются благодарностью. По ночам, когда медики отправляются на отдых и на длинные ряды коек с распростертыми больными спускается тишина и темнота, вы можете видеть, как она в одиночестве обходит свои владения с маленьким фонарем в руке.

Флоренс Найтингейл была не единственной женщиной, посвятившей себя уходу за страдающими солдатами. Тем же путем шла Мэри

Сикол, квартеронка из Британской Вест-Индии, которая боролась с предубеждениями против своего пола и своей расы, попросту отбрасывая их. Как многие другие выдающиеся женщины (еще одним ярким примером из недавнего прошлого может служить леди Эстер Стэнхоуп), она обладала непреодолимой тягой к путешествиям. «Меня всегда тянуло странствовать, — писала она, — и мне вполне хватало силы воли, чтобы исполнить свои желания». Она была полной противоположностью викторианского идеала о женщине, запертой в четырех стенах под бесконечным домашним арестом. (Стоит задуматься, сколько разочарованных жен обладали такой же тягой к приключениям, как Мэри Сикол, но были вынуждены поддерживать навязанный образ «ангела домашнего очага», созданный мужским воображением.)

Многие из своих навыков она приобрела в британском армейском госпитале на Ямайке, где людей губила желтая лихорадка. О своем решении ухаживать за солдатами в Крыму она говорила: «Небо знает, какое видение мне было послано». Она также вспоминала: «Повинуясь природной пылкости натуры, которая несла меня туда, куда мне было угодно, я объявила, что поеду в

Крым». Поначалу ее встретили холодно: Флоренс Найтингейл усомнилась в профессионализме темнокожей сиделки, Военное министерство и Медицинское ведомство также отказали ей. В конце концов она решила пойти своим путем и в обход властей открыла гостиницу для инвалидов. Она напечатала и распространила в регионе военных действий открытки с объявлением об открытии «Британского отеля», где намеревалась «устроить столовую и удобные квартиры для больных и выздоравливающих офицеров».

Вскоре о ее талантах целительницы и сиделки стало известно многим. Она называла своих пациентов сыновьями, а ее все называли «матушка Сикол». Приехав в Крым, она сразу обнаружила, что «госпитали набиты битком, во всех без исключения лагерях свирепствуют болезни и не хватает самого необходимого». Она набрала штат сиделок, о которых позднее говорила: «Только женщины, исполняющие этот печальный долг, способны превзойти самих себя в совершении своего подвига — и не потому, что их сердца мягче, а потому, что их руки созданы для этой работы». Пожалуй, мы можем без преувеличения сказать, что без непризнанной помощи женщин мужчины не выжили бы. Мэри Сикол вернулась

в Англию и умерла в мае 1881 года.

Унижение и падение Абердина доказало: «общественность» стала слишком заметным явлением в жизни государства и ее больше нельзя игнорировать. Карлейль саркастически назвал это «замечательным лицом общественного мнения». Новая читающая публика бесконечно жаждала новостей. Напечатанные в газетах речи зачитывали на общественных собраниях, а лорд Роузбери вспоминал, что, когда он был мальчиком, его семья тоже садилась после завтрака, чтобы почитать речи. Уличные баллады, неотъемлемая часть жизни XIX века, часто пересказывали в ритмичной рифмованной форме последние новости или отрывки из выступлений политиков.

К концу Крымской войны классовое сознание более чем когда-либо обострило раскол в стране. Ошеломляющее самодовольство и некомпетентность аристократической военной элиты подорвали всякое доверие рабочего класса к лидерам нации. Летом 1855 года в палате общин прошел третье чтение Билль о воскресной торговле — он сужал действие алкогольных лицензий и запрещал вести торговлю по воскресеньям. Последовала немедленная и яростная реакция. По

всему Лондону расклеили набранные крупным шрифтом плакаты чартистов:

> Новый Билль о воскресной торговле запрещает газеты, бритье, курение, еду и напитки, а также все другие виды отдыха и увеселения, как телесного, так и духовного, пока еще доступные в наше время бедным людям. В воскресенье днем в Гайд-парке под открытым небом состоится собрание ремесленников, мастеровых и «низшего сословия» столицы. Мы посмотрим, с каким религиозным рвением аристократы соблюдают день субботний и как они в этот день ограждают от всякой работы своих слуг и лошадей, о чем сообщил в своей речи лорд Роберт Гросвенор. Встреча назначена на три часа на правом берегу Серпентайна, со стороны Кенсингтонских садов. Приходите и приводите жен и детей, чтобы и они могли извлечь пользу из примера, который подают «высшие»!

В Гайд-парке три воскресенья подряд агрессивно настроенная толпа окружала экипажи богатых людей. В сущности, те, кто не имел эки-

пажей, обступали тех, у кого были экипажи, — не совсем то же самое, что нападение бедных на богатых, но где-то близко к этому. Репрессивный закон был отозван, что свидетельствовало об изменении классового сознания в 1850-х годах и о глубине страха и неуверенности, охвативших администрацию после крымского разгрома.

Многие считали, что война очистит нацию от заразы материализма и эгоизма и приведет к становлению нового чувства национального единства и общей цели, которое позволит дать ясный ответ на «вопрос о состоянии Англии», так часто упоминаемый в периодической печати. Увы, самые многообещающие надежды умирают первыми. В 1859 году, через пять лет после окончания войны, The Times вынесла свой вердикт: «Эта злополучная война и полмиллиона британских, французских и русских солдат, оставшихся в Крыму, выплатили до последней йоты весь долг христианской Европы перед Турцией. Никогда еще столь великие усилия не прикладывали для достижения столь бесполезной цели. С величайшей неохотой мы вынуждены признать, что все гигантские усилия и бесчисленные жертвы оказались напрасными».

Однако война стимулировала дальнейшее

развитие разнообразных изобретений и усовершенствований в открытых ранее направлениях. Эти направления, в свою очередь, возникли, как выразился Изамбард Кингдом Брюнель, в ответ на «спрос, случайно рожденный обстоятельствами». В 1856 году был запатентован метод Бессемера и сделаны первые шаги по направлению к эпохе стали: мощный взрыв выжигал углерод и кремний из болванки чугуна, который затем при добавлении марганца превращался в сталь. Стальные рельсы со временем стали дешевле железных, и они были намного более долговечными. В том же году студент-химик открыл процесс создания первого синтетического красителя — мовеина, который изменил одежду и интерьеры всего мира.

Злополучная Ассоциация административной реформы, созданная в 1854 году после катастрофы в Крыму, наглядно иллюстрировала тот факт, что эффективность и современная организация на войне гораздо важнее личной храбрости и героизма. Война была таким же деловым предприятием, как многие другие, и в ней следовало придерживаться деловых принципов. Возможно, это был самый важный урок Крымской кампании. Стремление проповедовать высокие идеалы

соединялась с отвращением к существующим политическим институтам. Опубликованный в том же году отчет Норткота — Тревельяна утверждал, что лучшим способом набрать подходящих людей на государственную службу станут открытые экзамены на конкурсной основе. Иными словами, авторы отчета рекомендовали активнее привлекать средний класс к управлению страной. Пожалуй, показательно и то, что после Крымской войны приобрела популярность книга Сэмюэла Смайлса «Самопомощь» (Self Help; 1859). «В настоящий момент, — писал Натаниэль Готорн в начале 1855 года, — знати было бы абсурдно претендовать на то положение, которое было тихо предоставлено ей год назад. Этот год проделал работу пятидесяти обычных лет — точнее сказать, он выявил то, что уже давно готовилось».

Страна обретала новый облик благодаря усилиям средних классов, опирающихся на принципы бережливости, самопомощи и деловой эффективности. Местное самоуправление по-прежнему считалось ключевым фактором административного прогресса. В 1855 году был учрежден Столичный совет по исполнению работ, а три года спустя принят закон об очищении «благородной реки» Темзы, состояние которой «делало мало

чести великой державе и наносило серьезный ущерб здоровью и благополучию жителей столицы». Развивались и другие деловые начинания. В 1863 году открылась первая секция метрополитена — подземной железной дороги, а в 1862 году Совет по исполнению работ получил разрешение построить набережную на северной стороне Темзы от Вестминстера до моста Блэкфрайарс. Кроме того, бизнесу нужна была статистика. В 1876–1884 годах Совет приступил к плановому выселению 22 000 человек и переселению еще 28 000 человек в новые дома.

Через несколько месяцев после Парижского мирного договора Палмерстон, ставший премьер-министром после отставки Абердина, принес новую жертву богу войны. Причиной послужил незначительный инцидент в гавани Кантона. Корабль «Стрела», команда которого полностью состояла из китайских моряков, из соображений удобства плавал под британским флагом; впрочем, капитан корабля был англичанином, поэтому судно находилось, так сказать, в тени виконта Палмерстона. Капитан проходящего мимо грузового корабля узнал среди команды «Стрелы» одного бывшего пирата и потребовал, чтобы местные власти арестовали его. Судно

взяли на абордаж и, по всей видимости, спустили с мачты британский флаг. Инцидент был истолкован как оскорбление, и губернатор Гонконга сэр Джон Боуринг приказал немедленно обстрелять Кантон. Английские газеты встали на его сторону — он словно каким-то образом помог загладить разочарование Крымской кампании. События получили название второй «опиумной войны»: первая «опиумная война» велась 14 лет назад из-за торговой блокады Китая. Предыдущий инцидент называли также «дипломатией военных кораблей» — по его итогам британцы конфисковали Гонконг и подписали с Китаем неравноправный договор, дающий им широкие торговые привилегии. Этого было мало. Начатая под благовидным предлогом вторая война должна была увеличить прибыли от опиума за счет открытия Китая для иностранных торговцев.

По сути, это был конфликт между современной индустриальной державой и древней цивилизацией, считавшей своих противников неразвитыми варварами. В английской прессе китайцев, в свою очередь, карикатурно изображали как дикарей, избивающих своих детей и жен. В Punch писали: «Что нам за дело до китайцев? Они далеко от нас и ни на что не годятся». Вряд ли можно

представить две другие цивилизации, имеющие столь мало общего. Лорд Элгин, отправившийся в Шанхай в январе 1859 года, писал: «Без приглашения и не всегда самыми мягкими методами [я] сломал преграды, за которыми эти древние народы пытались укрыть от мира прогнившие лохмотья своих угасающих цивилизаций». Он сделал даже больше: он представил Западу одну из великих мировых держав.

Первая битва за Кантон произошла в 1857 году. Союзники, Великобритания и Франция, удерживали город в течение трех лет. Консерваторы при поддержке горстки радикалов, всегда готовые свергнуть Палмерстона с вершины его популярности, выступили против кантонского недоразумения. Проиграв голосование, Палмерстон весной 1857 года быстро распустил парламент. Благодаря проницательному управлению и уверенной саморекламе он стал героем дня, и следующие всеобщие выборы впервые принесли ему решительную победу над консерваторами с убедительным перевесом в 85 мест. Кобден и Брайт — и тот и другой видные пацифисты — не нашли поддержки в своих избирательных округах. Казалось, международные нормы никогда не победят национальный патриотизм.

Летний дворец китайского императора погиб в огне. Таков был результат, как выразился лорд Дерби, «действий консервативного министра, вооружившегося радикальными инструментами и поддерживающего видимость либерализма во внешней политике». Говоря иначе, Палмерстон следовал давним традициям британской дипломатии.

Тем временем англичане продвигались на другом фронте. Империя Великих моголов в Индии постепенно распадалась. В 1613 году «Ост-Индская компания и купцы Лондона получили разрешение основать факторию к северу от Бомбея». С этого все и началось. В 1707 году последний Великий могол оставил после себя страну, искромсанную на части и поделенную между сыновьями, внуками, могольскими управляющими и индусской знатью. Англичане не заставили себя долго ждать и под эгидой Ост-Индской компании вскоре стали доминирующей военной и торговой силой в регионе. В 1849 году английский генерал-губернатор граф Далхауси аннексировал и присоединил к Британской Индии Пенджаб, затем Сикким, расположенный к северу от Бенгалии, и Пегу в Нижней Бирме. Затем последовала колонизация мусульманского

княжества Ауд. В результате «новая» Британская Индия оказалась на треть с половиной больше, чем предыдущая колония.

Один из британских управляющих в Индии сказал: «Мы создаем единый народ там, где до сих пор существовала сотня отдельных племен». О том, какими предательствами и кровопролитиями сопровождался этот процесс, рассказывает множество историй, хотя стоит отметить, что они обычно повествуют только о зверствах местных жителей и героизме европейского меньшинства. В действительности за этим самовосхвалением скрывалось немало проявлений варварства со стороны британских колонистов по отношению к коренным народам. Уезжая из Индии, Далхауси высказался более трезво. «Ни один благоразумный человек, — сказал он, — имеющий хоть какое-то представление о восточной политике, не станет утверждать, что в Индии возможен длительный мир». Далхауси также писал: «Мы в полной безопасности, пока мы сильны, и в нашей силе не сомневаются». Однако неоднозначный конец Крымской кампании, возможно, указывал на то, что британцы не так сильны, как привыкли притворяться.

Индийская война за независимость, и в част-

ности августовские события 1857 года, имела множество разных причин — от новостей Крымской кампании, показавших, что англичане разучились воевать, до нежелания туземных наемников служить в Бирме и Персии. Ост-Индская компания была одновременно торговой и военной организацией. После битвы при Плесси в 1757 году главнокомандующий Британской Индией Роберт Клайв взял Калькутту, Мадрас и Бомбей. В этих городах размещались туземные наемные солдаты — сипаи, находившиеся под контролем британцев. Это было далеко не самое идиллическое место службы. Англичане изнывали от невыносимой жары, а под дверями резиденции в Калькутте пробегали тараканы размером с мышь. На таком фоне разворачивалась первая Индийская война за независимость. Единственным утешением для многих становилась выпивка.

В 1856 и 1857 годах по стране распространились слухи о возможном мятеже. Поспорить размахом с железнодорожной манией в Индии могла только религиозная мания. Проблема заключалась в следующем. Многие утверждали и действительно верили, что новые патроны для винтовок Минье смазывают свиным и коровьим жиром, что го-

ворило о полнейшем пренебрежении к местным обычаям. На самом деле это было не так, но эта история хорошо показывает степень недоверия коренного населения к своим колониальным правителям. Корова — священное животное у индуистов, а свинья — грязное животное у мусульман. Индус, осквернивший себя подобным образом, навеки изгонялся из своей касты и в этой, и в следующих жизнях.

В январе 1857 года генерал сообщил, что среди местных солдат наблюдаются «неприятные настроения». В начале мая 85 кавалеристов из гарнизона в Мератхе приговорили к 10 годам каторжных работ за отказ прикасаться к ружейным патронам. Мусульмане поклялись Кораном, а индуисты — священными водами Ганга, что не станут участвовать в подобном святотатстве. В присутствии всего гарнизона с осужденных сняли форму и заковали их в цепи, как обычных преступников. Для некоторых подобное унижение было намного хуже казни. Сипаи пришли в ярость, — по словам очевидцев, они «плясали, и прыгали, и пронзительно перекликались друг с другом». Первыми жертвами стали английские женщины и дети. Туземные пехотинцы кричали: «Скорее! Дели! Скорее! Дели!» Их путь лежал в

старую столицу Великих моголов.

В следующее воскресенье гарнизон взбунтовался, взял штурмом тюрьму и освободил всех заключенных, а затем двинулся разорять бунгало британцев и истреблять всех, кто там жил. После этого мятежники направились к Дели, находившемуся всего в 40 милях (ок. 64 км) от них. Ужасные слухи разлетались со скоростью ветра. Правивший в Дели Бахадур Шах с давних пор находился на содержании у британцев, но теперь оказался беспомощен перед силами восставших. Людей убивали на базарах и в коровниках, на плоских глиняных крышах и на дне глубоких колодцев.

В двух милях (3,2 км) к северу от города стояли три туземных пехотных полка, но в них солдаты напали на белых офицеров и зарубили многих из них насмерть. Главнокомандующий генерал Энсон находился далеко на севере. Ему сказали, что транспорта нет и ничего нельзя сделать. Через два дня он умер от холеры. Очень скоро последовали судебные процессы и казни индусских мятежников, но было видно, что эти люди встречают свою судьбу с гордо поднятой головой.

Беспорядки быстро охватили Северо-Западную провинцию. Повстанцы преследовали местных

чиновников, регион стремительно погрузился в анархию.

Стоящий на западном берегу Ганга Каннур, где правил сговорчивый Нана Саиб, считался надежным и безопасным местом. Впрочем, в свете последних событий Нана Саиб больше не видел причин поддерживать британцев и решил обрушить на своих бывших союзников заслуженное наказание. Солнце нестерпимо палило весь июнь и июль, европейские солдаты гибли от голода и болезней. Нана Саиб пообещал, что если они сложат оружие, то смогут безопасно пройти через Каннур и сесть в лодки, ожидающие их на Ганге. Однако посадка стала сигналом к расправе: пришедших к реке мужчин, женщин и детей перебили. В живых осталось только четверо.

Резня в Каннуре подала пример повстанцам Лакхнау. В 1857 году сэр Генри Лоуренс въехал в резиденцию в Лакхнау и попал в отчаянную ситуацию, где бездарное управление и глупая месть послужили причиной серьезных волнений. Английские войска были застигнуты местными силами врасплох и понесли большие потери. Индусы осадили резиденцию, но она была хорошо укреплена, и те, кто укрылся внутри, смогли отбить осаду.

Всюду, куда приходили англичане, за ними тянулся кровавый след. Индусов принято считать мятежниками и бунтовщиками, но если проводить параллели, то их, пожалуй, стоит сравнить с воинами Хереварда Уэйка, которые сражались за свои земли против норманнских захватчиков. Конечно, в то время эта аналогия не показалась бы никому убедительной или справедливой. Британская публика жаждала крови, и крымских жертв было недостаточно, чтобы удовлетворить ее тягу к насилию. В одном памфлете призывали безжалостно выслеживать и убивать индийских мятежников всех до единого: «Индия не будет в безопасности, пока жив хоть один человек». Англичане были готовы оставить за собой бесплодную пустошь и назвать это хорошим правлением. Один англичанин предлагал заставить осужденных индусов перед казнью лизать кровь тех, кого они убили или ранили, — «чтобы они покидали этот мир в твердой уверенности, что их мерзкие души переродятся в телах кошек и обезьян». Тысячи людей были повешены, искалечены, задушены и убиты множеством других способов. Кровь и раздробленные кости находили на дне многих местных колодцев. Вслед за главой разведывательной службы Генри Ходсоном мы

можем сказать, что страна превратилась в «исходящее паром болото… где ползают скорпионы размером с молодых лобстеров, а мухи садятся людям на губы».

Потребовались месяцы кровавых репрессий и спорадических военных действий, прежде чем беспорядки удалось прекратить. Они не могли продолжаться вечно. Молодого офицера Джона Николсона отправили с подкреплением к британцам в Дели. В середине 1857 года англичане взяли штурмом Кашмирские ворота, Лахорские ворота и Кабульские ворота. Успешное наступление сменилось очередным кругом погромов, пьянства и резни. Было введено военное положение, во время которого расстреляли троих сыновей Бахадур Шаха. Лакхнау и Дели превратились в бесплодную пустошь.

Ост-Индскую компанию освободили от «административных обязанностей» (иными словами, захвата и разграбления страны), а ее полномочия передали королеве через секретаря по делам Индии и Совет. Таким образом, Индия и ее народ перешли под власть королевы Виктории, что было подчеркнуто присвоением ей титула императрицы Индии. Для управления страной учредили должность статс-секретаря Индии

и собрали Совет из пятнадцати советников. В 1861 году индийская армия была объединена с английской.

Широко распространенное убеждение в том, что «высшая» держава, завоевав «низшую», непременно принесет с собой порядок, оказалось банальной пустой фантазией. Губернатор Мадраса сэр Томас Манро заявил в записке, составленной в 1824 году: «Мы должны рассматривать Индию не как временное владение, но как приобретение, которое необходимо будет постоянно поддерживать до тех пор, пока когда-нибудь в будущем туземцы Индии не расстанутся с большей частью своих суеверий и предрассудков и не станут достаточно просвещенными, чтобы сформировать и сохранить собственное действующее регулярное правительство». Надежды на новый мир рухнули. Оставшихся в живых повстанцев вытеснили в Непал, спорадические восстания в других регионах Индии быстро подавили. В июле 1859 года провели благодарственное богослужение и объявили: «Война окончена. Восстание подавлено». Мятеж удалось подавить и отодвинуть на неопределенный срок. Большая часть страны осталась лояльной. Феодалы по-прежнему держались отдельно от крестьян. Армейские

мятежи не вышли за пределы Бенгалии. Князья были довольны, но у многих осталось неуютное ощущение, что на этот раз Британская империя явила миру свое черное сердце.

16
Сумрачный мир

1855 год стал зенитом жизни средневикторианского общества. То было время, когда возродились англосаксонские исследования, когда Теннисон черпал вдохновение в эпосе о короле Артуре, а Пьюджин — в Средних веках. Все вглядывались в далекое прошлое в поисках общества, связанного в единое целое коллективной волей и всеобщим благочестием. Известные писатели того периода — Рёскин, Моррис, Карлейль и другие — ностальгически вспоминали феодальные и полуфеодальные времена, когда люди почитали власть и иерархию. Конечно, все это был миф, но этот миф имел большое значение. Сама жизнь имела значение. Жизнь была честной и настоящей. Возрождение «высокой церкви» Джона Кебла и Эдварда Пьюзи во многом напоминало о средневековой Англии. В предисловии к «Истории Англии» (History of England), опубликованной в 1848 году, Маколей говорит: «Я поведаю вам о том… как из благодатного союза порядка и свободы возникло процветание, подобного

которому не найти в летописях человеческих дел». Однако Карлейль презрительно называл триумф конкурирующих предприятий и личных свершений «свиным процветанием». Ни одну эпоху прежде не наполняло столько энергии и столько сомнений.

Уолтер Баджот, никогда не упускавший случая высказаться на эти темы, говорил: «Во времена стремительных изменений, с которыми столкнулись сегодня люди, крайне важно сохранять преемственность с прошлым, с привычными обычаями и социальным кругом, в котором чувствуешь себя на своем месте». Разумеется, викторианцы говорили не только о Мэлори и средневековых монастырях, но во всем остальном они искали такого же постоянства, такой же безопасности и стабильности. На выставке Королевской академии художеств в 1855 году больше всего похвал заслужили картины, наполненные «энергией, страстью и чувством». Писательница Джордж Элиот, размышляя о Боге, бессмертии и долге — в некотором смысле Святой Троице этого времени, — «с ужасающей серьезностью провозгласила, что первое столь же непостижимо, сколь невероятно второе и сколь безусловно и абсолютно третье». И здесь мы снова можем

представить себе солдата Крымской кампании, яростно рубящего саблей туман.

Образ семьи, восседающей за обеденным столом (обычно красного дерева), просуществовал вплоть до Эдвардианской эпохи. Обязательными атрибутами этой сцены были картины в рамах, стулья с обивкой, экраны или портьеры с бахромой, стол, покрытый скатертью, шкатулка с мелочами и горничная в переднике. Домашняя прислуга стала первой необходимостью. Сибом Раунтри, завершив свое исследование в Йорке, пришел к выводу: одно из важных отличий среднего класса от низшего заключалось в том, что в домах среднего класса держали хотя бы одну помощницу по хозяйству. Было принято делать визиты и приглашать на ужины, — когда луна стояла высоко, их называли вечерами. Гостеприимство считали общественным долгом, и на тех, кто не общался с соседями, смотрели косо. Встречая знакомых, в знак приветствия подавали им два пальца протянутой руки. Близким друзьям и членам семьи протягивали три пальца. Среди завсегдатаев хоровых обществ, просветительских кружков, социальных клубов и спортивных ассоциаций можно было встретить врачей, юристов, бухгалтеров, старших клерков, владельцев

торговых предприятий, директоров компаний и гражданских чиновников. Это был, по сути, срез средней Британии, люди свободных профессий, собиравшиеся по разным поводам и готовые тратить деньги.

У этого класса были свои поклонники. Редактор газеты Leeds Mercury, служившей своего рода зеркалом среднего класса, писал: «Никогда ни в одной стране под солнцем не было людей более уважаемых и ценных, более восхваляемых и более достойных похвалы, чем средний класс общества в Англии». Еще в 1826 году Джеймс Милль писал: «Ценность среднего класса в этой стране, его растущая численность и значение признаются всеми. Этих людей давно и охотно называют славой Англии, с чем вполне согласны даже те, кто стоит выше их». Сходные чувства высказывал Генри Брум: «Говоря о людях, я подразумеваю средний класс — богатство и разум страны, славу британского имени».

Однако в среднем классе довольно рано начался процесс социального расслоения. В 1820 году анонимный автор Blackwood's Magazine замечал: «Слишком хорошо видно, что высшие слои общества все настойчивее стремятся обособиться от тех, кого природа, Провидение и закон поставили

ниже их». В этих слоях существовало бесконечное количество переходных ступеней. Если бы мы решили со всей добросовестностью изучить обычаи верхушки среднего класса, собственно среднего класса, низов среднего класса и верхушки низшего класса, потребовалось бы много томов, чтобы изложить все сложные пересечения и нюансы поведения, в конечном итоге сводящиеся к уникальным манерам каждого индивидуума. Монолитный социальный класс был химерой, порожденной доктринерами и специалистами по социальной статистике. Между разными уровнями одного класса происходили крайне замысловатые передвижения. Как заметил один писатель того периода: «В средних классах мы отмечаем почти всеобщую непрочность положения. Каждый человек поднимается или опускается, надеется забраться выше или опасается совсем утонуть». Можно предположить, что борьба между рабочим классом и условными «вышестоящими» не шла ни в какое сравнение с конкуренцией между рабочими, стоявшими на разных ступенях дохода и уровня жизни.

И все же групповая деятельность позволяет говорить о некоторой групповой идентичности. Начали возникать профессиональные юриди-

ческие, медицинские и другие учреждения. Появились квалифицированные инженеры-строители и инженеры-механики, архитекторы и бухгалтеры. В прошлом веке было пять основных профессий, теперь их стало в двадцать раз больше, и все они оспаривали друг у друга право на статус под видом достоинства и приличия. Все более ясные очертания обретала современная концепция коммунальных услуг и общественного благополучия.

Тема общественных приличий получала дальнейшее развитие в церкви, где мужчины и женщины сидели по разные стороны прохода. Семьи состоятельных прихожан имели собственные скамьи. Тем, кто был победнее, после службы полагалось ждать, пока вышестоящие не выйдут из церкви первыми. Некоторые смелые женщины надевали к нарядному воскресному платью коричневые соломенные шляпки с опущенными полями, вошедшие в моду после 1856 года. Глава семьи носил цилиндр и сюртук-визитку и отправлялся на работу в запряженном лошадьми омнибусе. Здесь он видел своих соседей, хотя они не обязательно обменивались приветствиями. Предположим, он работал в Сити и был начальником тех бесчисленных клерков в черном, чей

вид так резко контрастировал с видом уличных и пригородных торговцев.

Обед в середине дня стоил от десяти пенсов до одного шиллинга и шести пенсов и состоял из говядины, ветчины или телятины с пивом. Если человек спешил, он мог купить пирог у уличного торговца. Куриные кости выбрасывали в сточные канавы. Тот, кто имел больше времени и денег, мог посетить харчевню, где подавали мясные блюда и где из окон большую часть года приходилось любоваться неизменным лондонским туманом. Уличные фонари нередко зажигали уже в полдень. Американский посол писал: «Выглядывая из своего окна, я не видел идущих по улице людей. Поневоле задаешься вопросом, как англичане стали великой нацией, имея так мало дневного света?» Работа отнимала до 52 часов в неделю, но во второй половине дня в субботу наступал «английский» выходной, когда вся семья могла сесть на пароход или на трамвай и прокатиться до парка или зеленого пригорода. В воскресенье благочестивых или просто не желающих выделяться из общей массы людей, разумеется, призывала церковь. Остальные дольше обычного нежились в постели или совершали паломничества в местные пабы.

В описании одного столяра-краснодеревщика домашняя жизнь того времени выглядит не такой уж безбедной:

> У большинства из них [семей] в городах нет места, где они могли бы веселиться. Кормилец семьи встает рано и возвращается домой поздно. Его дети уже крепко спят. Он украдкой смотрит на них, переводит взгляд на жену… Какой печальный вид! В чем дело, дорогая? Ах, ничего такого. Бедняжка тоже весь день работала. Пыталась добыть хоть немного, чтобы им всем хватало на пропитание. Если так обстоят дела в обычное время, когда у всех есть работа и отец семейства приходит прямо домой, не заворачивая никуда по дороге, чтобы пропустить стакан эля, в мокрой от пота рубашке, устав после долгой прогулки, — где же здесь быть веселью?

Проблема низших классов не давала покоя многим. Фридрих Энгельс считал корнем зла индустриальную систему, Вальтер Скотт обвинял во всем паровой двигатель, а Томас Чалмерс обрушивал свой гнев на Законы о бедных. Лорд

Ливерпул винил «крамольные и кощунственные публикации», ослаблявшие «среди низших слоев общества преданность правительству и конституции». «Крамольные и кощунственные публикации» вообще служили шаблонным доводом моралистов на заре эпохи массового чтения.

Однако отдых и безделье были большим грехом. Похвальным качеством считалась добросовестность. Четкие, изобилующие деталями работы прерафаэлитов были именно добросовестными. Саму живопись рассматривали как продукт усердной учебы и прилежного труда. Большое значение придавали кропотливой работе художника над мелкими деталями, умению владеть сложными техниками. Любой образ мог стать предметом изучения. Рёскин писал в «Камнях Венеции» (The Stones of Venice; 1851–1853), что способность рисовать доступна каждому, «кто готов заплатить за нее вниманием, временем и усердием». Одной из героинь романа Шарлотты Бронте «Шерли» (1849) советуют наблюдать за жизнью и «внимательно и добросовестно разбираться в ее запутанных проблемах». Викторианцы обожали задумчиво нахмуренные лбы и сжатые руки. Моральная щепетильность привела Рёскина к помешательству: вниманием,

временем и усердием (еще раз процитируем «Камни Венеции») он заплатил за душевное расстройство. Жизнерадостные умы второй половины века придерживались иной точки зрения. Они были не против индустриализма и науки, но они были против серьезности. В остроумных строках Уайльда, веселых куплетах Гилберта и Салливана и парадоксах Льюиса Кэрролла нет и следа запутанных жизненных проблем и стремления добросовестно в них разобраться. Они отвергают мир, в котором категорические рассуждения Джордж Элиот о Боге и долге воспринимают всерьез.

Термин «викторианский» вошел в обиход лишь после 1851 года и Всемирной выставки, как будто только с этого времени цивилизация начала приносить заметные плоды. Быть викторианцем в тот период означало быть в курсе последних событий, интересоваться всем механическим и прогрессивным, полностью освоиться с эпохой, в которой все было иного масштаба, чем прежде. Паровозы, пароходы и городские здания стали больше и величественнее построенных раньше. Викторианский стиль в домашнем интерьере был воплощением современности: полосатые обои, узорчатые брюссельские ковры, песочные

часы, восковые цветы и восковые фрукты под стеклом. Гарриет Мартино отмечала, что повсюду «распространился дух мира, иначе говоря, неохоты к грубому насилию». Жилищные и санитарные условия улучшались, бедность больше не путали с преступностью. Дуэли совершенно вышли из моды. Наши предки очень удивились бы, если бы узнали, что слово «викторианский» будет означать «ограниченный», «жестокий» или «неблагополучный». Дело в том, что никто не может жить в иное время, кроме того, что отведено ему или ей изначально. В этом состоит парадокс созерцания викторианской живописи или чтения викторианской художественной литературы. Реальность в ней кажется отвратительной и невыносимой — точно такой же, каким начало XXI века могло бы показаться викторианцу.

У этого периода был ряд особенностей. Например, в моду входили каникулы — характерную сцену изображает картина Уильяма Пауэлла Фрайта «Рамсгейтские пески, или Жизнь на морском побережье» (1854). Женщины, разумеется, с ног до головы одеты в шали и кринолины, перчатки и шляпки. Это лишний раз напоминает о том, что у низших классов еще не было времени и денег на подобные прогулки — они

начнут выезжать на побережье только через 25 лет. Мужчины облачены в повседневные темные костюмы и жилеты, на фоне песка и моря можно видеть несколько цилиндров. Никто не плавает — это считалось неприличным. Некоторые могли самое большее пройтись босиком по воде. На пляже можно было посмотреть на выступления артистов, продавцы всякой всячины предлагали свои товары. Никто не стремится подставить кожу лучам солнца. Даже небольшой румянец на щеках считался некрасивым. Во всех фигурах ощущается закрытость и некоторая настороженность, типично викторианский парадокс: сочетание энергии и уверенности в себе с таящимся где-то в глубине намеком на слабость и хрупкость. Граница суши и моря издавна служила великим символом меланхолии перед лицом вечности. Лучше всего ее выразил Мэтью Арнольд в стихотворении «Дуврский берег»:

Вздыхает море, галькою шурша:
То отступает, то опять — бросок,
Льнет к берегу и снова рвется вдаль,
И в мерном плеске чувствует душа

Безмерную печаль[13].

Люди на картине толпятся у края воды, но они не выглядят радостными и довольными. У многих неуверенный вид: они как будто думают о том, что должны сейчас работать. Работа была самым важным, неизбежным призванием в жизни. Они выглядят так, словно готовы вернуться к ней в любой момент. Карлейль писал: «Труд исполнен непреходящего благородства и даже святости». Работающий человек имел больше шансов на спасение.

Не оставались без внимания и моральные аспекты живописи. Например, в картине Фрайта обнаружили изъян: среди людей на побережье художник не изобразил встревоженную мать с выздоравливающим ребенком. Немцы не раз высмеивали английских художников за некоторую боязливость и недоговоренность в изображении сильных чувств. Если речь шла о человеческих эмоциях, английским художникам удавалось самое большее написать сцену, в которой основное развитие сюжета оставалось за кадром, как на картине «Пробудившийся стыд» (The Awakening Conscience; 1853) Уильяма Холмана Ханта или

[13] Примечания: 13
Перевод М. Донского.

«Прощание с Англией» (The Last of England; 1855) Форда Мэдокса Брауна. Некоторые зарубежные художники ценили этот стиль. Теодор Жерико, написавший знаменитый «Плот “Медузы”», по достоинству оценил английскую (или шотландскую) сдержанность картины Дэвида Уилки «Пенсионеры Челси читают депешу из Ватерлоо». Он писал о ней:

> Я буду говорить только об одной фигуре, показавшейся мне наиболее совершенной, чьи поза и выражение лица невольно вызывают неудержимые слезы. Это жена солдата, которая, думая только о своем муже, впивается беспокойным измученным взглядом в список погибших… Мы не видим траурных повязок и иных выражений скорби, — напротив, за каждым столом льется вино, и в ясных небесах ни следа предвещающих гибель молний. Но этот образ достигает высот пафоса, свойственных самой природе…

Что касается застольных манер, было известно, что «нельзя пить вино, не отсалютовав при этом другому человеку. Подняв бокал, пристально посмотрите на того, с кем пьете, наклоните го-

лову и с серьезным видом осушите свой бокал». Слова и выражения тоже жили своей жизнью. Все говорили «мило» и «понимаете ли». Слабохарактерного человека называли «слюнтяй». В эпоху быстрых и беспощадных перемен многие сентиментально относились к прошлому, или «старине». Отличное называлось «первосортным», а плохое — «дрянным» или «из рук вон негодным». Болтовню называли «вздор», а вместо of course («конечно») говорили in course. Проблему называли «заминка». Существовало множество других злободневных словечек и выражений: «Она наверняка устроит ералаш», «Я думаю, мы с ним со временем сойдемся», «Допотопный», «Левантийский», «У нее не все дома», «Он из богемы и презирает приличную жизнь», «Тоска зеленая», «Мы делаем всё, что в наших силах, детям не из чего привередничать», «Мякина», «Презренный трус», «Та-та».

Однако у викторианцев были надежные руководители в лице писателей, труды которых, можно сказать, заключали в себе сознание XIX века. В эпоху прозы они стояли намного выше поэтов, и даже сочинители романов по сравнению с ними всего лишь потешали публику. Томаса Карлейля считали современным пророком. Его

насыщенный и оригинальный язык как будто создан для декламаций и горестных сетований. Он был не из тех, кто говорит на языке стада: парламентские обсуждения однозначно были для него позором нации, а избирательная реформа — не более чем «шумящей Ниагарой» с ужасным итогом. Стоит ли останавливаться на домовладельцах, когда звери полевые еще не имеют права голоса? «Божественная заповедь: голосуй, — писал он. — Общее избирательное право для всего рода человеческого (равно как и лошадиного, и собачьего, о которых речь пока еще не шла)». Он решительно недолюбливал средний класс, которому, по его мнению, была доверена власть, а все его средства и приемы, от свободной торговли до свободы слова, считал воплощением зла. Его политическими героями были сильные люди, склонные к решительным действиям и даже самовластию. Проблему рабства он считал пустячной и полагал, что выживать должны сильнейшие. Некоторые видели в нем пророка: в XIX веке многие разделяли его взгляды и его отвращение к «негритянским филантропам» и другим либеральным голосам. Он ничем не походил на Шефтсбери или Уилберфорса, — и он, несомненно, ужаснулся бы, если бы узнал, что

эти два выдающихся гуманиста станут лицом викторианской цивилизации и запомнятся намного больше его самого.

Он совершенно правильно понимал механистическую и утилитарную природу своего века, опирающегося на расчеты и рамки в экономической теории, религии, образовании и физических науках. Философия утилитаристов могла привести лишь к «окончательному совершенству заданного порядка». Сотканная ими сеть разумных истин опутывала мир и всех живущих в нем людей. Победившая философия свободной конкуренции, трюизм, повторяемый тысячами клоунов, заменил особую ответственность безличной «денежной связью», низводящей людей до простых целых чисел. «Несчастье человека, насколько я понимаю, происходит из его величия, поскольку в нем есть Бесконечное, которое он, при всем своем хитроумии, не может окончательно похоронить под Конечным». Его язык почти всегда насыщен героическими нотами. Он неистов, красноречив и неизменно приковывает внимание.

Ритмы и каденции его произведений имеют много общего с другими писателями поколения великих викторианцев. Здесь, где бы ни копать,

найдешь золото. Ровным светом сияет прозрачная и яркая проза Томаса Маколея, превращающего разрозненные факты XVIII века в убедительное, пусть и чересчур гладкое местами историческое повествование. Рядом стоит Джордж Элиот с ее нежной серьезностью и, как выразился лорд Эктон, «непревзойденным пониманием патологии сознания». В эту компанию входит и Джон Рёскин со своими строго структурированными мыслями и глубокими яркими чувствами к архитектуре и камню. «Я заметил, — писал он, — что среди новых зданий… церкви и школы смешиваются в должной, то есть в довольно значительной, пропорции с мануфактурами и поместьями. И я также замечаю, что церкви и школы почти всегда построены в готическом стиле, в то время как поместья и мануфактуры никогда не бывают готическими». Это замечание может показаться банальным, но оно заслуживает внимания как одна из попыток анализа Викторианской эпохи.

Чарльз Дарвин не раз появлялся в нашем повествовании, поскольку из всех писателей той эпохи он олицетворяет викторианский дух в наиболее чистом виде. Представление об эволюции путем естественного отбора вписывается в контекст этого века, как огромный драгоценный

камень, сверкающий в толще скальной породы. Отказ от идеи Божественного творения означал конец эпохи чудес, и для кого-то это стало безутешным горем. «Происхождение видов» (1859) разворачивает перед читателем не менее захватывающую панораму по-настоящему мрачного мира, в котором правят жажда власти и вынужденная необходимость труда. Даже пчелы здесь «стараются сэкономить время», и поэтому Дарвин превозносит «наиболее разумно организованные мастерские севера». Сама природа, по его словам, постоянно проявляет бережливость и даже скупость и стремится сэкономить на том или другом. Дарвин также утверждает, что для развития необходимы «обширные разрушения» — «пусть выживают сильнейшие и погибают самые слабые». В своих размышлениях о пчеле он воспевает картину насильственной смерти. «Нам следует восхищаться, — пишет он, — дикой инстинктивной ненавистью пчелиной матки, которая толкает ее на уничтожение молодых маток, своих дочерей». Этот мир почти целиком состоит из борьбы и убийства. По мнению Дарвина, вся жизнь на Земле произошла от одного общего предка, или изначальной формы. Потомки этого прототипа затем развились в различные виды

животных и растений, которые, в свою очередь, боролись между собой, стремясь к совершенству. Теорию эволюции можно воспринимать как типично викторианский миф. Чарльз Диккенс в романе «Домби и сын» (1848) называл это «конкуренция, конкуренция… новые изобретения, новые изобретения… перемены, перемены». Все было взаимосвязано.

Эти идеи распространились очень далеко. Беатрис Вебб рассказывает в книге «Мое ученичество» (My Apprenticeship; 1926) об убеждениях своей матери: «Повышение собственного социального статуса она считала прямой обязанностью каждого гражданина. Следовало игнорировать тех, кто стоит ниже, и неуклонно стремиться к верхней ступеньке социальной лестницы. Только благодаря упорству каждого человека, борющегося за свои личные или семейные интересы, можно достичь высочайшего общего уровня цивилизации». И это снова возвращает нас к вопросу работы. Французский обозреватель отмечал: «При входе в контору вам сразу бросается в глаза плакат с надписью: “Просьба говорить только по делу”». Карлейль неоднократно повторял: «Бог дал сотворенному Им человеку наказ: трудиться!»

Те, кого викторианцы называли литераторами, представляли собой очень широкий образованный круг, от социальных мыслителей и политических экономистов до философов и историков. Парадоксально, что в век, подаривший нам самую элегантную и объемную прозу, число читателей было совсем невелико. По оценкам 1861 года, только 5 % учеников оставались в школе после 11 лет. Это позволяет с уверенностью говорить о довольно высоком уровне неграмотности. Что касается тогдашней читающей публики, для нее суть и смысл литературы заключались в нравственно обогащающих произведениях, где эссеист и историк выступали не как ученые, а как проповедники. В глубоко пропитанном религией мире труды Рёскина, Элиот и Карлейля ценили как источник нравственной поддержки и духовного утешения. В 1840-х годах на смену готическому роману и наигранной драме пришли романы, касавшиеся духовных проблем современного мира, вопросов социальной структуры и социального статуса. Между реализмом (понимаемым скорее в английском, чем во французском стиле) и нравственным возвышением совсем не обязательно лежала пропасть. И разумеется, среди проявлений викторианского духа на первом

месте по-прежнему стояли серьезность и непреклонная, почти догматическая уверенность в своих силах.

Подобное положение не могло долго сохраняться в обществе, где неуклонно росла грамотность, и вскоре повсеместно распространилось печатное слово. Эти процессы, по словам Джона Стюарта Милля, привели к «распылению поверхностных знаний». Мэтью Арнольд писал Артуру Хью Клафу: «Наступили проклятые времена — всё против тебя: вершины научных знаний, повсеместная роскошь, наша телесная слабость, отсутствие великих натур и вынужденная необходимость соприкасаться с миллионами посредственностей, газеты, города, легкомысленные распутные друзья…» Сожаление об отсутствии великих натур — очень викторианское по сути переживание. Многие давно говорили, что избирательная реформа создаст мир, где будут править средний класс и низы среднего класса и где прежние ценности просто перестанут существовать. Когда один из представителей старой виговской аристократии критиковал принца Альберта за то, что тот посетил собрание Общества по улучшению положения рабочих классов, принц ответил: «Нам следует исполнить свой долг перед огром-

ной массой рабочих классов». Именно такие настроения преобладали в обществе. Триумф науки и окончательное отделение Церкви от государства положили конец традиции Рёскина и Карлейля: читая их, мы уже знаем, что они проповедовали впустую.

17
Веяния моды

Мюзик-холл стал одним из величайших вкладов Викторианской эпохи в самобытную английскую культуру. Традиция популярных и часто непристойных представлений в Англии восходила к джигам и комическим куплетам елизаветинских театров и ярмарочных певцов. В XVIII веке появились «гармонические собрания», таверны и кабачки с музыкантами, но настоящая эпоха мюзик-холлов началась в 1840-х годах с «Кентербери Армс» и Суррейского мюзик-холла, где витали запахи джина, пота и апельсиновых корок. Харчевни 1850-х годов добавили к этой смеси ароматы яиц пашот на стейке и тушеных почек, щедро приправленных красным перцем. Концерты для завсегдатаев таверн и «ночных погребков» в целом соответствовали репутации этих заведений — самыми известными среди них были «Сайдер селларс» на Мейден-лейн и «Коул хоул» на Стрэнде, и в «Сайдер селларс», например, обожали песню «Сэм Холл» с припевом «Иди ты к черту!». Эти песни были такими же типично

викторианскими, как Хрустальный дворец.

От Стор-стрит до Хангерфорд-маркет мюзик-холлы стали главным развлечением публики. Начиная с 1850-х годов они переживали бурный расцвет, особенно в Ист-Энде, где царили суровые — если не сказать тяжелые — условия жизни. В одном только Бетнал-Грин насчитывалось четыре таких заведения — «Родни», «Лорд Нельсон», «Восточный» и «Аполлон».

Большой востребованностью пользовались артисты определенных амплуа, например *lion comique* (светский лев), или женские «трагикомические» номера. Они исполняли песни уличных торговцев и куплеты, написанные на диалекте кокни. Важную роль в представлении играл ведущий, который объявлял исполнителей, отпускал шутки на злобу дня и в целом побуждал публику выпивать и веселиться. Иногда напиток входил в стоимость входного билета — это называлось «мокрые деньги». Такие песни, как «Почему у нас в Лондоне нет моря» или «Моя тень — мой единственный приятель», не касались никаких памятных событий, но достоверно отражали настроения народа. Это были песни бедняков, песни тоски. Без них история XIX века была бы неполной.

Одним из самых известных артистов мюзик-холла был Дэн Лено, родившийся в 1860 году в районе Сент-Панкрас. Как и Чарльз Чаплин, он начинал свою карьеру танцовщиком сельской чечетки. Этот танец был чисто викторианским изобретением — он возник на ткацких мануфактурах, где работники, пытаясь согреться, постукивали ногами в такт работе станков. Вскоре это превратилось в полноценный танец. Соревнования по сельской чечетке пользовались особенной популярностью на севере Англии. Лено так выделялся среди других исполнителей своей скоростью и стилем, что в каком-то смысле стал лицом этого эксцентричного танца. Он выходил на сцену с четырех лет, а выступать с персональными номерами начал с одиннадцати — тогда его объявляли как исполнителя ирландских лирических баллад. Только в 1885 году он довел до совершенства первый номер, который принес ему известность, — в нем он изображал задерганную хлопотами женщину с песней «Куплю молока моим близнецам».

Ни о какой ностальгии по «старым добрым временам» 1860-х и 1870-х годов тут не было и речи: семья Лено постоянно балансировала на грани нищеты и голода. Самому Лено из детства боль-

ше всего запомнились долгие пешие переходы из одного города в другой в поисках работы, но, как в его лучших пантомимах, однажды настал день, когда удача улыбнулась ему, и его жизнь круто перевернулась. В 1880 году он выиграл титул чемпиона мира по сельской чечетке во Дворце принцессы в Лидсе, покорив всех скоростью и точностью своего танца. По словам одного критика, «он танцевал на сцене, он танцевал на постаменте, он танцевал на сланцевой плите, его снова и снова вызывали на бис, но за все время выступления он не произнес ни единого слова».

Его невысокий рост (5 футов 3 дюйма; 160 см), бледное напряженное лицо, плотно сжатые губы, тихий хриплый голос и внезапные прыжки назад стали изюминкой его выступлений. Он чередовал странные полубессвязные скороговорки с внезапными акробатическими коленцами. Он мог притвориться, что рыдает во весь голос, и вдруг замолчать с озадаченным выражением лица. Он олицетворял саму суть человеческой природы, вызывая жалость, сочувствие и безудержное веселье. Немногочисленные сохранившиеся записи его выступлений едва ли воздают ему должное, потому что вся соль в них заключалась в его общении с аудиторией. Он становился единым

целым с публикой. Он с поразительной точностью воспроизводил в своих номерах приметы обыденной, привычной жизни. «Где бы он ни вышел на сцену, — писал драматический критик, — будь то театр или мюзик-холл, он держит публику в своей власти. Зрители не могут отвести от него взгляд. Он безраздельно завладевает их вниманием».

Лучше всего об этом написал Макс Бирбом в Saturday Review:

> Даже не пытайтесь утверждать, что вы не полюбили Дэна Лено с первого взгляда. В тот момент, когда он с выражением дикой решимости выкидывает свои коленца, трепеща всем телом, словно от какой-то глубокой обиды, которую необходимо излить, все сердца принадлежат ему… Этот бедный маленький потрепанный человечек, обиженный, но такой отважный, с его писклявым голосом и нелепыми размашистыми жестами, побитый, но не сломленный, почти теряющий сознание, но упорно продолжающий погоню, — воплощение воли к жизни в мире, совершенно не сто-

ящем того, чтобы в нем жить…

Во второй половине XIX века в пабах появились зеркала и яркий свет, а мюзик-холлы украсились позолотой и лепниной, обзавелись балконами и ложами и в целом стали соответствовать представлениям рабочего класса о «дворцах», как их вскоре начали называть. Некоторых мюзик-холлов коснулся дух просвещения. «Кембриджский мюзик-холл» в Ливерпуле, построенный в 1866 году, украшали фрески «Наука», «Музыка» и «Времена года». Он открылся во время эпидемии тифа и американской хлопковой блокады, когда люди приветствовали любые развлечения, даже самого ребяческого толка. Выпивка и мюзик-холл служили для многих утешением. Они помогали сохранять «волю к жизни в мире, совершенно не стоящем того, чтобы в нем жить». Если больше ничего не помогает, давайте хотя бы разыграем пантомиму.

Дэн Лено приехал в Лондон в 1885 году и немедленно с головой ушел в работу. Он выступал в Бетнал-Грин, на Друри-Лейн и на Вестминстер-Бридж-роуд. Три выступления за один вечер не считались чем-то особенным (у некоторых артистов их могло было шесть или семь), и все

привыкли, что многие заканчивают свой номер словами: «Мне пора спешить в следующий зал». Джордж Роби вспоминал, что Лено «каждый вечер метался из одного заведения в другое. Я видел, как он выходит из экипажа, мокрый от пота, с совершенно измученным видом». Стоило ему подняться на сцену и увидеть перед собой публику, как он преображался. Он всегда был хлопотливым, неусидчивым человеком. Один театральный завсегдатай вспоминал: «Я могу не покривив душой сказать, что никогда не видел его совершенно спокойным. Он всегда был занят каким-то делом и всегда имел дело, которым нужно заняться сразу после этого. Он только что был здесь и уже собирался куда-то еще, а после должен был успеть в несколько других мест».

Он играл множество ролей и изображал в основном людей из низших классов или из низов среднего класса. О нем, как когда-то о Чарльзе Диккенсе, можно было сказать, что у него прямой доступ к уличной жизни. Четыре его самые известные роли — официант, покупатель в лавочке, торговец и домовладелица, самодовольно (или угрожающе?) обещавшая молодым постояльцам «хорошенько о них позаботиться». Все они были созданы воображением Лено, который сам

принадлежал, по сути, к лондонским низам, где жизнь текла между лавками с жареной рыбой, трактирами, ломбардами, ларьками продавцов устриц, палатками подержанной одежды и рынками. Только здесь он мог чувствовать себя как дома.

Дэн Лено ненадолго пережил Викторианскую эпоху, которую так точно представлял в своем творчестве. Его последняя роль Матушки Гусыни, возможно, способствовала нервному срыву, после которого его доставили в психиатрическую лечебницу Пекхэм-хаус. Там ему диагностировали сифилис, приведший к повреждениям психики. Свою роль сыграла и многолетняя, приобретенная едва ли не с детства привычка к пьянству. Алкоголизм был проклятием артистических кругов, — множество актеров скончалось от цирроза печени и сопутствующих болезней. Позднее Лено выпустили из больницы, и он продолжал выступать в смутной надежде на выздоровление. Ближе к концу жизни в очередной период душевного расстройства его заметили стоящим в очереди на одно из собственных представлений. Самую большую толпу зрителей собрал за собой его похоронный кортеж в первые дни ноября 1904 года.

К 1880-м годам грубый, разухабистый юмор мюзик-холлов постепенно отступил перед респектабельными вкусами растущего среднего класса. Писатели «Школы Punch» выпускали юмористические иллюстрированные брошюры и эссе, полные едкой иронии и даже сарказма, но при этом не подрывающие общественного порядка. Журнал Punch выходил раз в неделю начиная с 1841 года — он появился через 9 лет после принятия первого Закона об избирательной реформе. Для него писали Теккерей, Томас Худ, Дуглас Джерролд, Генри Мэйхью и некоторые члены кружка юмористов, собравшегося вокруг Диккенса. Впрочем, гораздо больше он прославился карикатурами, высмеивающими последние новости и текущую политику.

Одним из самых больших успехов журнала стала публикация «Дневника незначительного лица» (The Diary of a Nobody) Джорджа и Уидона Гроссмитов, который продолжают переиздавать и 120 лет спустя. Он написан в форме личного дневника клерка средних лет и скромного происхождения Чарльза Путера, который стремится к респектабельности и даже питает надежду стать джентльменом. Оба Гроссмита начинали как эстрадные артисты, а Джордж Гроссмит был

главным актером у Гилберта и Салливана, но весной 1888 года они решили попробовать себя на литературном поприще на страницах Punch. Поначалу критика приняла произведение без особенного восторга, — пожалуй, в каком-то смысле все описанное было слишком хорошо знакомо, чтобы над этим смеяться. Действительно, произведению не откажешь в злободневности. Постепенно «Дневник» приобрел известность, и в 1890-х годах его уже считали одним из самых важных произведений поздней Викторианской эпохи.

Из этого текста были заимствованы многие фразы, вошедшие в Оксфордский словарь английского языка, в том числе «меня выбросили на улицу», «определенный факт» и «славное местечко». Путеры жили в «Лаврах» на Брукфилд-террас, в Холлоуэе, в Ислингтоне (иллюстрировавший текст Уидон Гроссмит изобразил его как двухэтажный домик с небольшим палисадником, стоящий последним в ряду таких же домов). Этот район во второй половине XIX века стал особенно густонаселенным. Его можно было назвать новым пригородом, если бы не то обстоятельство, что довольно скоро Лондон окружил его со всех сторон. Жизнь здесь могла принести

писателю множество полезных наблюдений. «Дневник» добросовестно запечатлевает моду на спиритизм и столоверчение, а также поднятый одной газетой острый вопрос «Удачен ли ваш брак?». Во всех подробностях описаны интерьеры загородного дома, от гипсовых оленьих рогов, покрашенных в коричневый цвет, до голубых салфеток под вазами. Разумеется, не обошлось без хризантем, велосипедов и чучел птиц. Гроссмиты досконально разобрали образ «милого дома» как путеводной звезды, к которой стремился викторианец, и места, где он мог обрести покой.

Кроме того, «Дневник незначительного лица» можно рассматривать как важный вклад в новое направление реалистичной художественной литературы. Великий мастер английского реализма Джордж Гиссинг писал, что хотел бы запечатлеть «совершенно негероическую повседневную жизнь великого множества людей, пребывающих во власти ничтожных обстоятельств». Такую же цель ставили перед собой авторы «Дневника». На примере этого узкого круга Гиссинг и Гроссмиты раскрывали одинаковые проблемы движения вверх по социальной лестнице, брака и воспитания детей, медленного переосмысления понятия класса на рубеже веков.

Приведем несколько подходящих выдержек из «Дневника»:

— Сегодня опять играли в «чепуху». Не так успешно, как вчера: Гоуинг несколько раз едва не перешел границы приличий.

— Во всяком случае, папа был джентльменом.

— Мне стало так тоскливо, что я подумал: схожу-ка я посмотреть на Полли Пресуэлл, Несравненную Звездочку Англии.

— …и поскольку я в этом доме хозяин, я полагаю, ты позволишь мне взять вожжи этого предприятия в свои руки.

— На мой взгляд, этот фасон довольно нескромный. Пожалуй, ей следовало бы… прикрыть плечи каким-нибудь кружевом.

— Я в превосходном настроении, готов веселиться и петь, как новенькая скрипка, а если меня еще немножко «наканифолить», я буду ни дать ни взять инструмент Страдивари!

— О, это называется «маникюр». Это сейчас безумно модно.

В книге мы встречаем множество узнаваемых образов: шляпы по три шиллинга, любительские домашние спектакли, подержанный сюртук, любовь к послеобеденным играм, импровизированное пение, сварливые кэбмены, ежегодная неделя в Бродстейрсе (чуть более приличное место, чем Маргит), бесконечные каламбуры. Именно так текла жизнь на этом, как поется в песне, замечательном, маленьком, тесном островке. Текст полон новых словечек и выражений, максимально приближающих читателя к языку поздневикторианских респектабельных классов с их беззаботной шутливостью и сдержанным неудовольствием, верностью тому, что принято считать хорошим вкусом, и ужасом при столкновении с малейшим намеком на оригинальность. Впрочем, «Дневник незначительного лица» дает понять, что над языковыми и бытовыми условностями того времени посмеивались даже те, кто их придерживался.

В этот период, куда бы мы ни бросили взгляд, мы обнаруживаем новые учреждения, общества и клубы, удовлетворяющие, как сказал Дэн Лено о лондонском Тауэре, «давно назревшую потребность». В 1857 году для всех, кого манила жизнь в тени долины книжной, открылся Чи-

тальный зал Британского музея. Любой человек, от Карла Маркса до Оскара Уайльда, имевший тягу к знаниям и не имевший другого места, где можно было бы их получить, мог приобрести читательский билет. Комната для чтения существовала в Британском музее с 1759 года, но тогда это было сырое и темное помещение, заставленное чучелами птиц. В хорошо знакомом всем виде Читальный зал появился в 1857 году и функционировал до тех пор, пока эстафету не перехватила Британская библиотека в 1973 году. Случайно или с умыслом его круглый купол диаметром 140 футов (42,6 м) и высотой 106 футов (32 м) напоминал формой гигантский череп. Это было выдающееся произведение викторианского инженерного искусства. Ротонда Читального зала всего на 2 фута (0,6 м) меньше римского Пантеона, но больше собора Святого Петра и храма Святой Софии в Константинополе.

Читальный зал стал настоящим генератором мыслей и идей, питавшихся расчетами, выводами и теориями, витавшими в воздухе в середине Викторианской эпохи. Карл Маркс приходил сюда каждый день в течение 30 лет, чтобы досконально изучить течения и водовороты экономической истории. Сталин, Ленин и Троцкий приходили

сюда в поисках исторической мудрости. Весь Блумсбери, расположенный в непосредственной близости от Читального зала, был, словно магнит, заряжен коммунистическими идеями: вокруг большого купола возникали собрания, мероприятия, клубы и комитеты. Середина и конец XIX века в Англии были настолько щедрым временем, что она готова была снисходительно смотреть даже на затесавшегося в середину политического врага. Неудивительно, что Бернард Шоу оставил треть своего состояния, как он сам выразился, «великолепному коммунистическому учреждению».

Читальный зал оказывал на окрестные районы почти анальгезирующее действие: на соседних улицах возникали многочисленные теософские, сведенборгианские, эзотерические и спиритические организации, немедленно и гармонично вписывавшиеся в общую картину. В этом состояла еще одна отличительная особенность Англии XIX века. Например, Герметический орден Золотой Зари основал свою штаб-квартиру в Лондоне прямо напротив Читального зала.

В открывшийся для публики Читальный зал со всех сторон начали стекаться книги. Их жертвовали, завещали, покупали, но главным

источником пополнения библиотеки был Закон об авторском праве, требовавший отправлять в нее один экземпляр каждой опубликованной книги от каждого издателя. Конечно, это осуждали как «своеволие», но это был хороший пример общего движения страны к бюрократизации. В результате проблема хранения стала, пожалуй, величайшей из тех, с которыми когда-либо сталкивались библиотекари. Сам читальный зал был рассчитан на 303 читателя. Еще одной крупной проблемой стало освещение. Искусственное освещение в зале было запрещено, и в дни особенно густого тумана Читальный зал закрывался, а читателям приходилось ни с чем уходить во тьму. В ноябре 1879 года под куполом раздались аплодисменты, приветствуя впервые загоревшиеся в Читальном зале электрические лампы. Как писал Джордж Гиссинг, «электрический свет наполнил пространство потоками белизны и непрекращающегося гудения». Однако атмосфера под куполом была довольно тяжелой, и некоторые страдали так называемыми «музейными мигренями». Алджернон Суинберн однажды потерял сознание и ударился головой о стол.

Долгие годы эту библиотеку было принято считать последней инстанцией, куда читателей

допускали лишь в том случае, если они не могли найти нужную книгу в других местах. Позднее правила смягчились, хотя это не принесло заведению большой пользы, но появились другие читатели. Чарльз Диккенс замечал, что к книгам часто тянет «людей, одетых прилично, но бедно». Возможно, их привлекало тепло, или уютное помещение, или радость участия в функционировании своего рода общего разума. Это создавало ощущение сопричастности какому-то большому делу, совершаемому вместе с остальными читателями. Многим викторианцам был знаком этот опыт. Джордж Гиссинг писал в «Частных записках Генри Райкрофта» (The Private Papers of Henry Ryecroft; 1903): «В то время, когда я буквально голодал в Лондоне и мне казалось, что я никогда не смогу зарабатывать на жизнь своим пером, сколько дней я провел в Британском музее, читая одну книгу за другой с таким незаинтересованным видом, словно мне было на это наплевать!»

Арнольд Беннетт так описывал посетителей Читального зала: «Епископы, государственные деятели, ученые, историки, дотошные педанты, популярные авторы, чьи модные экипажи ждут неподалеку, журналисты, студенты-медики, студенты-юристы, священники, наемные писаки,

коротко стриженные женщины в черных фартуках и просто бездельники — все одинаково близорукие, одинаково молчаливые». Впрочем, в библиотеке не всегда царила мертвая тишина. Время от времени проносился шум открываемых и перелистываемых книг, похожий на шелест осенних листьев. Страдающие хроническими болезнями люди то и дело кашляли, чихали и сморкались. Иногда голоса становились громче: кто-то спрашивал, куда пропала нужная книга, или возмущался, почему ее не выдают так долго. Иногда книги роняли. Что касается бесконечного шума шагов, здесь было найдено идеальное викторианское решение: чтобы заглушить их, полы покрыли материалом под названием «камптуликон», сделанным из смеси пробки и резины.

Сюда заглядывали и вымышленные персонажи. В рассказе Макса Бирбома «Енох Сомс» (опубликован в 1916 году, действие происходит в 1895 году) герой, заключив сделку с дьяволом, снова приходит в библиотеку через сто лет после своей смерти, чтобы посмотреть, появилось ли его имя в общем книжном каталоге. Джонатан Харкер в романе Брэма Стокера «Дракула» (1897), сидя под куполом Читального зала, изучал карты Трансильвании, но так и не смог найти на них за-

мок графа Дракулы. О том, какой период считать периодом расцвета Читального зала, нет единого мнения, но он примерно совпал с расцветом циркулярной библиотеки Муди.

Библиотека Муди, в которой книги выдавали на дом, располагалась в одной минуте ходьбы от парадного входа Британского музея на углу Музеум-стрит и может считаться своего рода коммерческим придатком к основной библиотеке. Здесь посетители могли взять на время новейшую художественную литературу, пока еще не появившуюся в читальном зале. Спрос был огромен, и последние десятилетия XIX века стали настоящим золотым веком некогда великого, но теперь основательно забытого викторианского феномена — романа в трех томах.

Чарльз Эдвард Муди открыл свою первую книжную лавку в 1842 году, в возрасте 22 лет. За 1 гинею в год он предлагал посетителям возможность брать напрокат одну книгу за раз, подписка за 2 гинеи позволяла брать одновременно по четыре книги. Вскоре он обнаружил, что художественная литература — настоящий опиум для народа. В магазинах романы стоили так дорого, что платная подписка Муди имела мгновенный успех, хотя его отказ добавлять в

коллекцию «аморальные» книги или романы «сомнительного характера и низкого качества» оказал своеобразное воздействие на рынок новой художественной литературы.

Впрочем, он благоприятно повлиял на популярность научных изданий: для своей библиотеки Муди приобрел, например, 500 экземпляров книги Дарвина «Происхождение видов». Книги брали не только частные лица — их доставляли в институты, читательские клубы, книжные клубы, деловые клубы и пр. Одновременно в обращении находилось около трех с половиной миллионов томов. Книги путешествовали по разным уголкам Европы, Америки и Британской империи. В 1870 году Энтони Троллоп заявил: «Мы все, от премьер-министра до последней посудомойки, стали нацией читателей романов».

Разумеется, прозу не обходили вниманием и в XVIII веке, но XIX век стал временем расцвета художественной литературы. Муди может некоторым образом претендовать на лавры человека, который вывел чтение на массовый рынок, в то время как раньше оно было удовольствием для избранных. Произведения богословов и философов, историков и биографов всегда привлекали внимание, но, возможно, широкий поток книг,

выпускаемых Муди и другими циркулярными библиотеками, помог им медленно продвинуться наверх. Большая часть художественной литературы в библиотеке Муди была не самого высокого качества, и некоторые считали ее просто мусором. Однако распространение печатного слова в стране косвенно способствовало росту общего уровня грамотности и образования. Со временем возник класс, известный как средний читатель. Генри Джеймс описывал наступление художественной литературы в алармистских тонах: «Этот поток все ширится и прибывает, угрожая, как это часто случается, затопить собой все вокруг». Проза того времени была линейной, последовательной, наполненной смыслами и отсылками. Она могла описывать, призывать, разъяснять, распространять и отменять. Это был язык власти.

Муди заказывал трехтомники у Томаса Харди, Джорджа Мередита и Генри Джеймса (не факт, что они сами выбрали бы именно такую форму). Для издателя это был просто новый способ делать деньги — три тома вместо одного по цене 31 шиллинг и 6 пенсов за комплект. Кроме того, это обеспечивало крупные заказы от издателей и стабильные продажи для авторов. Однако нрав-

ственная цензура Муди вызывала раздражение. Например, он категорически отказывался принимать «произведения, которые могли бы вызвать румянец на щеках молодой леди», — таким образом, за бортом сразу оставалось множество художественных произведений, особенно континентальных авторов. Одиночный том стал считаться низкой литературной формой, больше подходящей для уличного киоска и не идущей ни в какое сравнение с полным достоинства трехтомником. В книжных палатках на вокзалах продавали дешевые издания в желтой обложке, «ужасы за шиллинг», бульварные романы и остросюжетные приключенческие повести, главной целью которых было «наэлектризовать нервы» читателя. Персонажи в них нередко пребывали в состоянии нервного расстройства и передавали свои страхи читателю. Уилки Коллинз интересовался темой двойников и раздвоения личности, изучал мономании и галлюцинации, бессознательные ассоциации и вытесненные воспоминания за 30 лет до того, как этим занялся Фрейд.

Однако этот формат привлекал не всех: некоторые авторы предпочитали биться над своими тремя томами и в попытках получить нужный

объем текста вводили в них длинные разговоры, долгие описания, пространные нравственные размышления, а также параллельные сюжетные линии. В 1853 году Чарльз Рид, один из самых успешных романистов столетия, жаловался: «Роман в трех томах — пятно позора на интеллекте нации, последний пережиток свойственного нашим предкам многословия и привычки к утомительным витиеватым рассуждениям. Главное правило романа в трех томах: пишите не только то, что вы хотите сказать, но и то, чего вполне можно было не говорить». Эти томики лежали на всех столах, спинках диванов и ручках кресел и даже на прикроватных столиках. Они тихо угасли сами собой лишь к 1895 году, когда появились другие формы литературы.

18
«Бойцовый петух»

К концу Войны за независимость Индии стоявшее за Палмерстоном большинство держалось не так прочно, как могло показаться, а сам он уже не был для них той связующей силой, что раньше. «Связка прутьев», как называли его партию, выскальзывала из его сжатой руки: вместе они были несокрушимы, по отдельности их можно было легко переломать. От этого периода остался письменный портрет Палмерстона: «Он выглядел как старик, как человек, за пятьдесят лет непрерывной борьбы израсходовавший почти все свои силы, но способный держаться до определенного момента на одной только силе воли, привычно заменяющей ему все остальное. Он выглядел как человек, решивший править до самого конца. На его лице не было ни тени веселья». На званом ужине Королевского литературного фонда Тургенев заметил, что у него «деревянное, жесткое и бесчувственное» лицо, — этим мнением он поделился с Виктором Гюго. Однако Палмерстон имел отличное чувство юмора. Например, о

бразильском правительстве он говорил, что оно напоминает «торговку рыбой из Биллингсгейта, схваченную полицейским за какую-то оплошность. Она ругается, размахивает кулаками, зовет на помощь толпу и клянется, что скорее умрет на месте, чем пойдет в тюрьму. Но, почувствовав на плече твердую хватку полицейского и поняв, что он настроен серьезно, она идет за ним кротко, как ягненок, хотя на углу каждой улицы снова принимается сквернословить». Он по-прежнему обладал талантом превращать внешнюю политику в шоу Панча и Джуди, в котором сам часто играл роль драчливого Панча.

Встречный удар пришел с неожиданной стороны. В январе 1858 года итальянский националист Феличе Орсини разработал план убийства Наполеона III. Ему удалось (в основном благодаря невнимательности полиции) собрать оружие и людей. Сам Орсини отправился в Англию, где убедил сочувствующего оружейника изготовить 6 самодельных бомб по его проекту. Когда заговор открылся, французы впали в один из свойственных им припадков истерии, направленной в основном против вероломных англичан. Палмерстон, опасаясь обвинений в том, что его страна укрывает революционеров, и желая сохранить

лицо перед императором, выдвинул в парламенте Билль о заговорах. Он потерпел поражение во втором чтении, и Пэм пал. Журналист Уильям Уайт отмечал: «Великий министр, который еще вчера был на гребне популярности, опустился так низко, что даже среди его бывших друзей вряд ли найдется человек, который скажет: “Боже, спаси его”. Глядя в будущее, люди не видят в нем Палмерстона». После изобретения калейдоскопа в 1817 году политическую жизнь страны часто сравнивали с этой игрушкой.

Поражение Палмерстона стало огромным потрясением как для оппозиции, так и для правительства. Дизраэли и Дерби, известные в просторечии как Еврей и Жокей, смирились с непредвиденным поворотом и не стали отказываться от власти. Дизраэли стал канцлером казначейства в новом консервативном кабинете. Первые шаги нового правительства были не слишком уверенными. Дизраэли выдвинул в парламенте собственный билль об Индии, в числе прочего предложив создать Совет по делам Индии, часть которого будут избирать домовладельцы крупных английских городов. В ответ парламент разразился хохотом. Свидетель этого события Уильям Фрейзер писал: «Читая Hansard,

вряд ли кто-нибудь сможет по-настоящему представить себе, что тогда произошло. Поднялся невероятный шум: аплодисменты, стоны, смех. Мы посчитали себя вправе использовать самые нечленораздельные средства, чтобы наиболее полно выразить, насколько бесполезным нам представляется это предложение». Иными словами, громкие крики и грубые звуки во время заседаний тогда были в порядке вещей. Дерби стал премьер-министром, но по-прежнему оставался лидером меньшинства.

Летом 1858 года на первый план снова вышел вопрос санитарного состояния столицы. То было лето «Великого зловония», когда бурный поток фекалий и других загрязнений животного происхождения окутал миазмами Темзу и весь город. Сточные воды из всех жилых домов направлялись в реку, где скапливались и застаивались. Эту же воду, имевшую, по словам очевидцев, «коричневатый цвет», использовали для питья и стирки одежды. От запаха невозможно было укрыться. В коридорах палаты общин видели Дизраэли, согнувшегося пополам и прижимающего к лицу платок. Виктория и Альберт собирались отправиться на прогулку по реке, но зловоние заставило их повернуть назад. Все запахи в то

время считали болезнетворными, и именно эти тлетворные испарения обвиняли в недавних вспышках холеры в Лондоне. По вредоносности они соперничали с вездесущим лошадиным навозом, запах которого долгое время считался характерным запахом города.

Берега реки были покрыты экскрементами, и даже выше по течению вплоть до Теддингтонского шлюза слой нечистот достигал толщины 6 дюймов (15 см) и был «черным, как чернила». Так же как с Крымской войной, никто не брал на себя ответственность за происходящее. Это было ничейное дерьмо. Система засорилась сама собой, но кто-то где-то решил, что с этим все же надо что-то делать. Парламентский акт 1863 года предписывал создать в Лондоне обширную разветвленную систему канализационных сетей. Спасителем города был выбран строительный инженер Джозеф Базалгет, разработавший гениальную схему дренажа, и он полностью оправдал возложенные на него ожидания.

«Великое зловоние» можно поставить в один ряд еще с одним ужасом 1858 года. В этом году общество охватила «лунатическая паника»: внимание публики и газет внезапно привлек тот факт, что нормальные люди нередко бесследно

исчезают в сумасшедших домах — как правило, по инициативе своих алчных родственников. О том, с какой легкостью это можно устроить, писал в числе прочих Уилки Коллинз. «Доказать, что несносный родственник не в своем уме, несложно, — замечали в Lloyd's Weekly в августе 1858 года. — Еще проще усугубить тривиальные симптомы непрерывным дурным обращением».

В мире, полном лишений и страданий, безумие имело все шансы стать эпидемией. Широко отмечалось явное увеличение случаев «расстройства мозга». В Edinburgh Review предположили, что это результат повышенной тревожности и жесткой конкуренции в общественной и коммерческой сфере жизни. Статья отмечала, что безумие «проистекает из крайнего напряжения, которому подвержены все классы общества в непрекращающейся борьбе за свое положение и даже жизнь». Ходили слухи, что даже королеву Викторию одолел недуг ее предка и она впала в буйство, вследствие чего ее пришлось насильно удерживать в палате, обитой войлоком. О помешательстве писали в журналах, романах и медицинских учебниках. Наряду с холерой его можно считать одним из главных медицинских символов XIX века. Лучшим лекарством от него

считали лауданум, поступавший в продажу под названием «Капли Баттли» и «Успокоительная настойка матушки Бейли».

Дерби оставался консервативным премьер-министром в течение 15 месяцев, но главное действо разворачивалось за кулисами, где боролись за власть Палмерстон, Рассел и другие амбициозные лидеры либералов. Рассел осуждал Палмерстона за «легкомыслие и самонадеянность», но предостерегал против любой открытой оппозиции консерваторам. Дерби никогда не получал большинства, но был не лишен амбиций. В марте 1859 года в попытке поддержать консервативных избирателей они с Дизраэли представили Билль о парламентских выборах, который должен был дать равные права как городским, так и сельским голосующим. Либералы и пилиты, объединившись, проголосовали против этого предложения (позднее о нем снова вспомнили в 1884 году). Дерби был вынужден уйти в отставку, на следующих апрельских выборах консерваторы получили еще 30 мест, но по-прежнему оставались в меньшинстве.

Четыре года назад Гладстон уже говорил: «Отличительная особенность этого необычайного положения вещей состоит в том, что политиче-

ские разногласия возникают не между разными партиями, но внутри их». 6 июня 1859 года либералы, радикалы и большая часть тех, кого по-прежнему называли пилитами, собрались на решающую встречу в гостинице Уиллиса на Сент-Джеймс-стрит, где состоялось официальное крещение Либеральной партии. Формально они собирались для того, чтобы обсудить «итальянский вопрос», то есть способы поддержать итальянцев в борьбе против австрийских хозяев, но истинный смысл этой встречи для нас раскрывает The Times:

> Затем лорд Джон Рассел обратился к собравшимся и, решительно осудив дальнейшее пребывание у власти меньшинства, что он охарактеризовал как самое неконституционное и опасное положение вещей, выразил сердечное желание сотрудничать с лордом Палмерстоном, если этот благородный лорд будет призван сформировать администрацию, или воспользоваться его помощью, если управление делами страны возложат на него самого. Его светлость в своей речи обратился к положению Либеральной

партии и выразил мнение, что в случае формирования либерального правительства необходимо, чтобы в нем были представлены три основные части этой партии: старые виги, пилиты и передовые либералы.

Начиная с этого времени либералы оставались господствующей партией вплоть до эпохи Дизраэли. Можно с некоторой уверенностью сказать, что теперь существовали только две партии, Либеральная и Консервативная, а оставшиеся пилиты постепенно сходили со сцены. Либеральных лидеров Рассела и Палмерстона королева называла не иначе как «два ужасных старика». Последним настоящим пилитом, пожалуй, был ее с некоторых пор жалующийся на нездоровье супруг.

В том же месяце Дерби вынесли вотум недоверия, и Палмерстон в возрасте 75 лет во второй раз стал премьер-министром. Он умел удивлять. Одни считали его просто старым паяцем, слабо ковыляющим по коридорам Уайтхолла, другие называли его «лорд Купидон», намекая на его моложавый вид. Для них он олицетворял особую английскую натуру, жизнерадостную до самого

конца. Он стал в правительстве «постоянной величиной», вековым камнем. Он заманил Гладстона в казначейство, хотя их вряд ли можно было назвать соратниками. Один из депутатов вспоминал, что на первые заседания кабинета Гладстон являлся с ворохом разнообразных предложений. Пока он говорил, Палмерстон рассматривал официальные документы, а когда Гладстон умолкал, он стучал по столу и произносил: «А теперь, милорды и джентльмены, давайте приступим к делу». По некоторым сведениям, он также говорил лорду Шефтсбери: «Гладстон скоро устроит все по-своему, и, если он займет мое место, нас ждут очень странные дела». Это был вопрос не политики, но личности, которая, в сущности, играет в политике важнейшую роль.

Дерби и Дизраэли не хотели смещать Палмерстона, боясь, что от этого станет только хуже, поэтому они заключили с премьер-министром трехлетнее «перемирие», разумеется не утратив своих прав лояльной оппозиции. Дерби советовал Дизраэли уговорить Палмерстона опереться на поддержку консерваторов — «учитывая преклонный возраст и немощь Палмерстона, чем чаще они смогут выступать одним лобби против радикалов, тем будет лучше». Он сам также со-

общил Палмерстону, что тот может полагаться на консерваторов в любой момент, когда ему угрожают требования радикалов. Однако к этому времени популярность Палмерстона восстановилась настолько, что он вполне мог без этого обойтись. Однажды он прогуливался с коллегой по Хрустальному дворцу. Ставший свидетелем этого случая виконт Оссингтон писал: «Когда он появился в поле зрения, всех, кто был в здании — мужчин и женщин, молодых и старых, — как будто пронзило электрическим током: “Лорд Палмерстон! Здесь лорд Палмерстон! Браво! Ура! Да здравствует лорд Палмерстон!”»

Так или иначе, главные действующие лица Вестминстера были крепко связаны друг с другом «итальянским вопросом» и вероломством австрийских хозяев Италии, хотя стороны этого конфликта ни у кого не вызывали особенной симпатии. Во внешней политике так было всегда. Иногда Англия нарушала собственные правила, но по большей части она все же старалась держаться в стороне от зарубежных конфликтов, которые чаще всего оканчивались ничем. Писатель Джон Трелони даже предполагал, что внешняя политика помогает правительству держаться на плаву в полном опасностей ми-

ре: «Очень многие в этот момент испытывают огромные опасения по поводу текущих перемен и их возможных последствий. Америка, Франция, Италия, Польша, Венгрия — опасность повсюду. Кто откроет первым танцем этот бал смерти?» Таким человеком стал Наполеон III, объявивший войну Австрии. Его поддерживал новый союзник — Сардиния, стремившаяся вырвать итальянские территории из пасти Австрии. После поражения при Монтебелло и Сольферино австрийцам пришлось смириться с очередным переходом земель от одного властителя к другому. Так был устроен мир. А сельский житель по-прежнему смотрел на небо в ожидании дождя.

В начале 1861 года в Annual Register с воодушевлением писали: «Внутреннее состояние страны в начале 1861 года в целом благополучное и спокойное… Состояние сельскохозяйственных и производственных интересов… очевидно стабильное. Если в какое-то время ранее существовала потребность в конституционных изменениях, то теперь она, по-видимому, совершенно иссякла». Тех, кто предсказывал наступление спокойных и довольных времен, ждало жестокое разочарование. Весной и летом этого года снова возникла опасность французского вторжения, которая

вызвала панику среди легковерных и могла бы расстроить финансы страны, если бы их не охранял непоколебимый Гладстон. В этом же году он отменил акциз на бумагу, что, по словам самого Гладстона, привело к «живому, энергичному, постоянному и успешному развитию в стране дешевой прессы. Самые разнообразные и многочисленные слои населения обнаружили, что новости общественной жизни каждое утро могут поступать к ним прямо в руки, и это зажгло для них новый свет, открыло новую эпоху в жизни».

Страх перед Францией сменился гораздо более сильным страхом разрыва отношений с Соединенными Штатами. В мае 1861 года там разразилась Гражданская война. Симпатии в Вестминстере разделились. Когда семь рабовладельческих штатов вышли из Союза, у английской администрации возникла проблема, еще более обострившаяся в связи с расколом общественного мнения. Значительная часть публики поддерживала Юг, с которым была налажена легкая и прибыльная торговля (вопрос рабства в расчет не принимали). Остальные симпатизировали более современному Северу с его деловыми успехами и инстинктивным стремлением к экономическому и социальному прогрессу. Так или

иначе, большинство (или как минимум большее меньшинство) в кабинете министров поддерживало Юг на том прагматическом основании, что Север вряд ли сможет победить Конфедерацию.

Хотя Англия провозгласила нейтралитет, это заявление вскоре было серьезно скомпрометировано, когда корабль северян перехватил двух видных южных политиков на пути в Англию. К счастью, новости тогда распространялись медленно, и это не разожгло огонь войны еще сильнее. Все больше людей считало, что необходимо держаться как можно дальше от этого столкновения, благополучно забывая, что именно английские государственные деятели и английский парламент способствовали приходу рабства в эти далекие земли. Рабочие поддерживали Север, промышленники — Юг. Работники ткацких фабрик Манчестера и других городов лишились мест из-за резкого сокращения поставок хлопка и, если можно так сказать, испытывали по поводу американской войны смешанные чувства. Палмерстон, стоявший на стороне южан, был убежден, что Север никогда не победит, и отпускал немало шуток в адрес воюющих сторон. Диккенс также предпочитал южан, полагая, что только эти люди способны обуздать чернокожее

население. Гладстон в один из свойственных ему моментов загадочной глупости заявил: «Джефферсон Дэвис и другие лидеры Юга создали армию. Судя по всему, они также создали флот. Но они создали и нечто большее, чем армия и флот вместе взятые, — они создали нацию». Однако военные успехи северян напомнили Палмерстону, что было бы глупо поддерживать проигравшую сторону.

Принц Альберт немало сделал для разрешения этого запутанного и неоднозначного конфликта, но это была едва ли не последняя услуга, оказанная им приемной родине. В декабре 1861 года он умер на 22-м году брака с Викторией. Лишь четыре года назад его сделали принцем-консортом, формально для того, чтобы укрепить его позиции в управлении страной. Некоторые говорили, что он, по сути, исполнял обязанности короля, хотя королеве вряд ли понравилось бы такое утверждение. Пожалуй, справедливо будет сказать, что Альберт занимался министерскими и правительственными вопросами, которыми не слишком интересовалась его жена.

Однако она жалела, что возложила такое бремя на его, как она называла это, «бедный милый желудок». Альберт долгие годы страдал синдромом

раздраженного желудка, не позволявшим ему нормально переваривать пищу и вызывавшим болезненные спазмы. В настоящее время исследователи считают, что у него был рак брюшной полости или болезнь Крона. Кроме того, у него часто болели зубы и воспалялись десны. Должно быть, он понимал, что конец близок, но вряд ли ему хотелось сообщать подобные новости королеве. «Я не цепляюсь за жизнь, — говорил он ей, — но ты держишься за нее, и очень крепко».

Викторию позвали в Голубую комнату Виндзорского замка, где лежал Альберт. «О да, это смерть, — сказала она. — Я знаю это. Я видела ее раньше». Он медленно угасал, подкрепляясь только бренди. Мельбурн однажды сказал ей: «Английские врачи убивают тебя, французские просто позволяют тебе умереть». Английские врачи, как обычно поставленные в тупик наблюдаемыми симптомами, пытались смягчить боль словами утешения.

После смерти мужа королева сразу надела траур и не снимала его много лет. Она соткала кокон, из которого годы спустя вылетела черная бабочка. Она отменила все свои государственные и личные дела. Вся страна, от лавочек на углу улиц до огромных новых универмагов, задрапи-

ровалась в черное. Театры, концерты и массовые развлечения были отменены. Королева на два года совершенно отошла от общественной жизни и появлялась только на открытии очередной статуи или бюста Альберта. Это был подлинно артурианский, теннисоновский траур. Она плакала о том, что теперь некому было называть ее Викторией, о потере единственного человека, на которого могла безоговорочно положиться. Изредка ее видели на заднем сиденье ландо — маленький черный комочек с жалким лицом. Она не вела никаких дел и нигде не появлялась, пока некоторые не начали задаваться вопросом, осталась ли у нее вообще какая-нибудь цель в жизни.

Пытаясь предложить ей поучаствовать в том или ином публичном мероприятии, ее министры наталкивались на несгибаемое сопротивление. Виктория писала:

> Лорду Расселу и лорду Палмерстону пришлось согласиться, что от женщины, *лишившейся мужа*, обремененной тяготами правления, слабой здоровьем и *совершенно неспособной* вынести *хлопоты* представительства, нельзя ожидать,

чтобы она развлекала принцев *так, как* прежде. Следовательно, она не может их пригласить. Она *сама* жестоко страдает из-за того, что *не имеет сил* поступить так, как *должно*, — и все же она *не может* этого сделать.

У нее был наследник Альберт Эдуард, или Берти, которого она считала даже меньше чем бесполезным. Однажды она посчитала нужным записать в дневнике: «Он совершенно не красавец. У него чересчур большой нос и рот, он слишком сильно приглаживает волосы и одевается как пугало, — право, его можно назвать как угодно, только не красивым».

Она никогда не обращалась к нему за советом или утешением. После смерти мужа горе привело ее почти в каталептическое состояние. Если кто-то осмеливался дать ей совет или рекомендацию, она приходила в ярость. Она думала только о том, как сохранить память о муже — в его честь было открыто множество парков и памятников. Судя по всему, мягкие попытки Альберта наставить ее в искусстве и мастерстве правления по большей части прошли впустую, и к середине 1860-х годов республиканцы Англии обрели второе дыхание

всецело благодаря упрямству ее величества. Однако неверно было бы говорить, что она совсем отошла от дел. Правивший во всех уголках Европы разветвленный королевский клан убедил ее, нравится ей это или нет, вернуться к участию в жизни мира, но у нее было одно условие. Она писала: «Я также хочу повторить *одну* вещь и подчеркнуть, что *это* мое твердое и *бесповоротное* решение: *его* желания, *его* планы, касающиеся всех вещей, *его* взгляды, касающиеся *всех* вещей, станут моим *законом*!»

Гладстон укреплял свои позиции в кабинете министров. Разрабатывая бюджеты, он действовал осторожно, непреклонно защищая при этом свободу торговли и интересы империи. Он понимал, что у него нет шансов вытеснить Палмерстона и ему придется просто дождаться его смерти (которая, вероятно, была уже не за горами). Что касается дальнейшей избирательной реформы, которую поддерживал Гладстон, премьер-министр на время отложил ее в сторону. Торопиться было некуда. Реформа имела непростую историю. Дважды ею безуспешно пытался заняться Рассел, Палмерстон собирался провести ее, но тоже не выполнил своего обещания. Вероятно, имело смысл поднять этот вопрос еще

раз, когда публика будет настроена флегматично, а значит, не возникнет никаких серьезных проблем. Закон о реформе 1832 года не принес предсказанных результатов, и не было никаких оснований полагать, что новый закон позволит получить их сейчас. В любом случае бесконечно злить промышленный рабочий класс было неразумно и нецелесообразно.

Рано или поздно перемены должны произойти, и чем раньше это случается, тем более политизированным становится этот процесс. В Англии давление нарастало медленно и постепенно. В октябре 1858 года Энгельс писал Марксу: «Британский рабочий класс, в сущности, делается все более и более буржуазным». Нельзя сказать, что это позволило властям вздохнуть спокойно, поскольку было совершенно ясно: чем более «буржуазен» рабочий, тем больше он требует определенных гражданских прав. Еще один наблюдатель середины XIX века вносит в эту картину завершающий штрих. Генри Мэйхью писал:

> …Ремесленники почти все до единого горячо увлекаются политикой. Они достаточно образованны и рассудительны,

чтобы осознавать свою важность для государства. Неквалифицированные рабочие — совершенно другой класс людей. Они пока интересуются политикой не больше, чем лакеи, и, вместо того чтобы придерживаться отчаянно демократических взглядов, похоже, не имеют вообще никакого мнения о политике, а если имеют, то выступают скорее за то, чтобы «все оставалось как есть», а не за власть трудящихся.

Палмерстон периодически приезжал в регионы, чтобы встретиться с народом, и обычно заявлял, что их воодушевление «растрогало» и «утешило» его. Говоря языком боксеров того времени, он был «бойцовым петухом», и ему оставалось выиграть еще несколько раундов, но он пока не был к этому готов.

19
Неожиданная революция

Виконт Палмерстон и лорд Джон Рассел, министр иностранных дел в администрации Палмерстона, соблюдали главный принцип внешней политики и старались держаться подальше от неприятностей. Они не стали ввязываться в итальянский конфликт и, что еще важнее, не стали ввязываться в войну в Соединенных Штатах, грозившую обернуться бесконечными затруднениями. Когда Наполеон III предложил европейским армиям пересечь Атлантику, в Министерстве иностранных дел наступила кратковременная паника, прежде чем все сообразили, что это совершенно нереальная идея. В остальном расстановка сил оставалась прежней. Франция все так же была врагом, а с Германией Англию все так же соединяла обширная и запутанная сеть королевских родственных связей. Впрочем, нежелание англичан участвовать в европейских войнах не означало, что военные силы страны бездействовали. Редко выдавался год, когда армии и флоту не приходилось отражать опас-

ности, грозившие империи в далеких землях от Афганистана до Зулуленда. По этому вопросу не возникало никаких политических разногласий. «Партия тори, — говорил Дизраэли, — занимает верное положение только тогда, когда представляет общественные принципы. Только тогда она по-настоящему непобедима. Только тогда она может поддерживать престол и Церковь, величие империи, свободу страны и право большинства».

Когда в январе 1863 года Россия заявила о своих конституционных правах на Польшу и польские революционеры развязали ожесточенную гражданскую войну, Англия смотрела на происходящее с ужасом. Однако она ограничилась лишь расплывчатыми угрозами. Когда Рассел осторожно поинтересовался у австрийского посла, не собирается ли Австрия применить силу против России, посол в ответ задал ему такой же вопрос. «Как я и ожидал, — сообщал он затем, — лорд Рассел сказал, что они пока еще не изучали подобную возможность, и, не будучи готовым ответить мне, он просит меня считать, что он не задавал своего вопроса». Так велик был страх оказаться втянутыми в чужие дела.

В следующие два или три года, пока немецкие и австрийские армии маршировали по Европе, по-

зиция Англии не изменилась. В эпоху, когда весь мир преобразился благодаря научному и коммерческому прогрессу, в Европе также происходили бурные перемены. Отто фон Бисмарк угрожал не всем, но мешал многим. В 1861 году объединилось Королевство Италия, следующим ожидали появления объединенной Германии: Бисмарк твердой рукой собирал воедино многочисленные немецкие княжества и королевства под властью Пруссии. Все это не имело непосредственного отношения к истории Англии, если только не рассматривать ее как часть грандиозной европейской головоломки, но важно отметить, что именно Бисмарк был настоящим хозяином положения, а Англия играла в создании облика Европы конца XIX века почти незаметную роль.

Лондонские рабочие пообещали польским повстанцам свою поддержку: солидарность рабочего класса с националистами разных стран, борющимися за свою свободу, косвенно способствовала успеху их внутреннего дела. Одним из следствий этого успеха стало появление кооперативных предприятий, сочетавших в себе принципы социализма и самопомощи. В 1863 году Кооперативное оптовое сообщество промышленных производителей и поставщиков Северной

Англии смогло вырваться из-под гнета оптовых торговцев. Повсюду возникали общества дружеской взаимопомощи, общества совместного строительства и сберегательные кассы, основанные на идеалах бережливости, самопомощи и взаимной поддержки. Поначалу казалось, что они смогут привести к постепенному ненасильственному возникновению социалистического содружества, но эти надежды оказались иллюзорными. Трудящихся мужчин и женщин интересовала не столько социальная революция, сколько улучшение собственного положения.

Весной 1864 года в повестке политических совещаний возник новый вопрос. 11 мая Гладстон заявил в палате общин: «Каждый человек имеет неотъемлемое моральное право находиться в конституционном поле», если только этому не препятствуют «какие-либо характеристики конкретного человека или соображения политической безопасности». Этим Гладстон сразу опередил всех остальных. Очевидно, он собирался объявить избирательное право именно правом, а не привилегией. Далее он сказал, что столь желанный многим союз всех классов следует поощрять «разумным распространением в подходящее время и среди избранных частей

населения всех благ и всех привилегий, которые могут быть по справедливости им предоставлены». Дизраэли заметил, что он говорит совсем как Том Пейн. Палмерстон обвинил его в попытке навязать «доктрину всеобщего избирательного права, которую я никогда не смогу принять». Любопытно, что Палмерстон находил прямую связь между реформационной политикой Гладстона и укреплением его публичных позиций. «Очень жаль, — сказал ему Палмерстон, — что вы воспользовались, как вы утверждаете, выпавшей вам возможностью принять делегацию трудящихся, чтобы склонить их к агитации за парламентскую реформу, — ведь дело правительства успокаивать, а не возбуждать волнение». В конце мая 1864 года в Punch напечатали карикатуру, изображавшую Гладстона как единственного жокея на ипподроме и Палмерстона как распорядителя, кричащего: «Эй! Гладстон! Демократия! Слишком рано! Слишком рано! Пока еще нельзя!»

Гладстон начал понимать, что рабочий класс — это материал, с которым можно работать. Его можно склонить на свою сторону. Он увидел возможность со временем обратиться к намного более широкой аудитории. Одной делегации

рабочих он прямо сказал: «Право голоса следует распространить и на рабочий класс». Осенью он совершил поездку по промышленным районам, медленно нащупывая дорогу в неизведанные земли демократии. В газете Newcastle Daily Chronicle уже осторожно писали о «Великой народной партии» во главе с Гладстоном. Он охотно напоминал слушателям о Великом хлопковом голоде 1862 года, когда Гражданская война в Америке лишила север необходимого сырья. Гладстон хвалил жителей Южного Ланкашира, в частности, за «самообладание, выдержку, уважение к порядку, умение стойко переносить трудности, веру в закон, уважение к начальству». С такими людьми, конечно, можно было построить идеальную демократию. Где бы он ни появился, его приветствовали и чествовали. В свете этого особенно примечательно, что, когда к делегации рабочих вышел Палмерстон, его встретили молчанием.

Намного успешнее и увереннее Палмерстон чувствовал себя в парламенте — там он был на своем месте. Он отклонил вотум недоверия палаты лордов по вопросу о передаче Шлезвиг-Гольштейна Германскому союзу: бесконечно спорить об этом вопросе готовы были только те, кого он непосредственно касался. Палмер-

стон сказал: «Только три человека за все время по-настоящему понимали Шлезвиг-Гольштейнское дело: принц-консорт, который уже умер, немецкий профессор, который сошел с ума, — и я, совершенно о нем забывший». Предательство Британией Дании вызвало тем не менее много гнева и негодования. Разве так поступают с союзниками? В итоге Пруссия стала вести себя намного увереннее, а Британия потеряла немалую долю международного влияния. Мэтью Арнольд утверждал, что до Палмерстона страна занимала в мире первое место по оценкам мирового сообщества, но после него ее позиции заметно ослабели. Возможно, результат на самом деле был не таким катастрофическим, но предательство по отношению к Дании действительно сильно повредило британскому имиджу.

То, что Палмерстон пережил вотум недоверия, было с облегчением воспринято всеми партиями. Никто пока не был готов к Бенджамину Дизраэли, который стоял за кулисами, ожидая ухода лорда Дерби. Ричард Кобден язвительно высмеивал консерваторов, надеявшихся избавиться от Палмерстона, которого некоторые считали даже более консервативным политиком, чем Дерби:

> Я думаю, вы делаете большую ошибку, пытаясь сместить этого благородного лорда… Ведь он дискредитирует парламентскую реформу, он поднимает на смех 220 джентльменов, готовых проголосовать за баллотирование, он тратит больше и гораздо щедрее, чем мы позволили бы тратить вам, случись вам занять эту должность. Помимо этого, у меня всегда было впечатление, что, после того как он полностью деморализовал собственную партию, он намеревается завещать все должности вам как своим наследникам.

Закончив говорить, Кобден, как требовал обычай, снова надел цилиндр на голову.

В 1865 году были изданы две книги прямо противоположной направленности. «Английская конституция» (The English Constitution) Уолтера Баджота, опубликованная по частям в 1865–1867 годах, воспевала посредственность. Выдающийся специалист по истории викторианской Англии Дж. М. Янг называет Баджота величайшим викторианцем и идеальным человеком своего времени, который не мог существовать ни в какое другое время: «Его влияние, передаваясь от

одного трезвого ума к другому, несло с собой и до сих пор продолжает нести самый ценный элемент викторианской цивилизации — ее крепкое мужественное здравомыслие». Человек обязан быть заурядным: как гласила пословица, быть слишком умным уже грешно. Это вызывает подозрения. «Самое важное качество свободных людей, — писал Баджот, — это глупость». Не стоит размышлять о многом, не стоит стремиться ко многому. Только так можно сохранить свободу. По мнению Баджота, поступками большинства людей руководят самые заурядные человеческие привычки и заурядность в правительственных делах вовсе не дурной, а хороший признак. В частности, заурядность парламентского правления может служить мерилом его компетентности и показателем его успеха. Волнения вызывают эксцессы. Нововведения, не говоря уже о революции, рождают тревоги, беды и противоречия. В этом состоял один из главных факторов общей стабильности викторианской Англии.

Вместе с тем наблюдались перемены. В прежние времена обращенные к коллегам речи джентльменов из парламента больше напоминали послеобеденные разговоры, пересыпанные шутками и колкостями. Наступила эпоха газет,

собиравших в единую массу факты и мнения. Ораторы Вестминстера, если их еще можно так называть, теперь, по словам Баджота, делали ставку на «неторопливое толкование, продуманные детали, исчерпывающее изучение вопроса» — например, о реформе канцелярии или регистрации компаний. «Регулярное участие в этой деятельности, — писал Баджот, — формирует среднего государственного деятеля. Умеренные привычки, здравомыслие, согласие с общей целью — вот его очевидные качества». Главным, по мнению Баджота, было быть или казаться совершенно обычным. И «если внимательный наблюдатель присмотрится к реалиям жизни, он увидит, что люди никогда не думают, если могут этого избежать». Пожалуй, это можно принять как справедливое обобщение традиционных викторианских ценностей.

В этом укладе мы можем найти редкие выдающиеся исключения. В том же году, когда начала выходить серия «Английская конституция», была опубликована книга Джеймса Клерка Максвелла «Динамическая теория электромагнитного поля» (Dynamical Theory of the Electromagnetic Field). Ее редко упоминают в работах, посвященных этому периоду, в основном потому, что ее до сих пор

очень трудно понять неспециалисту. Главным достижением Максвелла стало провозглашение теории электромагнетизма, которую назвали второй великой объединяющей теорией после теории Ньютона, рассматривавшей электричество, магнетизм и свет как разные проявления одного феномена. Открытие Максвелла стало *важнейшим* достижением Викторианской эпохи и к тому же имело огромное значение не только для своего времени. Еще один физик, Ричард Фейнман, писал в 1960-х годах: «Если взглянуть на историю человечества в долгосрочной перспективе, скажем, в рамках 10 000 лет, самым значительным событием XIX века, несомненно, будет открытие Максвеллом законов электродинамики». Мы вполне можем говорить о том, что викторианская научная теория оставила далеко позади все религиозные и социальные доктрины своего времени.

Однако в период, когда Максвелл публиковал свои труды, самые горячие диспуты (особенно с 1850-х по 1880-е годы) разворачивались вокруг проблемы библейской критики. Развитие либерального богословия и свобода доктринального выбора пошатнули мир верующих. Любое резонансное событие вызывало ярость и сарказм,

несогласные нападали друг на друга так, словно от этого зависела их жизнь. В соответствующих инстанциях шли судебные процессы о ереси: нонконформисты выступали против англикан, пресвитериане против конгрегационалистов, немецкие богословы против английских богословов, епископы против священников. Чем следовало считать Библию: подлинным Словом Божьим или коллективным произведением живших в разное время ученых людей? Как относиться к тому, что новые геологические открытия не оставляют камня на камне от привычных допущений Книги Бытия? Епископ Натала Дж. У. Коленсо опубликовал ряд работ, посвященных Пятикнижию и Книге Иисуса Навина, где изложил обнаруженные в них противоречия, неувязки и неправдоподобия. Они не могли быть результатом Божественного внушения. Коленсо писал: «Наша безусловная обязанность — следовать за Истиной, куда бы она нас ни привела, оставив дальнейшее в руках Божьих».

Благочестивые, в число которых входила могущественная группа евангелистов и приверженцев «высокой церкви», пришли в возмущение. Кто бы мог подумать, что епископ может придерживаться таких взглядов? Епископ Ли из

Манчестера опасался за «самые основы нашей веры, самые начала наших надежд, самое близкое и дорогое из наших утешений». Многие призывали судить смутьяна за ересь, хотя о сожжении на костре, конечно, речи уже не шло. Епископ Кейптаунский, под началом которого находился Коленсо, созвал синод, и его решением Коленсо сместили с должности епископа. Тот обратился с апелляцией в Тайный совет в Лондоне, который посчитал, что его нельзя лишать звания. Несмотря на это, епископ Кейптауна помазал другого епископа. Однако Коленсо не отказался от исполнения своих обязанностей. В церкви возник раскол, длившийся несколько десятков лет. Аналогичная картина наблюдалась в английских епархиях, где либеральные священники провоцировали ультраконсервативных епископов и наоборот. В обоих случаях незыблемые устои прошлого подтачивались объективными, по мнению сторон, научными данными.

Упадок религиозной доктрины косвенным образом подтверждают наблюдения Томаса Харди и Райдера Хаггарда, считавших, что примерно в 1865 году деревенские традиции окончательно прекратили свое существование. В это время оборвались последние связи со старым миром

и старой Англией. Это произошло почти незаметно. В том же году начал выходить журнал Fortnightly Review, в котором заявлялось, что его цель «поощрить прогресс и расширить кругозор современных думающих людей в научных и светских вопросах».

В том же году Мэтью Арнольд в одном из своих критических эссе «Функция критики в настоящее время» написал: «Эпохи сосредоточения и углубления (концентрации) не могут длиться вечно — со временем они сменяются эпохами расширения и освоения новых пространств (экспансией). По-видимому, в этой стране начинается как раз такая эпоха». Таким образом, по мнению Арнольда, разрушение традиционного образа мыслей давало надежду на расширение и освоение нового. Он также писал:

> Прежде всего давно исчезла опасность враждебного вторжения чужеземных идей в наш уклад, и мы, как путник из басни, начинаем понемногу распахивать свой плащ. За долгие годы мира идеи Европы постепенно и по-добрососедски проникали к нам и смешивались, хотя и в бесконечно малых пропорциях,

с нашими представлениями. Кроме того, несмотря на все, что было сказано о нашем страстном увлечении материальным прогрессом и его всепроникающем ожесточающем воздействии, мне представляется бесспорным, что этот прогресс, скорее всего (хотя в этом нет полной уверенности), приведет в конечном итоге к развитию интеллектуальной стороны жизни. Человеку, обустроившему свое существование с полным удобством, нужно будет решить, чем занимать себя дальше, и тогда он может вспомнить, что у него есть ум, и этот ум может стать источником величайшего наслаждения.

Интересно отметить, что Арнольд называет материальный прогресс «страстным увлечением»:

Весной 1865 года прошли очередные парламентские выборы, причиной которых стало не что иное, как экономическая стабильность. Они принесли ожидаемый результат: виги под руководством лорда Палмерстона получили большинство по сравнению с Дерби и его консерваторами. «Я верю, что Господь милосердно взира-

ет на Свое бедное, измученное трудами создание, — писал о себе Гладстон, — когда оно бредет, спотыкаясь, по дороге жизни». В этом случае он действительно споткнулся. Избиратели Оксфорда отвергли его, поскольку он открыто высказывал либеральные идеи с примесью радикализма. Чтобы получить нужное количество голосов, ему пришлось спешно отправиться на север: жители Южного Ланкашира всегда относились к нему благосклонно. Его приветствовала толпа из 6000 человек, и их воодушевление пролило бальзам на рану, нанесенную Оксфордом. «Наконец-то, друзья мои, — сказал Гладстон, — я стою среди вас… Я стою среди вас, и ничто больше не затыкает мне рот». Вероятно, он хотел сказать, что теперь готов активно продвигать парламентскую реформу. Но что бы он ни имел в виду, это выражение не понравилось его премьер-министру.

К этому времени стало достаточно ясно, что Палмерстон не может держаться у власти вечно. Политические наблюдатели отмечали, как

Гладстон постепенно расправляет крылья и завоевывает симпатии избирателей. Палмерстон, судя по всему, выпил какое-то волшебное зелье. Лорд Оссингтон, однажды ужинавший вместе с ним, писал:

> Он съел две тарелки черепахового супа, затем обильно угостился треской с устричным соусом, затем взял паштет, после воздал должное двум весьма жирным закускам, затем прикончил тарелку жареной баранины, а потом перед ним предстал самый большой и, на мой взгляд, самый жесткий ломоть ветчины, когда-либо возникавший на столе знатного человека. Но и это блюдо исчезло точно в положенный срок, за мгновение до того, как лакей спросил: «Бекаса или фазана, милорд?» — на что немедленно последовал ответ: «Фазана!»

Возможно, именно это его доконало. Весной 1865 года он выглядел совершенно на свой возраст, а к осени умер.

На его счет вряд ли можно записать какие-либо выдающиеся нововведения, и он не был предан никакому великому делу, кроме, конечно, про-

цветания страны. Он был неотъемлемой частью обстановки и своего времени и прочно занимал место, полученное благодаря осторожности (так осторожен волк, преследующий добычу), удаче и проницательности суждений. Возможно, по сравнению с Гладстоном и Дизраэли ему приходилось несладко, поскольку он не имел нравственной твердости одного и змеиной гибкости другого. В «Воспитании Генри Адамса» (The Education of Henry Adams; 1918) красочно описана тогдашняя политическая ситуация:

> Годы последнего кабинета Палмерстона (1859–1865) были, по общему признанию, временем перемирия, временем остановившегося развития. Британская система, так же как французская, находилась на последней стадии разложения. Никогда еще британский ум не был настолько *décousu* — несобранным, потерянным, барахтающимся среди обломков исторических кораблекрушений. Оригиналы всех сортов имели в это время самое обширное поле для действий. Государство и Церковь раздирали противоречия. За тридцать лет упорного труда Англия

смогла расчистить лишь часть этих завалов…

Троллоп в романе «Финеас возвращается» (Phineas Redux; 1873) выразился более лаконично: «Неотъемлемое качество политической партии в этой стране состоит в том, чтобы избегать рассмотрения любого вопроса, подразумевающего большие перемены, до тех пор, пока это возможно».

Смерть Палмерстона сочли серьезным национальным бедствием, но вместе с ней исчезли препятствия, стоявшие на пути политического и общественного прогресса. В воздухе снова начал витать дух политической реформы. Его держали в закупоренном виде так давно, что, казалось, теперь он мог в любой момент вышибить пробку. «Перемирие окончено, — писал Дизраэли. — Я предвижу бурные времена и большие перипетии в общественной жизни». В 1864 году был создан Национальный союз реформы, а в следующем году Лига реформы начала агитировать за общее избирательное право для мужчин. Жесткие оковы законов и привычных условностей постепенно слабели. Сокращение и отмена определенных привилегий и отказ от ограниче-

ний, связанных с религиозными убеждениями, оздоровили атмосферу и расчистили путь для более гуманного законодательства. Профсоюзы со временем превратились в полноправных участников трудовых отношений, а муниципальная реформа способствовала появлению парков, школ и общественных купален. Вопросы санитарии и гигиены после «Великого зловония» 1858 года обрели первостепенное значение в масштабах страны.

Палмерстон умер, как принято говорить, в упряжке — не сходя с рабочего места. Ему был восемьдесят один год. Должность премьера перешла к графу Расселу (такой титул теперь носил Джон Рассел), которому было семьдесят три. Он смело принял вызов. Некоторых удивило, что Рассел согласился снова взять на себя старое бремя, но, как сказал Виктории король Бельгии, «эти политики никогда не отказываются». В любом случае небо не рухнуло на землю, — более того, порой казалось, будто вообще ничего не произошло. Дерби и Рассел вели себя в своем обычном духе, как старые партнеры из конкурирующих фирм, и интерес публики переключился на следующее поколение лидеров. Гладстон и Дизраэли ожидали в гримерной, готовые сыграть

свои роли.

В день смерти Палмерстона Гладстон написал Расселу письмо, в котором уверенно предполагал, что тот станет следующим премьер-министром: «Ваше прежнее положение в качестве ее министра, ваши полномочия, опыт, служба и известность не оставляют сомнений в том, что вас вскоре пригласят на эту должность». В свою очередь, Гладстон оставался канцлером казначейства и лидером палаты общин. Он стал самым выдающимся канцлером в истории Англии, и среди коллег по кабинету был, несомненно, *primus inter pares* — первым среди равных. Его фискальная политика отличалась взвешенностью и осторожностью. Он ограничивал военные расходы, снижал налоги и тарифы везде, где это было благоразумно, и сумел создать ежегодный профицит бюджета. Он подчеркивал, что «между ростом промышленности страны и законодательными процессами, проходившими в течение последней четверти века, существует несомненная и жизненно важная связь». Все это было частью программы, которую он излагал в своих выступлениях по всей стране. Он был самым подходящим министром, чтобы представить новый Закон об избирательной реформе, который

должен был стать одним из первых шагов новой администрации.

Избирательная реформа чем-то напоминала чертика в табакерке. Всякий раз, когда приоткрывалась крышка — когда в обществе начинали происходить какие-то перемены, — чертик с ухмылкой выскакивал наружу и восклицал: «А вот и я!» Ожидание перемен обострилось, когда в марте 1866 года обанкротилась брокерская фирма Overend, Gurney and Company, что вызвало финансовую панику. Гладстону было поручено подготовить билль, но он колебался, не зная, какой курс выбрать. Джон Брайт писал ему: «У вас было три месяца на то, чтобы подготовить билль, который любой мало-мальски разбирающийся в предмете человек мог бы закончить за неделю». Наконец в марте 1866 года Гладстон обнародовал свои предложения, но они никому не понравились. На дебатах он держался неуверенно. К тому же его проект выглядел подозрительно вторичным. Номинальное большинство либералов рухнуло, и в июне правительство Рассела ушло в отставку. Некоторые члены его партии предлагали немедленно провести всеобщие выборы, но другие считали, что это неприемлемо. Таким образом, кабинет согласился на отставку без ро-

спуска. Консерваторы взяли парламент без боя.

Голосование, обернувшееся поражением для правительства, скорее напоминало игру «ты — мне, я — тебе». К Дизраэли присоединилась группа либералов, непреклонно и почти инстинктивно противившихся парламентской реформе. Их называли (и в конце концов они сами приняли это название) адолламитами, в честь Адолламской пещеры, где Давид скрывался от Саула. Это была своего рода партия внутри партии. Консерваторы, долгое время не занимавшие видных должностей, взяли власть, и публика в целом была уверена, что теперь ни о какой реформе не может быть и речи. Никто не рассчитывал на Бенджамина Дизраэли, который, однако, обладал почти сверхъестественной способностью предвидеть и даже формировать политическую погоду.

Правительство Рассела и Гладстона пало 18 июня, а еще через 9 дней около 10 000 протестующих собрались в центре Лондона с духовыми оркестрами и красными флагами, чтобы выразить протест против отказа от парламентской реформы. В числе прочего они выкрикивали лозунги «Гладстон и свобода!» и «Да здравствует Гладстон!». Было ясно, что именно с ним связаны все надежды и ожидания людей.

Массовые демонстрации продолжались в Гайд-парке, Виктория-парке и на Линкольнс-Инн-филдс. Марши прошли в Манчестере, Ливерпуле, Бирмингеме и других городах. Попытки полиции взять под контроль протестующих имели лишь частичный успех, и, конечно, кубок моральной победы достался в этом противостоянии тем, кто вышел на улицы. Они были ничуть не похожи на лондонских демонстрантов прежних времен. Бунт лорда Гордона остался далеким воспоминанием. Это были прилично одетые лондонцы, которые вели себя трезво и респектабельно. Самыми страшными последствиями марша стали несколько помятых цветов в Гайд-парке и пара сломанных оград. Мэтью Арнольд лично наблюдал за шествием с балкона на Бэйсуотер-роуд, и это вдохновило его написать эссе «Культура и анархия» (Culture and Anarchy; 1869). Однако новости, в которых анархия занимала гораздо больше места, чем культура, стремительно распространялись, вызывая ненужную панику. Если бы публика вспомнила, как мирно вели себя толпы в Гайд-парке во время Всемирной выставки, она могла бы вздохнуть свободнее. На этот раз порядок в шеренгах демонстрантов поддерживали бывшие сержанты строевой под-

готовки. Некоторые протестующие даже были в цилиндрах. Они требовали ввести общее избирательное право для мужчин или дать право голоса домовладельцам и квартиронанимателям — что совсем не подразумевало демократии для всех. Это были старые меры, впервые предложенные еще полвека назад. В действительности они были напрямую связаны с правом собственности, в частности с домовладением, и направлены на расширение участия имущих классов в управлении страной. Женщины, бедняки и бродяги безоговорочно исключались из этого процесса. Спокойные, хорошо организованные марши и взвешенные речи в поддержку парламентской реформы произвели большое впечатление на Гладстона, — он окончательно убедился в том, что время реформы пришло. Парадокс заключался в том, что именно из-за реформы он потерпел поражение в парламенте и лишился должности.

Граф Дерби, в свою очередь, считал, что пришло время консерваторов. За его плечом стоял главный манипулятор того времени, Бенджамин Дизраэли. То было третье консервативное правительство меньшинства под началом Дерби, но, как он сообщил коллегам из палаты лордов, он «не намеревался в третий раз служить временной

затычкой до тех пор, пока Либеральная партия не соблаговолит уладить свои разногласия». Каким-то почти волшебным образом он намеревался превратить свое меньшинство в большинство и разработать программу реформы, способную привлечь массу сторонников.

Он пока не очень хорошо понимал, кто может поддержать реформу. Он обратился к врагам своих врагов, видным адолламитам, — но они не пошли ему навстречу. В конце концов, они были либералами, даже если выступали против реформы. Лорд Шефтсбери, за которым закрепилась репутация человека, поддерживающего любые гуманистические начинания, также отказался помочь ему. Что касается консерваторов, они представляли собой разношерстное сборище из либеральных консерваторов, консервативных либералов и консервативных радикалов, и не было никакой уверенности, что всех их удастся сплотить ради общей цели. И все же реформа была необходима. Предыдущие неудачные попытки ее сторонников и бесконечные проволочки противников создали импульс противодействия, который больше нельзя было отрицать. Дерби написал Дизраэли: «Я неохотно прихожу к выводу, что нам придется заняться вопросом реформы».

Дизраэли не был так в этом уверен. Он видел, как другие министры, включая Гладстона, терпели поражение из-за вопроса, для которого как будто не существовало однозначного решения. Этот вопрос требовал вдумчивого изучения, однако с ним нельзя было бесконечно затягивать, иначе тори, по словам Дизраэли, «могут исчезнуть, как якобиты или неприсягатели». «Я решительно настроен, — добавлял он, — отстаивать право партии на свободу действий и не позволить запереть тори в клетке, выстроенной вигами и радикалами, заключить в некий магический круг, из которого они не могут вырваться под страхом смерти». Публика же вела себя апатично. Девять человек из десяти кричали: «Мы должны получить Закон о реформе!» — но восемь из девяти шептали друг другу: «Но кому он вообще нужен?» Так, по крайней мере, это видел Булвер-Литтон.

Однако Дерби не собирался уклоняться от решения проблемы. Он сообщил Дизраэли: «Королева на днях беседовала со мной об этом. Она сказала, что всем сердцем желает, чтобы все уладилось, и если бы она лично могла сделать что-нибудь, чтобы свести все мнения воедино, она с готовностью это сделала бы». Это было не совсем королевское

приказание, но его все же нельзя было пропустить мимо ушей. Дизраэли отверг предложение королевы об объединении консерваторов и либералов как фантастическое, но он понимал, как опасно продвигать избирательную реформу на незнакомой территории. Никто не поверит, что консерваторы настроены серьезно, до тех пор, пока они не выдвинут более смелую программу, чем те, что предлагали Гладстон и Рассел. Они не могли позволить, чтобы оппозиция их обскакала. Им нужно было разработать такой закон, который отодвинет Гладстона и других в тень.

Вся слава в конечном итоге досталась Дизраэли, — к тому же подразумевалось, что он со временем заменит Дерби. Его политическая ловкость и проницательность, возможно, не всем были по вкусу, но многих он по-настоящему ошеломлял и восхищал. Было совершенно неясно, какие планы он вынашивает на самом деле, за исключением того, что он явно хотел оставаться у власти как можно дольше. Чтобы расчистить путь к парламентской реформе, он уступал и менял отдельные положения. Судя по всему, он просто хотел победить — говоря тогдашними словами, «натянуть нос» вигам, — победить в их игре, направленной на расширение электората.

И стоило этой двери однажды открыться, как ее стало невозможно закрыть, а из путаницы и неразберихи в конце концов возникла работающая демократия, положению которой ничто никогда не угрожало всерьез.

Дизраэли был великим импровизатором, мастером неожиданностей и превосходным тактиком. Он предложил существенно расширить избирательное право, распространив его на всех домовладельцев, и при поддержке некоторых своенравных вигов отбил все попытки ограничить или сузить численность нового электората. Были внесены поправки, увеличивающие число избирателей, а в начале лета билли о расширении избирательного права выдвинули некоторые рядовые члены парламента. Избирательный ценз по домовладению предлагали сократить с трех лет до одного года. Право голоса при этом предоставлялось владельцам и нанимателям жилья арендной стоимостью не менее 10 фунтов. В феврале 1867 года Дерби заявил в палате лордов о необходимости поддерживать добрые отношения с «великой республикой на другом берегу Атлантического океана», явно подразумевая, что не все республики населены волками и гиенами. Он объявил, что Дизраэли вскоре

выступит с определенными планами, которые потребуют «взаимного терпения». В тот день, когда Дизраэли должен был представить свои предложения, статс-секретарь Индии виконт Крэнборн произвел расчеты и пришел к выводу, что новые избиратели составят 60 % в избирательных округах.

Получив сообщение Крэнборна, Дерби сразу же написал Дизраэли: «Прикладываю бумагу, полученную сию минуту. Полная гибель! Во имя всего святого, что нам теперь делать?» Вероятно, можно было выработать компромисс, который никого не удовлетворил бы. Дерби, черпая силы в поддержке Дизраэли, отверг компромисс. Он введет избирательное право для домовладельцев, чего бы это ни стоило его партии. Это было даже не дело принципа, а дело чести. Согласно разработанному плану, голосовать мог любой мужчина, способный подтвердить, что проживает в этом месте не менее двух лет и платит местный налог на бедных. Это была только первая из нескольких поправок, неуклонно расширявших сферу действия избирательного права. В результате даже сам Дерби не знал, какое количество человек должен будет затронуть новый закон. То, что началось как попытка изменить характер сельского

представительства, завершилось введением избирательного права для всех домовладельцев.

Дизраэли стал посредником и проводником нового закона. Он знал или чувствовал, что консерваторы будут следовать за ним до тех пор, пока он сможет удерживать политическую инициативу и противостоять возражениям вигов. По этой причине Гладстона игнорировали, а Дизраэли считали тем, кто способен сочувственно отнестись к радикальным предложениям о расширении избирательного права. Поскольку консерваторы в целом ничего не теряли из-за этой инициативы, они вполне могли с воодушевлением ее поддержать.

Здоровье Дерби ухудшалось, он постепенно слабел, однако консерваторов охватил почти лихорадочный приступ радикализма. Они хотели превзойти Гладстона, они всей душой стремились к этому, и в любом случае подробности и цифры статистики их только утомляли. Дизраэли говорил сжато и резко, но самое главное — он был непредсказуем. Гладстон успел наскучить многим коллегам. Они хотели скорее покончить с этим делом, попутно сделав Консервативную партию намного более привлекательной и могущественной, чем раньше. «Несомненно, мы

ставим великий эксперимент, — если можно так выразиться, мы совершаем прыжок в кромешной темноте, — сказал премьер-министр после того, как Закон о реформе прошел в парламенте. — Но я полностью доверяю здравому смыслу моих соотечественников». По сути, «здравый смысл» заключался в том, что число радикалов в парламенте обычно составляло от 50 до 100 человек и они интересовались не столько положением масс или общим избирательным правом, сколько продвижением промышленных и торговых реформ.

Нечто подобное случалось и раньше. Из хаоса противоречивых целей, ошибок и недоразумений возникали на редкость устойчивые законы, точно так же, как недопонимание и ошибочные выводы порой были виноваты в развязывании войны даже больше, чем ложь государственных деятелей. Так что, разумеется, в парламентской реформе не было явных посредников и явных причин: все происходило в тумане догадок и предположений. Самые успешные политики — те, кто способен оседлать поток домыслов и ложных утверждений. «Великая привилегия — жить в эпоху стремительных и ярких событий, — написал однажды Дизраэли. — Как ошибаются те, кто считает наше время веком утилитаризма! Это

век бесконечной романтики». Викторианское увлечение волшебными сказками не могло бы воплотиться в более подходящей фигуре. Один из современников писал, что Дизраэли «не похож ни на одно встречающееся на свете живое существо… его лицо больше напоминает маску, и разница между ним и простыми смертными видна невооруженным взглядом. Порой мне казалось, что я сижу за одним столом с Гамлетом, королем Лиром или вечным странником Агасфером».

В это же время Натаниэль Готорн нарисовал такой портрет Дизраэли:

> Несколько позднее к нам подошел довольно высокий, худощавый человек в застегнутом на все пуговицы черном сюртуке и черных брюках. Он шагал широко, но, как мне показалось, совсем не энергично и даже как будто обессиленно. Сгорбленные или, возможно, привычно ссутуленные плечи. Выдающийся нос, худое лицо, и очень бледная, землистого цвета кожа. Он выглядел крайне нездоровым. Случись мне увидеть его в Америке, я принял бы его за изнуренного тяже-

лым трудом газетного редактора, раньше времени постаревшего от постоянной работы по ночам и недостатка физических упражнений. Это был Дизраэли, и я никогда не видел другого англичанина, хоть сколько-нибудь похожего на него.

В конце концов принятые в последний момент решения, недоразумения, ошибки, упрямство, трусость и некоторое количество интриг привели к тому, что список избирателей расширился примерно на 938 000 человек. Это была самая неожиданная революция в политической истории Англии.

И сейчас самое время ввести в наше повествование виконта Крэнборна, который вскоре станет известен как лорд Солсбери. Он умел обращаться с цифрами, но, что еще важнее, знал, как обратить расчеты в пользу своей партии. Он был близоруким, высоким и слегка сутулым, характер имел не мрачный, но и не сентиментальный. Он придерживался твердых и взвешенных убеждений и не разделял пристрастия Дизраэли к «быстрым решениям». И он был слишком умен, чтобы им очароваться. Крэнборн — один из немногих викторианских вельмож, о которых можно составить

представление по его публицистике: до того, как попасть в палату общин, он был журналистом. Он разделял позицию ежеквартальных изданий и вопреки всему восхищался Палмерстоном как одним из «тех циничных философов, которые считают, что главная польза парламента заключается не в том, чего он добивается, а в том, чему он не позволяет произойти». В своих социальных и политических взглядах он был восхитительно прямолинеен. «Государство помогает бедным не из филантропических побуждений, — говорил он, — но ради сохранения общего порядка». Он терпеть не мог парламентские интриги и склоки. Он презирал мнительность и самомнение. Он выступал категорически против расширения избирательного права, считая, что «законы собственности не будут в полной безопасности, если власть попадет в руки невежественных масс». И он был не слишком высокого мнения об окружающих, что делало для него традиционные методы предвыборной агитации настоящим ужасом: в предвыборных кампаниях он вел себя скованно и замкнуто.

В случаях, когда выбирать приходилось между одинаково непривлекательными вариантами, он был убежденным сторонником бездействия.

Например, он пришел в немалое смятение, когда главный либерал Гладстон отправился покорять промышленные районы. Пожалуй, он был бы счастливее рядом с Питтом и Веллингтоном, чем рядом с Дизраэли или Дерби. Большинство своих знаменитых современников, провозглашающих расхожие истины с пылом новообращенных, он считал немногим лучше политических шарлатанов. Привратник палаты общин заметил в 1863 году: «Он надменен и горд, отличается несговорчивым нравом и не подчиняется партийной дисциплине». Другой современник заметил: «Он питает мало уважения к мнению палаты общин».

Поговаривали, что он может стать идеальным премьер-министром. Незадолго до того, как Солсбери поехал на международную конференцию, Гладстон писал ему: «Вам предстоит лично познакомиться с людьми, которые правят миром, и будет хорошо, если Вам удастся понаблюдать за ними в обстоятельствах, которые позволят Вам оценить их характер, их силу и их слабости». Это можно назвать дипломатией старой школы, и Солсбери однозначно предпочитал ее всем прочим дерзким схемам и сомнительным предприятиям. Однажды он сказал Булвер-Литтону:

«Политика Англии заключается в том, чтобы лениво плыть вниз по течению, время от времени выставляя дипломатический багор, чтобы избежать столкновений».

В конце 1867 года семидесятипятилетний Рассел оставил пост лидера либералов. Как виговский ретроград он пережил свое время и плохо вписывался в политическую картину современности. В Punch писали, что он не имел «никаких выдающихся способностей и достоинств, за исключением строчки в “Книге пэров” Дебретта [Debrett’s Peerage], но уж она никогда его не подводила». Теперь, в 1868 году, его преемником мог стать Гладстон, но в вопросе парламентской реформы Дизраэли уже переиграл его с помощью «романтики» расширенного избирательного права. Гладстон был унижен этим фиаско, и какое-то время подумывал даже отказаться от роли лидера партии. По-видимому, он искренне опасался, что задуманное Дизраэли расширение избирательного права позволит голосовать даже «придонному осадку», то есть низшим слоям населения. Он считал Дизраэли способным на все в погоне за властью. Сам Дизраэли не терзался подобными сомнениями, он просто стремился сохранить контроль консерваторов в тех избирательных

округах, где среди избирателей преобладали владельцы недвижимости арендной стоимостью от 12 фунтов стерлингов, а не сельская беднота. Дизраэли понимал, что делает ставку на самую разумную и сдержанную часть электората. Избыточное скопление голосов в городах его не беспокоило. Его номинальный начальник полностью с ним соглашался. Стэнли Дерби написал в своем дневнике, что его отец, лорд Дерби, «хотел остаться у власти любой ценой и ради достижения этой цели готов был пойти на самые большие уступки».

Однако обе партии соглашались в одном: баланс политической власти следовало поддерживать любой ценой. Целью парламентской реформы в любом ее виде была стабилизация, а не переворот или смена существующей политической структуры. Хотя на деле все обстояло, пожалуй, несколько сложнее. Одним из последствий новой реформы стало увеличение числа городских представителей в палате общин, подорвавшее многовековое засилье сельских интересов. Вторым (непреднамеренным) результатом стала постепенная политизация городов. Вскоре партии начали активно обращаться к кругам городских избирателей. В частности, кон-

серваторы организовывали ассоциации рабочих. С расширением электората политика превратилась в спорт и спектакль. Лицо Гладстона появилось на вазах и ложках, кувшины с портретом Дизраэли соседствовали с восьмиугольными тарелками с его же изображением. Кроме того, он стал любимцем художников-карикатуристов: они готовы были бесконечно изображать в различных вариациях его своеобразную внешность. Портреты этих новых героев красовались на чайниках и кофейниках, кувшинах и табакерках. Суть их политики размывалась.

Постепенно открывались новые перспективы. Парламентская реформа положила начало подъему так называемых народных масс. Далеко не всегда это было тревожным явлением. Некоторые наблюдатели не доверяли расхожему мнению о том, что низшие сословия от природы склонны к радикализму и разрушениям, и теперь им выпал случай доказать свою правоту. Например, Эдмунд Бёрк считал, что на самом деле эти сословия подсознательно консервативны. Говоря словами того времени, это был скот, довольствовавшийся жеванием своей жвачки. При неизвестных обстоятельствах возникло утверждение, будто страна готова перейти к «консервативной демократии».

Примерно в то же время идея избирательного права для домовладельцев приобрела особенную привлекательность в глазах тех, кто хотел максимально расширить электорат, — они исходили из предположения, что домовладельцы вряд ли поддерживают радикальные идеи. Это нельзя было назвать планом — скорее интуитивным выбором. Как выразились в The Times, «Дизраэли взирал на консервативного рабочего, словно ваятель на ангела, заключенного в мраморную глыбу».

На этом этапе Дерби решил прислушаться к советам врачей, утверждавших, что тяжкий груз государственной ответственности может свести его в могилу. Дело было не только в агонии парламентской реформы — в стране возникали куда более насущные проблемы и опасные беспорядки. В Ирландии обнаружили заговор братства фениев, считавших, что Ирландия имеет право на независимость и что единственный способ добиться ее — с оружием в руках совершить революцию. В результате приостановки действия закона *habeas corpus* в тюрьмы на год бросили тысячу предполагаемых фениев. Собранная в Соединенных Штатах армия фениев напала на Канаду, но не имела успеха: их последним сражением стала битва при Риджуэе в июне 1866 года.

В самой Англии фении в попытке добыть оружие и боеприпасы совершили нападение на Честерский замок. Попытка также провалилась. Куда бы ни выезжала королева, ее сопровождали два человека из ее свиты, вооруженные револьверами. В конце 1867 года предсказуемо появились бомбисты: фении попытались взорвать печально известную тюрьму в Клеркенуэлле, где содержали их товарищей. Попытка снова окончилась неудачей, пострадали многие жители Лондона: 12 человек погибло, более ста было ранено. Возможно, это был один из тех инцидентов, которые убедили Гладстона в необходимости «умиротворить Ирландию». Слухи множились. Сообщали, что «по словам одного информатора, в одном только Лондоне существует 155 клубов фениев и республиканцев, о которых полиции ничего не известно. Некоторые из них объявляют, что собираются взорвать парламент или убить королеву». Говорили, что для покушения на королеву из Нью-Йорка плывет целый приватир фениев. Оттуда же в ящиках с надписью «цемент» в Англию доставляют «адские машины» — динамитные шашки с часовым механизмом. Оставшаяся в душевном одиночестве королева стала раздражительной и нервной. Она просила

добровольческие дружины быть готовыми к любому повороту событий.

У многих дела обстояли еще хуже. По стране распространилась чума крупного рогатого скота. В дневнике фермера от 1866 года записано:

> У Карсона в Фоулсайке из всего стада не осталось ни одной головы. Все животные пали либо забиты. Сэр Р. Бриско и капитан Джеймс требуют уничтожать весь крупный рогатый скот там, где возникает очаг болезни, независимо от того, здоровы животные, больны или уже выздоравливают. Сомневаюсь, что они исполняют волю Всевышнего. Я думаю, что Господь проявил бы к нам немного милосердия и оставил бы часть коров жить, но сэр Р. Бриско и капитан Джеймс не намерены оставлять ни одной.

В стране, согласно последней переписи остававшейся преимущественно сельскохозяйственной, чума крупного рогатого скота стала настоящей катастрофой, с которой никто не знал, как бороться. Некоторые видели в ней повторение казней египетских. Выдающиеся представители Церкви призывали паству молиться и поститься, чтобы

умилостивить Всевышнего.

Жестокие противоречия вызвало в империи дело губернатора Ямайки Эйра, которого обвинили в систематическом варварстве в отношении чернокожего населения. Правда, на каждого человека, осуждавшего отвратительное обращение Эйра с рабами, находился человек, который его одобрял. «Мы слишком нежничаем с нашими дикарями. Мы носимся с ними больше, чем с самими собой, — сказал Теннисон Гладстону. — Негры — это тигры, негры — это тигры». Подобные комментарии в устах выдающегося литератора своего времени наглядно показывают, насколько глубокие корни пустил в империи расизм. Никто точно не знал, что происходит в закоулках Калькутты, на улочках Бриджтауна или на плантациях Южной Нигерии. Можно ли было утверждать, что вся империя находится под властью закона? Это стало одной из причин, почему в феврале 1868 года Дерби, прислушавшись к мнению врачей, ушел на покой. Он возглавлял свою партию в течение 22 лет, установив рекорд, который с тех пор никому не удавалось побить.

Итак, оставался только Дизраэли. Королева писала своей дочери, наследной принцессе Пруссии: «Мистер Дизраэли — премьер-министр! Какое

гордое звание для человека, поднявшегося из народа!» Можно поспорить, насколько Дизраэли заслуживал такого наименования — он никак не походил на человека, только что отершего с лица угольную пыль, — но принцесса понимала, что имела в виду ее мать. В любом случае он унаследовал свое правительство меньшинства от Дерби и был вынужден ждать, пока всеобщие выборы не упрочат его положение. «Да, — заметил он, — мне все-таки удалось взобраться на вершину смазанного жиром столба».

Один из привратников палаты общин описал поведение Дизраэли во время заседаний. Он «поднимался по отдельной лестнице для парламентариев и торжественно и медленно проходил через вестибюль, обычно в полном одиночестве, не заговаривая ни с кем из проходящих мимо». Войдя в палату, он «садился, скрещивал руки на груди и неподвижно оставался в этом положении, устремив глаза в пол, до тех пор, пока не наступало время подняться и говорить». В отличие от большинства коллег, он никогда не сидел в палате в шляпе, «потому что не выражал неудовольствия, не смеялся и крайне редко приветствовал происходящее. В основном он просто сидел, как невозмутимая статуя… Окру-

женный со всех сторон членами своей партии, он не выглядел одним из них — он был так же далек и так же непохож на них, как его народ далек от всего остального мира». Произнося речь, он поначалу всегда говорил натянуто, но постепенно воодушевлялся. Его представления о том, каким должен быть премьер-министр (если предположить, что у него были подобные идеи), отражены в образе лорда Рохэмптона в его романе «Эндимион» (Endymion; 1880): «Взгляните на лорда Рохэмптона — вот настоящий человек. Его нисколько не волнует, вырастут или упадут доходы. Он думает о настоящей политике, об иностранных делах, о том, как поддержать нашу власть в Европе». Он редко вступал с противниками в словесные поединки. Когда Гладстон произносил речь, Дизраэли обычно притворялся спящим, но на самом деле он всегда был начеку. Если Гладстон допускал ошибку, Дизраэли быстро поправлял его.

Ему удалось принять ряд благотворных законов. Были отменены публичные повешения, усовершенствованы железные дороги. Почтовому ведомству разрешили скупить все телеграфные компании — это был первый акт национализации, важный шаг к структурному объединению

страны. Однако когда Генри Джеймс впервые приехал в Лондон в 1868 году, он не заметил никаких признаков прогресса:

> Погода стала влажной. Низкие черные домики казались неодушевленными, как поставленные в ряд ведра с углем. Лишь кое-где из винных лавок на углах улиц падал свет, еще более резкий и неприятный, чем темнота. Внезапно меня охватил ужас этого места. Тоска по дому навалилась на меня, словно тигр, терпеливо выжидавший в засаде и наконец дождавшийся подходящего момента для прыжка. Лондон оказался отвратительным, порочным, грубым, но прежде всего — невыносимо удручающим.

Несомненно, Дизраэли знал об этих «делах безрадостных и дальних», но не учитывал их в своих расчетах. Он говорил, что во время аудиенций у королевы никогда не спорит и ничего не отрицает, но иногда может кое о чем забыть. Он был исключительно внимателен к ее величеству. Виктория говорила дочери, что «он полон поэзии, романтики и рыцарственного духа». Новый премьер-министр ухаживал и льстил ко-

ролеве так, как умел только он. Адресованные ей регулярные сообщения о парламентских делах он писал языком «Конингсби» и «Баллад Мармиона» (Lays of Marmion). Позднее он говорил: «Следить за тем, чтобы королева была в хорошем настроении, — само по себе работа». Своевольная, самовлюбленная и от природы нервозная, она была именно такой, какими должны быть королевы, поэтому он щедро изливал очарование и бесконечно расточал уверения в преданности и послушании. Он относился к ней как к воплощению духа Англии на земле, которым в определенном смысле она и была. Некоторые считали их отношения чересчур близкими. Дерби писал ему: «Никому не удавалось управляться с госпожой лучше, чем вам, — но не кажется ли вам, что есть риск поселить в ней излишнюю уверенность в собственной власти и равнодушие к ожиданиям публики? Я только спрашиваю, судить об этом оставляю вам». Некоторые звали его Мефистофелем, следующее поколение могло бы назвать его Свенгали. В любом случае его единственным конкурентом был Гладстон, которому королева решительно не симпатизировала.

Время поджимало. Дираэли стал премьер-министром, но старый дореформенный парламент

должен был разойтись в мае 1868 года. Однако разойтись с прежним списком избирателей означало бы политический и парламентский конфуз. Правительство Дизраэли проработало всего три месяца. Советы сыпались со всех сторон. Он посовещался с королевой, чья неприязнь к Гладстону и нежелание снова видеть его премьер-министром были хорошо известны, и решил оставаться на посту до тех пор, пока позволяют обстоятельства. Ему предстояло завершить еще много дел в парламенте. В начале мая Дизраэли решил объявить перерыв в заседаниях палаты общин и посоветовал королеве распустить парламент, «как только позволят общественные интересы». Фактически это означало, что они будут ждать до тех пор, пока не закончится составление нового полного реестра избирателей, что предположительно должно было произойти в начале ноября. Несмотря на произведенные Дизраэли изменения, многие считали, что на выборах снова победят Гладстон и либералы.

На выборах в ноябре 1868 года развернулась упорная борьба. В Annual Register предупреждали, что «следует опасаться коррупции, пьянства и морального разложения» — все эти явления продолжали существовать, как и раньше. Одному

богатому парламентарию из Бристоля пришлось обращаться к своим избирателям, прикрываясь раскрытым зонтом: обычай бросать в неугодных кандидатов дохлых кошек и собак еще не был окончательно предан забвению. То же касалось давней традиции предвыборных взяток и шантажа. В результате, как и ожидалось, либералы получили большинство с перевесом в 112 голосов. Дизраэли сразу подал в отставку, создав прецедент, в котором здравый смысл электората оказался важнее парламентских процедур. Было вполне ясно, что Гладстон завоевал доверие публики. Он обращался к чувству справедливости и честной игры: «Не ждите, что из года в год будет продолжаться болезненный, позорный, я бы даже сказал, омерзительный процесс ограничения личной свободы, цель которого силой удерживать в подчинении большую часть ирландского народа». О новообретенных обязанностях реформированного электората он говорил: «Отныне вы наделены привилегиями, с помощью которых должны управлять сами собой». Вероятно, это убедило многих. Когда ему сообщили о результатах выборов, он рубил деревья в своем поместье в Хавардене. Он ненадолго прервался и сказал: «Теперь моя миссия — умиротворить Ирландию».

20
«Она не может продолжать»

Дизраэли не верил, что будущее за Гладстоном. В сущности, они оба совершенно не верили друг в друга. Возможно, отчасти их соперничество объяснялось тем, что оба лидера были членами палаты общин, но, кроме того, было очевидно, что между ними существуют глубокие различия. Гладстон был человеком убеждений и принципов — Дизраэли превыше всего ставил удобство и практичность. Во всяком случае, так это выглядело со стороны для их современников, но с исторической точки зрения мы, пожалуй, будем несправедливы к обоим, если согласимся с этим расхожим мнением. За легкомыслием Дизраэли стояла глубокая преданность иудейской вере или как минимум уверенность в том, что он принадлежит к избранному народу. Он оценивал себя так же высоко, как любой английский аристократ, и вел себя соответственно. Он не пытался подражать манерам аристократии: у него был собственный неповторимый стиль. Гладстон тоже иногда выбирал прагматичные и оппорту-

нистические политические решения, хотя изо всех сил старался это скрыть. Можно сказать, в политике он одним глазом смотрел на Бога, а другим подмечал открывающиеся возможности. Став премьер-министром, Дизраэли сказал, что взобрался на вершину смазанного жиром столба. Гладстон видел это иначе: «Я поднимаюсь по крутой тропе, и груз на моих плечах становится все тяжелее. Всевышний поддерживает и щадит меня для какой-то известной только Ему цели, хотя я знаю, насколько этого недостоин. Да восславится имя Его!»

Гладстон одержал на удивление легкую победу. В Англии голоса распределились примерно поровну, но Шотландия и Ирландия не оставили никаких сомнений в конечном результате. Дизраэли мог с честью отказаться от дальнейшей политической карьеры, однако он вовсе не собирался уходить со сцены. Смерть лорда Дерби осенью 1869 года, казалось, только укрепила его решимость оставаться на государственном поприще. В политических кругах ходила загадка: «Чем Гладстон похож на телескоп? — Дизраэли открывает и закрывает его, когда захочет, и видит его насквозь».

После триумфа Дизраэли с реформой Либераль-

ная партия пребывала в полном замешательстве, и сам Гладстон был ошарашен таким поворотом событий. Вскоре он нашел еще одно дело, способное сплотить его партию. Ирландия оставалась источником постоянного недовольства и насилия. Если он действительно собирался исполнить свою миссию и умиротворить эту страну, ему вместе с новым правительством нужно было действовать медленно и осторожно. Он решил начать с религиозного вопроса. «Настало время, — сказал Гладстон, — когда союз англиканской церкви Ирландии с государством должен прекратить свое существование». По сравнению с Римско-католической церковью, крепко державшей верующих в руках, ирландская англиканская церковь действительно выглядела довольно бледно. Она собирала десятину, но мало что давала взамен. Под ее эгидой проходили все необходимые религиозные службы и обряды, но у нее почти не было власти.

Везде, кроме Ирландии, британцы действовали намного более уверенно. К примеру, в 1868 году британские войска под командованием сэра Роберта Нейпира успешно вторглись в Эфиопию и спасли несколько британских заложников. Это было не только дело чести, но и проявление им-

перского инстинкта. Именно в это время общее безразличие публики к делам империи постепенно сменилось интересом и воодушевлением. Открытие телеграфного сообщения с Австралией породило новое чувство общности. Стало ясно, что и другие страны также стремятся создать собственные империи — главным инициатором здесь была, разумеется, Германия. Италия, Германия и Соединенные Штаты добились национального единства. Почему бы и Британии не образовать подобный союз со своей империей? Расширение избирательного права в 1867 году привело к появлению массы городских избирателей, среди которых было немало зарождающихся империалистов. Один член палаты общин жалел, что новое правительство не осознает «живого интереса общественности, и особенно рабочего класса, к отношениям метрополии с ее колониями». Другой парламентарий выражал сожаление по поводу того, что «правительство равнодушно к желаниям и чаяниям колонистов, а палата общин не уделяет внимания их нуждам и требованиям».

Многие всерьез верили, что Гладстон и его коллеги хотят избавиться от колоний, поскольку те отвлекали их от внутренних проблем и ир-

ландского вопроса. Рабочие направили королеве обширную петицию, в которой говорилось: «Мы с тревогой и негодованием узнали, что Вашему Величеству советуют согласиться на отказ от колоний». Слово «империализм» появилось только в 1878 году, но соответствующие настроения существовали уже за несколько лет до этого. Летом 1868 года возникло Общество по делам колоний, препятствовавшее любым проявлениям сепаратизма. Его деятельности во многом способствовала политика государственной поддержки эмиграции в Австралию и другие страны. У. Э. Форстер, один из главных представителей интересов правительства, заявлял: «Я верю, наступит время, когда государственные деятели сплетут сеть, которая объединит между собой всех говорящих на английском языке жителей наших колоний… и свяжет их с метрополией в одну великую конфедерацию». В 1870 году Джон Рёскин прочитал лекцию, в которой также проявил себя убежденным сторонником империализма: «Вот что должна сделать Англия, если не хочет погибнуть: ей следует как можно быстрее основать как можно больше новых колоний. Захватить все плодородные ничейные земли, на которые ступит ее нога, населить эти земли

самыми энергичными и достойными людьми и внушить своим колонистам, что их главная добродетель — быть верными своей стране, а их первая цель — как можно дальше распространить могущество Англии на суше и на море».

Эдуарду Кардуэллу, военному министру в кабинете Гладстона, поручили провести реформу армии. Он установил стандарты профессиональной подготовки для офицеров и настаивал, что для продвижения по службе необходимы в первую очередь заслуги, а не деньги. Однако это еще больше испортило отношения между королевой и премьер-министром: Виктория считала офицеров своей личной армией. Кардуэлл отменил наказание плетьми в мирное время и подготовил закон о вербовке, согласно которому мужчины могли вступать в армию на более короткие сроки. Одновременно Хью Чайлдерс произвел реформу на флоте, опираясь на аналогичные принципы экономии и эффективности. Он сократил численность эскадр на дальних станциях и стянул флот ближе к дому.

Гладстон по-прежнему оставался для многих загадкой. Выразительный портрет нарисовала писательница Эмили Иден:

> Я полагаю, он очень умен, и притом добродушен: он изо всех сил старается опустить свой ум до уровня моего, но ему это не удается. Он всегда стоит выше меня. Он не просто беседует — он рассуждает, и, увы, чем больше он говорит, тем меньше я его понимаю. Кроме того, в приверженцах «высокой церкви» есть нечто такое, что я не могу точно определить, но хорошо чувствую в их присутствии, — нечто иезуитское. Они как будто никогда не дают себе воли. Одним словом, он для меня недостаточно легкомысленный. Даже если замочить его в кипятке, хорошенько выстирать и выкрутить, не думаю, что из него удастся выжать хоть каплю веселья.

Гладстон организовал четырехдневные дебаты для обсуждения трех резолюций по Ирландии, одна из которых касалась отмены церковных податей. Он протолкнул Закон о реформе ирландской церкви, который не только отделил ее от государства, но и лишил ее пожертвований. При всей своей запутанности и противоречивости этот акт действительно помог умиротворить

Ирландию, одновременно смягчив недовольство и католиков, и пресвитериан. Он также должен был стать первым шагом к примирению с ирландцами. Гладстон говорил три часа, и даже Дизраэли признал, что ни одно слово его речи не было сказано впустую.

На самом деле Гладстон мало знал об Ирландии и никогда не бывал там, но обладал хорошо развитым чувством момента. Однажды он сказал: «Самый поразительный дар, врученный мне, — это умение понимать суть фактов определенной эпохи и их взаимное соотношение». Другими словами, у него было высокоразвитое и глубоко интуитивное историческое чутье, на которое он и полагался, выбирая время для действия.

В 1870 году он подготовил ирландский земельный билль истинно гладстоновской сложности, при этом оставшись верным обещанию, которое дал, когда рубил деревья в своем поместье. Теперь арендаторы могли получить компенсацию за любые улучшения, которые вносили в свои жилища, и могли требовать компенсации, если их выселяли по каким-либо причинам, кроме неуплаты. В долгосрочной перспективе эти меры почти ничего не изменили, но Гладстону понадобилось много сил и изобретательности, чтобы провести

предложение через палату лордов, где, естественно, были настроены враждебно к любым мерам в пользу арендаторов. Примечательно, что Дизраэли не поднял шума из-за закона, который вполне можно было назвать антиторийским. Фигурально выражаясь, он закрыл ладонями глаза, уши и рот. Гладстон также предложил королеве основать в Ирландии резиденцию для королевской семьи, чтобы сделать приятное ирландскому народу. Виктория с ужасом отвергла эту идею: у нее и без того было слишком много мрачных, продуваемых сквозняками дворцов.

Кроме этого, первое правительство Гладстона приняло ряд других законов, в том числе закон об образовании У. Э. Форстера, который произвел в образовательной практике настоящую революцию, имевшую глубокие и благотворные последствия. Об упразднении церковных школ не могло быть и речи: они служили основным и часто единственным источником образования. В системе образования господствовали благотворительные школы, финансируемые двумя крупными религиозными организациями: «британская школа» нонконформистов и «национальная школа» англиканской церкви.

Форстер увеличил государственные субсидии

благотворительным школам, но что еще важнее, он создал систему государственных школ-интернатов под управлением местных советов нерелигиозного характера (хотя в этих школах также проводили ежедневные богослужения). Они финансировались из местных податей и при необходимости получали государственные субсидии. Большего Форстер и Гладстон сделать не могли: создание общенациональной школьной системы обошлось бы слишком дорого. Впрочем, они уже немалого добились. В 1870 году, когда был принят Закон о начальном образовании, в Англии было менее 9000 школ. Двадцать лет спустя в стране работало уже 20 000 школ. Большинство наконец согласилось, что национальная система образования необходима. Это было неизбежно. Даже Роберт Лоу, один из самых яростных противников реформы, признавал: «Я полагаю, нам придется заставить наших будущих мастеров выучиться грамоте». Им предстояло не только выучиться грамоте. Они должны были научиться уважению. Они должны были научиться послушанию. Они должны были научиться читать, писать и считать — говоря словами того же Лоу, «получить образование, имеющее практическую пользу в их работе». Или, как выразился Тоуни,

иметь достаточно образования, чтобы понимать команды.

Также администрация Гладстона приняла ряд других смягчающих мер. Были отменены конфессиональные проверки в университетах, введено тайное голосование на парламентских выборах, позволявшее каждому избирателю конфиденциально подать свой голос, и принят еще один Закон о борьбе с коррупцией на муниципальном уровне. Также был принят Закон о шахтах и частично упразднена система долговых тюрем. В целом в сравнительно короткие сроки удалось сделать довольно много, хотя Джон Брайт предупреждал, что «через Темпл-бар не проедет сразу двадцать фургонов». В таком случае, ответили ему, придется убрать Темпл-бар. (Арку действительно разобрали в 1878 году.)

Вековые льды медленно таяли, последовали другие реформы. В государственных учреждениях начала действовать система конкурсных экзаменов, способствовавшая искоренению кумовства, по-прежнему остававшегося проклятием Англии. Три суда общего права заменил единый Верховный суд и вспомогательный апелляционный суд. Канцлерский суд также был упразднен, что положило конец затяжным разбирательствам в

духе дела Джарндисов против Джарндисов, описанного в «Холодном доме» (Bleak House; 1853). На смену Комитету попечения о бедных пришел Совет местного самоуправления — со временем, по мере укрепления позиций государства, он превратился в Министерство здравоохранения. В это время фактически были созданы местные органы власти, занимавшиеся административным и коммунальным обслуживанием на местах. Закон о советах местного самоуправления 1871 года предусматривал учреждение центрального департамента, отвечающего за все вопросы местного самоуправления, от общественного здравоохранения до общественного благоустройства. Позднее появились разнообразные жилищные инспекторы, санитарные реформаторы и инспекторы образования. Эпилогом этих реформ, часть которых оказалась успешной, а часть нет, мог бы служить отрывок из письма Гладстона в марте 1868 года. Он писал: «Но прежде всего, даже если мы всего лишь люди, мы будем неизменно стремиться вперед во имя истины и справедливости, помня: когда дело решено и час настал, откладывать правосудие — значит отказывать в правосудии».

Появление после 1870 года новых бюрокра-

тических учреждений и новых чиновников неизбежно способствовало формированию полноценного государства. В 1880-х годах это понятие во многих смыслах переживало новый расцвет. Однако вопрос о том, до какой степени государство намерено вмешиваться в свободу личности, пока оставался открытым.

Тема получила новое развитие летом 1870 года, когда Пруссия в ходе ураганной военной кампании разгромила Францию, наглядно продемонстрировав, на что способно высокоорганизованное и боеспособное государство. Бисмарк приготовился одержать решительную победу над своим старым врагом и расставил французам ловушку, затеяв ссору из-за южных германских земель. В июле 1870 года французы объявили войну Пруссии, однако их ждал отлично вооруженный и подготовленный противник. Высокопрофессиональная прусская армия без труда расправилась с дезорганизованными французами. Через шесть недель немцы одержали убедительную победу. В решающей битве при Седане в начале сентября Наполеон III попал в плен. Его жена императрица Евгения бежала в Англию. После этого немцы избрали императора Германии и в качестве военной добычи забрали

у Франции деньги и территории (включая Эльзас и Лотарингию). Германская империя возникла из обломков разоренной Франции. Англичане просто наблюдали за происходящим со стороны. Тот факт, что королева Виктория благосклонно относилась к Пруссии и считала ее превосходным образцом государственной самостоятельности, ничуть не улучшал положение. Миф о величии Франции был окончательно развеян. Теперь, после краха Второй империи, Парижская коммуна радикалов и рабочих могла стать источником заразы для рабочего класса Англии. Так или иначе, не вызывало сомнений одно: новая Германия занимала в Европе главенствующее положение, и никто не мог и не хотел ничего с этим поделать.

На площади Согласия в Париже скульптуру, символизирующую поглощенный Германской империей Страсбург, окутали черным крепом и увили гирляндами в знак вечной скорби. Этот «новый мир», как его называли некоторые, был зрелищем, достойным взгляда «президента бессмертных», о котором упоминал Томас Харди.

Лето выдалось жарким, и, как отмечал Троллоп, «люди снова начали жаловаться на состояние Темзы». Половине кабинета министров нездоровилось. Граф Гренвилл писал: «Гладстон вчера

сказал Бессборо, что иногда боится за собственную голову. Кардуэлл на последнем заседании сидел вплотную к огню с таким видом, будто хотел перерезать себе горло». Все были подавлены. Историк Фруд заявлял: «Английское мнение не имеет веса. Английскую силу высмеивают. Наше влияние в советах Европы — дело прошлого». Бисмарк шутил: если в Германию вторгнется английская армия, он отправит берлинскую полицию арестовать ее. Лорд Солсбери выразился иначе: «Во всем следует винить те перемены, которые произошли в характере и духе английской нации. Она больше не желает, как раньше, занимать выдающееся положение. Она только рада оградить себя от европейских обязательств, пользуясь своим изолированным положением, будто бы дающим ей какую-то защиту».

Гладстон анонимно опубликовал в Edinburgh Review статью, посвященную европейской проблеме. Он высказывался в защиту «нравственной империи» и «нового закона наций», который мог бы сделать «общественное право руководящей идеей европейской политики». Как это часто бывало с Гладстоном, прямая широкая дорога не привела ни к чему конкретному, и в любом случае эти заявления совершенно не соответствовали

обстоятельствам. Его уже называли «народный Уильям». Какой-то тихий голосок внутри шептал: «Уильям, будь лидером». Он быстро осознал, какую силу приобрела пресса, и уже в октябре 1862 года совершил первую поездку на север, где выступал перед публикой и где его личное присутствие, умение завладевать вниманием толпы и театральные манеры творили чудеса. Те, кто стоял слишком далеко и ничего не слышал, могли прочитать все в газетах на следующий день. Это казалось еще более ценным, если перед этим человек лично присутствовал на выступлении. Джон Брайт говорил: «Публичные речи читают охотнее, чем дебаты в палате общин, и они больше влияют на общественное мнение». Гладстон крайне внимательно относился к подготовке своих выступлений и использовал лучшие приемы Ковент-Гардена, Хеймаркета и мюзик-холлов. То были зрелища, понятные викторианцам.

Публичные выступления доставляли Гладстону немало удовольствия. Он упивался приветственными криками и аплодисментами так, как никогда не делал, например, Дизраэли. Иногда его называли «мистер Меррипеббл» («Веселый булыжник») (игра слов, связанная с его фамилией — Гладстон, «Довольный камень»). Миссис

Гладстон также испытывала воодушевление. «О, я никогда не забуду тот день! — сказала она о речи в Тайнсайде в 1862 году. — Это был первый раз, когда его приняли так, как он того заслуживал». Гладстон размышлял об этом феномене в своем труде, посвященном Гомеру. «Работа оратора, — писал он, — есть влияние. Он получает его большей частью от своей аудитории (так сказать) в виде испарения, а затем изливает на нее широким потоком… Он не придерживается идеалов и не создает идеалы. Он выбирает быть таким, каким нужен своему времени, и совершать те действия, которых упомянутое время требует для своего развития, — или не быть вовсе». Пожалуй, это самое точное описание того, как политик может воплотить в себе дух или образ народа.

Создавалось впечатление, что он поддерживает рабочих ткацких мануфактур. Он поддерживал представителей профсоюзов и «хунту» профсоюзных лидеров. Он отождествлял себя с нравственным и честным трудящимся человеком. Однако Закон о профсоюзах, снявший с них подозрения в антигосударственной деятельности и предоставивший их фондам защиту в суде, был опубликован только в 1871 году.

Многое еще предстояло сделать. В 1871 году

санитарный врач обнаружил в лачуге в Бетнал-Грин трехлетнего ребенка, занятого изготовлением знаменитых серных спичек. Ажиотаж иного рода спички вызвали, когда весной этого года канцлер казначейства Роберт Лоу предложил обложить их косвенным налогом. Начались волнения, особенно среди работников спичечной фабрики Брайанта и Мэя, которые и без того крайне мало получали за свой тяжелый труд в нездоровой обстановке. Серная спичка едва не стала последней соломинкой, сломавшей спину верблюда. По настоянию Гладстона налог спешно отозвали, но через 17 лет ситуация достигла критической точки.

Это было непростое время. Либералы по-прежнему оставались разобщенными, и, кроме того, они столкнулись с непримиримым врагом в палате лордов. Гладстон все еще надеялся объединить свою партию вокруг дела Ирландии. Пожалуй, он потратил слишком много сил на страну, к которой англичане были большей частью равнодушны. Все усилия, приложенные для разделения Церкви и государства и принятия земельных законов, казалось, произвели мало впечатления на ирландцев, остававшихся, по мнению английских политиков, вечно неблаго-

дарными. Гладстон понимал, что лучшие дни его правления уже позади. Он сказал Кларендону, что чувствует себя, «как могла бы чувствовать пчела, если бы доподлинно знала, что умрет после того, как вонзит жало». Весной 1872 года Дизраэли заметил о либералах на передних скамейках: «Вы видите перед собой ряд потухших вулканов». Годом ранее в The Times отметили: «Решение государственных вопросов в этой парламентской сессии больше повредило репутации палаты общин, чем все неудачи прежних лет, наполненных самыми бурными событиями. Дела не делаются, законотворчество зашло в тупик». Лето выдалось невыносимо тяжелым: двое из кабинета министров слегли с нервным срывом, а Кардуэлл (тот самый, который, по сообщению графа Гренвилла, пристально смотрел в огонь) был объявлен сумасшедшим.

Премьер-министр и королева не ладили еще сильнее, чем раньше: по словам Гладстона, она сосредоточила на нем «всю силу отторжения». Насколько непопулярна она была в народе, стало ясно в период рождения и скоропостижной смерти третьего сына принца Уэльского. В день его появления на свет авторы газеты Reynolds' News поздравили читателей с «очередным без-

радостным событием», а после смерти мальчика на следующий день — со «счастливым избавлением». «Мы с большим удовлетворением сообщаем, — писала газета, — что новорожденный ребенок принца и принцессы Уэльских умер вскоре после рождения, тем самым избавив рабочие классы Англии от необходимости содержать в будущем еще одного государственного нахлебника в придачу ко всем тем, кого они кормят уже сейчас».

В отношениях премьер-министра и королевы снова пробежал холодок, когда он предложил ей проводить больше времени в Лондоне. По его словам, это «могло бы немало послужить укреплению престола — обстоятельства требуют приложить для достижения цели все возможные усилия, и это позволило бы наглядно продемонстрировать публике, как королевская семья исполняет свой общественный долг». Королева ответила одним из своих знаменитых истерических взрывов. Она сказала, что предложение Гладстона «поистине чудовищно»:

> Что погубило ее обожаемого супруга? Непомерная тяжесть тревог и забот! Что погубило лорда Кларендона? То же самое!

> Что сломило мистера Брайта и мистера Чайлдерса, заставив их взять отставку? Снова то же. Но королева — женщина, и уже немолодая, — должна выстоять под этим гнетом! Ее можно безжалостно подгонять, нимало не заботясь о том, как страдают ее нервы и здоровье от всех этих тревог, волнений и вмешательства в ее личную жизнь.

Нетрудно заметить в этих словах намек на то, что Гладстон несет личную ответственность за несчастья министров, не говоря уже о самой королеве, но на самом деле старик вряд ли заслуживал таких обвинений. В заключение королева объявила: «Она не может продолжать». Конечно, она могла и продолжала. Впрочем, ее обвинения все же были небеспочвенными. Только за последнее время ряды государственных деятелей, скончавшихся или тяжело заболевших в сравнительно молодом возрасте, пополнили Брайт, Чайлдерс и Кларендон. В предыдущем поколении были Питт-младший, Каслри, Фокс, Ливерпул и Каннинг — всем им также еще не исполнилось шестидесяти лет. Во многом это объяснялось той нервозной лихорадочной атмосферой, в которой

им приходилось жить. Они не знали ни минуты отдыха, — вероятно, их можно назвать первыми жертвами викторианского чувства долга и идеала упорного труда. Их преемникам приходилось не легче. Новые трудности в империи, обострившаяся конкуренция с другими промышленными державами и упадок сельского хозяйства добавляли беспокойства и без того обеспокоенным государственным деятелям.

Утешение и поддержку королева Виктория находила у заслуженного королевского слуги Джона Брауна, который относился к ней, как взволнованный отец мог бы относиться к своенравной дочери. Со временем она все больше отдалялась от своей семьи, даже от наследника, и все больше полагалась на доброту окружающих. Говорили, что Джон Браун был даже слишком добр к ней, — по некоторым неподтвержденным данным, они были неофициально женаты, но это, конечно, выдумки.

Гладстон считал себя обязанным спасти Викторию из пропасти бездействия и непопулярности, в которую она упала. Однако его усилия не находили отклика. «Она очень ласково смотрела на меня и была добра, — писал он, — но в разговорах со мной она, очевидно, испытывает стеснение и в

какой-то момент всегда осекается, очевидно сдерживая возникающую мысль». До нее доходили сведения о ночных встречах премьер-министра с падшими женщинами. Сам он, вероятно, считал их также частью возложенной на себя миссии, или призвания свыше, но для стороннего наблюдателя это могло выглядеть совершенно иначе.

В действительности состояние королевы вряд ли было таким серьезным, как ей казалось. Ее личный секретарь генерал Грей писал принцу Уэльскому: «Несмотря на уверения, я не наблюдаю в ней недостатка сил и здоровья. Дело лишь в давней привычке бесконтрольно потакать своим слабостям, не позволяющей хотя бы на десять минут отложить удовлетворение любого желания или каприза, не испытав при этом более или менее ощутимого нервного возбуждения». Выносить скучные рассуждения Гладстона определенно было выше ее сил. «Он обращается ко мне, — говорила она, — как к публичному собранию».

Сам Гладстон всерьез подумывал об отставке. Он сказал Виктории, что не желает провести старость «под гнетом бесконечных разногласий, неотделимых от его нынешнего положения». Последней каплей стал провал его Билля об ир-

ландском университете в 1873 году, который должен был фактически поставить католические учреждения под контроль Дублинского университета. Гладстон изъявил желание уйти на покой, но тут возникла проблема в лице Дизраэли. Королева попросила его сформировать правительство вместо Гладстона, но он отказался. Он был бы совершенно счастлив исполнить желание своей повелительницы, но только не при нынешней палате общин. Он не хотел возглавить еще одно правительство меньшинства и втайне надеялся дождаться, когда раскол в рядах оппонентов еще углубится. Он хотел, чтобы они продолжали, выбиваясь из сил, исполнять свои обязанности. Гладстону ничего не оставалось, как вновь взвалить на себя ярмо.

К этому времени популярность королевы почти восстановилась, и в этом ей неожиданно помог ее сын. Дело могло кончиться совсем плохо, если бы не внезапная тяжелая болезнь Берти в десятую годовщину смерти его отца. В конце ноября 1871 года принц Уэльский заболел брюшным тифом. Его отец когда-то тоже страдал этой болезнью — и в это же время года. Сначала принцу как будто стало лучше, но затем его положение настолько ухудшилось, что Виктория поспешила к нему в

Сандрингем. 11 декабря одна газета зловеще написала: «Принц еще жив, поэтому мы еще можем надеяться». Три дня спустя, в годовщину смерти Альберта, публика замерла в напряженном ожидании. Кризис миновал, и принцу стало лучше. Все время, пока он медленно шел на поправку, страна поддерживала королеву. Возникает вопрос, как разгневанная нация, бесконечно критикующая монархию, могла вдруг превратиться в нацию, исполненную сочувствия к монархине. Возможно, дело было в том, что публика вдруг увидела в Виктории не королеву, а мать? Звучит ужасно банально, и все же это одна из тех общечеловеческих ценностей, которые никогда не теряют значения. Кроме того, не следует забывать о непостоянстве и безумии толпы.

Итак, Виктория вышла из своего добровольного заточения. Вместе с сыном и невесткой она отправилась в открытом ландо в собор Святого Павла на благодарственную службу. С этого времени ее стали называть матерью народа. В тот день произошло еще одно знаменательное событие: толпа, собравшаяся на богослужение, холодно встретила Гладстона, но бурно рукоплескала Дизраэли. На то были свои причины. Дизраэли взял курс на «консервативную демократию». Глад-

стон, несмотря на победу на всеобщих выборах — или даже благодаря этому, — несправедливо считался помехой на пути перемен. Дизраэли был необычайной личностью — не столько человек, сколько персонаж, наподобие игральной карты. Немного позднее один консерватор видел его в Карлтон-клубе, где он сидел неподвижно, как мраморная статуя, уставившись в пространство, «словно видел перед собой другой мир». «Я скажу вам, о чем он думал, — сказал ему другой парламентарий. — Он думал, что снова станет премьер-министром». Произнося речь в Хрустальном дворце весной 1872 года, Дизраэли объявил, что люди, недавно получившие избирательные права, консерваторы «в самом чистом и высоком смысле слова». Они «гордятся тем, что принадлежат к великой стране, и желают сохранять ее величие». В тот момент, когда Гладстон оказался в затруднительном положении, Дизраэли выдвинул последовательную политическую программу. По его словам, «перед партией тори или, как я с этих пор намерен называть ее, Национальной партией» стояли три главные задачи. Необходимо было сохранить существующие государственные институты, поддерживать целостность империи и улучшать условия жизни

людей. В первую очередь его заботили империализм и статус-кво. Дизраэли ловко связал нацию и монархию с помощью следующей метафоры: «Англия — домашняя страна. Здесь почитают дом и считают очаг священным. Семья служит символом нации, и в час всеобщих бедствий, при всяком тревожном стечении обстоятельств нация сплачивается вокруг Семьи и Престола, поддерживая и питая свой дух проявлениями общей привязанности».

Симпатии к Виктории многократно усилились после неудачного покушения на ее жизнь во время возвращения с благодарственной службы в соборе Святого Павла в Букингемский дворец. Когда ее карета проезжала через Гарден-гейт, молодой человек по имени Артур О'Коннор поднял пистолет и слабым голосом крикнул: «Это от фениев!» Виктория, что было для нее нехарактерно, на этот раз совершенно потеряла самообладание: «Я дрожала с головы до ног, как будто в конвульсиях». Она схватила за руку свою фрейлину и воскликнула: «Спасите меня!» Верный слуга Джон Браун поймал мальчишку и крепко держал его, за что был позднее награжден золотой медалью. Покушение только увеличило популярность королевы, хотя она признавалась,

что пережитый тогда испуг «впоследствии еще очень долго давал о себе знать». Юношу взяли под стражу и приговорили к заключению в Ньюгейтской тюрьме. Она казалась неприступной.

Возможно, это простое совпадение, но с этого времени баланс сил начал меняться в пользу консерваторов. Недовольство либералами росло — это стало очевидно, когда Гладстон заговорил о том, как опасны «апатия и политическое недовольство, так широко распространенные сейчас в нашем большинстве».

Также в этом году появилась почтовая открытка.

21
Дело Тичборна

В газетах и новостных афишах его называли Претендентом. Это был самый известный процесс XIX века, затмивший дело королевы Каролины и дело Оскара Уайльда. О нем говорил не только город, но и весь мир. Роджер Тичборн был наследником состояния и баронетского титула. Весной 1853 года он пропал из Англии и через некоторое время отплыл в Южную Америку. В следующем году он вышел на корабле из Рио-де-Жанейро и, пережив кораблекрушение, добрался до австралийского форпоста Ваггa-Ваггa. Там он, по собственному утверждению, открыл мясную лавку под именем Томаса Кастро. Это была хорошая история. Превращение из баронета в мясника в мире, где о малейших нюансах статуса велись ожесточенные споры, нельзя было назвать иначе чем эпатажным.

Вдовствующая леди Тичборн, потеряв мужа в 1862 году и младшего сына в 1866 году, была безутешна. Пропавший без вести Роджер Тичборн должен был стать одиннадцатым баронетом.

Разыскивая старшего сына, она напечатала объявления в The Times и других изданиях, и ее призыв долетел до жителей далекой Вагга-Вагги. Здесь все открылось. Тичборн, или Кастро, ранее уже делал намеки относительно своего прошлого, и теперь его со всех сторон уговаривали плыть в Англию и заявить о своих правах на наследство. 25 декабря 1866 года он прибыл в Лондон. Мать как будто бы сразу узнала его. «Он похож на своего отца, — сказала она, — а уши у него точь-в-точь как у его дяди». Другие члены семьи вовсе не испытывали подобной уверенности и отрицали всякую связь с этим человеком. Разве можно так ошибаться, если речь идет о близком родственнике? Возможно, дело в наследстве? И почему Тичборн так поздно явился, чтобы потребовать свою долю? Загадка еще усложнилась, когда стало известно, что мнимого Роджера Тичборна на самом деле звали Артур Ортон и он был мясником из Уоппинга. Дело запутывалось все сильнее.

В Лондоне любые сложные вопросы решались в суде, и многие начали жертвовать деньги в поддержку Тичборна. Потенциальный баронет казался хорошей инвестицией и, кроме того, вызывал у публики искреннее сочувствие. В 1860-х годах переживала расцвет так называемая сенса-

ционная литература — бульварные романы, где много писали о деньгах, завещаниях, убийствах и мрачных секретах внешне респектабельных семей. Дело Тичборна как будто сошло со страниц такого романа, а его широкая известность отчасти объясняется тем, что оно повторяло один из любимых вымышленных сюжетов того времени. Роджер Тичборн, как его теперь называли, подал иск против полковника Лашингтона, в то время проживавшего в Тичборн-хаусе. Процесс пользовался такой популярностью, что его пришлось перенести из Суда общих тяжб в более просторный Суд королевской скамьи, где он длился с марта 1871 года по май 1872 года. В газете Era писали так: «Решительно невозможно находиться в компании без того, чтобы кто-нибудь не предложил вам обсудить это дело». Фигуру Претендента выставили в Музее мадам Тюссо, и очередь желающих увидеть ее протянулась вдоль улицы.

Процесс не только принес Претенденту сомнительную известность. Его подняли на щит радикалы и те, кого называли ремесленным классом. Речь шла о бедняке, обыкновенном мяснике, которого хотела лишить наследства банда аристократов, землевладельцев и агентов по продаже собственности. Тот факт, что он, по

его признанию, теперь стал баронетом, не имел никакого значения. «Честная игра дороже золота», — повторяли люди. Здесь, как и в случае с королевой Каролиной, власти преследовали жертву по одной-единственной причине: она бросила вызов их могуществу. Дело обсуждали в популярных дискуссионных клубах, на массовых митингах и в пабах. О нем шутили в театрах и мюзик-холлах. Сеть содержателей пабов создала фонд в поддержку Тичборна. Свой вклад внесли представители других профессий, от водителей кэбов до краснодеревщиков. За процессом Тичборна пристально следили две газеты. Сам Претендент выступил с серией публичных обращений по всей стране. Он не хотел, чтобы его признали сэром Роджером Тичборном. Он хотел лишь отстоять свое право на справедливое судебное разбирательство, и добавлял, что стал жертвой заговора. Он даже провел большую демонстрацию в Уоппинге, где, по некоторым утверждениям, когда-то был мясником.

Претенденту предъявили встречный иск о лжесвидетельстве, — дело рассматривалось полным составом суда с апреля 1873 года по февраль 1874 года. В судейскую коллегию входили трое судей. Публика, в основном поддерживавшая Тичборна,

шумно обсуждала происходящее. Верховный судья лорд Кокберн сказал в том году: «Полагаю, в Англии со времен памятного процесса Карла I не было суда, который привлек бы больше внимания англичан». Рёскин отзывался о деле куда более презрительно: «Только представьте себе… глубину идиотизма всех этих людей, потративших два с лишним года своей жизни на то, чтобы писать, публиковать и читать новости о судебном процессе Тичборна». В конечном итоге Претендента признали виновным по двум обвинениям в лжесвидетельстве и приговорили к двум тюремным срокам по семь лет, которые он отбыл вполне образцово, сумев найти сочувствующих даже в стенах тюрьмы. На этом дело могло бы закончиться, если бы на кону не стояли интересы других людей.

Претендента защищал адвокат Эдвард Кинили. Его лишили адвокатского статуса за неподобающее поведение в зале суда, но затем его карьера сделала крутой вираж. Он учредил Ассоциацию Великой хартии вольностей Великобритании, апеллирующую к древним свободам английского народа. Его называли «друг народа» и «защитник бедного сэра Роджера». Позднее он был избран в парламент как радикальный представитель от

Стоука. Весь этот эпизод противоречит утверждению, будто в период между смертью чартизма и рождением социализма радикализм не подавал никаких признаков жизни. Делу Тичборна также сочувствовали те, кто выступал против принудительной вакцинации, законов о лунатизме, законов о заразных болезнях и прочих официальных инициатив, подразумевающих превосходство государства над правами личности. Его имя вспоминали везде, где ущемлялись свободы людей. На одной демонстрации в Пасхальный понедельник люди несли транспарант: «Свободу Тичборну, созыв парламента раз в три года и благосостояние народа!»

Выйдя из тюрьмы, Тичборн открыл табачную лавку, но, поскольку его популярность постепенно угасала, не добился коммерческого успеха и умер в бедности неподалеку от Бейкер-стрит. Но что в первую очередь стало причиной вызванного им ажиотажа? Дело Тичборна на какое-то время привлекло непостоянное внимание толпы, поскольку символизировало собой все причудливое и невероятное. Самые громкие преступления того времени были связаны с мошенничеством и шантажом, и дело Тичборна как будто пролило на них новый свет. Публику живо интересовало

все то, что скрывалось за ширмой респектабельности, — щекочущий нервы мир, где под условностями обычной жизни прятался тяжкий груз тайн и запретных отношений. Это был мир запутанных связей, двойников и самозванцев, где никто не мог чувствовать себя в безопасности даже в собственном доме. Тичборн приоткрывал для людей этот мир.

Случай представлял интерес еще и потому, что викторианцы увлекались теориями наследственности и унаследованных характеристик. Их постулаты просачивались из работ Дарвина на страницы самых скандальных еженедельных изданий. Мог ли мясник действительно быть баронетом, а баронет — мясником? Это противоречило всем мыслимым законам респектабельного общества — если кто-нибудь в этом мире еще понимал, что такое респектабельное общество.

22
Ангел

«Мужчины! Вот враги нашей невинности и покоя… Они присваивают наше тело и душу, привязывают нас к себе, словно сажают собаку на цепь подле конуры. И что же лучшие из них дают нам взамен?» Так говорила Мэриан Голкомб в романе Уилки Коллинза «Женщина в белом» (1860). Жены не имели имущественных прав и в браке лишались всякой самостоятельности, попадая под своеобразный домашний арест. После замужества само существование женщины и ее присутствие в законном поле словно приостанавливалось. Муж мог забрать ее платья и украшения и продать их — она не имела права голоса в этом вопросе. Но как в общественном сознании мог сложиться образ женщины — хозяйки дома, если в глазах закона она оставалась невидимой? В публичных дебатах XIX века женщин как будто не существовало — в частной жизни дело обстояло совсем иначе. Это был один из самых обширных пробелов конца XIX века.

В конце XVIII века первая последовательная

феминистка Мэри Уолстонкрафт умерла, оставив миру книгу «В защиту прав женщин» (A Vindication of the Rights of Woman; 1792), в которой призывала женщин среднего класса «стремиться обрести силу разума и силу тела». Призыв не остался незамеченным: в зарождающихся профсоюзах, особенно тех, которые объединяли владельцев лавок и изготовителей упаковки, состояло немало женщин. Кроме того, женщины активно участвовали и даже преобладали в процветающем кустарном производстве настенных гобеленов и кружевоплетении. Представление о том, что замужняя женщина хранит огонь очага, а ее муж освещает путь факелом, — и, в сущности, само понятие раздельных сфер жизни в том смысле, который вкладывал в него средний класс, — еще не родилось.

К 1860-м годам в общественном сознании сложился законченный образ рабочего человека. Но что можно было сказать о его жене, сестре, дочери и даже матери? Можно ли было и дальше отрицать их индивидуальность? А незамужние женщины? Старые девы и вдовы вызывали определенное беспокойство, но у них имелось по крайней мере одно преимущество: они были относительно свободны. Замужняя женщина в

начале XIX века в принципе не могла владеть никаким движимым или недвижимым имуществом (последнее подразумевало главным образом землю). По закону она сама была собственностью мужа — говоря юридическим языком, *feme covert*, а не *feme sole*. При разводе, который в каждом отдельном случае требовал специального парламентского акта, право опеки над детьми как само собой разумеющееся переходило к мужу. Любые средства, заработанные женой, становились собственностью мужа. Даже деньги, лежавшие в ее кошельке, принадлежали мужу. Она не могла самостоятельно подать в суд, и ей самой не могли лично предъявить иск. Муж мог обращаться с ней как угодно жестоко в полной уверенности, что суд посмотрит на это сквозь пальцы.

Так было не всегда. Англосаксонские женщины, выходя замуж, имели права и свободы, которых лишились при норманнах и их преемниках и смогли восстановить только в 1870 году. Если говорить о собственности, женщина из рабочего класса находилась в несколько более выгодном положении по сравнению с женщинами из среднего и высшего класса по той простой причине, что у нее не было почти никакой собственности. В первые десятилетия XIX века многие женщины

из рабочего класса охотно пользовались практическими преимуществами сожительства без официального брака: в их случае это не вызывало лишних вопросов.

Однако понятие раздельных сфер жизни завоевывало в общественных дискуссиях все более прочные позиции. Невозможно точно определить, когда оно впервые появилось и кем было придумано, но оно оказалось крайне влиятельным. Типичная картина середины Викторианской эпохи изображает мужчину, который смотрит в окно, заложив руки за голову, и женщину, которая сидит в избыточно декорированном кресле, скромно опустив глаза к рукоделию. Для женщины весь мир ограничивался домом — мужчине был открыт огромный мир вокруг.

Работа во многих случаях делилась скорее по характеру задач, чем по гендеру. На Северне и в Шропшире мужчины строили каркас коракла, а женщины обшивали его кожей. В сельском хозяйстве мужчины рубили, а женщины собирали, в рыболовном промысле мужчины добывали рыбу, а женщины потрошили и продавали ее. Другие примеры также позволяют предположить, что эта дуополия отражала сексуальную политику своего времени. Дворецкий и экономка, лакей

и горничная, прядильщик и ткачиха, мужчина, вырубающий уголь в шахте, и женщина, поднимающая вагонетки на поверхность, представляли отдельные, но взаимосвязанные сферы деятельности. Мужчины начинали протестовать только в тех случаях, когда конкурировали с женщинами за одну и ту же работу. Это во многом объясняет дикарскую реакцию на первых женщин-врачей.

Появляясь на публике, викторианские женщины были вынуждены терпеть множество неудобств. В середине 1850-х годов в моду вошли огромные юбки, — карикатуристы изображали, как они выталкивают мужчин из окон омнибусов и мешают женщинам проходить в двери. Впрочем, многие работающие женщины надевали громоздкие кринолины только по воскресеньям, а для будних дней придумывали более удобные варианты. Например, шахтерки носили мужские брюки. Рыбачки надевали сразу несколько юбок и подтыкали их так, чтобы ноги ниже колена оставались открытыми, а когда нужно было потрошить рыбу для продажи, облачались в широкие фартуки из промасленной ткани. Обитательницы работных домов носили стандартные ситцевые блузы, фланелевые нижние юбки и верхние юбки из серой полушерстяной ткани.

Завершали дешевую униформу шаль, передник и пара шерстяных чулок. Этот костюм был не только дешев — он не менялся десятилетиями и со временем выглядел все более архаичным. Кроме того, в работном доме у женщин не было личных вещей, они просто получали после стирки одинаковые чистые комплекты.

Ограничения касались не только гардероба. Миссис Джеймисон в Girls' Own Paper рекомендовала «по утрам умываться чистой водой, а в течение дня воздерживаться от порывов страстей, особенно от зависти, которая придает коже землистый оттенок». Молодая женщина (хотя, если верить Диккенсу, слово «женщина» также не следовало произносить в порядочных семьях) не должна была засиживаться допоздна, играть в карты и читать романы при свечах. Единственным подходящим для женщины физическим упражнением считалась каллистеника — по сути, просто энергичное вращение руками. В распорядке дня работниц некоторых фабрик были предусмотрены обязательные перерывы для занятий каллистеникой.

Одной из главных обязанностей женщины считалась стирка — настолько трудоемкое и отнимавшее столько времени занятие, что, ес-

ли у женщины появлялась возможность, она предпочитала платить за это кому-то другому. По данным переписи 1861 года, стиркой белья профессионально занималось 167 607 человек, 99 % из которых составляли женщины. Домашняя медицина также оставалась прерогативой женщин: мужчины-врачи и мужчины-фармацевты продавали лекарства, но женщины готовили их и определяли дозировку. Женщины также отвечали за изготовление домашних медикаментов, как правило, на основе лечебных трав. Это считалось такой же женской работой, как приготовление еды и выпечка хлеба. Реклама патентованных лекарственных средств нередко напрямую обращалась к женщинам и их страхам: «Угроза жизни многократно возрастает без такой простой меры предосторожности, как “Фруктовые соли Эно”!» Для поддержания организма в отличном рабочем состоянии рекомендовали эпсомскую соль и листья сенны. Кроме того, рекламировали небольшие электростатические приспособления с ручным приводом и парой контактов для любых частей тела, в том числе оснащенные вагинальной насадкой — последнюю часто использовали для «склонных к истерии» женщин. В то время это был вполне распространенный диагноз.

В 1864, 1866 и 1869 годах были приняты три закона о заразных болезнях, которые разрешали принудительно арестовывать женщин, подозреваемых в проституции. Задержанных женщин на шесть недель отправляли в изоляторы, где подвергали вагинальному осмотру и другим внутренним обследованиям. Это вопиющим образом противоречило понятию личной свободы и праву на неприкосновенность, закрепленному законом *habeas corpus*. Принято считать, что бурные протесты против этих законов положили начало движению за права женщин. Особенное возмущение вызвало, в частности, то, что молодых женщин из рабочего класса хватали на улицах и подвергали, по сути, узаконенной разновидности изнасилования. Законы о заразных болезнях отменили в 1884 году: они не принесли ничего, кроме беспорядков и ярости рабочего населения. В них нашли отражение некоторые характерные аспекты мужской власти.

По мере роста городов давление на женщин увеличивалось. Тем, кто больше не мог прокормить себя работой на земле, оставалось заниматься ручным ткачеством — и это в то время, когда появились механические ткацкие станки. Ни плохое питание, ни многочасовой рабочий день,

ни тяжелые условия труда не могли остановить приток людей в города. Бедственное положение женщин усугублялось бесконечными циклами деторождения. Мужчины поощряли множество беременностей, даже если это совершенно истощало их жен. В первую очередь это давало экономическое преимущество: чем больше детей, тем выше потенциальный доход семьи. Отмена детского труда лишь отчасти была продиктована гуманистическими соображениями. Трудящиеся дети, хотя их не в чем было винить и они сами становились жертвами эксплуатации, могли лишить работы взрослых или как минимум отнять у них часть заработной платы.

Респектабельным дамам из среднего класса редко приходилось сталкиваться с подобными затруднениями, хотя их жизнь порядком отравляли такие тексты, как «Книга о ведении домашнего хозяйства» (Book of Household Management; 1861) миссис Битон и «Ангел в доме» (The Angel in the House; 1854) Ковентри Пэтмора. При всей своей непохожести эти произведения приковывали женщин к дому одинаково прочными цепями. Стихи Пэтмора были адресованы не ангелу, женщине, девушке, матроне или матриарху — описанное им существо вообще имело в себе

мало человеческого. Истинный «ангел в доме» представлял собой собрание неземных качеств, о которых обычной читательнице оставалось только мечтать и вздыхать. Например, отношения жены с невнимательным мужем изображались в поэме так:

Когда, исполненный стыда,
Он нежно с ней заговорит,
Она, припав к нему на грудь,
Одну себя во всем винит[14].

Вирджиния Вулф говорила, что долг каждой писательницы — убить домашнего ангела.

Миссис Битон начала публиковать свои знаменитые наставления в The Englishwoman's Domestic Magazine в возрасте 21 года (внешность бывает обманчивой). Большинство своих рецептов она заимствовала из более ранних кулинарных сборников, однако она писала доходчиво и ясно и оказала многим неоценимую услугу тем, что перечисляла перед рецептом список необходимых продуктов. Книга миссис Битон о домашнем хозяйстве, впервые опубликованная в октябре

[14] Примечания: 14

And if he once, by shame oppress'd, / A comfortable word confers, / She leans and weeps against his breast, / And seems to think the sin was hers.

1861 года, содержала не только рецепты, но и советы по самым разным домашним вопросам, от обращения с прислугой до первой медицинской помощи. Это был карманный справочник для любой женщины среднего класса, стремящейся к респектабельности. В начале книги миссис Битон цитирует высказывание Оливера Голдсмита о природе раздельных сфер:

> Скромная девица, благоразумная супруга, заботливая матрона приносят в жизни намного больше пользы, чем философы в юбках, неистовые героини и царицы амазонок. Та, что делает своего мужа и детей счастливыми, удерживает первого от порока и приучает вторых к добродетели, есть персонаж куда более значительный, чем дамы со страниц романов, чье главное занятие — осыпать мужской род стрелами из колчанов и убийственными взглядами.

Кто-то аплодировал подобным сентенциям, кто-то, напротив, с презрением отвергал их.

В свете этого не слишком удивительно, что сотни тысяч женщин подписывали петиции против рабства в то время, когда вокруг них раз-

ворачивались самые бурные дебаты. Вероятно, они испытывали инстинктивную симпатию к порабощенным. Активист движения за отмену рабства Джордж Томпсон заявил в 1834 году: «Там, где появлялись женщины, они брали все на себя… Они стали тем цементом, на котором держалось антирабовладельческое здание, — без их помощи мы никогда не смогли бы объединиться». Однако Уилберфорс не слишком одобрял их участие: «Дамы посещают митинги, издают брошюры, ходят от дома к дому, собирая подписи для петиций… На мой взгляд, все это не слишком согласуется с женской природой, как она изображена в Священном Писании». На самом деле в Писании ровно ничего не говорится по этому поводу. Филантропы тоже могут быть узколобыми.

Две волны женских петиций против рабства поднялись в 1830–1831 и в 1833 году: их подписали 108 английских, 4 валлийских, 4 ирландских и 13 шотландских городов и деревень. Женщины из церкви диссентеров добавили еще 15 000 подписей. Петицию против рабства уэслианской методистской церкви в 1833 году подписали 100 000 женщин. Женское общество Шеффилда для борьбы с рабством заявляло: «Это вопрос не только политический, но в первую очередь нрав-

ственный — другими словами, такой, о котором самый скромный читатель Библии, стоящей на почетном месте в его деревенском доме, может судить значительно вернее, чем искушенный в кабинетных интригах государственный деятель». Как мы видим, викторианские женщины были не менее практичными и серьезными, чем викторианские мужчины.

Многие мужчины требовали равной оплаты труда для женщин не из соображений равноправия, а из страха проиграть им свои рабочие места. Например, на ткацких фабриках число женщин значительно превосходило число мужчин. Некоторые ассоциации ткачей взяли за правило не принимать в профсоюз мужчин, если все женщины в их семье, занятые в этой же отрасли, также не состоят в профсоюзе.

Женщина из рабочего класса, в большинстве случаев находившаяся в крайне невыгодном положении, вероятно, все же могла найти некоторое утешение в том, что она почти всегда была настоящей хозяйкой дома. Имея мало шансов на улучшение жизни и положения семьи, она была избавлена от горечи разочарования своих современниц из среднего класса, а не имея земли, денег или приданого, она могла даже выйти замуж по

любви. Впрочем, женщина из высшего сословия, хотя она представляла собой всего лишь товар на брачном рынке, могла утешать себя мыслью, что после замужества переедет в благоустроенный дом и будет вести жизнь, полную увеселений. Она была избавлена от худших тягот воспитания детей и имела возможность путешествовать, писать и заниматься переводами. Женщина из среднего класса, при всем очевидном комфорте ее существования, находилась, пожалуй, в самом стесненном положении. Она не имела реальной власти, и именно на нее было направлено бдительное око викторианской морали, а интеллектуальные забавы, заменявшие ей систематическое образование, лишь усугубляли ее тоску и негодование. Нередко эти женщины становились самыми пылкими пионерами политического и социального освобождения.

Одной из главных противниц женской свободы была самая свободная женщина страны. Королева Виктория писала, что «желала бы заручиться поддержкой всех, кто пишет и выступает с публичными речами… [против] этой безумной порочной затеи под названием «права женщин», призывающей ее бедный, слабый пол, и без того склонный к всевозможным сумасбродствам,

окончательно забыть всякое чувство женственности и приличия». Пожалуй, это можно считать квинтэссенцией наиболее широко распространенных мнений того периода.

В числе видных борцов с этими мнениями была Анни Безант. В 1877 году ее вместе с Чарльзом Брэдлоу судили по Закону о непристойных публикациях, принятому 20 лет назад. Они оба были, если можно так сказать, профессиональными агитаторами и обожали переворачивать закон и мир с ног на голову. Брэдлоу был убежденным атеистом, и в скором времени ему предстояло вызвать бурю негодования в палате общин, а Безант стала известна всей стране как защитница работающих женщин. С самого начала она вела себя спокойно и уверенно. «Я терпеть не могу всякое жеманство, — заметила она однажды. — И не переношу этих нелепых женщин, которые не могут переступить через соломинку, пока идущий рядом мужчина не подаст им руку. Я всегда говорю мужчине: “Нет, нет. У меня есть собственные ноги. Не утруждайте себя”». Она всегда открыто высказывала личные симпатии и антипатии.

О Безант говорили, что она совершенно глуха к чувствам других людей. Это несправедливо, но в контексте ее новаторских усилий вполне понят-

но. Выступления Уильяма Праутинга Робертса, радикального юриста и выдающегося чартиста, отстаивавшего интересы шахтеров, раскрыли ей глаза на царящие вокруг социальные пороки. «Я слышала его рассказы: он своими глазами видел, как женщины работают под землей, обнаженные по пояс, в едва доходящих до колен подоткнутых юбках, — грубые, сквернословящие, ожесточенные, утратившие всякое подобие благопристойности и женского изящества». Так выглядел мир ужасов XIX века, пропасть, в которой бесследно исчезали все викторианские ценности. Безант вышла замуж за молодого священника, но брак оказался неудачным, поскольку ее взгляды постепенно склонялись к атеизму. Летом 1874 года она прочитала в Кооперативном институте на Касл-стрит близ Оксфорд-стрит свою первую публичную лекцию на тему «Политическое положение женщин». Ощущение могущества и удовольствие, которые приносили ей публичные выступления, помогали ей преодолевать трудности ее политической жизни.

Безант и Брэдлоу основали издательскую компанию, и одну из первых выпущенных ими брошюр (она называлась «Плоды философии»; The Fruits of Philosophy) заподозрили в непристойно-

сти. Это был трактат о способах и преимуществах контрацепции — темы, до тех пор покрытой столь густым мраком, что в период с марта по июнь 1887 года было раскуплено 133 000 экземпляров брошюры. Чтобы признать материал непристойным, суду следовало определить, «является ли непосредственной целью рассматриваемой публикации смутить и развратить тех, чей ум открыт для подобных безнравственных влияний, а также тех, в чьи руки могут попасть издания такого рода». Приведем красноречивую выдержку из протокола судебного заседания.

> **Заместитель прокурора**. Вопрос не в том, можно ли подать такую работу в философский колледж, а в том, можно ли продавать ее по шесть пенсов на улицах Лондона и других городов…
>
> **Анни Безант**. Господа, неужели вы хотя бы на мгновение подумали, что мы с моим соответчиком боремся за такую малость, как право публиковать и продавать шестипенсовую брошюру?.. На кону стоит нечто гораздо большее — жизненно важный общественный интерес, на защиту которого мы готовы потратить всю

свою жизнь… Нет ничего плохого в том, чтобы удовлетворить половой инстинкт, если его удовлетворение не причиняет никому вреда и не наносит ущерба общественной морали.

Во время слушания неоднократно упоминались работы Мальтуса, подтверждавшие, что население растет слишком быстро и его численность следует сократить.

Анни Безант. Я объяснила вам так ясно, как могла, значение слова «непристойное», которое будет определять ваш вердикт. Я утверждаю, что мы руководствуемся самыми благими намерениями и наша цель — способствовать счастью отдельных людей и общества в целом. Я ссылаюсь на Мальтуса — а его мнение еще никому не удалось опровергнуть — и его законы популяции… Я видела, как четыре поколения семьи живут в одной маленькой комнате, где помещается всего две или три кровати, и я спрашиваю: неужели вас удивляет, что, увидев это, я готова рисковать даже тюрьмой и штрафом, чтобы принести хотя бы небольшое

облегчение этим несчастным?

Затем она обратилась еще к одному викторианскому бедствию — ранней гибели. Она заявила, что уровень смертности в Манчестере составляет 117 человек на тысячу, а в Ливерпуле он вырос до 132 человек на тысячу.

> Задайте себе вопрос: нравственно ли, правильно ли допускать, чтобы дети приходили в этот мир, предрасположенные к болезням, которые вполне можно предотвратить, вместо того чтобы остановить этот процесс — что, я полагаю, вам следовало бы сделать — и облегчить жизнь людей, жестоко страдающих от перенаселения. Задумайтесь также: отказываясь от этой возможности, не увеличиваем ли мы тем самым число преступников…

В этих словах отражены истоки многих викторианских предрассудков. Одних возмущала шестипенсовая брошюра о контрацепции, другие считали, что избыток детей способствует распространению смертельных болезней, сокращает количество свободных ресурсов и чреват ростом преступности. Безант также упомянула

ряд преступлений, непосредственно связанных с детьми, в том числе так называемые «детские фермы»: нежеланных детей за определенную плату отдавали на попечение посторонним, совершенно неподходящим для этой задачи женщинам, мужчинам и даже детям. Безант привела в пример случай, когда «ребенка трех лет от роду оставляли за главного с восемью другими детьми». В конечном итоге этих якобы отданных на воспитание детей ждала ранняя гибель. Кроме того, нежеланного младенца можно было «заспать», или «приспать», — другими словами, задушить во сне. Безант сказала суду: «Согласно подсчетам профессора Фосетта, 1 150 000 детей не умерли бы, случись им родиться в более состоятельных семьях. Приняв это во внимание, вы поймете, насколько важен этот вопрос». Затем Безант процитировала отрывок из «Принципов политической экономии» Джона Стюарта Милля, где он говорит о необходимости «настойчиво разъяснять простым и понятным языком всем, вступающим в брак, что их обязанность — ограничивать численность своей семьи».

Далее она привела в пример мать огромного бедного семейства, которая вернулась к работе у стирального корыта уже через 3 дня после родов.

«Что мне остается делать? — сказала эта женщина. — Теперь приходится кормить еще один рот. Детей нужно обеспечивать, и я должна найти какой-то выход из положения». «Найти какой-то выход из положения» — таков был главный лозунг Викторианской эпохи.

В своей заключительной речи ведущий процесс заместитель прокурора сказал:

> Это грязная, омерзительная книга. Доказательством может служить то, что ни один человек не оставил бы ее открыто лежать на своем столе. Ни один порядочный и образованный английский мужчина не позволил бы прочесть ее даже своей жене — и тем не менее мне сообщают, что в Лондоне и любом другом городе эту книгу может приобрести всякий, имеющий лишние шесть пенсов!.. Ее цель состоит в том, чтобы дать людям возможность вступать в половое сношение, избегая при этом того, что самим Провидением определено как естественный результат полового сношения.

Безант и Брэдлоу приговорили к шести месяцам тюрьмы, но затем, рассмотрев апелляцию,

признали невиновными. В этом деле смешались благочестие «низкой церкви», морализм середины века, общественные предрассудки и глубоко викторианское по своей природе лицемерие в вопросах, касающихся секса.

23
Императрица

Отказавшись принять правление, Дизраэли лишил Гладстона возможности уйти в отставку. Впрочем, на нем свет клином не сошелся, и у Гладстона были другие способы добиться своего. Ему оставалось дождаться подходящего повода или хотя бы предлога. Когда военные министры отклонили его план по сокращению армейских и флотских расходов, сославшись на то, что дальше сокращать их просто некуда, Гладстон посчитал эту причину не хуже любой другой. Он объявил коллегам о роспуске парламента. Это стало для всех полной неожиданностью. Граф Кимберли написал в дневнике: «До этого кабинет министров не слышал с его стороны ни единого намека о подобных намерениях. Его слова застигли нас как гром среди ясного неба».

Утром в субботу 24 января 1874 года Дизраэли открыл The Times и прочитал в новостях, что Гладстон призвал к немедленному роспуску парламента. Весь выпуск был посвящен предвыборному обращению Гладстона, в котором он

обещал отменить подоходный налог. Дизраэли немедленно созвал своих старших советников. Проработав весь день и всю ночь, он подготовил манифест, который должен был попасть в газеты в понедельник.

Гладстон не нашел вопроса, в котором мог бы солидаризироваться с избирателями. Его текущей программе не хватало блеска. Предложенная им политика строгой экономии бюджета выглядела как последнее слово полностью выдохшегося правительства. Его единственным лозунгом был «доступный завтрак», подразумевавший отмену пошлин на чай и сахар, но этого было недостаточно. Мастерство изменило ему, и Дизраэли вошел в парламент на всех парусах — его партия получила 350 мест (100 из них без борьбы). Партии Гладстона досталось только 242 места, и она отступила на задние скамьи.

Эти выборы были важны по многим другим причинам. Третьей по величине партией в парламенте стала Лига самоуправления Ирландии — ирландские националисты получили 58 мест, чем спровоцировали множество лихорадочных подсчетов в палате лордов и палате общин. Кроме того, на этих выборах голосование впервые проходило тайно. Возможно, именно этим в ка-

кой-то степени объяснялись успехи ирландцев. Некоторые наблюдатели также отмечали, что торговля спиртными напитками приносит явную пользу партии тори: если либералы и нонконформисты собираются в церквях и молитвенных домах, то консерваторы как будто закрепили за собой единоличное право на собрания в пабах. По крайней мере, так это виделось раздраженному Гладстону. Лорд Хартингтон, которого за глаза звали Харти-Тарти, сменил Гладстона в качестве лидера Либеральной партии в палате общин, а граф Гренвилл — в палате лордов. По происхождению и взглядам они были намного ближе к старой партии вигов. Многие либеральные парламентарии считали, что Гладстон излишне тяготеет к радикализму. Они были только рады избавиться от него.

Консерваторы, в течение 33 лет не получавшие в парламенте большинства, имели полное право удивляться. Но на этот раз обстоятельства сложились в их пользу. Гладстон назначил выборы в худшее время года. Инициированная Дизраэли парламентская реформа, казалось, наконец начала приносить плоды. Внутренняя организация Консервативной партии значительно улучшилась. Самой заметной фигурой в ней

оставался, конечно, Дизраэли, и он не преминул воспользоваться случаем и отправить одного из своих наиболее активных противников, лорда Солсбери, в Министерство по делам Индии. Казалось, на какое-то время это всех удовлетворило. Бахвальство и запугивание вряд ли помогли бы делу. Все вопросы решались чинно и с достоинством. Дизраэли держал своих министров в подчинении не столько политикой, сколько манерами и настроем. Поначалу члены кабинета считали его обладателем недюжинного ума, но, как выразился новый министр внутренних дел Р. А. Кросс, «оказалось, что это не так — напротив, он полностью полагался на суждения коллег, а поскольку сами они вступили в должности недавно и слишком неожиданно, определенные трудности возникли даже с подготовкой речи королевы».

Мастерство Дизраэли заключалось не во внимании к деталям, а в широте и некоторой театральности жестов. Виктории давным-давно наскучили манеры и характер Гладстона. Ее раздражала его нервозная чопорность. Его либеральную политику она находила пагубной для монархии, а его самого считала опасным и даже выжившим из ума стариком. Дизраэли

был совсем другим. С помощью лести он сумел бы ускользнуть даже из камеры смертников, прихватив по дороге топор палача. Он щедро расточал похвалы и поздравления и бдительно следил за тем, чтобы его мнения никогда и ни в чем не расходились с мнениями королевы. Он доводил метафоры и гиперболы почти до абсурда и в переписке называл Викторию принцессой фей и королевой эльфов.

Там, где первое правительство Гладстона рвалось вперед, преодолевая барьеры, словно в скачках с препятствиями, второму правительству Дизраэли поначалу также удалось сделать несколько удачных шагов. Гладстон как будто окончательно ушел на покой, и Дизраэли столкнулся с довольно слабой оппозицией, но он в любом случае не собирался ничего радикально менять ни в парламентской реформе, ни в других вопросах. Он выглядел постаревшим, и его бледное изможденное лицо странно контрастировало с неестественно темными волосами.

Парламентская сессия 1875 года оказалась вполне результативной. Закон об общественном здравоохранении закрепил принятые ранее санитарные акты, касающиеся водопровода, уличного освещения и сбора мусора. Закон о жи-

лищах ремесленников давал местным советам средства для выкупа и восстановления участков в трущобах. Еще два закона уравняли правовой статус работодателей и работников. Закон о сельскохозяйственных угодьях позволял компенсировать сельским арендаторам произведенные ими улучшения. Этот комплекс мер называли «законы пудинга на сале» — обнадеживающие и необходимые, хотя и не слишком решительные, они соответствовали стремлению Дизраэли объединить страну и улучшить условия для трудящихся. Консерваторы под началом Дизраэли смогли сделать кое-что для благосостояния нации, хотя не заработали этим особого признания, и благополучно продолжали в том же духе в течение следующих двух лет.

В июне 1875 года Дизраэли сказал палате общин:

> …Наличие рекомендательного законодательства характеризует собой свободный народ. Принудительные законы легко принимать, когда приходится иметь дело с теми, кто рожден подчиняться, но в свободной стране, и особенно в такой, как Англия, если вы желаете произвести

> сколько-нибудь существенные изменения в поведении и привычках людей, необходимо в первую очередь полагаться на убеждение и наглядный пример.

Иными словами, правительство действовало медленно и с трудом, но к 1876 году ему все же удалось ввести в действие основные меры общественного здравоохранения и санитарии. По правде говоря, работа над внутренними законами не слишком трогала сердце Дизраэли. Его влекли Берлин, Париж и Москва, а не Манчестер, Бирмингем и Ноттингем.

В этот период новые изобретения хлынули сплошным потоком. В 1876 году через Атлантику проложили телеграфный кабель, и в том же году Грэм Белл изобрел телефон. Также в 1876 году на рынок выпустили двигатель внутреннего сгорания. Первые электрические компании появились в 1880-х годах, турбинный двигатель был изобретен в 1884 году. Первый легковой автомобиль выехал на дорогу в 1885 году. Наблюдатели, одним махом переместившиеся в век фабрик и машин, чувствовали себя как путешественник во времени из романа Герберта Уэллса.

Гладстон, казалось, стал более дружелюбным.

«Королева, — писал ему Гренвилл, — сказала мне вчера вечером, что никогда не видела вас в таком замечательно покладистом расположении духа». В это время он заговорил об отставке, и, возможно, именно перспектива выхода из бесконечной борьбы приводила его в приподнятое настроение. Он писал Гренвиллу: «Я не вижу никакой пользы для общества в том, чтобы и дальше занимать место лидера Либеральной партии». Однако он не лишил парламент своего грозного внимания. Дизраэли докладывал королеве об одном заседании: «Мистер Гладстон не только явился лично, но и принял участие в дебатах. Новые депутаты трепетали и суетились, словно маленькие птички, заметившие в небе тень ястреба».

Дизраэли тоже изменился. Несмотря на то что формально отвечал за законотворческую деятельность, в правительстве он проявлял себя далеко не так эффективно, как в оппозиции. Один его коллега жаловался: «При совершенно обычном положении дел Дизраэли на каждом шагу показывает свою полную неспособность руководить парламентом». Он был прирожденным оппозиционером, и даже его успех в продвижении парламентской реформы можно расценивать скорее как победу над «врагом». Однако силы его

иссякали. Его часто мучили бронхит и подагра, а многочасовые заседания палаты общин стали для него настоящей пыткой. По мнению большинства, перед ним стоял только один выбор — отставка или палата лордов. Об отставке не могло быть и речи, и в 1876 году он получил титул графа Биконсфилда. В своей последней речи в палате общин он говорил о верности империи. В последний раз окинув взглядом место своих трудов, он тихо вышел из зала, пройдя за креслом спикера. Он был одет в длинный белый сюртук и щегольские лавандовые перчатки. Его политический оппонент сэр Уильям Харкорт написал ему: «Отныне заседания будут напоминать шахматную партию, в которой на доске больше нет ферзя».

В прошлом году Дизраэли отличился, сумев выкупить у египетского хедива крупную долю акций Суэцкого канала. Этот путь в Индию был намного удобнее традиционного морского пути вокруг мыса Доброй Надежды, но он, увы, находился в руках французов и хедива. Обладая тонким чутьем и (как это называли его враги) некоторым двоедушием увлеченного ценителя интриг, Дизраэли сделал ставку на неизбежное банкротство хедива. С помощью сына барона Ротшильда ему удалось

ускорить переговоры, — они завершились, когда Ротшильды согласились ссудить необходимые для покупки 4 миллиона фунтов стерлингов. Дизраэли сообщил Виктории: «Дело сделано. Он ваш, мадам», после чего написал одному доверенному лицу: «Фея в экстазе». Многие коллеги осуждали приемы и методы Дизраэли, позволившие ему добиться этого блестящего успеха. Канцлер казначейства Стаффорд Норткот заметил: «Может возникнуть подозрение, что мы собираемся незаметно выкупить для себя преимущество, а затем превратить все это в английскую собственность. Мне это не нравится». Другие были полны воодушевления. Дерби заметил: «Насколько я могу судить, эту покупку повсеместно и всецело одобряют. Я бы даже сказал больше: она породила своеобразное чувство эйфории, намного превосходящее реальную значимость этой сделки». Однако Дерби не очень хорошо представлял себе ее последствия. Постепенно стало ясно, что Дизраэли не имеет целенаправленной внешнеполитической программы. Говорили, что Дерби, стоя во главе Министерства иностранных дел, не желает заглядывать вперед, а Дизраэли на это просто не способен. Методы Дизраэли имели в лучшем случае временный успех. В одном

письме он признавался: «Дела в Турции и Египте ухудшаются с каждым днем… Впереди нас ждет множество неприятностей, но может быть, когда мы подойдем ближе, они исчезнут сами собой». Прекрасный пример дипломатии по законам волшебной сказки.

Весной 1876 года в сказке, которую писал Дизраэли, появился новый эпизод. Прошлой зимой принц Уэльский провел четыре месяца в путешествиях по Индии. Его визит вызвал огромное воодушевление, и Дизраэли пришло в голову, что было бы неплохо сделать королеву императрицей Индии. Возможно, на самом деле это предложение исходило от самой королевы. Это стало бы новым символом британского могущества и уравняло бы королеву в имперском статусе с русским царем. Она с удовольствием приняла титул и охотно носила драгоценности, которые дарили ей князья и княгини ее новых владений. Некоторым подданным это казалось почти язычеством, недалеко ушедшим от идолопоклонства римских католиков. Другие считали, что это лишь предварительный шаг, за которым последует смена титула королевы на титул императрицы Британских островов.

И теперь самое время добавить к общей сум-

ме талантов и амбиций еще одно имя. Джозеф Чемберлен явился из Бирмингема, словно его ровесник — паровой локомотив. Он был владельцем фабрики скобяных изделий и либералом. Выдающиеся ораторские и организаторские способности помогли ему в 1873 году стать мэром города. За несколько лет до этого он вступил в Бирмингемское просветительское общество, но довольно скоро вышел из этого узкого кружка, а в 1867 году учредил Лигу национального просвещения. Так же как Форстер, разработавший собственный закон об образовании, Чемберлен утверждал: «Подавляющее большинство населения этой страны выступает за общенациональное, обязательное, бесплатное и светское образование». И Чемберлен решительно двинулся в бой. Вскоре он обрел достаточно широкую известность, а один из его первых биографов Александр Макинтош отмечал: «Во всем мире радикалы из рабочего класса уже прославляют его как будущего демократического лидера».

На этом этапе своей жизни Чемберлен был радикальным либералом и диссидентом и не питал симпатии к так называемым правительственным либералам в палате общин. Как избранный представитель прихода Святого Павла в Бирмингеме

он начал свою кампанию по улучшению городской жизни. После того как его избрали мэром, он разработал программу общественных работ, получившую название «муниципальный социализм» или «социализм воды и газа». Он обеспечил горожан уличным освещением и чистой водой, способствовал расчистке и перестройке трущоб. Все это принесло ему общенациональную славу, а городская инфраструктура Бирмингема полностью преобразилась.

После этого его продвижение в Вестминстер стало неизбежным. В 1876 году он без борьбы прошел в парламент как представитель от Бирмингема, и довольно скоро его организаторские таланты (или маниакальная страсть к порядку) помогли ему объединить радикальных либералов в палате общин в отдельный союз. Он отмечал, что в парламенте царит «странная, неприятная, почти враждебная атмосфера». Вскоре разница между теми, кого можно было назвать традиционными либералами, и приверженцами Чемберлена, стала видна невооруженным глазом. Один из оппонентов Чемберлена, Герберт Асквит, говорил, что у него «манеры неотесанного хама и речь лодочника с баржи». Он действительно мог, как тогда говорили, изощренно выражаться. О Дизра-

эли он говорил: «Этот человек никогда не скажет правды, разве что по чистой случайности», а Солсбери обозначил «глашатаем и полноправным представителем того класса, что ни трудится, ни прядет». Солсбери в ответ назвал это якобинской атакой.

Вскоре внешняя политика решительно потеснила внутреннюю. В начале 1876 года стало ясно, что Балканы готовы восстать против Османской империи. Великие державы — Германия, Россия и Австрия — оказывали давление на Турцию, обвиняя ее в жестоком обращении с христианскими подданными. В 1876 году болгары восстали против султана, но их настигло жестокое возмездие: по некоторым оценкам, около 12 000 болгар были перебиты солдатами нерегулярной турецкой армии. Дизраэли воспринимал эти сообщения легкомысленно. Для него это был отвлекающий фактор, не более. Гладстон много думал о них, а его раздумья могли вызывать настоящий ураган с громом и молниями. В последние недели пребывания Дизраэли в палате общин перед тем, как он стал графом Биконсфилд, Гладстон попросил его инициировать расследование. Дизраэли интересовала только неприкосновенность британских интересов, — любые разговоры о справедливости

или гуманности в его случае не имели смысла. Он сказал: «Наш долг в этот критический момент — поддерживать Английскую империю».

В другое время и в устах другого премьер-министра это высказывание не вызвало бы возражений, но участие Гладстона привнесло в обсуждение ноту образцовой нравственности, которую невозможно было игнорировать. Гладстон заявил: «Благих целей в политике редко удается достичь без душевного волнения, и сейчас впервые за много лет у нас есть повод для самого праведного волнения». Казалось, он только и ждал подобного момента.

Много лет он считал, что главной движущей силой в политике должно быть то самое «праведное волнение». По сути, это было главной причиной, почему он стал политиком и министром. Возможно, сейчас ему также пришло в голову, что праведное негодование поможет ему завоевать популярность у разгневанных избирателей. Железо следовало ковать, пока горячо. В Daily News подливали масла в огонь, публикуя шокирующие истории о содомии, обезглавливании, расчленении и прочих немыслимых ужасах. Дизраэли пропускал эти сообщения мимо ушей, считая их всего лишь словесной накипью анти-

торийской газеты, и добавлял: «Восточные люди редко прибегают к пыткам — они предпочитают избавляться от неугодных гораздо более быстрыми способами». Нельзя сказать, что это было одно из самых верных его наблюдений.

В сентябре 1876 года Гладстон за 4 дня написал памфлет под названием «Болгарские ужасы и восточный вопрос» (Bulgarian Horrors and the Question of the East). Его дочь подтверждала: «Вся страна охвачена огнем — повсюду проходят митинги». За месяц было продано двести тысяч экземпляров памфлета. Гладстон закрепил свой триумф на митинге под открытым небом в Блэкхите, где под проливным дождем воззвал: «Пускай же теперь турки избавят людей от своих злодеяний единственно возможным способом — избавив их от самих себя!» Толпа заполняла каждую паузу в его выступлении криками: «Да здравствует Гладстон!» и «Мы с тобой!». Силой своей воли и разума он сумел превратить огромное количество народа в единое сверхчувствительное существо. К концу собрания люди непрерывно кричали: «Веди нас! Веди нас!»

Дизраэли все это не впечатлило. Он назвал самого Гладстона едва ли не величайшим ужасом Болгарии и пригрозил России последствиями.

Благодаря этому в репертуаре мюзик-холлов появилась одна из самых знаменитых песен:

> *Нам драться неохота, но если в драку лезть,*
>
> *У нас есть пушки, корабли, и деньги тоже есть!*[15]

Действующие лидеры Либеральной партии Хартингтон и Гренвилл опасались, что Гладстон может разжечь между Россией и Турцией войну, в которой Англия будет вынуждена принять участие. Королева называла Гладстона полусумасшедшим. Тем не менее Гладстон вновь обрел близкую по духу аудиторию — он снова ощущал связь с народом, и это было чрезвычайно захватывающе. Весной 1877 года он ступил на зыбкую почву, присоединившись к Джозефу Чемберлену на первом заседании Национальной либеральной федерации в Бирмингеме. Он заявил, что Либеральная партия — «единственный инструмент, с помощью которого можно совершить большое дело». Он видел в Чемберлене соратника в этом деле, «готового сыграть роль в истории и, вероятно, предназначенного для нее самой

---

[15] Примечания: 15

We don't want to fight but by Jingo if we do, / We've got the ships, we've got the men, we've got the money, too!

судьбой». В каком-то смысле Чемберлена можно было назвать человеком, разделявшим миссию Гладстона, но обоим политикам было ясно, что Чемберлен рассчитывает завести в Либеральной партии свои порядки. Гладстон же был заинтересован скорее в расширении базы избирателей, и для этого он сосредоточил усилия своей партии на актуальной нравственной проблеме.

Вся страна разделилась на два противоборствующих лагеря: одни поддерживали Гладстона и пророссийских политиков, другие — Дизраэли и Турцию. Сам Дизраэли говорил королеве: «Среди двенадцати членов кабинета можно насчитать семь совершенно разных мнений о том, какого внешнеполитического курса нам следует придерживаться». Дебаты касались в основном интересов вовлеченных в дело иностранных держав, но часть их затрагивала также карьеры министров, непосредственно участвовавших в обсуждении. Дерби говорил: «Для премьер-министра главное — изумлять и восхищать публику смелыми ударами и неожиданными ходами. Он готов скорее рискнуть национальными интересами, чем услышать, что его политику называют вялой и неоригинальной». В начале 1877 года переговоры в Константинополе зашли в тупик, и

три месяца спустя началась война, в которой Англии предстояло вмешаться в битву между змеей и медведем. Силы султана не шли ни в какое сравнение с мощью царя. Англия, опасаясь расширения конфликта, была вынуждена отправить флот в Константинополь. Дизраэли беспокоился за Восточное Средиземноморье и путь в Индию. Он обратился к английским резервам, что было явным признаком надвигающейся войны. В результате лорд Дерби ушел в отставку, и вместо него министром иностранных дел стал Солсбери.

В первые недели 1878 года противники подписали в Сан-Стефано мирный договор, по итогам которого возникла новая, намного более обширная Болгария, представлявшая потенциальную угрозу для своих соседей. Последовали новые тайные переговоры, секретные депеши, взятки, предательства и лживые обещания, которые привели к тому, что через три месяца в Берлине договор был пересмотрен и Болгария сильно уменьшилась. Англия согласилась защищать Турцию от вторжений, султан согласился провести необходимые социальные реформы, и в ходе сложных дипломатических маневров Великобритания получила Кипр. Она была согласна вернуть остров, если Россия вернет землю, за-

хваченную в Азии. По меркам того времени это казалось вполне достойной договоренностью. Премьер-министр вернулся в Лондон победителем. Перемирие было подписано в марте 1878 года. Тогда же королева впервые увидела телефонный аппарат, который установили в Осборн-хаусе.

Однако многие вовсе не считали это миром на почетных условиях. Лорд Роузбери, видный либерал из палаты лордов, сурово критиковал Дизраэли и его сторонников. «Они разделили Турцию и присвоили кусок добычи. Они бросили на произвол судьбы Грецию. Они взяли на себя огромные обязательства неясной природы», — говорил он. Впрочем, он забывал, что Дизраэли предпочитал именно широкие и как можно более неопределенные обязательства.

Новый министр иностранных дел маркиз Солсбери ездил вместе с Дизраэли в Берлин, хотя не вполне разделял его турецкие симпатии. Он был одним из ведущих игроков и тоже мечтал о кресле премьер-министра. Он с некоторым презрением наблюдал за дивертисментами Дизраэли в Берлине. Своей жене он писал, что Дизраэли «не имеет ни малейшего представления о происходящем, понимает все превратно и постоянно

воображает вокруг заговоры». О своих коллегах по кабинету он говорил: «Все они из среднего класса, и я не раз замечал в жизни, что такие люди боятся ответственности».

Возможно, именно поэтому, будучи министром иностранных дел, Солсбери ввязался в ряд небольших войн. Он в какой-то мере нес ответственность за Вторую англо-афганскую войну, которая длилась два года и закончилась битвой при Кандагаре. Примерно в это же время возник более серьезный конфликт: в начале 1879 года английская армия вторглась в королевство зулусов. В январе войско туземцев уничтожило при Изандлване целую армейскую колонну, после чего в Зулуленд отправили еще 9000 солдат. Неожиданно мощный удар со стороны туземцев вызвал огромное замешательство. Дизраэли сказал: «Это ужасное бедствие потрясло меня до глубины души». Резня спровоцировала столь же жестокую месть, о которой, впрочем, сообщали в газетах без лишних подробностей. Кровавый кризис продолжался до лета и окончился разгромом армии зулусов при Улунди. Было принято считать, что их победил, как это называл Чарльз Кингсли в романе «Олтон Локк» (Alton Locke; 1850), «тот мрачный, серьезный, упрямый дух,

которым со времен древних римлян из всех народов на Земле обладают только англичане». Это было скорее позерством и притворством, — как насмешливо говорили в то время, «вздор и дребедень». Зулусы стали жертвами алчности, расовой ненависти и жажды крови.

Люди представляли себе империю совсем по-другому. Колонии оказались кладбищами, и не только для солдат, участвовавших в конфликтах, смысл которых они едва понимали. Половина прибывших в Западную Африку колонистов скончалась в течение трех месяцев. В Сьерра-Леоне смертность составляла 483 человека на тысячу, в районе Золотого Берега — 668 человек на тысячу. На Цейлоне смертность была в пять раз выше, чем в Британии. Виктория понимала мировую обстановку лучше, чем большинство ее подданных и политиков. Во время ожесточенных боев в Афганистане она писала: «Необходимо удержать наши позиции в Индии и в колониях». Биконсфилду она сообщила: «Если мы хотим сохранить положение державы первого порядка, мы вместе с нашей Индийской империей и нашими обширными колониями должны быть постоянно готовы к нападениям и войнам на разных территориях».

В письме к леди Эли она заявила: «Я хочу доверять своему правительству, из кого бы оно ни состояло, но эти люди должны заранее понимать, что я никогда не смогу доверять им, если они попытаются разрушить и отменить то, что было сделано до них». По словам писателя Фрэнка Буллена, «ни один мальчишка не смел прийти в школу и сказать, что он против империи, — вздумай он так поступить, его немедленно поколотили бы». Приключенческие романы, рассказы и иллюстрированные журналы изображали дальние рубежи империи как арену героических приключений. Они много писали о гордости и престиже, но мало — о торговле, хотя постоянный поиск новых коммерческих возможностей и новых рынков был главной движущей силой империализма.

В конце 1878 года Гладстон записал в своем дневнике, что верит в борьбу за «справедливость, человечность и свободу», и добавил: «Если я действительно верю в это, то я должен рассматривать свое нравственное призвание к этой работе как знак великого и высокого Божьего поручения, для исполнения которого Он избрал меня». Даже во второй половине XIX века это еще звучало вполне серьезно, хотя сейчас, без сомне-

ния, было бы воспринято как своего рода мания почти всеми, кроме избравших сомнительный путь религиозного радикализма. За Гладстоном стояла масса нонконформистов — сила, значительно более весомая и могущественная, чем радикальные либералы. Разумеется, подобные настроения только отталкивали и раздражали такого человека, как Дизраэли.

С такой установкой Гладстон начал Мидлотианскую кампанию в ноябре 1879 года. В своих выступлениях он по-прежнему осуждал злодеяния Турции, но вместе с тем касался широких вопросов внутренней политики, особенно уместных в преддверии всеобщих выборов 1880 года. Он начал свою кампанию в загородном поместье лорда Роузбери, что значительно ускорило карьеру Роузбери, а затем совершил поездку из Ливерпуля в Эдинбург, чтобы выступить с серией речей, представлявших собой нечто среднее между лекцией и проповедью. Он выступал в Карлайле, в Хоуике, в Галашилсе. Пожалуй, это была первая политическая кампания в истинном смысле слова. Как сказал Дизраэли, «мы управляем людьми с помощью слов».

Роузбери встретил его на вокзале в Эдинбурге с экипажем, запряженным четверкой лошадей,

факелами и фейерверками. «В моей жизни не было более необычного дня», — сказал Гладстон. Его всегда трогало воодушевление толпы. Две недели подряд в своих выступлениях он в пух и прах разносил правительство за неэффективное управление финансами, за фактическое присвоение Египта и взятые на себя невыполнимые обязательства перед турками в Боснии. «С этих пор, — писал он, — и до завершения в 1879–1880 годах я сделал восточный вопрос главным делом своей жизни. Я действовал, руководствуясь властным чувством личного долга, не думая о лидерстве. И все же это снова сделало меня лидером, хотел я того или нет». На стенах и окнах расклеивали плакаты, изображавшие его в виде короля проповедников, в витринах магазинов выставляли его портреты.

Итак, Гладстон пошел в атаку. Ему исполнился семьдесят один год. Он своими глазами видел, как империя беспорядочно расширяется, подчиняясь собственным законам, обрастая торговыми путями и океанскими маршрутами, где-то бросая вызов, где-то подкупая, где-то угрожая. Для Дизраэли все это было в порядке вещей — очередная строчка в докладе для королевы фей, — но совесть Гладстона никогда не знала покоя. После своих

знаменитых ночных бесед с уличными женщинами он бичевал себя плетью, и есть все основания предполагать, что политическое волнение вызывало у него точно такую же реакцию. «Пусть каждый из нас решит, — говорил он, — что с этих пор будет делать все возможное, чтобы удержать себя — да, удержать себя от всякого участия в том, что он считает вредным, разрушительным, преступным». В своих письмах он упоминает, что в ответ на это следовали бурные аплодисменты и овации. В городах, через которые он проезжал, зажигали факелы и цветные фонарики, улицы украшали арками и цветами. «Помните, что жизнь в горных деревнях Афганистана, среди зимних снегов, так же священна и неприкосновенна в глазах Господа Всемогущего, как ваши жизни». Дизраэли был для него разрушителем мира во всем мире, ниспровергателем устоев нравственности и справедливости. Нация жадно впитывала каждое слово, смакуя политические кампании, словно крепкое пиво. Дизраэли открыто признавал, что красноречие оппонента утомляет его главным образом потому, что он сам слишком часто оказывается его мишенью. Что касается королевы, она вообще отказывалась считать Гладстона серьезной политической

фигурой.

К 1879 году постоянная критика сделала свое дело, к тому же последние события не лучшим образом сказались на политической репутации Дизраэли. Кроме злоключений в Афганистане и королевстве зулусов, о которых шла речь выше, возникли серьезные трудности на родине. В Reynolds' News объявили, что 1879 год поставил катастрофический рекорд, ознаменовавшись «самой вялой торговлей и самыми большими потерями в сельском хозяйстве». Рост безработицы совпал с неурожаем и вылился в глубокий упадок торговли и недовольство промышленных рабочих. Зимой 1878/79 года прошли многочисленные забастовки рабочих, от лондонских каменщиков до ланкаширских прядильщиков и ткачей.

Экономический спад наблюдался с 1870 года: за три года безработица выросла более чем на 6 %. Подоходный налог повысили до шести пенсов, чтобы покрыть растущие военные расходы в Афганистане и Южной Африке. После Берлинской конференции Дизраэли был совершенно измотан и словно растерял большую часть своей жизненной силы и гибкости. Падение цен на сельскохозяйственную продукцию в Англии обернулось тяжелым испытанием для Ирландии.

В 1879 году была создана Ирландская национальная земельная лига: ее президентом стал Парнелл, а в правление вошли четыре фения. В хитросплетения вестминстерской политики встроилась еще одна сложная комбинация. В палате общин значительный вес имели ирландские депутаты из Лиги самоуправления Ирландии, заседавшие в Вестминстере под началом Парнелла. Они могли оперативно воспрепятствовать любому закону, в особенности тем, которые касались ирландских дел.

Введенный в заблуждение отдельными хорошими новостями, Дизраэли в марте 1880 года распустил парламент и устремился в свою личную Долину смерти. Гладстон отправился в очередное турне, — он верил, что живые выступления надежно укрепляют связь с избирателями. Королева называла его речи безумным антипатриотическим бредом. Казалось, ничто не могло спасти консерваторов на выборах 1880 года. Так и вышло. Либералы Гладстона получили более ста дополнительных мест. На волне этой громкой победы его снова избрали премьер-министром, хотя номинально лидерами оставались Хартингтон и Гренвилл. «Падение политики Биконсфилда, — сказал Гладстон, — похоже на

разрушение великолепного огромного замка в итальянском романе». Волшебные предания прошлого по-прежнему занимали прочное место в викторианском воображении.

Гладстон пришел к власти, словно халиф, избранный волей народа. Консервативный вельможа лорд Солсбери заметил: «Сама перспектива либерального большинства меня не расстраивала. Но такое поражение — совсем другое дело. Это настоящая катастрофа, и я боюсь, она не оставит от партии камня на камне». Затем в парламенте произошла диверсия. Среди новых депутатов был Чарльз Брэдлоу — тот самый, который вместе с Анни Безант боролся за пропаганду контрацепции. На этот раз он спровоцировал скандал, отказавшись принести официальную присягу члена парламента, и потребовал переформулировать ее, торжественно заявив, что он атеист. Его заявление вызвало взрыв притворного возмущения, которое сделало бы честь Гилберту и Салливану. Брэдлоу отказали в удовлетворении просьбы, однако на дополнительных выборах он подал заявку на повторное избрание и снова был избран. Он явился в Вестминстер с большой толпой и силой прорвался в палату общин, но был вытолкан в Пэлас-ярд. Он пытался войти еще

четыре раза, его снова выгоняли, после чего он переизбирался. Брэдлоу знал толк в саморекламе и от души наслаждался своей сомнительной славой и даже своим кратким тюремным заключением, попавшим в заголовки газет. Вызвав немалое замешательство у Гладстона и Либеральной партии, он наконец занял свое место в 1886 году. Два года спустя, в 1888 году, он добился принятия нового, более гибкого Закона о присяге.

Дизраэли как будто отнесся к своему падению не слишком серьезно. Вероятно, оно не стало для него неожиданностью. Его тяготило разве что огромное количество прошений о должностях, назначениях, синекурах и личных встречах, которые он получил перед тем, как окончательно уйти со сцены. Он знал, что королева будет скучать по нему так же сильно, как он по ней: между ними возникла теплая дружба, и он понимал, насколько она привыкла рассчитывать на своих союзников.

Нетрудно догадаться, что его политических оппонентов вряд ли ждал теплый прием в Букингемском дворце. В частной переписке Виктория писала о Гладстоне, что «скорее отречется от престола, чем предложит должность премьер-министра и вообще согласится иметь хоть какое-то

дело с этим полубезумным смутьяном, который скоро разрушит все до основания и станет диктатором». Впрочем, позднее она несколько успокоилась, и Дизраэли смог убедить ее, что Гладстон — единственный перспективный кандидат и в любом случае он слишком стар, чтобы долго продержаться у власти. Его пророчество не сбылось — Гладстон оставался в политике еще 14 лет.

Лорд Дерби принимал у себя Гладстона осенью 1881 года. Он писал:

> Общее впечатление, да и мое частное мнение таково, что в разговоре он намного приятнее, легче и непринужденнее, чем можно было ожидать, исходя из его поведения на публике. Ни один предмет не кажется ему неподходящим для беседы. Обо всем, большом и малом, он готов рассуждать одинаково многословно и подробно, что в целом характерно для его речи. У него нет чувства юмора, он шутит редко, и его шутки всякий раз плохи. Есть что-то странное в той искренней серьезности, с которой он берется за любую тему. Вчера я слышал, как в ответ на

чье-то замечание об улицах Ливерпуля он прочел нечто вроде лекции о различных способах дорожного ремонта. Он подробно описал несколько видов работ, как если бы отвечал на экзамене… Со времен лорда Брума я не встречал подобной неугомонной энергичной говорливости. Он никогда не перестает говорить, и говорит хорошо. Невозможно представить, чтобы он имел какие-то личные заботы или дела. У него осунувшееся лицо и безумный взгляд…

Пожалуй, это лучшее описание современника, на которое мы могли рассчитывать.

Что касается Дизраэли, он заметно растерял былую живость и разговорчивость. Возможно, поражение на выборах уязвило его сильнее, чем он готов был признать. На партийном собрании в своем доме на Керзон-стрит в феврале 1881 года он выглядел как «тонкий, темный, слабый силуэт». В следующем месяце он в последний раз посетил палату лордов, но от визита королевы отказался, как сообщают, со словами: «Нет, лучше не надо. Она только попросит меня передать весточку Альберту». Скорее всего, ему просто не хотелось,

чтобы государыня видела его в таком разбитом состоянии. Он продолжал активно заниматься делами: его личные письма за этот период полны политических слухов и советов. Он, как и прежде, бывал на званых ужинах и там нередко возвращался к прежнему оживленному состоянию. По словам его первого биографа Дж. Э. Бакла, правда, бывали моменты, когда он восседал за столом «молча, с мертвенным видом, словно мумия на пиру». Он не раз побеждал оппонентов в палате общин, но ради чего все это было? Очередная простуда переросла в бронхит, и Дизраэли три недели боролся со смертью. Интуитивно он понимал, что это его последняя битва. «Я предпочел бы жить, — сказал он, — но я не боюсь умереть». И он умер в своем доме на Керзон-стрит весной 1881 года.

24
Депрессия

В 1880 году, произнося речь на открытии первого после победы Гладстона парламента, королева сказала: «В государственных доходах за последнее время сохраняется тенденция к упадку». Еще через три года в такой же ситуации тори Рэндольф Черчилль, известный своей неуправляемостью и буйным нравом, с негодованием заметил: «Никто почему-то не говорит о том, что в стране уже давно происходит депрессия — безнадежный, заметный невооруженным глазом упадок торговли». Слово было у всех на устах, хотя никто, по-видимому, не понимал до конца, что оно означает. Палата лордов потребовала, чтобы специально созданная комиссия «выяснила, что представляет собой эта депрессия в сфере торговли». Четкого ответа так и не нашли, но слово вошло в политический лексикон и с тех пор его не покидало.

Осенью 1880 года Гладстон писал королеве:

Состояние Ирландии, без сомнения,

удручающее и опасное. Его особенность заключается не столько в общей неустойчивости положения, сколько в широко распространенном заговоре против собственности. При всем различии обликов это зло вызывает достаточно серьезные опасения. И в этом деле есть одна особенно тягостная черта, а именно то, что предводители неспокойной части народа подстрекают его к нарушению закона, тогда как во времена О'Коннелла можно было не сомневаться: даже в разгар политической агитации они решительно осуждали аграрные преступления и в целом требовали соблюдения закона.

«Ирландский вопрос» и его *damnosa hereditas* был для Гладстона таким же источником постоянных бед и тревог, как «Восточный вопрос» для Дизраэли. Если в стенах парламента засел Парнелл, а снаружи караулили фении, какого волка следовало отгонять первым? Политики из Лиги гомруля (самоуправления Ирландии) и активисты Ирландской земельной лиги представляли огромную угрозу, масштабы которой Гладстон вряд ли осознавал. В 1879–1880 годах

число сельских беспорядков и случаев выселения арендаторов выросло втрое. Первого человека, поплатившегося за притеснение арендаторов, звали капитан Бойкот, и его имя стало нарицательным для того наказания, которому его подвергло общество. «Мне не терпится узнать, как Гладстон собирается выпутаться из этой ирландской неразберихи, — писал Солсбери. — Это очень похоже на революцию. Нам придется снова завоевать Ирландию, если мы хотим удержать ее, но хватит ли для этого сил английским избирательным округам в их нынешнем состоянии? Я в этом сомневаюсь».

За все это время проблема Ирландии — или, возможно, ее следовало бы назвать проблемой Англии? — никуда не делась. В Ирландии по-прежнему оставались английские земельные агенты, английские землевладельцы, английские отсутствующие землевладельцы, а в Дублинском замке заседало английское правительство. За прошедшие годы было принято множество законов и актов, но все они были приняты в пользу англичан.

Ирландская земельная лига реагировала на выселения и подобные притеснения сельскими беспорядками. Они обостряли ситуацию, но не

исправляли ее. Возможно, в этом и заключалась их цель. Гладстон проводил политику против помещичьего землевладения, ясно понимая, что земельная реформа поможет решить большую часть проблем Ирландии. Его земельный закон 1881 года закреплял три основных положения: право на справедливую арендную плату, право на свободную покупку земли и право оставаться на земле, — а также предусматривал определение справедливой арендной платы отдельным судебным органом. Все это немного разрядило обстановку, хотя не изменило общего политического климата. Джозеф Чемберлен, в то время глава Торговой палаты, ясно дал понять: «Мы согласны с тем, что уступить нынешним требованиям ирландской стороны невозможно. Следовательно, нас ждет борьба не на жизнь, а на смерть между самовластием, цель которого восстановить конституционное право, и не менее изощренным самовластием, цель которого ниспровергнуть конституционное право и вызвать анархию, создав тем самым предпосылки для революционных изменений». Парламент собрался в начале 1881 года и, до того как принять земельный закон, принял закон о принуждении, согласно которому в тюрьму сажали любого, по-

дозреваемого в насильственных действиях или запугивании.

Именно благодаря этому закону попытки Парнелла помешать продвижению земельного закона и одновременно очернить Гладстона привели его в тюремную камеру в Килмейнеме. Это сразу превратило его в мученика. Судя по всему, для решения проблемы не существовало никаких прозрачных законных средств — только закулисные и подковерные. Извилистые пути, которыми Гладстон шел к договоренности с Лигой гомруля, были достойны самой Ариадны, но, вероятно, Парнелл из своей камеры предложил успокоить Ирландию на определенных негласных условиях. 4 мая Парнелла и двух его товарищей выпустили из тюрьмы с уговором, что они поддержат земельный закон, а Гладстон, со своей стороны, будет защищать ирландских арендаторов, накопивших долги за аренду. Секретарь по делам Ирландии Уильям Форстер в ужасе немедленно подал в отставку, и Гладстон попросил лорда Фредерика Кавендиша занять его место. Через несколько часов после приезда в Дублин лорда Кавендиша вместе с его сопровождающим убили в Феникс-парке. Убийцы напали на них с длинными хирургическими скальпе-

лями. Феникс — птица, возрождающаяся в огне, и люди с мифологическим складом ума могли усмотреть в этом знак, что будущее Ирландии окружено пламенем.

В последние месяцы 1880 года разброд в кабинете министров еще усилился из-за восстания буров в Трансваале. Британцы аннексировали эту территорию три года назад. Разногласия, как это часто бывает, вызвал вопрос о справедливом (или несправедливом) налогообложении. В конце января 1881 года английские войска попали в засаду в битве при Лаингс-Нек, а в следующем месяце потерпели окончательное поражение. Небольшую армию генерала Колли частично захватили в плен, частично перебили. Гладстон, в это время получивший травму головы, слег в постель. В сущности, он сдался. На конвенции в Претории Трансвааль объявили независимым государством, признающим, однако, британский сюзеренитет. Иногда подобные формулировки ничего или почти ничего не значат, в других случаях могут вызвать губительное недопонимание и конфликты. Именно это произошло в Южной Африке.

Слабость правительства становилась все более очевидной. Лишним подтверждением стал

взрыв, устроенный в середине января группой фениев в армейских казармах Солфорда. Казармы выбрали мишенью, потому что в 1867 году они стали местом казни Манчестерских мучеников — нескольких членов ИРА, повешенных за убийство полицейского. Этот случай можно рассматривать как один из первых террористических актов в Англии, хотя претендовать на абсолютное первенство (если здесь уместен этот термин) скорее мог бы взрыв в Клеркенуэлле в конце 1867 года. Гладстон начал замечать, что стареет. Он полагал, что будет неправильно «и дальше выходить на сцену, словно изнемогающий певец, чьи фальшивые ноты слышат все, кроме него самого». Этим он «никому не принесет пользы».

В первый день нового, 1881 года королева доверила дневнику свои опасения:

> Слабое правительство, Ирландия в состоянии полного беззакония, и серьезная война в Капской колонии. Я очень встревожена, и мне не на кого опереться. Увы, я сама ощущаю, насколько мне не хватает сил, насколько я чувствительна и вспыльчива, каким неуправляемым

становится мой нрав, когда я уязвлена и рассержена. Но я так измучена, так раздосадована и так переживаю о своей стране, что это может служить мне оправданием. Я буду каждый день молить Бога, чтобы Он помог мне стать лучше.

По-видимому, Бог не ответил на ее молитвы. Всего через несколько дней после нападения в Феникс-парке Гладстон отправил военно-морскую экспедицию в Александрию. Пожалуй, это был самый неожиданный шаг в его политической карьере, противоречивший всем его прежним установкам и убеждениям о благе невмешательства. Основной причиной стало финансовое положение Египта. Его казна находилась в руках французов и англичан, что было унизительно для египетских националистов. Стремясь избавиться от иностранцев, они осуществили ряд небольших переворотов. В феврале 1882 года британское правительство распорядилось упразднить патриотическое национальное правительство и столкнулось с гневом повстанцев, бунтовавших против Запада. Флот отправили в мае, и, поскольку командиры не любят сидеть без дела, в июле они начали обстреливать Александрию с моря.

После этого было решено отправить в Египет войска, и 13 сентября они наголову разбили армию националистов в Тель-эль-Кебире. Победа удивила остальную Европу и создала иллюзию успеха, которую развеяла только Вторая Англо-бурская война. Радикалы, чьим лидером номинально считался Гладстон, были возмущены действиями в Египте. «Даже Диззи [Дизраэли] не устраивал ничего более ужасного — ничего хотя бы отдаленно похожего на эту бомбардировку», — сказал Роузбери Джон Брайт. Роузбери пытался защитить премьер-министра, но Брайт перебил его: «Ни слова больше, это заслуживает осуждения!» Многие пришли к выводу, что совесть Гладстона как потайной фонарь, дающий свет только тогда, когда это отвечает его личным интересам.

Гладстон осознавал, какие преимущества и какой ущерб может принести победа в явно несправедливой войне. Это было гнусное дело, затеянное только ради денег, хотя у него хватило дерзости представить это как миссионерский поход. Но что дальше, после того, как англичане оккупировали Египет? «Мы сделали свои египетские дела, — сказал он (как будто речь шла о посещении уборной), — и теперь мы — египетское правительство». Вскоре это утверждение

было опровергнуто восстанием в Судане, которое нанесло Гладстону больше вреда, чем любое другое событие в его жизни.

Естественным преемником Дизраэли на посту лидера консерваторов в палате лордов должен был стать лорд Солсбери. Нельзя сказать, что он этому обрадовался. Как он заметил редактору The Times:

> За последние несколько дней вы первый человек, явившийся сюда, чтобы увидеться со мной, и не желающий при этом получить из моих рук должность, орден или звание пэра. Так много людей, которых я называл своими друзьями и которых привык считать крайне далекими от своекорыстия, приходили ко мне в последнее время с самыми разными просьбами, что, думая об этом, я невольно испытываю тошноту и отвращение. Это открыло мне глаза на низменную сторону человеческой натуры.

На выборах 1880 года либералы получили 337 мест, консерваторы, сильно отставая от них, получили 214 мест, а Лига гомруля, соответственно, 63 места. Размеры либерального большинства

удивили всех, кто не учитывал в своих расчетах последствия промышленного спада и бедственное положение сельского хозяйства. Не зная, какую выгоду из этого извлечь, либералы обратились к Гладстону как провозвестнику своей удачи, а Гладстон, в свою очередь, вознес хвалу Богу. Возможно, именно благочестие или же привычная твердость духа заставили его, несмотря ни на что, удерживать позицию первого министра в течение следующих четырех лет. (В кои-то веки военная аналогия представляется здесь вполне уместной.) Он нападал на либеральных вельмож во время Мидлотианской кампании, но теперь был вынужден, за неимением лучшего, включить их в свой кабинет. Из радикалов, к которым он большей частью обращал свою риторику, в правительство вошло лишь несколько человек. Восемь членов кабинета были проверенными и убежденными либералами. К радикалам можно было отнести лишь Джозефа Чемберлена и еще пару человек. Чемберлен имел свои причуды. Он носил монокль, но при этом нещадно высмеивал джентльменов. Однако как глава Торговой палаты он смог добиться принятия закона об ответственности работодателей за несчастные случаи на производстве. В остальном

его радикальные устремления были направлены к Южной Африке, Ирландии и Египту: эти проблемы настойчиво требовали смелого решения.

Перемены подступали все ближе. В 1881 году Г. М. Гайндман основал Демократический союз, который вскоре стал известен как Социал-демократический союз. Его философию почти без преувеличения можно описать как слегка разбавленный марксизм. Гайндман как минимум номинально познакомил Англию с социализмом как раз в то время, когда американский реформатор Генри Джордж призвал к земельной реформе, объявив в книге «Прогресс и бедность» (Progress and Poverty; 1879): «Мы должны сделать землю общей собственностью». Дух реформ ширился. Социалистическая лига во главе с Уильямом Моррисом решила идти собственным путем в 1884 году, в этом же году было основано Фабианское общество. Джордж Гиссинг так описывал фабианцев: «Характерный для нашего времени класс молодых людей: хорошо образованные, довольно воспитанные, но совершенно безденежные». Их имена сейчас почти неизвестны публике, но без их неустанного вмешательства английская история XX века могла пойти совсем другим путем. Переход от старого радикализма к новому соци-

ализму имел не меньшее значение, чем переход от вигов к либералам. Стоит упомянуть хотя бы, что при этом поощрялось и оправдывалось государственное вмешательство в экономику в невиданных ранее масштабах.

Так или иначе, государство постепенно приобретало новые полномочия. Оно начало регулировать деятельность фабрик, шахт и сдающихся внаем меблированных комнат. Усилился надзор за качеством продуктов питания и напитков, были установлены минимальные стандарты в области образования и муниципального жилья. Появилось больше государственных чиновников и администраторов, а само государство по всем признакам приближалось к своему современному виду. Управлением теперь занимались не любители, а профессионалы. Разумеется, все это подразумевало постепенное угасание принципа невмешательства государства в экономику, господствовавшего почти целое столетие. В 1880 году Кобденовскую премию получило эссе А. Н. Камминга «О ценности политической экономии для человечества», в котором говорится: «В нашей истории было слишком много невмешательства. Неверные представления о невмешательстве государства в экономику искажают подлинную

суть свободной торговли. Нам нужно патерналистское правительство — этот жупел старых экономистов». Радикалы в своей тогдашней программе отмечали, что «государство все больше вмешивается и выступает на стороне слабых против сильных, на стороне трудовых интересов против капитала, на стороне нужды и страданий против роскоши и беззаботности».

Любимым времяпрепровождением публики стали командные виды спорта (в это время появились национальные лиги крикета и футбола) и посещение общественных купален. Добровольные хоровые общества, духовые оркестры и совместные железнодорожные экскурсии стали одной из главных примет эпохи, придававшей огромное значение правилам поведения в коллективе.

Коллективизм принимал самые разные формы. В 1884 году Рэндольф Черчилль, выступая с речью, заявил:

> Господа, мы живем в век рекламы, в век пилюль Холлоуэя, горчицы Колмана и наилучшего отборного чая Хорнимана. Непрерывный поток рекламы оказывает столь благотворное действие на

торговлю, что Либеральная партия со свойственной ей предприимчивостью приложила этот метод к политике. Премьер-министр [Гладстон] — величайший из ныне живущих мастеров персональной политической рекламы. Холлоуэй, Колман и Хорниман ничто по сравнению с ним. Занят ли он своим здоровьем, отдыхает или молится — о каждом его шаге мужчин, женщин и детей Соединенного Королевства оповещают крупные красочные заголовки.

Это был один из первых примеров медиаполитики, возникшей во второй половине XIX века. Возможно, зарождение этой тенденции было связано с тем, что в 1867 году избирательное право получили городские ремесленники.

Однако Гладстону активно противостояла группа тори под руководством самого Рэндольфа Черчилля. В Черчилле и его соратниках неуважение и дурные манеры молодости сочетались с энергией неосуществленных амбиций. Они бравировали преимуществами так называемой консервативной демократии, но когда Черчилля спросили, что это такое, он ответил: «Честно

говоря, я сам не знаю, что такое консервативная демократия. Полагаю, это, в сущности, оппортунизм. Просто скажите, что вы консервативный демократ, и этого достаточно». Иначе говоря, они были до слез наивны, и даже имя Черчилля не всегда могло спасти их от поношения.

Их называли Четвертой партией, и они стремились изгнать из политики «старую банду» консервативных вельмож, таких как Стаффорд Норткот, больше всего любивший извлекать много шума из ничего. Однако некоторые их билли в заметно урезанном виде все же попали в Свод законов. В их числе были Закон о банкротстве и Закон о патентах 1883 года. Выдвинутый в том же году Закон о коррупции и незаконной деятельности должен был искоренить махинации и шантаж чиновников.

В реформе избирательного права оставался еще один незакрытый вопрос. Процесс шел медленно. Через пять лет после того, как в 1867 году Дизраэли колдовал над вторым Законом об избирательной реформе, парламент принял Закон о тайном голосовании, название которого полностью отражало его суть. За Законом о коррупции (1883) последовал Закон о народном представительстве (1884), уравнявший избирательные права

избирателей графств и городов. Все эти меры составили третий этап избирательной реформы и наделили правом голоса сельскохозяйственных рабочих, тем самым в три раза увеличив численность электората. До всеобщего избирательного права, впрочем, было по-прежнему далеко: из избирательного процесса оставались исключены женщины и 40 % мужчин.

Настоящая политическая буря разразилась вокруг выдвинутого в следующем году нового Закона о перераспределении парламентских мест. Расширение избирательного права считалось «добрым делом», но, чтобы защитить интересы тори, консерваторы должны были добиться всеобщего перераспределения мест. Тори из палаты лордов и либералы из палаты общин сражались, словно олени в брачный сезон, до тех пор, пока опосредованное давление со стороны королевы не заставило обе стороны встретиться в доме на Арлингтон-стрит для обсуждения этого вопроса. В ходе этих маневров Солсбери проявил себя как гениальный тактик. Парламентских мест лишились примерно 79 городов с населением менее 15 000 человек. Теперь в крупных городах выделялись одномандатные округа: 160 мест были упразднены и 182 заново созданы.

Избирательные права получили дополнительно два миллиона человек. Крупные мегаполисы поделили на примерно равные округа, присоединив к ним обширные пригородные области. Многие считали эти меры слишком самонадеянными. Разве недостаточно было увеличить число избирателей? Откровенно говоря, суть этих вычислений понимали очень немногие, но если дело необходимо сделать, считали все, пусть оно будет сделано скорее.

Солсбери стоял на своем. Гладстон согласился на его условия. Дочь Солсбери писала: «В основном настроение моего отца сейчас — глубокое удивление… мы получили все, что требовали, и даже больше». Солсбери превосходно проявил себя на переговорах, отвоевывая одно место за другим. Кроме того, ему удалось добиться ряда компромиссов, имевших затем непредвиденные последствия. Его философия была, в сущности, очень простой: «Что бы ни произошло, это будет к худшему, поэтому в наших интересах сделать так, чтобы произошло как можно меньше». Здесь уместно привести еще одно его высказывание: «Парламент — мощная машина, и его постановления неизменно работают, но они крайне редко работают именно так, как имели в виду

авторы этих постановлений». Консерватизм Солсбери был молчаливым, негласным и, вероятно, имел много общего с понятием «молчаливого большинства». Закон о перераспределении парламентских мест 1885 года фактически создал множество мест для представителей одномандатных округов, которые теперь играли ведущую роль в парламентском процессе. Сельские депутаты отныне имели такие же возможности, как депутаты малых и больших городов. Шахтер и сельскохозяйственный рабочий получили право голоса. Как следствие, землевладелец потерял большую часть власти, которую давало ему право патроната. Развитие медиаполитики сопровождалось становлением массового электората.

Неожиданный и желанный союзник в воспитании нового электората чудесным образом нашелся в виде основанной в 1883 году Лиги Первоцвета. Ее назвали в честь любимого цветка Дизраэли (хотя он, по некоторым сведениям, предпочитал орхидеи). Вскоре Лига Первоцвета стала крупнейшим благотворительным обществом в Англии — в 1887 году она насчитывала полмиллиона членов. В ее ряды принимали абсолютно всех, кроме «атеистов и врагов Британской империи». Члены лиги, носившие титулы ры-

царей, дам или соратников в зависимости от размеров ежегодного членского взноса, присягали на верность короне и заявляли о своей готовности поддерживать «религию, сословия королевства и имперское господство Британской империи». Поскольку среди организаторов лиги были в основном женщины, она славилась чаепитиями, приемами в саду и велосипедными прогулками. Гвоздем социальной программы были летние праздники в загородных усадьбах, на которых присутствовали известные парламентарии-консерваторы. Члены парламента также писали статьи для еженедельной Primrose League Gazette. Уделяя особое внимание иерархии, почестям, империализму, архаическим титулам и ритуалам, лига пропагандировала такие ценности, как почтение, национализм и уважение к традициям. К началу 1890-х годов в организации состояло около миллиона человек среднего достатка, — таким образом, лига, можно сказать, привила побег Консервативной партии к корням среднего и низшего среднего класса. О росте империалистических настроений также свидетельствовало учреждение Лиги Имперской Федерации в 1884 году. Однако империализм имел свои недостатки.

25
Ужасные новости

Господство Великобритании в Египте после бомбардировки Александрии вызвало трения с соседними странами. Восстание в Судане возглавлял религиозный лидер Махди, «Ведомый богом». В конце 1883 года его войска дважды побеждали британцев. Иногда высшая доблесть — это отступление, и британское правительство решило покинуть Судан вместе с завербованными египетскими солдатами. Сделать это было не так легко, и кабинет Гладстона отправил организовывать эвакуацию генерала Гордона. Однако тот предпочел не подчиниться приказу и остался сражаться до конца. Это был солдат старой закалки, упрямый, независимый маленький человек. Сабля и Библия служили ему самыми верными (хотя не всегда самыми разумными) советчиками. Он прославился военными подвигами и, пожалуй, был далеко не тем офицером, которому стоило бы поручать организацию отступления. Ивлин Бэринг предупреждал: «Человек, который, попав в затруднительное положение, обращается

за советом к пророку Исаие, вряд ли будет подчиняться чужим приказам».

Гладстон признался, что они выбрали Гордона, «имея недостаточно знаний об этом человеке», и доверились ему, «ориентируясь скорее на общественное мнение и газетные отчеты». Это прекрасно иллюстрирует новые веяния того времени: могущество прессы и важность произведенного на публику впечатления. Тридцать лет назад подобная ситуация была бы немыслима. Дело усугублялось общим безразличием публики к имперским колонистам, к которым относились примерно как к деревенским родственникам. «Когда выдающийся колонист приезжает в Лондон, — писал Э. Г. Уэйкфилд в книге «Взгляд на искусство колонизации» (A View of the Art of Colonisation; 1849), — он только прогуливается по улицам и осматривает достопримечательности до тех пор, пока не почувствует, что сыт по горло бездельем. Он возвращается домой, основательно разочарованный Старым Светом. Все это время на него смотрели как на пустое место, потому что он приехал из колоний».

Гордон не подчинился инструкциям, полученным из Уайтхолла, и выступил в поход для устрашения суданцев. Все это не сулило ничего

хорошего. Прибыв в суданскую столицу Хартум в феврале 1884 года, он объявил о намерении удерживать и защищать город вместо того, чтобы эвакуировать людей и сдать его Махди и его последователям. Когда суданские войска подошли к городу и осадили его, он вопреки всему решил сражаться. В течение двух лет он удерживал последний рубеж в городе, забрасывая Лондон планами о перехвате инициативы, пленении или убийстве Махди, в то время как взбудораженная публика требовала отправить ему на помощь подкрепление, чтобы спасти его от ужасной участи, которую он как будто предпочитал не замечать. Страна бурлила. Кабинет министров так и не смог договориться, и в июне 1884 года Гладстон сообщил, что «у них нет новых причин считать необходимой экспедицию для помощи генералу Гордону». Они могли отклонить его предложения и приказать ему возвращаться домой либо принять их и послать подкрепление. Они не сделали ни того ни другого.

Обнаружив, что вся страна восстала против него, Гладстон пришел в смятение. Огромные газетные заголовки требовали ответить, когда будет отправлена помощь. «Распоряжение об экспедиции на Нил отдали слишком поздно, —

писал Бэринг в «Современном Египте» (Modern Egypt; 1908), — и причина этого заключалась в том, что мистер Гладстон не принимал простых доказательств очевидного факта, вполне понятного и куда менее могучим умам». 26 января 1885 года осаждающие ворвались в Хартум. Генерал Гордон в своей белой форме ожидал их на ступенях дворца. Ему отрубили голову, а тело сбросили в колодец. Через два дня в Хартум прибыло подкрепление.

Публика пришла в неистовство. Королева послала открытую телеграмму с выражениями сожаления о случившейся катастрофе. «Новости из Хартума ужасны, — писала она. — Но еще ужаснее мысль о том, что все это можно было предотвратить и спасти множество драгоценных жизней, начав действовать раньше». Послание королевы мог прочесть любой почтовый служащий, — несомненно, на это оно и было рассчитано. Кабинет обсуждал свою отставку, но не пришел ни к каким определенным выводам. Кругозор министров ограничивался пределами их карьеры, и отставка означала политическую смерть. Гладстона открыто называли убийцей Гордона. За пятьдесят лет общество не испытывало более мучительного потрясения, и это

во многом оттолкнуло британскую публику от либерального правительства. Сам Гладстон погрузился в пучину бессильного гнева и осыпал себя истерическими упреками.

В правительстве преобладало общее ощущение нестабильности. Шла ли речь о Судане, бюджете, Ирландии, Законе о принуждении, всегда находился тот, кто считал, что коллеги предали его в этом вопросе. Гладстон признался жене, что это был «дикий политический роман с непрерывной чередой сменяющих друг друга необычайных происшествий и чудесных спасений в тот момент, когда все, казалось, висело на волоске». Когда в июне 1885 года палата общин отклонила бюджет, Гладстон воспользовался этой возможностью и ушел в отставку, после чего тори лорд Солсбери занял кресло премьер-министра и оставался в нем семь месяцев. У него была идея. Тори имели поддержку большинства в палате лордов, и, если бы они начали вести себя как радикалы, это не уронило бы их в глазах страны. Дизраэли однажды такое удалось. Поэтому Солсбери с подачи Гладстона соглашался, что тори, возможно, скорее удастся провести радикальные меры в отношении Ирландии. На самом деле это была лишь химера, и, вероятно, он это понимал. В

ответ на заявление националистов: «Мы должны доверять ирландскому народу» — он заметил: «Доверие зависит от людей, которым вы доверяете. Вы не доверили бы свободные представительные учреждения, например, готтентотам».

За короткий период своего пребывания в должности (Чемберлен называл это правительство «кабинет попечителей») Солсбери протянул оливковую ветвь к другому берегу Ирландского моря, отклонив Билль о преступлениях и проведя в парламенте Билль о выкупе земли ирландскими арендаторами. Этого было недостаточно. Парнелл требовал от Солсбери большего. Он отточил свою парламентскую тактику до такой степени, что мог эффективно пресекать все слушания. Он вел двойную игру в пользу Ирландии. На следующих всеобщих выборах 1885 года его ждал триумф. Либералы получили 319 мест, консерваторы — 249, а сторонники Парнелла — 86, и баланс сил теперь зависел от них. Результаты не обрадовали никого, кроме Парнелла. Либералы остались самой крупной партией в парламенте, и в этом не было ничего необычного, однако теперь у них не было однозначного большинства. Солсбери возглавлял правительство меньшинства, и он знал, что оно не продержится долго. «Я некоторым

образом чувствовал всю меланхолию этого положения, — писал лорд Роузбери. — М-р Г. постарел, ослаб и стал совсем не таким победоносным, как в 1880 году, — если его вообще еще можно было называть победоносным. Отчего-то казалось, что мы наблюдаем закат его долгой блистательной карьеры». Гладстон, временно охрипший после болезни, молча сидел перед новыми министрами. Они тоже молчали, — в сущности, им нечего было сказать. В ирландском вопросе они чувствовали себя растерянно и неуверенно и опасались грядущих неприятностей. Солсбери объяснил их бездействие тем, что они приняли должности, только чтобы исполнить свой долг перед королевой. Им ничего не нужно было делать до всеобщих выборов, поэтому он решил продолжать, заручившись поддержкой Парнелла.

Гладстон поначалу высмеивал союз ирландцев с «деморализованными и опасными тори», но вскоре сам начал строить планы, которые помогли бы ему объединиться с Парнеллом. Однако Гладстон оказался в затруднительном положении. Свои мысли о самоуправлении Ирландии он не мог доверить одному только Парнеллу — это было бы и неразумно, и бесчестно. Он не мог поделиться ими и со своей партией, не рискуя

спровоцировать раскол, поэтому был вынужден хранить молчание.

В декабре 1885 года в Evening Standard был опубликован документ, который на первый взгляд казался проектом самоуправления Ирландии, составленным самим Гладстоном. Многие сомневались в подлинности этого документа, другие сомневались в его жизнеспособности. Его прозвали «Хаварденский воздушный змей», и, как выяснилось позднее, этого змея запустил Герберт Гладстон, сын Гладстона, чтобы отвлечь внимание от оппозиции. В числе прочего в нем говорилось: «Ничто не заставило бы меня поддержать раздел королевства, но, если пять шестых ирландского народа хотят иметь парламент в Дублине, чтобы самостоятельно управлять своими делами, я говорю: во имя разума и справедливости, пусть будет так». Разве он мог отказывать в самоуправлении Ирландии, когда отстаивал его для Италии и Болгарии? Это было необходимо — и это было неизбежно. И Гладстон соглашался снова взять на себя должностные хлопоты, чтобы «способствовать созданию ирландского парламента, которому будут переданы все законодательные и административные полномочия, при этом приняв меры для обеспечения предста-

вительства меньшинств и соразмерного деления всех имперских сборов».

Проект немедленно вызвал самые разные, но одинаково бурные реакции. Многочисленные враги Гладстона считали, что он предал Англию. Он предал Ирландию. Он предал обе страны. У него не осталось ни единого шанса воспользоваться межпартийными связями, он загнал себя в угол. Он расколол свою партию надвое. В свою защиту он (или Герберт) мог сказать, что просто хотел перехватить инициативу и утвердить свою власть, но Гладстон, как прежде, продолжал таинственно молчать.

Пока Солсбери возглавлял правительство, Гладстон предлагал поддержать любые усилия Консервативной партии в пользу Закона о самоуправлении Ирландии, но консерваторы оставались непоколебимы. Вместо этого при молчаливой, но деятельной поддержке либеральных юнионистов они приняли для Ирландии новый Закон о принуждении. После этого Парнелл, разумеется, отошел от них и решил снова поддерживать Гладстона. В январе 1886 года мощный союз либералов и ирландских националистов нанес поражение тори лорда Солсбери. Через три дня Гладстон снова был у власти. Его в третий

раз призвали на пост премьер-министра, неявно подразумевая, что теперь его главной задачей станет Закон о самоуправлении Ирландии. Он заявил: «Надежда и цель вступившего в должность нового правительства состоит в том, чтобы внимательно изучить, какие практические средства [кроме принуждения] можно употребить для улучшения нынешнего состояния Ирландии». Все понимали, что он имел в виду. Он воспринимал переход к самоуправлению как неизбежность.

В первую очередь он направил всем, кому предлагал должности в кабинете министров, план «учредить законодательный орган, который заседал бы в Дублине и занимался ирландскими делами отдельно от дел империи».

Множество либеральных парламентариев, в том числе представители той старой фракции, которые до сих пор предпочитали называть себя вигами, были решительно против сокращения роли парламента в управлении и обособления наций в пределах империи. Они восстали, и их отступничество спровоцировало великий раскол в Либеральной партии.

В следующие несколько месяцев Гладстон, по-видимому, с искренним наслаждением работал над проектом Закона о самоуправлении

Ирландии. Один из его личных секретарей сэр Алджернон Уэст писал:

> Чрезвычайное воодушевление, с которым он подходил к предмету, занимавшему тогда его мысли, превосходило и затмевало все те маленькие увлечения и привязанности, что заполняют жизнь менее великих людей. Он мог думать только о том, как довести до конца этот грандиозный труд, и орудия этого труда были ему дороже всего остального, а люди, объединившиеся с ним в тот момент, превосходили величием многих знаменитых деятелей прошлого.

Несколько проверенных государственных деятелей и надежных членов кабинета под руководством Гладстона быстро и без лишнего шума разрабатывали закон.

Когда в конце марта кабинет собрался, чтобы обсудить предложения Гладстона, в числе которых был проект создания ирландского правительства, имеющего полномочия сбора налогов, Чемберлен и секретарь по делам Ирландии сэр Джордж Тревельян покинули помещение и больше не возвращались.

8 апреля в палате общин царило лихорадочное возбуждение. Все места были заняты. Гладстона приветствовали радостные выкрики поклонников, встречавших его по дороге к Вестминстеру, и несмолкающие аплодисменты его сторонников в палате общин. Он говорил три с половиной часа, последующие дебаты продолжались 16 дней. Перед окончанием дебатов Гладстон встал и воззвал к своим коллегам: «Ирландия стоит перед вами и смотрит на вас с ожиданием и надеждой, почти что с мольбой…» Он наверняка понимал, что проиграет. Против проголосовали 93 либерала, и Закон о самоуправлении Ирландии был отклонен 343 голосами против 313. Либералам теперь противостояли либеральные юнионисты, причем последние занимали такую же жесткую позицию по вопросу сохранения унии, как их консервативные коллеги. Либеральные юнионисты и консервативные юнионисты одинаково смотрели на многие жизненно важные вопросы того времени, и вскоре они сформировали единую партию.

Гладстон ничуть не огорчился. Он обвинил в своем поражении корыстные интересы верхушки общества и уже не в первый раз заявил: «Правы массы, неправы классы». Многие либера-

лы обвиняли его в том, что он связал судьбу своей партии с блуждающей звездой ирландского национализма, и эта проблема, как сказал Роузбери, «будет затмевать и перечеркивать все остальные проблемы Англии до тех пор, пока для нее не будет найдено решение». Химеру, созданную его разумом, он считал вопросом первостепенной важности.

После того как Закон о самоуправлении Ирландии был отклонен, королеву попросили распустить парламент. Пусть решают люди. Следующая предвыборная битва отличалась особой ожесточенностью. Рэндольф Черчилль высмеивал проект самоуправления Ирландии как «чудовищную смесь глупости, экстравагантности и политической истерики… Даже концентрированный гений Бедлама и Колни Хэтча, вместе взятых, вряд ли сумел бы соткать более поразительную паутину абсурда». Именно так многие воспринимали ситуацию. Соединенное Королевство, не говоря уже о Либеральной партии, будет расколото на части, чтобы «удовлетворить амбиции спешащего куда-то старика». Гладстон действительно выглядел постаревшим, согбенным и бесконечно усталым, но, несмотря на это, он снова отправился в агитационный

тур по стране, словно только бальзам народного признания мог исцелить его израненный дух. В своем дневнике он писал о выступлении в Ливерпуле в конце июня: «Семь или восемь часов в шумной процессии, выступал перед пятью или шестью тысячами человек в течение одного часа сорока минут… Я вышел к ним, охваченный горечью, пылая духом, но Господь возложил на меня свою руку». Библейские мотивы позволяют предположить, что он воображал себя кем-то вроде ветхозаветного пророка. Королева была встревожена. «Прискорбно видеть, — заметила она, — что человек в семьдесят семь лет ведет себя подобным образом и опускается до обыкновенной демагогии… Если бы только его можно было остановить».

Его остановил электорат. «Что ж, Герберт, старина, — сказал он своему сыну, — нам задали взбучку, в этом не может быть никаких сомнений». Консервативные юнионисты и либеральные юнионисты получили совокупное преимущество в 118 голосов перед сторонниками Гладстона и ирландскими националистами. В конце года он записал в дневнике:

Год потрясений и огромного напряже-

ния. Думаю, некоторого прогресса все же удалось достигнуть. Но больше всего я был поглощен теми интересами, которые, несмотря на свою глубоко человеческую природу, все же совершенно не подходят старику, готовящемуся пересечь Реку Смерти. Однако же мне не дали ни единой возможности выбраться из этого водоворота, — я не могу бросить дело, которое имеет неоспоримую важность для моих собратьев и в котором определенная роль, по-видимому, отведена и мне.

Другими словами, он не собирался сдаваться.

Ко всеобщему изумлению, Гладстон был готов продолжать политическую деятельность. Он сказал, что остается в распоряжении своей партии и друзей и будет «особенно чутко прислушиваться к зову ирландского вопроса». Это стало делом его жизни, нравственным плодом его существования. Он вел себя как раскаявшийся грешник, стремящийся оправдать свое существование благими делами. Он стал намного резче высказываться о своих врагах. «Ирландия — самая необыкновенная страна в мире, — говорил он. — В ней закон стоит на одной стороне, а спра-

ведливость — на другой». Власть, опирающаяся на «методы постоянного принуждения» и пользующаяся «самыми нечестивыми и порочными средствами из когда-либо употреблявшихся на практике», не могла просуществовать долго.

Тем временем Солсбери создал консервативный кабинет. (Рэндольф Черчилль называл его «Маршаллс энд Снелгроувз» (Marshalls and Snelgroves), намекая на один солидный, но скучный универмаг в Лондоне.) Сам Черчилль получил должность канцлера казначейства и место лидера палаты общин — откуда, по мнению многих, должен был взлететь на должность первого министра. Солсбери считал своей обязанностью следить за тем, чтобы на повестке дня больше не появлялся Гладстон и вопрос самоуправления Ирландии. Как первый министр он также должен был заботиться о сохранении целостности и единства своей партии. Это была не самая легкая задача, поскольку Рэндольф Черчилль фонтанировал грандиозными планами, поносил своих коллег и при малейших затруднениях угрожал отставкой. В конце концов Солсбери заставил его замолчать, к огромному изумлению Черчилля приняв очередное прошение об отставке. Угроза исчезла в одно мгновение. Теперь Солсбери

остался в одиночестве, но его могло утешить уверенное большинство юнионистов.

Гладстон по-прежнему пребывал в хорошем настроении: верность делу ирландского самоуправления служила ему опорой и смыслом существования. Они с Парнеллом заключили «сердечный союз» в борьбе за ирландское дело, но в истории всегда есть место неожиданному. Парнелл роковым образом скомпрометировал себя, оказавшись замешанным в деле о разводе: доказательства его вины были неопровержимы. Либеральный государственный деятель Джон Морли однажды сказал: «Ирландией было бы совсем не сложно управлять, не будь ее жители так упрямы, а все ее проблемы — неразрешимы». Гладстон в частном порядке выразил сожаление по поводу «ужасного дела Парнелла», но публично не высказывался до тех пор, пока его не вынудила к этому общественная реакция. Супружеская измена и развод считались в Ирландии еще более отвратительным делом, чем в Англии, и даже самый популярный политик не мог избежать огня общественного порицания. Однако первую горящую ветку бросил не кто иной, как Гладстон. Он написал Парнеллу, убеждая его уйти в отставку. Парнелл отказался, и почти

сразу после этого Гладстон сделал так, чтобы его письмо попало в Pall Mall Gazette. После этого с Парнеллом было покончено навсегда. Гладстон поверг его во тьму забвения. Те, кто продолжал голосовать за него, были «либо негодяями, либо глупцами».

Ирландский вопрос имел огромное значение для администрации Солсбери. Выступая в палате лордов, Солсбери сказал: «В настоящий момент вопрос сохранения Унии превосходит все другие политические вопросы». Он также сказал: «Прежде всего следует проявить суровость. Они должны сначала получить хорошую трепку, чтобы последующее примирение принесло им хоть какую-то пользу». Для этого он назначил главным секретарем по делам Ирландии своего племянника Артура Бэлфура. Тот держался апатично и довольно неопределенно, вполне в стиле 1880-х годов. Со своими клочковатыми усами и моложавым видом он мог сойти за одного из персонажей оперетты Гилберта и Салливана. Впрочем, внешность бывает обманчива. В Ирландии его довольно скоро прозвали «Кровавый Бэлфур». Он верил в эффективность торийской политики принуждения и продолжал применять ее без всяких сомнений и угрызений совести. «Не-

которые говорят, будто ирландцы имеют право не подчиняться закону, потому что закон приходит к ним в чужой одежде, — говорил он. — Я не вижу причин, по которым необходимо придавать Десяти заповедям какой-то особый национальный колорит». Весной 1887 года Бэлфур провел Закон о преступлениях, объявивший бойкот, шантаж и сопротивление выселению уголовными преступлениями с минимальным наказанием в виде шести месяцев каторжных работ. Это не было вынужденной или временной мерой: закон должен был, безусловно, действовать до тех пор, пока его не отменит любое будущее правительство.

Тем временем в Англии зарождалась новая форма политического протеста. Начиная с 1886 года в Лондоне происходили забастовки. Джон Бёрнс и Том Манн из Социал-демократического союза намеревались сплотить квалифицированных рабочих и добиться удовлетворения их требования об установленной минимальной оплате труда. В начале февраля 1886 года союз также провел митинг на Трафальгарской площади, требуя обеспечить общественными работами безработных. Собравшаяся на площади огромная толпа по настоянию полиции двинулась в сторону Гайд-парка, но на пути у нее оказалась Пэлл-Мэлл

с клубами и универмагами. Искушение было слишком велико. Люди начали бить витрины и грабить магазины. Обращаясь к собравшейся в Гайд-парке толпе, Бёрнс сказал: «Сейчас мы недостаточно сильны, чтобы справиться с вооруженными силами, но когда мы дадим вам сигнал, вы подниметесь?» В ответ раздались громкие крики: «Да! Да!» И Лондон услышал эти вопли. Магазины заколотили досками, банки закрылись. Бернард Шоу поместил ответную реакцию в контекст. «Они не хотят революции, — написал он в Pall Mall Gazette. — Они хотят иметь работу». В этот период в общественном сознании и лексиконе появились слово «безработный» и феномен безработицы.

Осенью того же года на Трафальгарской площади, превратившейся в центр радикальной деятельности вместо Клеркенуэлл-Грин, запретили проводить демонстрации и парады. 13 ноября на площади прошла демонстрация, сопровождавшаяся выступлениями ораторов, которая закончилась столкновением полиции с толпой и вошла в историю как «Кровавое воскресенье». Стычки и драки продолжались в Холборне и на Стрэнде до тех пор, пока площадь не очистили прибывшие конные гвардейцы. Сто человек по-

лучили ранения, двое погибли. Это был самый крупный случай общественного беспорядка в тот период, хотя по континентальным меркам он имел относительно скромный масштаб. В 1888 году группа радикальных агитаторов, присутствовавшая на ежегодном Конгрессе профсоюзов в Брэдфорде, потребовала создать независимую партию трудящихся (Лейбористскую партию). В том же году Кейр Харди сыграл важную роль в создании Шотландской лейбористской партии. Ни о каком социализме при этом не шло речи. Это считалось слишком континентальным и отдавало революцией.

Парадоксальнее всего, что лето 1887 года, отмеченное взрывами общественного недовольства, ознаменовалось также золотым юбилеем королевы Виктории. Маленькая пожилая леди настояла на том, что наденет шляпку (впрочем, украшенную драгоценностями), когда поедет в открытом ландо по улицам Лондона в Вестминстерское аббатство. Ее окружали королевские гвардейцы, 17 принцев, близкие родственники от Баттенбергов до Виттельсбахов и бесчисленные правители империй. По словам автора статьи в Illustrated London News, это была «самая грандиозная государственная церемония десятилетия

и практически уникальное событие в анналах современной Англии». Чем меньше у королевы оставалось обязанностей, чем больше ее жизнь отдалялась от жизни ее подданных, тем больше ее прославляли.

С дальних рубежей империи в Букингемский дворец и Балморал прибыли двое новых индийских слуг, занявших место Джона Брауна. Магомет Бакш и Абдул Карим вскоре получили титулы *мунши* — секретаря и учителя. Виктория решила выучить язык хиндустани.

В романе Джорджа Гиссинга «В юбилейный год» (In the Year of Jubilee; 1894) отражены тогдашние настроения нации и общее безразличие к состоянию монархии, несмотря на горячее воодушевление, вызванное зрелищностью юбилея. Персонажи Гиссинга принадлежат к среднему и низшему среднему классу и проживают в окрестностях Камберуэлла и Денмарк-хилл на юге Лондона, где молодые женщины бесконечно мечтают о более высоком статусе и приличном доходе. Это не тот мир, который описывал Энтони Троллоп. Совсем наоборот. Этот мир, который почти все воспринимали как должное, переливался мягкими оттенками серого, как сама атмосфера на окраинах большого города. Гиссинг

был большим знатоком жизни, протекавшей в неряшливых комнатах в пригородах. «Картины на стенах представляли собой странную смесь: имевшие некоторую художественную ценность автотипии чередовались с аляповатыми олеографиями в громоздких золоченых рамах». Автотипией назывался популярный в конце XIX века метод фотопечати, олеография представляла собой фотографический оттиск, напоминающий картину, написанную маслом:

> На столах и стульях валялось множество бумаг: иллюстрированные еженедельники, светские журналы, дешевые альманахи, грошовые бульварные романы и тому подобное. В конце недели, когда приходили свежие номера, Ада Пичи устраивалась на своем диване и часами читала все подряд: новые главы дюжины историй с продолжением, заметки о моде, спорте и театре, ответы редакции на письма читателей (от них она приходила в особенный восторг), колонки, полные сомнительного юмора и сплетен о скандальных знаменитостях.

Младшее поколение похожей семьи «говорило

о театрах и скачках, о “новом душегубе” у мадам Тюссо, о полицейских новостях, промотавшихся аристократах и дамах полусвета». Дамами полусвета называли женщин с сомнительной репутацией. В чуть более респектабельном доме «на столе лежал новый том из циркулярной библиотеки — что-то об эволюции», а дочь «задалась целью стать выпускницей Лондонского университета… и готовилась к поступлению нынешней зимой… поэтому говорила только об экзаменах и о своих шансах отличиться с какими-то “рефератами”».

Действие первой части книги разворачивается на фоне главного общественного события года:

> Она едет на юбилей, чтобы подцепить там симпатичного принца… Кто-то сказал, что билеты на эти места продают за три гинеи… Слава богу, все остальные будут смотреть на шествие, украшения, иллюминацию и прочую чепуху… Я хочу пойти только потому, что это весело. Мне было бы стыдно глазеть вместе со всеми на королевскую семью, но ночью это совсем другое дело. Будет замечательно, на улицах остановят всё движение… И зна-

ете, в конце концов, это же историческое событие. В 3000 году его будут спрашивать на экзаменах, и какой-нибудь бедолага наверняка срежется, потому что не вспомнит дату… Ну какое мне дело до королевы? Ты хочешь поехать? Конечно, не для того, чтобы увидеть ее величество, — она интересует меня так же мало, как и тебя… Я не думала, что ты интересуешься такими вещами. Я думала, ты выше этого… Ты слышал, что Нэнси хочет завтра вечером идти смотреть парад вместе со всяким сбродом?.. Я смотрю на это так. Это праздник в честь пятидесятилетия правления королевы Виктории — да, но в то же время это нечто большее. Это праздник в честь пятидесятилетия прогресса. Национального прогресса, не имеющего прецедентов в истории человечества.

Большинство людей хорошо представляло, в каком направлении двигаются события. «До триумфа славной Демократии осталось совсем не долго, — говорили они. — В конце концов, народ сегодня главный». На страницах романа звучит множество характерных выражений того

времени: «Держи ухо востро», «Соображаешь?», «Характер у него просто отвратный», «Ох, ну какая же ты глупышка», «Эй, гляди веселей!», «Что у нас новенького?». Поклонник назывался «ухажер». Красивые мужчины или женщины — «шикарными».

Гиссинг описывает празднование юбилея глазами улицы: «В Камберуэлл-Грин они смешались с беспорядочной веселой толпой, которая текла куда-то под грохот кэбов и омнибусов и звон трамвайных колокольчиков. Пабы распространяли в горячем воздухе алкогольные ароматы». Вокруг живо обсуждали происходящее: «Женщина, стоявшая рядом с ней, громко высказывала свое мнение о процессии, уделяя особенное внимание персонажу, которого она называла “Хитрюга принц Вельский”». В толпе вспыхивает спор: «Мы не позволим пьяной мерзавке вроде тебя так отзываться о ее величестве». Герои напевают новейшие куплеты из репертуара мюзик-холлов, но в них чаще слышится не юмор, а пафос. «Та-та».

26
«Паук-сенокосец»

Гладстон объединял правительство Солсбери намного эффективнее, чем любой торийский вельможа. Пока он решительно и непреклонно следовал за своей мечтой (или ловил ускользающее видение), добиваясь самоуправления для Ирландии, правительство старалось не допустить его к власти, прочно удерживая его на занимаемых им позициях. По крайней мере, так было в теории. Солсбери по-прежнему вел себя несколько отстраненно, демонстрируя не то пессимизм, не то цинизм (на этот счет мнения различались) и природное отвращение к любым изменениям с естественно вытекающей из этого неприязнью к социальным реформам и социальным реформаторам. Однако именно его правительство провело ряд законов, которые кардинал Мэннинг назвал самыми радикальными начиная с 1830-х годов.

Закон о местном самоуправлении 1888 года передал управление округами в руки избранных народом советов и превратил крупные города в

самостоятельные административные единицы (города-графства). Сквайры и предводители местного общества в одночасье оказались не нужны — их заменили администраторы и бюрократы, контролировавшие всё, от полиции до сумасшедших домов. Это окончательно разорвало связь между владением землей и властными полномочиями, хотя полностью бюрократизированной страной Англия стала только после принятия Закона о местном самоуправлении 1894 года, который ввел выборные местные органы власти в каждой деревне с населением более 300 человек.

В Лондоне административный хаос царил почти с самого начала существования города, но, согласно Закону о местном самоуправлении, или, как его еще называли, Закону об окружных советах, отныне управлением и организацией городской жизни должен был заниматься Совет Лондонского графства. Развернув свою деятельность там, куда не дотягивались руки правительственных ведомств и общегосударственной политики, он заметно изменил облик столицы. На волне современного увлечения муниципальным социализмом Совет создал общественные купальни и прачечные, парки, огородные наделы и публичные библиотеки. Он также отвечал за

строительство в разных районах мегаполиса муниципальных домов и муниципальных квартир, которые изменили структуру жизни в Лондоне на следующие сто лет.

Первый председатель лондонского Совета был либералом. В некоторых отношениях лорд Роузбери напоминал Чемберлена, хотя сам не был сторонником муниципального социализма. По сравнению с коллегами он придерживался более современных взглядов на социальные вопросы и принадлежал к новому поколению, лучше понимавшему характерные настроения начала XX века. Он объявил войну домовладельцам, сдававшим жилье в трущобах, а о Лондоне говорил, что он «не единица, но единство». В основе его социального радикализма лежал принцип «умей делать свое дело». Его называли человеком будущего, хотя никто не мог заранее предугадать, как далеко он пойдет.

Эпоха ошеломляющих перемен принесла с собой бесконечные новые невзгоды. Дожить до взрослого возраста в то время уже считалось достижением. Ни один человек, кроме горстки особо избранных, никогда не чувствовал себя совершенно здоровым. Это было очень нервное время. Даже егери в романе Энтони Троллопа «Де-

ти герцога» (The Duke's Children; 1880) вздыхают:

> …Беды от чужаков, беды от новомодных предрассудков, беды от современных видов спорта, беды от перенаселения, беды от роста железных дорог, беды от безграмотности и невежества, беды от вторжения хамов, беды от равнодушных вельмож… Всё идет не так, как должно. И везде одно и то же. Фермеры на грани разорения. От торговли одни убытки. Церковь в опасности. Палата лордов давно уже не та. Трон пошатнулся.

В каком-то смысле это просто сатирическое перечисление предрассудков одной узкой прослойки общества, но оно позволяет понять, какие тревоги и страхи не давали покоя даже самым, казалось бы, крепким и находчивым викторианцам. Уилки Коллинз называл это время «дни ужасного нервного истощения и расползающихся исподволь нервных недугов». Джон Морли говорил: «Все охвачены сомнениями, колебаниями и боязливым ожиданием». В 1888 году писательница Элизабет Чепмен замечала: «Всеобщий бунт против власти во всех сферах жизни есть признак неустроенной, переходной, прежде всего

демократической эпохи». Журналист Т. Х. Эскотт писал: «Старые границы стираются, почитаемых идолов уничтожают». Люди ощутили сейсмический сдвиг, изменивший общество, еще до того, как смогли понять, что происходит. У многих перемены вызывали нервное истощение и страх.

Именно поэтому одним из главных образов эпохи стало крушение поезда. Воплощение нового мира, стремительного бега времени и почти невероятной скорости одновременно было символом гибели и катастрофы. На картине Тёрнера «Дождь, пар и скорость» мы видим зайца, бегущего перед локомотивом Великой Западной железной дороги, который пересекает Мейденхедский мост. Современники знали или могли вспомнить старую поговорку: «Увидишь перед собой бегущего зайца — жди беды». «Мы увидели зайца. Нам не повезет». Сам паровой двигатель стал метафорой. Журналисты обсуждали «новый усовершенствованный патентованный способ передачи законопроектов через палату лордов с помощью паровой машины». Новый предприниматель, по словам Джона Стюарта Милля, измерял «достоинства всех вещей по тому, насколько они способны увеличить количество паровых машин и могут ли сделать людей таки-

ми же удобными, как машины». Считалось, что разум и тело необходимо тренировать для жизни, «словно паровой двигатель, пригодный к выполнению любой работы». Многие восхищались мощью машин и людьми, которые их обслуживали. Один из первых летописцев хлопковой промышленности, историк Альфред Уодсворт писал: «Новые станки быстро распространились в Англии, потому что в них было заинтересовано все общество». Карлейль, напротив, осуждал благоговение перед «паровым интеллектом». Всё вокруг так или иначе сравнивали с машинами.

У викторианцев был и другой способ смотреть на мир. В 1850-х годах, обращаясь к своим друзьям в Ньюкасле, Джордж Стефенсон так отозвался о возможностях железных дорог, мощь и масштабы которых навсегда изменили английский ландшафт: «Когда я оглядываюсь на эти грандиозные начинания, мне кажется, что нашему поколению удалось овладеть легендарными силами сказочных волшебников». Для многих это был мир нездешней магии, внезапных превращений, заклинаний и чар, где обыденное вдруг стало чудесным. Один наблюдатель назвал пожар в парламенте в октябре 1834 года «совершенно сказочной сценой». Проехав на поезде по недавно

построенному туннелю Эдж-Хилл, Фанни Кембл сказала: «Ни одна волшебная сказка не сравнится с тем чудом, которое я видела».

Пытаясь уложить в голове бесконечный поток перемен и новых явлений, люди говорили о магии и колдовстве, словно это был единственный способ осмыслить происходящее. Газовое освещение улиц, строительство туннеля под Темзой, заводские станки, способные заменить тысячу рабочих рук, — все это воспринимали как чудо. На смену газу вскоре пришло электричество, — Артур Янг в своих путевых заметках 1880-х годов назвал новый электрический телеграф «системой универсальной циркуляции сведений, с электрической чуткостью распространяющей в Англии малейшие вибрации чувств и опасений от одного края королевства до другого». Буквально все вокруг дышало первозданным хаосом.

В своем дневнике в 1882 году Беатрис Уэбб назвала это время царством доброжелательного духа, где «социальные вопросы считаются важнейшими вопросами дня и заменяют собой религию». Социальные отчеты и обзоры теперь лежали рядом с сентиментальными и бульварными романами, и, хотя общество большей частью все так же проходило мимо, некоторые

останавливались при виде ребенка в лохмотьях и истощенной полупьяной матери. Книга Чарльза Бута «Жизнь и труд людей в Лондоне» (Life and Labour of the People in London; 1889–1903) не отличалась такой оригинальностью, как работа Генри Мэйхью «Лондонские трудящиеся и бедняки» (London Labour and the London Poor), опубликованная 40 лет тому назад, когда предметом исследования были не классы, а отдельные люди. Житейские истории уступили место статистике, отразив кардинальные изменения в репрезентации социальной истории. По утверждению Бута, 30 % населения Лондона жили в бедности и около трети из этого числа — «в крайней бедности». В 1880-х годах «крайняя бедность» не слишком отличалась от полной нищеты. Он считал, что если бедность поддается определению, то она поддается и исправлению. Он также высказал предположение, что именно правительство должно взять на себя ответственность за удаление с карты Лондона черных районов, населенных «поденными рабочими, уличными торговцами, бездельниками, преступниками и их пособниками».

Однако он не обвинял самих бедняков в их тягостном положении, как это обычно делали люди

прежних поколений. По его словам, бедняки могли «усердно трудиться» и «всеми силами стараться выбиться из нищеты», но экономические условия периода не оставляли им ни единого шанса. Даже если люди не страдали ленью и пьянством, ворота фабрик были для них закрыты. Росло осознание, что бедняки вовсе не постоянная и обязательная часть общества и что их положение во многих случаях можно исправить. Позитивные изменения XIX века, от водопровода до санитарии, действительно помогли сделать жизнь людей лучше. Бедные городские районы с их харчевнями, столовыми, пивными и бурлеск-шоу, уличными певцами, шарманщиками, бродячими оркестрами и зычными криками торговцев обладали, пожалуй, даже некоторой живописностью.

Один взгляд на разработанную Чарльзом Бутом «карту бедности» быстро развеивал ложный оптимизм. Черным цветом на карте были отмечены места, где обитал «низший класс, пороки, преступность», темно-синий цвет обозначал «крайнюю бедность, хроническую нужду». Представители следующей страты, отмеченной на карте голубым цветом, были вынуждены жить на доход от 18 шиллингов до гинеи в неделю.

Ист-Энд был черным сердцем города, более трети его населения проживало за чертой бедности. Возможно, с 1840–1850-х годов условия жизни действительно несколько улучшились, но люди, живущие в крайней бедности, теперь чувствовали себя еще более обездоленными по сравнению с другими. Экономист Дж. А. Гобсон писал в 1891 году: «Положение бедняков улучшается недостаточно быстро, чтобы остановить поток народного недовольства».

Если проблема была не в личной нерадивости и даже не в невезении, то винить оставалось только «систему» — это слово в последнее время было у всех на устах, как и связанное с ним новое понятие (и новый повод для беспокойства) — «безработица». Трафальгарская площадь стала центром митингов и демонстраций этого нового элемента, возникшего в государстве. Мэр Лондона учредил фонд помощи безработным, но ему удалось лишь незначительно смягчить ситуацию. Безработные населяли теневой мир, куда многие заглядывали с опаской. Никто не знал, что с ними делать. Кроме них существовала еще более низкая категория — «придонный осадок», служивший источником распространения болезней, но на первом плане в общественном

сознании оставались именно безработные.

Возможности облегчить тяжелое положение трудящихся бедняков, или «достойных бедняков», коллективными средствами пока еще не существовало. В стране было около 700 благотворительных объединений, но все они действовали, как правило, разобщенно и ситуативно. Предметом их заботы могли стать отдельные улицы, районы и даже отдельные люди. Общество еще не имело полноценной «страховочной сетки», позволяющей охватить тех, кто выпал из системы. Однако в 1869 году начал действовать Союз благотворительных организаций, который Генри Джеймс считал «характернейшей чертой английской цивилизации». Он был практичным и прагматичным, как любое другое английское объединение, и он немало сделал для того, чтобы скоординировать усилия разных благотворительных организаций, не давая им столкнуться и помешать друг другу.

Лотар, главный герой одноименного романа Дизраэли, опубликованного в 1870 году, замечал: «Мне кажется, пауперизм связан не столько с размером заработка, сколько с условиями жизни. Если бы рабочий класс имел при нынешних своих заработках хорошее жилье, он был бы богаче.

За те же деньги люди были бы и здоровее, и счастливее». Та же мысль приходила в голову другим энтузиастам «образцовых жилищ» — некоторые из них, богатые филантропы, вкладывали средства в расчистку трущоб и новое строительство, образцы которого до сих пор можно найти в разных английских городах.

Весной 1887 года королева посетила Ист-Энд, чтобы торжественно открыть там Народный дворец с концертным залом, библиотекой и помещением для репетиций хора. До ее слуха долетел ужасный шум, совершенно новый для ушей королевы. «Кажется, это называют освистыванием, не так ли?» — сказала она. Солсбери, извиняясь, заметил: «В Лондоне больше хулиганов, чем в любом другом крупном городе на этом острове… Вероятно, это социалисты и самые дрянные ирландцы».

В массовом сознании лондонский Ист-Энд стал средоточием мрачных тайн. Он был бездной, пресловутой темной изнанкой Лондона, преисподней. Это был город ночных кошмаров. Позднее он стал олицетворением сущности викторианского Лондона и местом действия сотен телесериалов. Однако летом и осенью 1888 года он привлек пристальное внимание публи-

ки совсем по другому поводу. Общественность заинтересовали два производственных спора, чреватые предвестием будущего, словно тяжелые тучи, готовые пролиться дождем. Девушки со спичечной фабрики Брайанта и Мэя в районе Боу массово отказались выходить на работу после того, как в начале июля 1888 года двух работниц уволили за неподчинение. Девушки объявили забастовку и добились внушительной поддержки. Их выступление привлекло внимание к чудовищно нездоровым условиям их работы. Белый фосфор, который использовали для производства шведских спичек, провоцировал дегенеративное некротическое заболевание под названием «фосфорная челюсть». Девушки трудились в рабских условиях и теряли здоровье. Семьсот работниц ушли с фабрики «Фэйрфилд уоркс», спровоцировав ее закрытие. Они были готовы неустанно бороться за свое дело, и их первый марш протеста привел их не к Вестминстеру, а на Флит-стрит. Они заручились поддержкой журналистов, парламентариев и членов различных социалистических партий столицы.

Видный тред-юнионист Том Манн позднее писал:

> …Вскоре девушек организовали в профсоюз. Их дело вели с большим мастерством. Учредили клуб, действовавший как просветительский и социальный центр. Во всем происходящем ощущался дух надежды. Девушки победили. Этим они оказали стимулирующее действие на другие слои рабочих, часть которых также проявляла признаки разумного недовольства.

Большинство девушек были ирландками и принадлежали к культуре, имевшей немалое влияние в Ист-Энде. Это был решающий момент для всего английского профсоюзного движения в целом, определивший, в частности, условия крупной забастовки портовых грузчиков в Ист-Энде в следующем году. Энгельс назвал деятельность работниц спичечной фабрики «легким толчком, необходимым, чтобы в движение пришла лавина». Лавина не заставила себя ждать.

Тем временем на Ист-Энд упала тень, которая привлекла внимание всей страны. Короткий период с августа по ноябрь того года, когда в районе орудовал Джек-потрошитель, вызвал всеобщий ужас невиданного размаха. Казалось, будто ме-

тафорическая тьма, окутывавшая это место, сконцентрировалась в неуловимой безымянной фигуре, а тот факт, что его так и не схватили, заставлял подозревать, что женщин каким-то образом убил сам Ист-Энд. Эти случаи только подлили масла в огонь всеобщей нервозности и страхов того периода.

Забастовки следовали одна за другой, рабочие выступали с позиций народного социализма и требовали демократии в той или иной форме. В 1887 году объединились все профсоюзы хлопковой ткацкой промышленности. Девятичасовая забастовка рабочих-машиностроителей вполне успешно прошла даже без участия профсоюзов. В том же году портовый грузчик Бен Тиллетт основал Союз чайных погрузчиков и разнорабочих доков Тилбери. Эти рабочие стали главной опорой так называемых «новых профсоюзов», призванных сплотить те профессии, о которых забывали или не считали нужным позаботиться старые профсоюзы, в борьбе за общие требования: установленную законом минимальную заработную плату и обязательный восьмичасовой рабочий день. Старые профсоюзы (их называли рабочей аристократией) не интересовались проблемами бедных рабочих, занятых неквали-

фицированным и тяжелым физическим трудом. Джон Бёрнс и Том Манн из Социал-демократического союза упрекали созданное ими самими Объединенное общество инженеров в «эгоизме, снобизме и предательстве» бедных рабочих. В том же году Ассоциация рабочих избирателей призвала: «Сами рабочие должны стать тем центром, вокруг которого сплотятся люди».

В 1888 году возник Союз шахтеров. В начале лета 1889 года Уилл Торн основал Национальный союз газовиков и разнорабочих на заводе Beckton Gas Works. Он вспоминал: «Новость распространялась, как лесной пожар, в пабах, на заводах и фабриках, и вскоре весь Каннинг-таун, Баркинг, Ист-Хэм и Вест-Хэм говорили о профсоюзе». К их удивлению, требование о восьмичасовом рабочем дне было удовлетворено без всякой борьбы. Тем же летом произошла крупная забастовка в лондонском порту: грузчики отказывались работать, пока за их труд не будет назначена фиксированная плата. Они подхватили эстафету, начатую год назад работницами спичечной фабрики. Бен Тиллетт сплотил самых низкооплачиваемых рабочих дока, и, когда он вывел их на забастовку, к ним вскоре присоединились рабочие по обе стороны Темзы. Корабельные

грузчики требовали шесть пенсов за час работы и как минимум четырехчасовую рабочую смену.

Это была одна из самых эксплуатируемых групп рабочих, полностью зависевшая от случайных заработков. Бесчеловечная система заставляла их целыми днями толпиться у ворот дока в надежде, что кого-нибудь из них наймут на разгрузку. Бен Тиллетт рассказывал: «Нас загоняют в сарай, поделенный на две части длинной железной решеткой. Перед ней прохаживается взад-вперед бригадир или подрядчик с видом торговца, выбирающего скотину на рынке, и высматривает в толпе людей, которые в своем стремлении получить работу готовы топтать друг друга ногами и грызться, как дикие звери».

Это был один из последних пережитков прошлого, сохранившихся на берегу Темзы. Вскоре и от него не осталось следа. Впервые с 1797 года Лондонский порт закрылся. В переговорах участвовали кардинал Мэннинг и Армия спасения. Мэннинг нередко появлялся там, где обострялись социальные противоречия. Честертон писал, что он напоминал «призрак, одетый в пламя», и люди на Кенсингтон-Хай-стрит падали перед ним на колени. Мы можем предположить, что среди упавших на колени было немало ирландских

бедняков, надеявшихся на закон о фиксированной заработной плате, который облегчил бы их тяжелое положение. Спор был урегулирован в сентябре после неожиданного появления профсоюза портовых рабочих, ставшего силой нового столетия. У среднего класса снова пробудилась совесть, и в профсоюзные фонды было внесено 18 000 фунтов стерлингов. А после того, как профсоюзы Австралии отправили своим нуждающимся товарищам еще 30 000 фунтов стерлингов, забастовщики одержали окончательную победу.

В декабре 1889 года Энгельс писал: «Люди совершенно иначе мобилизуются для работы, поднимают на борьбу колоссальные массы, потрясают общество гораздо основательнее и выдвигают гораздо более далеко идущие требования». В Annual Register сформулировали это иначе: «Едва ли не впервые представители класса квалифицированных рабочих проявили готовность объединиться с неквалифицированными трудящимися и поддержать их». Таким было лицо нового профсоюзного движения. Оно должно было помочь тем, кто до сих пор не получал помощи, и предъявляло одновременно экономические и политические требования. Старые профсоюзные лидеры одевались как ра-

ботодатели: дорогие пальто, золотые цепочки для часов и цилиндры. Новые лидеры выглядели как простые рабочие. Они говорили, что сломать один прутик легко, но переломить связку из пятидесяти прутьев намного сложнее. От Ливерпуля до Лондона раздавались возгласы: «Профсоюзы для всех!» Профсоюзное движение коснулось даже Вестминстера. Группа из 70 радикальных либералов вместе голосовала по социальным вопросам и даже избрала собственного лидера. Весной 1890 года в Англии прошла первая первомайская демонстрация: «Огромные толпы растянулись, насколько хватало глаз… С музыкой и знаменами шли более ста тысяч человек». По крайней мере, так это видел Энгельс. Однако в этот же период Джозеф Чемберлен рекомендовал выставить объединенный профсоюзный фронт против угрозы социализма и самоуправления Ирландии, и ко времени следующих всеобщих выборов он сформировал коалицию под руководством консерватора лорда Солсбери.

Либералы Гладстона усилили путаницу, замыслив ряд радикальных мер, получивших название Ньюкаслской программы. Они намеревались продвигать Закон об ответственности работодателей за несчастные случаи на производстве,

самоуправление Ирландии, трехгодичный парламент, местное вето на продажу алкоголя, отделение Церкви от государства в Ирландии и Шотландии и ряд других мер, призванных принести Либеральной партии больше голосов на выборах 1892 года. Программа была примечательна только в том смысле, что, несмотря на миссионерские усилия Гладстона, самоуправление Ирландии значилось в ней лишь одним из многих вопросов. Казалось, о нем уже забыли все, кроме непосредственных участников. Произнося речь в особняке мэра Лондона, Солсбери заявил, что никогда еще не видел Ирландию такой спокойной. Энергичное и расчетливое правление секретаря по делам Ирландии Бэлфура произвело впечатление на всех — по крайней мере на всех, кто был готов впечатлиться, — как наглядный пример имперской администрации в действии. Большинство же англичан по-прежнему относились к этому вопросу с полным безразличием.

Появление социалистических трактатов и брошюр в 1880-х и 1890-х годах ознаменовало перемену политической атмосферы. Энгельс связывал наступление новой эпохи с постепенным упадком британской имперской власти. По его словам, разгадка внезапного возникновения в

стране социалистического движения крылась в потере Британией промышленной и торговой монополии, достигнутой в 1850-х и 1860-х годах. Это объяснение ни в коем случае нельзя считать основным или единственным, но оно вполне укладывалось в общий процесс переоценки ценностей, ставший главной приметой десятилетий перед Первой мировой войной. Безработных и мало зарабатывающих больше не рассматривали как угрозу. Они социализировались, и те, кто вступал в профсоюзы, становились такой же частью сообщества. Вероятно, это отчасти объясняло, почему средний класс обеспечивал новые профсоюзы деньгами: отчасти из жалости и милосердия, отчасти из соображений собственной безопасности. Скептики презрительно называли эту завуалированную самозащиту «показная мораль».

Во время одного из выступлений Гладстона наблюдатель заметил: «Его голова напоминала белого орла, сидящего на черном пне». Гладстон решительно отказывался уйти на покой. Однако он все же согласился съездить на каникулы на юг Франции. Когда Гладстон вернулся из Биаррица в феврале 1892 года, его министры с нетерпением ждали, что нового он скажет о своих планах, но

он «почти все время говорил только о деревьях». Министры были бы рады как можно скорее распрощаться с ним, но он не понимал намеков. По словам Роузбери, он по-прежнему «горел праведным негодованием» и был решительно настроен вести свою партию на летние выборы. Многих, в том числе королеву, изумляло желание восьмидесятилетнего политика руководить страной и империей — причем уже в четвертый раз. В начале июня 1892 года Гладстон отказался продвигать Закон о восьмичасовом рабочем дне, поскольку был слишком занят ирландскими делами, но не все шло хорошо. Через несколько дней, когда он ехал в коляске по улицам Честера, какая-то старуха швырнула в него куском черствого имбирного пряника. Он попал Гладстону в левый глаз, и с этого времени его зрение начало ухудшаться. Предвыборная кампания вот-вот должна была начаться.

Он не выиграл выборы в июле 1892 года, но и не проиграл: ему удалось получить максимальное количество мест, но он не имел большинства без поддержки ирландских националистов. Солсбери отказался уйти в отставку и удобно устроился в палате общин в ожидании момента, когда парламент изгонит его вотумом недоверия.

В середине августа он наконец смог получить свободу, а Гладстон вернулся с правительством меньшинства, которое сам считал «слишком мелким». Виктория в любом случае пришла в ужас от этого результата. Она заявила, что новое правительство состоит из «алчных городских застройщиков, которые в душе все как один республиканцы». Она не сразу сумела заставить себя послать «за этим ужасным стариком, к которому не могла питать ни уважения, ни доверия». Конечно, в конце концов ей пришлось смириться с ситуацией и соблюсти конституционные нормы, но он ей не нравился. Она считала их с Гладстоном отношения неискренними, а его самого — притворщиком.

Внутренняя стойкость и сила воли в сочетании с недавно одержанной победой, казалось, немного оживили Гладстона. Журналист Генри Люси заметил: «Время идет, но он как будто не стареет, а молодеет. Его голос стал глубже и сильнее, разум — живее и изобретательнее». Фактически Гладстон руководил правительством, опиравшимся на ирландских националистов, то есть занимал крайне шаткое положение. Однако это позднее цветение не могло продолжаться долго. Он стал более вспыльчивым и не раз грозил уйти

в отставку. Лорд Актон писал, что он «необуздан, несдержан, небрежен, склонен излишне усложнять дело и поддаваться приступам негодования».

Одним из самых важных результатов выборов 1892 года стало появление в парламенте Кейра Харди, представлявшего округ Вест-Хэм-Саут. Он выдвигался как независимый депутат, но вскоре принял участие в создании независимой Лейбористской партии, стоявшей отдельно от либералов и консерваторов. Он уже произвел небольшую сенсацию в Вестминстере, явившись на заседание в матерчатой кепке и твидовом пиджаке, что сразу позволило понять, каковы его призвание и устремления. Торжественная конференция в честь основания независимой Лейбористской партии состоялась 14 января 1893 года. Партия планировала сформировать партийное большинство, чтобы отстаивать проведение необходимой трудовой реформы, а значит, была настроена на сотрудничество скорее с профсоюзами, чем с бесчисленными социалистическими партиями, успевшими превратиться в балаганы пустословия.

Гладстон до сих пор не расстался с идеей самоуправления Ирландии. Он дал согласие на

продвижение Ньюкаслской программы, хотя она не нашла особого отклика в его сердце. Чемберлен требовал от него подробностей грядущего билля: «Как долго вы собираетесь позволять ирландской партии швырять камни в пруд британского законодательства?» В феврале 1893 года Гладстон представил свой второй Билль о самоуправлении Ирландии. Их с Чемберленом противостояние выглядело как аллегория старости и молодости (относительной молодости). Чемберлен заявил: «Я говорю, что никогда в истории мира столь крупный риск не встречали с такой беззаботностью и таким безразличием к его вероятным последствиям». Во втором чтении Гладстон получил благоприятный результат, с помощью ирландских националистов добившись перевеса в 43 голоса. Члены Лондонской фондовой биржи вышли стройными рядами и сожгли билль на площади перед ратушей. Слушания продвигались, но медленно и трудно, под градом взаимных упреков. В палате общин однажды даже разгорелась кулачная драка, к вящему ужасу публики на галерее. Срок обсуждения билля уже истекал, но палата лордов отклонила его с перевесом в десять голосов против одного. Никакого общественного протеста не последовало. Безразличие англичан

окончательно похоронило билль и все связанные с ним терзания. Некоторые слышали, как Гладстон пробормотал: «Я больше ничего не могу сделать для Ирландии». Судя по всему, он ничего и ни для кого больше не мог сделать, и вокруг все настойчивее шептались, что ему пора уходить.

Занавес для него упал, когда в начале марта 1894 года он вручил королеве свое прошение об отставке. Она приняла его в хорошем расположении духа и, казалось, ничуть не огорчилась такому повороту событий. «Мистер Гладстон ушел, — со смехом сказала она архиепископу Кентерберийскому. — Исчез в одно мгновение». Равнодушие королевы, которая не попыталась выразить хотя бы формальное сожаление или поздравить его, глубоко расстроило Гладстона. Он прошел долгий и трудный путь, но так и остался для нее всего лишь рабочей лошадкой. На очередном заседании кабинета министров он сообщил коллегам о своем решении. Они заметно пали духом, а некоторые даже прослезились, но их уныние не тронуло его. Лишившись своего бессменного капитана, корабль некоторое время плыл по течению: в партии не нашлось никого, способного взять руководство на себя.

15 марта лорд Роузбери отправился в Виндзор,

чтобы поцеловать руку королеве. Он понравился ей, хотя ее не слишком интересовала партия, которую он представлял. Роузбери имел одно преимущество: в глазах королевы он выглядел наименее неприятным из всех либералов. Она сказала только, что «не возражает против либеральных мер, если они не несут в себе ничего революционного, и уверена, что лорд Роузбери не собирается уничтожать испытанные временем, важные и необходимые институты». Роузбери был вигом *non plus ultra* и считал консерваторов вульгарными, а на либералов не такого высокого происхождения смотрел с рассеянной симпатией. Он привлек внимание и завоевал восхищение всей страны, сумев разобраться с долгой и сложной забастовкой шахтеров. Именно поэтому выбор пал на него. В кабинете министров он подавал большие надежды, но теперь, оказавшись на пике своей карьеры, вдруг растерялся. Он не очень хорошо понимал, что ему делать. Его предшественник настолько подавлял свою партию, что они почти не обсуждали серьезные политические вопросы. И все же Роузбери был остроумен и красноречив и обладал завидным умением вставить в нужный момент подходящее слово. Его манеры и костюм целиком и полно-

стью принадлежали 1890-м годам. Он ничем не напоминал Гладстона, Дизраэли или даже Солсбери. Он выглядел солидно или хотя бы надежно. В нем даже было нечто кокетливое, а о его отношениях с личным секретарем, старшим сыном маркиза Куинсберри, ходили странные слухи.

Выходя из себя, он становился раздражительным и беспокойным. Журнал Spectator назвал его «премьер-министр — бабочка, эфемерная по своей сути». Правительство Роузбери просуществовало всего 15 месяцев. Бремя должности оказалось для него слишком тяжелым, и он совершил непростительную ошибку, заявив, что «большинство членов парламента, избранных непосредственно от Англии, враждебно относятся к самоуправлению Ирландии». Это означало, что последние полтора года лихорадочных переговоров и политического планирования, по сути, прошли впустую. В новом премьер-министре не было огня и боевого задора. Он никогда не знал, чего он на самом деле хочет, и изливал на других людей ту досаду, которую испытывал по отношению к самому себе. Кабинет при нем находился в вечной нерешительности и смятении. Премьер-министра считали одновременно и слишком отчужденным, и слишком легкомыс-

ленным. Говоря о себе в официальном третьем лице, он сообщил королеве: «Лорд Роузбери в настоящее время заперт в парламенте, почти единодушно выступающем против его пребывания на посту министра, и с политической точки зрения с тем же успехом мог бы находиться в лондонском Тауэре». Он вряд ли мог преуспеть: он был излишне чувствителен, склонен к паранойе и слишком остро реагировал на критику оппозиции. «Как премьер-министр, — сказал Роузбери королеве, — он находится в более прискорбном положении, чем любой другой человек, когда-либо занимавший этот высокий пост». Его мучила бессонница: поглощенный раздумьями и тревогами, он иногда не мог уснуть всю ночь напролет. «Я не гожусь для человеческого общества», — признался он своему коллеге. Это было крайне неподходящее для премьер-министра качество, однако чувство долга заставляло его двигаться вперед.

19 февраля он созвал кабинет и зачитал заранее приготовленное заявление: «Я не могу вспомнить ни одного случая, когда хотя бы один человек из партии или кабинета министров хотя бы ненароком высказался в парламенте в мою защиту… Трудности, о которых я говорю, невыносимы, и

я не имею сил выдержать еще хотя бы одно заседание, похожее на предыдущие». Эти жалобные слова не сделали бы чести ни одному премьер-министру и только подтвердили его неспособность к управлению. Роузбери переполняла жалость к себе. Его уговорили пока не уходить в отставку, но через неделю тело подвело его там, где ум еще продолжал бороться. Он слег с инфлюэнцей и не смог полностью оправиться после болезни. Он говорил, что понимает, почему государственные деятели иногда кончают жизнь самоубийством. 21 июня палата общин раскритиковала военного министра Генри Кэмпбелла-Баннермана за нехватку кордита, а на следующий день Роузбери убедил свой кабинет массово уйти в отставку. Через несколько часов после этого королева прислала Солсбери предложение сформировать новое правительство.

На следующих выборах в июле 1895 года либеральное большинство из 43 человек превратилось в юнионистское большинство из 152 человек, что стоит отметить как одно из самых значительных изменений в политической истории Англии. Роузбери и его коллеги испытали только облегчение. Когда в новое правительство вошел Чемберлен, это скрепило пакт между кон-

серваторами и либеральными юнионистами и вывело на политическую сцену новую грозную коалицию. Роузбери соглашался, что Либеральная партия сама по себе превратилась «в нечто несуразное, наподобие паука-сенокосца, пляшущего среди языков пламени». Он всегда умел образно изъясняться. Он же придумал выражение «с чистого листа», возможно имея в виду как раз Солсбери, который оставался премьер-министром в течение следующих семи лет.

27
Утраченные иллюзии

Судебный процесс над Оскаром Уайльдом в 1895 году обнажил сердце поздневикторианского мира. Ирландское происхождение Уайльда ставило его в особое положение в Англии и позволяло смотреть со стороны на обычаи и условности своей второй родины. Он лучше многих других людей понимал безрассудство викторианского общества и скрывающиеся в нем пороки. Пьеса «Как важно быть серьезным» (1895) была настолько смешной, что английские зрители забывали — по крайней мере, до тех пор, пока не закончится спектакль, — что смеются над теми устоями и ценностями, которые привыкли считать священными. Конечно, было ошибкой открывать современникам, что их идеалы иллюзорны, а их рассудительность — сплошное тщеславие.

Как многие представители своего поколения, в молодости Уайльд увлекался эстетизмом с его знаменитым девизом «искусство ради искусства». Искусство следовало вырвать из объятий морали, а значит, оно не должно было иметь

никакого социального или политического содержания. Британия переживала очередной этап своей долгой промышленной революции (некоторые историки называют его Второй промышленной революцией): большую часть вещей производили машины, а не ремесленники и художники, и отделение искусства от социальных обстоятельств в этих условиях было вполне предсказуемым.

Прославившись в 1880-х годах как один из видных представителей эстетического движения, в 1890-х годах Уайльд стал неофициальным лидером декадентского движения, начало которого можно отсчитывать примерно от даты первой журнальной публикации «Портрета Дориана Грея» в июне 1890 года. Уайльда принято считать писателем *fin de siècle:* он восхищался искусными проделками и пародиями, воспевал стиль и стилизацию и высмеивал ценности прошлых десятилетий. В его времена конец викторианского духа (и всего, что он собой символизировал) был уже близок, но ничто пока еще не заняло оставленного им места. Это было время духовного, морального, социального и художественного хаоса, когда даже самые прочные убеждения начали ветшать и рассыпаться. В каком-то смысле

Уайльд жил в морально устаревшем обществе: искусство, образ жизни и даже благочестие в нем были театральными и напыщенными. Все смыслы XIX века утратили содержание. Казалось, все и вся выставлено напоказ, как в универмаге Суона и Эдгара. Уайльд выучил наизусть урок бальзаковского антигероя Вотрена: «Нет больше никаких законов — только условности, нет ничего, кроме формы». Он откликался на театральность вокруг себя, превращая свою речь в произведение искусства, свою личность — в символ, свою жизнь — в мистерию.

Одним из заметных явлений *fin de siècle* стал популярный в 1890-х годах журнал Yellow Book, главный вестник эстетизма, декаданса и символизма — нечестивой троицы, приводившей в праведный ужас носителей солидного средневикторианского образа мыслей. Первый номер вышел в марте 1894 года. Предисловие редактора объявляло, что цель журнала «как можно дальше отойти от старых недобрых традиций периодической литературы… Наш журнал будет чарующим, дерзким, ни на что не похожим». Нельзя сказать, что его сразу встретили с большим воодушевлением, а некоторые и вовсе сочли его ворохом «истерической бессмыслицы». Пер-

вым художественным редактором журнала был Обри Бердслей, — принято считать, что именно он придумал бросающуюся в глаза желтую обложку, рождавшую ассоциации с эпатажными французскими романами того времени. За короткий период существования журнала для него писали Макс Бирбом, Генри Джеймс, Герберт Уэллс и Уильям Батлер Йейтс. Он олицетворял собой веселые похороны XIX века.

Можно предположить, что Оскар Уайльд тоже был в списке авторов Yellow Book, но на самом деле он никогда не участвовал в этом предприятии и даже заявлял, что презирает его. Тем не менее Уайльд оставался и продолжает оставаться знаковой фигурой последних лет XIX века просто потому, что он переворачивал все его ценности с ног на голову. В глазах поздневикторианской культуры с ее засильем джингоизма, культом Джона Булля, склонностью воспринимать себя чересчур серьезно и черно-белой пуританской моралью он был во всех смыслах Иным. Его влекли красота и искусство, а не истина и реальность — последние он считал не стоящей внимания и даже пагубной фикцией.

Здесь мы легко могли бы расширить список бинарных оппозиций: Уайльд предпочитал свой

пол противоположному и своим гомосексуальным образом жизни бросал вызов представлениям среднего класса о семейном укладе. Лежащее на поверхности интересовало его больше скрывавшегося в глубине, тело — больше, чем душа, эстетика — больше, чем этика. Он крайне серьезно относился ко всему, что викторианцы считали пустячным, и наоборот. Не менее провокационной была его страсть к двусмысленности, неопределенности и непоследовательности. Вместо того чтобы извлечь на поверхность и представить миру единое, монолитное «я», в своей жизни и произведениях он без особых усилий изобретал, примерял и отбрасывал все новые и новые образы. Он называл неискренность «средством многократного умножения личности». Его живой гений от природы тяготел к драмам и диалогам, парадоксам и притчам, разнообразным жанрам и формам, в которых он мог продемонстрировать стороны своей личности и вместо одной точки зрения показать читателю диспут между разными доктринами. Неудивительно, что многие исследователи изображают Уайльда как убежденного ницшеанца, ведущего яростную войну против викторианской морали и активно способствующего переоценке христианских цен-

ностей среднего класса в конце XIX века.

Уайльд так хорошо знал свое время, что мог без труда принимать любое свойственное ему обличье и изображать все его характерные черты. Он обожал экспериментировать с новыми литературными формами и изучать их возможности. Он вернул на английскую сцену уморительно смешную провокационную комедию, изгнанную оттуда много лет назад. Он изобрел стихотворение в прозе на английском языке и был первопроходцем символической драмы. Он также был одним из первых авторов, написавших «французский» роман, — «Портрет Дориана Грея», хотя и создан на английском языке, по форме и содержанию может считаться скорее французским. Роман нещадно высмеивал нравы английского среднего класса. Журнальная версия 1890 года вызвала бурю возмущенных отзывов, в первую очередь из-за гомоэротического подтекста, который был бы еще более явным, если бы издатель не убрал из рукописи Уайльда самые радикальные и откровенные абзацы. Протесты публики, впрочем, не помешали Уайльду в следующем году опубликовать роман в книжном формате, добавив к нему новые главы, в которых он называет Англию родиной лицемеров, а ан-

гличан — народом, который «уравновешивает глупость богатством, а порок — лицемерием».

В 1891 году Уайльд также написал для Fortnightly Review политическое эссе «Душа человека при социализме», в котором подверг критике «глупость, лицемерие и филистерство», пронизывающие английскую культуру. Уайльд гневно выступал против английского общественного мнения, которое, по его словам, обрело с помощью прессы деспотическую власть над искусством, политикой и частной жизнью людей.

«Душа человека…» раскрывает Уайльда как сторонника анархического социализма. Его нападки на лицемерие прямо связаны с историей Парнелла и теми журналистами и парламентариями, из-за которых он был вынужден оставить политику после того, как в конце 1890 года обществу стало известно о его отношениях с замужней дамой Китти О'Ши. Критика Уайльда свидетельствует о безоговорочном принятии ирландского самоуправления и собственного ирландского происхождения, которое признавали все, кто хорошо его знал, от англичанина Альфреда Дугласа до его соотечественников Шоу и Йейтса. Ирландское происхождение позволяло Уайльду понимать и высмеивать англичан поздневикторианского пе-

риода, потому что он был для них одновременно своим и чужим — говорил на их языке, но не разделял ценностей и взглядов, пропагандируемых этим языком и неразрывно связанных с ним.

О языке Уайльд сделал несколько интересных замечаний. «По духу я француз, — говорил он о себе зимой 1891 года, — а по происхождению ирландец, но англичане приговорили меня изъясняться на языке Шекспира». Во время своего лекционного тура по Америке в 1882 году он также сказал: «Я не знаю более замечательного свойства кельтского гения, чем та живость и артистизм, с которыми мы приспособились к английскому языку. Саксонцы захватили наши земли и оставили их в запустении. Мы взяли их язык и вложили в него новую красоту». Политические отношения Англии и Ирландии позволяют взглянуть на парадоксы роскошной прозы Уайльда в новом свете: он был колониальным подданным, который переворачивал с ног на голову и приукрашивал язык колонизаторов, разоблачая его скрытые предрассудки и двойные стандарты. Не случайно Уайльд (как и Сэмюэл Беккет) писал не только по-английски, но и по-французски, а в начале 1890-х годов даже хотел принять французское гражданство после того, как

английская цензура запретила ставить на лондонской сцене его пьесу «Саломея», написанную на французском языке. «Я не англичанин, — сказал он тогда журналисту. — Я — ирландец, а это совсем другое». Острое замечание для того времени, когда Ирландия номинально считалась частью Соединенного Королевства.

Будучи ирландцем, Уайльд всем своим существом осознанно бросал вызов поздневикторианским стереотипам. На английской сцене и в прессе ирландцев часто изображали в виде недалеких «падди», вечно пьяных, слезливых и неряшливых. Уайльд, как и Парнелл, неизменно представал перед публикой спокойным, учтивым, безупречно одетым. Поступив в Оксфорд, он вскоре избавился от ирландского выговора. Философские и исторические воззрения Уайльда не имели в себе ничего эмоционального и интуитивного и отличались строгой научностью и интеллектуальностью. «Англия — страна интеллектуальных туманов», — сказал он Бернарду Шоу. По его мнению, именно кельты, такие как они сами, вопреки популярным предрассудкам лучше всех умели развеивать эти туманы благодаря своему беспристрастному уму.

Во время слушаний в суде Олд-Бейли в 1895 году

Уайльд, по-видимому, искренне наслаждался, демонстрируя поздневикторианской буржуазии ее полную противоположность и бросая со свидетельской скамьи вызов столь дорогим ее сердцу «семи смертным добродетелям». Вместо того чтобы говорить о трудолюбии, он хвастал, что убивает время в ресторанах. Буржуазия славилась бережливостью — он с гордостью объявлял, что тратит в «Савойе» 50 фунтов в неделю. Вместо того чтобы водить знакомство с респектабельными представителями своего класса, он общался и спал с молодыми людьми из низов. Жизни благородного человека, ограниченного рамками долга и ответственности, он предпочитал удовольствия, заявляя, что они — единственное, ради чего человек должен жить, а самореализация — главная цель существования. Тот факт, что Уайльд реализовал себя через гомосексуальные, а не гетеросексуальные отношения, естественно, только ухудшал дело. На первом заседании суда исполненные чувства собственной важности присяжные — биржевой маклер, банковский управляющий и несколько джентльменов из Клэптона — наверняка сочли, что перед ними предстали во плоти все семь смертных грехов одновременно.

Вынесенный Уайльду приговор за «вопиюще непристойное поведение» вызвал нравственную панику в поздневикторианской Англии. Природа его преступления вызывала отвращение у респектабельных людей. Более того, суд показал, что Уайльд был лишь одной, самой заметной фигурой в обширной сети джентльменов, которые не только предпочитали любить других мужчин, но и выбирали партнеров из низшего сословия. Всего за шесть лет до суда над Уайльдом разразился печально известный скандал вокруг мужского борделя на Кливленд-стрит: выяснилось, что там подрабатывали мальчики, служившие на Центральном телеграфе, а среди завсегдатаев заведения были представители аристократии и даже члены королевской семьи. На глазах у пораженной публики общественные и властные иерархии пошатнулись, и само понятие аристократии стало выглядеть как гигантское надувательство. Это был один из первых случаев (в реальной жизни, а не в зачарованном краю беллетристики), когда частная жизнь джентльменов, главной опоры общества, при ближайшем рассмотрении оказалась фальшивой и пустой.

Эти скандалы и судебные процессы косвенным образом отражали перемены в отношениях

полов, ознаменовавшиеся появлением «новой женщины» и смягчением брачно-семейного права. Возможно, не случайно сам Уайльд горячо поддерживал «новую женщину» — до такой степени, что вскоре после приговора, вынесенного ему, в Punch объявили: «Конец “новой женщины” — этот пузырь наконец лопнул!» «Новая женщина» стала символом передовых и авантюрных идей, неразрывно связанных в общественном сознании с сексуальной раскрепощенностью. Эта эмансипированная женщина бросала вызов общепринятым представлениям о браке и респектабельности, правовом и образовательном неравенстве. Юмористические издания пестрели карикатурами, изображавшими женщин на велосипедах, в шароварах-блумерсах и очках в металлической оправе. Их считали грубыми и мужеподобными, называли «визжащим сестринством». Многие из них хотели посвятить себя карьере, а не безостановочному деторождению. Интересно отметить, что именно женщины, от Саломеи и миссис Эрлин до леди Брэкнелл и Святой Куртизанки, становились настоящими героинями драм Уайльда. Они остроумны и бесстрашны. Они занимают главенствующее положение в том мире, который изображает Уайльд.

Они манипулируют мужчинами и подавляют их. Многое было сказано о викторианском патриархате и подчинении женщин, но интересно было бы также изучить феномен викторианского матриархата и подчинения мужчин. Женщины были законодательницами общественной жизни повсюду, от изображенных Уайльдом особняков Вест-Энда до закоулков Ист-Энда, и их власть была тем больше, что о ней почти никогда не говорили вслух.

28
Ложе родовых мук

В конце века кабинет Солсбери развязал крупную войну. В числе имперских владений Британии имелась колония мыса Доброй Надежды, или, как ее чаще называли, Капская колония, населенная большей частью африканерами. По соседству с ней располагались Оранжевое Свободное Государство и Трансвааль — республики, основанные первыми голландскими поселенцами Южной Африки бурами в поисках самоопределения и безопасности. Именно из-за них разгорелась Первая Англо-бурская война, в которой британцы потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены признать власть буров в Трансваале с сохранением британского сюзеренитета.

Капская колония разбогатела при местном премьер-министре Сесиле Родсе после того, как в ней были открыты месторождения алмазов. Еще через 15 лет такую же роль в судьбе Трансвааля сыграло найденное там золото. Английские поселенцы устремились в Трансвааль, охваченные

неуемной жаждой наживы, и вскоре составили большинство взрослого белого населения этой бурской республики, во главе которой стоял президент Пауль Крюгер. В Трансваале англичан, которых называли уитлендерами (чужестранцами), обложили 90-процентным налогом. Они выплачивали множество поспешно введенных податей, но никак не участвовали в управлении республикой и не имели равных прав с голландцами. Два враждующих белых племени столкнулись на территории, занятой гораздо более многочисленным чернокожим населением. Чем больше выгоды приносила добыча золота, тем быстрее нарастала напряженность.

В такой обстановке зародился план вторжения в Трансвааль и его захвата в пользу Британии. Леандер Старр Джеймсон прибыл на место с группой наемников, чтобы поднять восстание среди уитлендеров и других британских поселенцев. Пять сотен человек с шестью пулеметами «максим» вторглись в республику Крюгера, намереваясь принудить к повиновению людей, вооруженных только винтовками и Библией. Новости о вторжении дошли до бурского правительства в Претории в течение суток — захватчики не успели даже достигнуть своей первой цели, Йоханнесбурга,

расположенного примерно в 34 милях (ок. 55 км). Рейд Джеймсона, происходивший в самом конце 1895 года, с самого начала преследовали неудачи. Буры окружили и взяли в плен Джеймсона вместе с остальными заговорщиками, а затем выслали их в Лондон для заслуженного наказания. Узнав о поражении англичан, кайзер Вильгельм послал Крюгеру поздравительную телеграмму. Британская пресса, в ярости от этого выпада Германии, запестрела заголовками: «Готовьтесь», «Англия еще покажет», «Руки прочь» и тому подобное. В мюзик-холлах звучал злободневный припев: «Мы этого не потерпим!» Однако своим ответом Германия преследовала определенную цель: ей нужно было подстегнуть собственное общественное мнение и оправдать усиление своей военно-морской мощи.

Рейд Джеймсона финансировали и направляли Альфред Бейт — магнат, сделавший состояние на алмазах, и сам Сесил Родс. Однако многие считали, что за набегом стоят британские политики из Уайтхолла, в первую очередь министр по делам колоний Джозеф Чемберлен. Солсбери как премьер-министра можно было заподозрить в том, что он знал об этом предприятии или даже принимал деятельное участие в его подготовке, но

на самом деле он, похоже, имел крайне смутное представление о планах рейда.

Британский рейд, по всем признакам выглядевший как вторжение, не получил поддержки, а его осуждение со стороны мировой общественности лишь подчеркнуло, как это называли Артур Бэлфур и другие политики, «национальную изоляцию» Англии. После набега эта изоляция резко усилилась. Крюгер и Трансвааль стали героями дня, британцев бранили на все лады за недопустимое поведение, некомпетентность, слабость и особенно за попытку преступного заговора. Вполне вероятно, что Чемберлен и политики Уайтхолла все же поддерживали тесный контакт с Родсом и Бейтом. Во всяком случае, их повсеместно в этом изобличали.

Так выглядели предпосылки Второй Англо-бурской войны, продолжавшейся с 1899 по 1902 год. Кто-то был вполне готов к ней и рвался в бой. Ян Смэтс от имени буров заявил: «Наш народ, распространившийся по всей Южной Африке, должен получить крещение кровью и огнем, чтобы быть допущенным в круг великих народов мира». Изучив логистику набега Джеймсона, Крюгер понял, что его войско состояло в основном из добровольцев и плохо подходило для поставленной задачи.

Он приступил к целенаправленному созданию в Трансваале полноценной армии. Оружие он закупал в Германии и других странах. Чемберлен сообщил Солсбери, что Трансвааль «имеет запас артиллерии, винтовок и всевозможных боеприпасов, которого хватило бы для оснащения европейской армии». Англичане скорее склонялись к примирению и назначили верховным комиссаром Южной Африки и губернатором Капской колонии Альфреда Милнера — фигуру более симпатичную, чем его предшественник. Впрочем, несмотря на это, он оставался английским империалистом и считал себя представителем высшей расы, которой самой судьбой предназначено править Южной Африкой.

Его убеждение подкрепила петиция 21 000 британских подданных, уитлендеров, просивших родину разобраться в запутанных делах Южной Африки. Милнер и Крюгер встретились в Блумфонтейне, чтобы попытаться уладить разногласия. Военный секретарь Милнера писал: «Конференция проходит довольно вяло… а между тем наши уитлендеры теряют терпение и вот-вот расстроят всю игру». Крюгер, суровый, как африканский бегемот, продолжал упорствовать. Милнер считал, что, приложив больше усилий,

он все-таки сможет «довинтить» Крюгера. (По крайней мере, так это назвал Чемберлен. Возможно, в этот момент его мысли были заняты чем-то другим.) Английским военным в последнее время удалось добиться некоторых успехов. В начале сентября 1898 года Китченер уничтожил армию махдистов в Омдурмане, и через два дня британский и египетский флаги развевались над дворцом в Хартуме. Как минимум лично для Китченера это был шанс отомстить за смерть Гордона. За этой победой последовало успешное столкновение с французами в Фашоде: французы отплыли, чтобы избежать сражения. Все это воодушевляло военные власти, а затяжные переговоры между Крюгером и Милнером вызывали у них все больше нетерпения. Многие повторяли слова Сесила Родса, утверждавшего, что Крюгер «блефует, стоя перед жерлом пушки». Пишущие машинки английских журналистов раскалялись от все более горячих призывов к действию.

Развитию событий ненадолго помешала смерть Гладстона в 1898 году. Он вернулся в замок Хаварден, где принимал колониальных премьеров, приехавших в Англию на бриллиантовый юбилей королевы. В преклонном возрасте его заботило уже не столько самоуправление Ирландии,

сколько засилье джингоизма, воцарившегося в прессе и мюзик-холлах и ставшего такой же частью улицы, как апельсиновые корки под ногами и праздничные флажки. По большому счету дела империи его никогда не интересовали. Он страдал невралгией тройничного нерва, вскоре перешедшей в рак. Он умер 19 мая 1898 года в возрасте 88 лет и — вполне в духе нового времени — был доставлен к месту погребения в Вестминстерском аббатстве поездом лондонской подземки. Некоторые считали его одним из последних препятствий на пути неуклонного прогресса государства, для других он был одним из последних памятников былого величия нации.

И вот настало время разоблачить блеф Крюгера. Он собрал «иностранную бригаду», в которую вошли военные из Ирландии, Африки, Германии и Пруссии. В ответ англичане привлекли силы со всех концов империи: австралийцев, канадцев, новозеландцев и индусов. «Для вмешательства имеются веские основания», — написал Милнер в официальной дипломатической ноте. Британцы превратились в белых илотов, бесправных уитлендеров. Когда британские полки выступили из Бомбея и Калькутты, Смэтс в своем секретном

меморандуме заявил: «Южная Африка стоит на пороге ужасного кровопролития». Им предстояло либо потерпеть поражение и превратиться в презираемых изгоев, либо стать отважными основателями Объединенной Южной Африки. Солсбери написал в меморандуме: «Я убежден, что голландские лидеры Трансвааля, Оранжевого Свободного Государства и Капской колонии достигли взаимопонимания и согласились бросить все имеющиеся средства на восстановление голландского превосходства в Южной Африке. Если такова их точка зрения, война неизбежна, и нам лучше вступить в нее, пока мы не ссоримся ни с кем другим». За два месяца до этого он писал: «Я вижу, впереди нас ждут неизбежные и обширные военные действия — и все это ради людей, которых мы презираем, и территории, которая не принесет Англии ни прибыли, ни власти». Впрочем, для Солсбери это был вопрос не власти, а скорее престижа. Необходимо было выяснить, кого в Южной Африке можно называть «главным».

Буры выдвинули ультиматум, но в тот же день британские военные корабли высадили в Дурбане войска, двинувшиеся вглубь Африки. Война была объявлена 11 октября. Несмотря на отсутствие амуниции и довольно слабое

командование, буры имели изначальное преимущество. Они хорошо знали местность и лучшие места для засад и отступлений — чего нельзя было сказать о 20 000 британцев и следовавших за ними 10 000 индусов. Кроме того, буры, привыкшие охотиться на газелей и антилоп гну, были отличными стрелками. Британская сторона не могла похвастаться похожим опытом и собранностью. Физическая подготовка добровольцев оставляла желать лучшего: когда в Манчестере 12 000 человек пожелали завербоваться в армию, 8000 из них признали непригодными к военной службе. Самым существенным недостатком британской армии в Южной Африке стал ее личный состав, неудовлетворительное состояние которого было прямо связано с занижением армейских стандартов в этот период. Общественность, охваченная стыдом и негодованием, снова заговорила о «состоянии» английского народа в непосредственном медицинском смысле слова. Корреспондент из Лондона писал Милнеру: «Люди перешептывались и бормотали, а вокруг эхом разносился пронзительный и ужасный крик: “Жестокое поражение британских войск!”»

Командир гарнизона Роберт Баден-Пауэлл, зная о немалой численности бурских сил, расположил

штаб-квартиру в Мафекинге, откуда планировал встречать прибывающие британские корабли и не давать местному населению помогать бурам. В начале октября 1899 года город окружили и обстреляли. Тогда никто не мог представить, что осада Мафекинга продлится 217 дней. В других местах дела шли не лучше. За Скорбным понедельником в начале декабря последовала Черная неделя, забравшая жизни 3000 человек. Солдат, оккупировавших Блумфонтейн, косила эпидемия кишечной инфекции, ежедневно уносившая по 50 человек. Повсюду подстерегала опасность. «Что за парни устроились там на цветущем холме?» Когда англичане разбили лагерь на склонах горы Импати в британской колонии Натал, буры ударили по ним из укрытия. Англичане отбили атаку, но потеряли 51 человека убитыми и более 200 ранеными. Так начиналась война, разворачивавшаяся под аккомпанемент барабанного боя, грохот горных пушек, бурских «Долговязых Томов», обозных телег и 94-фунтовых орудий, фырканье лошадей и ржание вьючных мулов.

Оставив гору, англичане вернулись в Ледисмит, — по словам очевидца, они «шли медленно, изможденные и упавшие духом, подавленные бесполезными потерями». Вскоре Ледисмит взя-

ли в осаду. Это была не маленькая местная война. Мафекинг, Ледисмит и Кимберли в то время представляли собой арсеналы империи на враждебной территории. Это была крупная война, которую вели удаленно на огромном расстоянии. Она привлекла внимание всего мира, причем большая часть этого мира с нетерпением ждала крушения Британской империи. В битве при Ледисмите британцы потеряли множество человек убитыми и ранеными и были загнаны в город, в котором затем выдержали 118-дневную осаду.

Дурные новости из Ледисмита и дальнейшие военные неудачи потрясли нацию, как никогда раньше. Виктория объявила: «Нас не интересуют перспективы поражения», но даже ее уверенность со временем ослабла. «Сегодня никаких новостей, — написала она в дневнике. — Только списки потерь». Общественность реагировала более резко. Что-то пошло ужасающе не так. Премьер-министр Солсбери держался умеренно бодро и даже несколько индифферентно, понимая, что «Милнер и его сторонники-джингоисты» переиграли его с самого начала. И все же он хорошо понимал смысл происходящего. Каждое новое поражение бросало тень на имперское превосходство страны, за которое он держался крепче

всех остальных премьер-министров последнего времени.

Что касается публики, она переживала внезапное и бурное пробуждение. Редактор The Times позднее заметил: «Наша национальная жизнь и образ мыслей с тех пор не были прежними». Флер британского всемогущества развеялся, обнажив многочисленные промахи и просчеты. Весь остальной мир воочию увидел британцев такими, какими втайне считал их всегда: напыщенными, лицемерными и глубоко некомпетентными. Комментатор Карл Пирсон отмечал: «Дух каждого человека, не важно, к какой политической партии он принадлежал и каких взглядов придерживался, пришел в глубокий упадок, подобного которому, вероятно, еще не знал никто из наших современников и соотечественников». Дипломат Сесил Спринг-Райс заметил в декабре 1899 года: «Мы остаемся один на один с живым растущим страхом, который смотрит нам прямо в лицо».

Слова «блистательная изоляция» мгновенно разлетелись в обществе, но довольно скоро эта фраза утратила популярность. За ней скрывалось скорее отсутствие политики, чем какое-то положительное качество. Выступая с речью перед

избирателями Бирмингема весной 1898 года, Чемберлен сказал:

> Прежде всего я хочу донести до вас — и в этом заключается вся суть сложившейся ситуации, — что со времен Крымской войны, окончившейся почти пятьдесят лет назад, наша страна придерживалась политики строгой изоляции. У нас не было союзников. Боюсь, у нас также не было друзей… Все могущественные государства Европы заключают между собой союзы, но пока мы остаемся вне этих союзов, пока все завидуют нам и подозревают нас, пока у нас есть интересы, так или иначе противоречащие чужим интересам, — мы можем в любой момент столкнуться с союзом нескольких великих держав… И мы будем стоять против них в одиночестве.

Это была одна из самых важных речей о внешней политике, произнесенных английским государственным деятелем. Чемберлен говорил правду в том виде, как она была известна ему самому. Не требовалось быть всеведущим наблюдателем, чтобы понять: в глазах всего остального

мира Англия находилась в крайне уязвимом положении. Ее изоляция и слабость ее сравнительно небольшой армии были хорошо известны. О разногласиях ее политиков, неуправляемости выходящих на улицы масс, неудачах ее флота в деле защиты Британской империи знал и говорил весь мир. Германия стала зрелым европейским государством, Россия прокладывала путь в Китай и Индию. Когда между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами вновь возникли трения, один чиновник из Претории заметил: «Падение Англии станет достойным венцом конца XIX столетия».

В конце января 1900 года обе палаты парламента собрались на заседание, ставшее последним в правление королевы Виктории, которая провела на троне 66 лет. В этой парламентской сессии Чемберлена, в то время секретаря по делам колоний, подвергли разгромной критике за неудачи Англо-бурской войны. Слушая выступающих, он запрокинул голову и прикрыл глаза, — по отзывам очевидцев, он выглядел как солдат под обстрелом.

Вскоре настроение изменилось. Так же как в других британских войнах последнего времени, после первых поражений нация собралась с ду-

хом. Всего через несколько дней после того, как Чемберлен произнес свою речь, фельдмаршал Робертс начал наступление на Блумфонтейн, а затем двинулся дальше к Претории и Йоханнесбургу. В течение 48 часов британцы сняли осаду с Кимберли и освободили Ледисмит. 17 мая 1900 года помощь пришла в осажденный бурами Мафекинг. Баден-Пауэлл продержался 217 дней. Это была, пожалуй, величайшая победа этой войны, и Баден-Пауэлл стал национальным героем. Во всех церквях звонили колокола, школы закрылись в середине дня, люди танцевали вокруг наспех сложенных костров. Тяжелое чувство тревоги, измучившее всех за время войны, отступило. Настало время «танцев, прыжков, восторженных воплей, безудержной радости». Такого бурного ликования Лондон не видел даже в 1918 и в 1945 году.

Тогда никто не знал или не задумывался о тех лагерях, которые Китченер построил для женщин и детей своих противников. Вскоре о них узнали и осудили эти концентрационные лагеря как один из новых ужасов войны. Даже новый лидер Либеральной партии Генри Кэмпбелл-Баннерман высказался против подобных «варварских методов». Эти слова глубоко потрясли членов его

партии и заинтересованных наблюдателей, до этого пребывавших в твердой уверенности, что путь империи — это путь славы.

Партизанская война, которую буры вели исключительно умело, закончилась подписанием Феринихингского мира в мае 1902 года. Оранжевое Свободное Государство и Трансвааль уступали свою независимость британцам, но при условии сохранения самоуправления и обильных финансовых вливаний в ближайшем будущем для реконструкции пострадавших в ходе конфликта бурских ферм и общего восстановления и пополнения запасов обеих республик. Англия была унижена, ее армия была плохо оснащена и плохо обучена, практику содержания гражданских лиц в лагерях тюремного типа осуждали все ведущие державы. На этом ложе родовых мук увидел свет XX век.

Солсбери говорил: «Все нации мира можно разделить на живые и умирающие». Живые нации развивали науку и промышленность, обзаводились железными дорогами и оружием, увеличивая свое могущество и круг своего влияния. Умирающие нации — о, с этими тоже все было понятно. Испания, Китай, Португалия, Турция — все они дряхлели и местами агонизи-

ровали. Но разве об Англии можно было сказать то же самое?

В 1896 году лорд Нортклифф начал издавать газету Daily Mail. Ее читали от Брайтона до Ньюкасла, хотя было замечено, что публика в последнее время стала меньше интересоваться местными, или, как их называли, «провинциальными», новостями. В том же году Маркони приплыл в Англию, чтобы предложить опробовать на Центральном почтамте в Лондоне свой беспроводной телеграф. В Вест-Энде показали первую кинокартину. Перед автомобилями больше не требовали выпускать человека с красным флагом. Мир продолжал победоносно развиваться вопреки всем усилиям политиков.

Однако в старых государственных учреждениях по-прежнему царили мрак и однообразие, и колеса управления страной и империей вращались, как всегда, медленно. Джозеф Чемберлен, самый энергичный член кабинета министров, жаловался: «Ни у кого из политиков нет стержня. Большинство готовы согласиться с чем угодно и во всем слушаются руководящую партию». Жизнь королевы ощутимо замедлилась, — по словам одного наблюдателя, при дворе господствовала «крайняя монотонность», хотя он все

же находил «некое странное очарование в том, как наша горячо любимая государыня каждый день из года в год делает одно и то же». Премьер-министр маркиз Солсбери все больше отдалялся от коллег и от государственных дел. Он и раньше держался отстраненно, по возможности избегая взаимодействия со своим кабинетом и не стремясь выдвигать новые политические предложения. Он всегда считал, что новая политика — это плохая политика, а его усталое и негативное отношение к войне только усугубляло сумеречную атмосферу. Один заднескамеечник заметил: «Из всех бесполезных мероприятий партийные собрания всегда казались мне самыми бесполезными». Голос Церкви на земле стал едва слышен. Лорд Роузбери, охваченный бессилием и ощущением неудачи, окончательно отказался от руководства Либеральной партией осенью 1896 года. Заседания парламента в следующие два года были признаны самыми скучными из всех скучных заседаний. Их кульминацией стали всеобщие выборы 1900 года, прозванные «выборами цвета хаки» из-за продолжающейся Англо-бурской войны. В правительство снова вернулись лорд Солсбери и его союзники либеральные юнионисты.

Впрочем, не все в мире вращалось вокруг политики. Во многих других отношениях жизнь страны била ключом. Мода на все новое, вызванная безотчетным предвкушением уже показавшегося на горизонте нового века, породила «новую женщину» и «новый юмор», «новый гедонизм» и стиль *l'art nouveau*. Новое пронизывало все сферы жизни, принимая самые разнообразные формы, от универсальных магазинов до велосипедов и блумерсов. В 1888 году появилась фотографическая камера «Кодак». Семьи стали меньше, но люди стали тратить больше времени и денег на популярные предметы роскоши и развлечения в свободное от работы время: театры, ипподромы, увеселительные сады, ярмарки и мюзик-холлы. Первая автомобильная гонка между Лондоном и Брайтоном прошла в День автомобиля 14 ноября 1896 года. Из тридцати участвовавших в забеге машин к финишу пришли семнадцать. «Мы, современные люди…» — любили повторять в то время. Может быть, в этих словах слышится оттенок иронии, но это была вполне искренняя реакция на приближающуюся смерть века.

За три месяца до второго, или бриллиантового, юбилея, который праздновали в июне 1897 года, королева отправилась на Ривьеру, чтобы

повидаться с членами своей обширной семьи. Во время визита возникло досадное недоразумение. В одном королевском доме индийских слуг-*мунши* отказались допустить за общий обеденный стол. В приливе ярости, на которую была способна она одна, Виктория смела все со своего письменного стола: чернильницы, бумаги, ручки и промокательная бумага полетели на пол. До конца своих дней она не могла избавиться от этих приступов неистового гнева. *Мунши* отправились с ней на юг Франции.

Заключение

Весной 1900 года королева вернулась из поездки в Ирландию. По возвращении в Виндзорский замок ее встретил хор мальчиков Итонского колледжа, исполняющий патриотические песни. Она наклонилась из окна и повторяла: «Благодарю, благодарю». Мальчики с удивлением заметили, как слуга-индус подает ей виски с водой. В два разных дня она наблюдала из своей кареты за марширующими полками, вернувшимися из Южной Африки. Война тяжело сказалась на ней, и те, кто знал ее лучше прочих, хорошо видели эту перемену. Ее фрейлина леди Черчилль заметила своей служанке, что королева выглядит «умирающей женщиной». Однако леди Черчилль умерла от сердечного приступа раньше ее, оставив королеву сетовать: «Как грустно, что это должно было произойти» и «Я не могу выразить, какая это потеря для меня». Под Новый год ей хватило сил навестить солдат в санатории для выздоравливающих. Они оказались в числе последних видевших ее подданных. В середине января 1901 года она впала в растерянность и на

следующий день слегла в постель. Около четырех часов дня врач королевы сэр Джеймс Рид объявил семье, что она отходит. Немного погодя она открыла глаза и прошептала: «Сэр Джеймс, я очень больна». Позже, по словам ее дочери принцессы Луизы, она еще пробормотала: «О, я пока не хочу умирать. Мне нужно еще кое-что уладить». Но ее время истекло, и улаживать было уже нечего. Она умерла в 6 часов 30 минут того же вечера, и вместе с ней умерла целая эпоха.

Библиография

Adelman P. Victorian Radicalism: The Middle-class Experience, 1830–1914. London, 1984.

_____. Peel and the Conservative Party, 1830–1850. London, 1989.

_____. Gladstone, Disraeli and Later Victorian Politics. London, 1997.

Altick R. D. The English Common Reader: A Social History of the Mass Reading Public, 1800–1900. Chicago, 1957.

Anderson O. A Liberal State at War: English Politics and Economics during the Crimean War. London, 1967.

Annear R. The Man Who Lost Himself: The Unbelievable Story of the Tichborne Claimant. London, 2003.

Anthony B. The King's Jester. London, 2010.

Aspinall A. Lord Brougham and the Whig Party. Manchester, 1939.

Barbary J. The Crimean War. London, 1972.

Baron X. (ed.). London 1066–1914: Literary Sources & Documents. Vols 2 & 3. Robertsbridge, 1997.

Batho E. C., Dobrée B., Chapman G. (ed.). The

Victorians and After, 1830–1914. London, 1938.

Battiscombe G. Shaftesbury: A Biography of the Seventh Earl 1801–1885. London, 1974.

Beales D. E. D. From Castlereagh to Gladstone. London, 1971.

Bédarida F. A Social History of England, 1851–1975. London, 1979.

Bell H. C. F. Lord Palmerston. London, 1936.

Bentley M. Politics without Democracy: Great Britain, 1815–1914: Perception and Preoccupation in British Government. Oxford, 1985.

Best G. Mid-Victorian Britain, 1851–1875. London, 1971.

Bew J. Castlereagh: Enlightenment, War and Tyranny. London, 2011.

Biagini E. F. Liberty, Retrenchment and Reform: Popular Liberalism in the Age of Gladstone, 1860–1880. Cambridge, 1992.

Black J. The English Press 1621–1861. Stroud, 2001.

Blake R. Disraeli. Oxford, 1969.

Bloom C. Victoria's Madmen: Revolution and Alienation. Basingstoke, 2013.

Boase T. S. R. English Art, 1800–1870. Oxford, 1959.

Bodelsen C. A. Studies in Mid-Victorian Imperialism. London, 1960.

Bradford S. Disraeli. London, 1982.

Brady A. William Huskisson and Liberal Reform: An Essay on the Changes in Economic Policy in the Twenties of the Nineteenth Century. London, 1928.

Briggs A. Victorian People: A Reassessment of Persons and Themes, 1851–67. Chicago, 1955.

_____. The Age of Improvement 1783–1867. London, 1959.

_____. Victorian Cities. London, 1963.

_____. Iron Bridge to Crystal Palace: Impact and Images of the Industrial Revolution. London, 1979.

_____. Victorian Things. London, 1988.

Brock W. R. Lord Liverpool and Liberal Toryism, 1820 to 1827. Cambridge, 1941.

Brown D. Palmerston: A Biography. New Haven, 2010.

Buckley J. H. The Victorian Temper: A Study in Literary Culture. London, 1952.

Burn W. L. The Age of Equipoise: A Study of the Mid-Victorian Generation. London, 1964.

Bury P. T. (ed.). The Zenith of European Power: 1830–70 // The New Cambridge Modern History. Vol. X. Cambridge, 1974.

Buxton S. Finance and Politics: An Historical Study, 1783–1885. London, 1888.

Cecil H. P., Blake R. Salisbury: The Man and His Policies. Basingstoke, 1987.

Chamberlain M. E. Lord Aberdeen: A Political Biography. London, 1983.

Chambers J. D., Mingay G. E. The Agricultural Revolution, 1750–1880. London, 1966.

Checkland S. G. The Rise of Industrial Society in England, 1815–1885. London, 1964.

Clapham J. H. An Economic History of Modern Britain. 3 vols. Cambridge, 1926–1938.

Clark J. C. D. From Restoration to Reform: The British Isles 1660–1832. London, 2014.

Coleman B. I. Conservatism and the Conservative Party in Nineteenth-Century Britain. London, 1988.

Colley L. Britons: Forging the Nation, 1707–1837. London, 1994.

_____. Captives: Britain, Empire and the World, 1600–1850. London, 2002.

Collins M. The Likes of Us: A Biography of the White Working Class. London, 2004.

Colloms B. Victorian Visionaries. London, 1982.

Conacher J. B. The Aberdeen Coalition, 1852–1855: A Study in Mid-Nineteenth-Century Party Politics. London, 1968.

_____. The Peelites and the Party System, 1846–52. Newton Abbot, 1972.

Conrad P. The Victorian Treasure-House. London, 1973.

Cookson J. E. Lord Liverpool's Administration: The Crucial Years 1815–1822. Edinburgh, 1975.

Cowling M. 1867: Disraeli, Gladstone and Revolution: The Passing of the Second Reform Bill. Cambridge, 1967.

Crawley C. W. (ed.). The New Cambridge Modern History: Volume 9, War and Peace in an Age of Upheaval, 1793–1830. Cambridge, 1965.

Crosby T. L. The Two Mr Gladstones: A Study in Psychology and History. New Haven, 1997.

David S. Prince of Pleasure: The Prince of Wales and the Making of the Regency. London, 1998.

Davidoff L., Hall C. Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class 1780–1850. London, 1987.

Davis H. W. C. The Age of Grey and Peel. Oxford, 1964.

De-la-Noy M. George IV. Stroud, 1998.

Deane P. The First Industrial Revolution. Cambridge, 1965.

Deary T. Dangerous Days on the Victorian Railways: A History of the Terrors and the Torments, the Dirt, Diseases and Deaths Suffered by Our Ancestors. London, 2014.

Dodds J. W. The Age of Paradox: A Biography of England, 1841–1851. London, 1953.

Egremont M. Balfour: A Life of Arthur James Balfour. London, 1980.

Emerson R. W. English Traits. London, 1906.

Englander D. Poverty and Poor Law Reform in Britain: from Chadwick to Booth, 1834–1914. London, 1998.

Ensor R. C. K. England, 1870–1914. Oxford, 1936.

Evans E. J. The Forging of the Modern State: Early Industrial Britain 1783–1870. London, 1983.

_____. Britain before the Reform Act: Politics and Society, 1815–1832. London, 1989.

Eyck F. The Prince Consort: A Political Biography. London, 1959.

Feiling K. The Second Tory Party, 1714–1832. London, 1938.

Feuchtwanger E. J. Disraeli, Democracy and the Tory Party: Conservative Leadership and Organization after the Second Reform Bill. Oxford, 1968.

_____. Democracy and Empire: Britain, 1865–1914. London, 1985.

Flanders J. Consuming Passions: Leisure and Pleasure in Victorian Britain. London, 2006.

Fontane T. Journeys to England in Victoria's Early Days. London, 1939.

Ford B. Victorian Britain. Cambridge, 1992.

Francis M., Morrow J. A History of English Political

Thought in the Nineteenth Century. London, 1994.

Freeman M. J. Railways and the Victorian Imagination. New Haven, 1999.

_____. Victorians and the Prehistoric: Tracks to a Lost World. New Haven, 2004.

Garfeld S. The Last Journey of William Huskisson. London, 2002.

Garvin J. L., Amery J. The Life of Joseph Chamberlain. 6 vols. London, 1932–1969.

Gash N. Politics in the Age of Peel: A Study in the Technique of Parliamentary Representation, 1830–1850. London, 1953.

_____. Mr. Secretary Peel: The Life of Sir Robert Peel to 1830. London, 1961.

_____. Reaction and Reconstruction in English Politics, 1832–1852. Oxford, 1964.

_____. Sir Robert Peel: The Life of Sir Robert Peel after 1830. London, 1972.

_____. Aristocracy and People: Britain, 1815–1865. London, 1979.

_____. Lord Liverpool: The Life and Political Career of Robert Banks Jenkinson, Second Earl of Liverpool, 1770–1828. London, 1984.

Gilbert A. D. Religion and Society in Industrial England: Church, Chapel and Social Change, 1740–1914. London, 1976.

Gillespie F. E. Labour and Politics in England, 1850–1867. London, 1966.

Gleadle K. British Women in the Nineteenth Century. Basingstoke, 2001.

Goodway D. London Chartism, 1838–1848. Cambridge, 1982.

Guedalla P. The Queen and Mr. Gladstone. London, 1933.

_____ (ed.). Gladstone and Palmerston: Being the Correspondence of Lord Palmerston with Mr. Gladstone, 1851–1865. London, 1928.

Gunn S. The Public Culture of the Victorian Middle Class: Ritual and Authority and the English Industrial City, 1840–1914. Manchester, 2000.

Halévy E. A History of the English People in the Nineteenth Century. 6 vols. London, 1949–1952.

Hall C., McClelland K., Rendall J. Defning the Victorian Nation: Class, Race, Gender and the British Reform Act of 1867. Cambridge, 2000.

Hamer D. A. Liberal Politics in the Age of Gladstone and Rosebery: A Study in Leadership and Policy. Oxford, 1972.

Hamilton J. London Lights: The Minds that Moved the City that Shook the World, 1805–51. London, 2007.

Hammond J. L., Hammond B. B. The Age of the

Chartists, 1832–1854: A Study of Discontent. London, 1930.

Hanham H. J. Elections and Party Management: Politics in the Time of Disraeli and Gladstone. London, 1959.

_____. The Nineteenth-Century Constitution 1815–1914: Documents and Commentary. London, 1969.

Harris J. Private Lives, Public Spirit: A Social History of Britain 1870–1914. Oxford, 1993.

Harrison J. F. C. The Early Victorians, 1832–1851. London, 1971.

_____. Late Victorian Britain, 1870–1901. London, 1990.

Hay W. A. The Whig Revival, 1808–1830. Basingstoke, 2005.

Hayes P. M. The Nineteenth Century, 1814–80. London, 1975.

Heffer S. High Minds: The Victorians and the Birth of Modern Britain. London, 2013.

Hewitt M. An Age of Equipoise?: Reassessing Mid-Victorian Britain. Aldershot, 2000.

Heyck T. W. The Transformation of Intellectual Life in Victorian England. London, 1982.

Hibbert C. George IV. London, 1976.

_____. The Great Indian Mutiny 1857. London, 1978.

_____. Victoria. London, 1979.

Hill R. Toryism and the People, 1832–1846. London, 1929.

Hilton B. Corn, Cash, Commerce: The Economic Policies of the Tory Governments 1815–1830. Oxford, 1977.

_____. The Age of Atonement: The Influence of Evangelicalism on Social and Economic Thought, 1795–1865. Oxford, 1988.

Himmelfarb G. Poverty and Compassion: The Moral Imagination of the Late Victorians. New York, 1991.

_____. The Spirit of the Age: Victorian Essays. New Haven, 2007.

Hinde W. George Canning. London, 1973.

_____. Castlereagh. London, 1981.

Hobsbawm E. J. The Age of Revolution, 1789–1848. New York, 1962.

_____. Industry and Empire: An Economic History of Britain since 1750. London, 1968.

_____. The Age of Capital, 1848–1875. London, 1975.

Hollis P. Pressure from Without in Early Victorian England. London, 1974.

Hone J. A. For the Cause of Truth: Radicalism in London 1796–1821. Oxford, 1982.

Hoppen K. T. The Mid-Victorian Generation, 1846–1886. Oxford, 1998.

Houghton W. E. The Victorian Frame of Mind, 1830–

1870. New Haven, 1957.

Hurd D., Young E. Disraeli, or the Two Lives. London, 2013.

Iremonger L. Lord Aberdeen: A Biography of the Fourth Earl of Aberdeen, K. G., K. T., Prime Minister 1852–1855. London, 1978.

James R. R. Rosebery: A Biography of Archibald Philip, Fifth Earl of Rosebery. London, 1963.

Jay R. Joseph Chamberlain: A Political Study. Oxford, 1981.

Jenkins R. Gladstone. London, 1995.

Jenkins T. A. The Liberal Ascendancy, 1830–1886. Basingstoke, 1994.

_____. Parliament, Party and Politics in Victorian Britain. Manchester, 1996.

Jenkins T. A. Disraeli and Victorian Conservatism. Basingstoke, 1996.

Jones W. D. Lord Derby and Victorian Conservatism. Oxford, 1956.

Jupp P. Lord Grenville, 1759–1834. Oxford, 1985.

Kitson Clark G. S. R. Peel and the Conservative Party: A Study in Party Politics 1832–1841. London, 1964.

_____. The Making of Victorian England. London, 1965.

_____. An Expanding Society: Britain 1830–1900. Cambridge, 1967.

Klingender F. D. Art and the Industrial Revolution. London, 1947.

Landes D. S. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge, 1969.

Leonard R. L. The Great Rivalry: Disraeli and Gladstone. London, 2013.

Longford E. Victoria R. I. London, 1964.

_____. Wellington. London, 1992.

Lynd H. M. England in the Eighteen-Eighties: Toward a Social Basis for Freedom. London, 1945.

MacDonagh O. Early Victorian Government, 1830–1870. London, 1977.

Mackay R. F. Balfour, Intellectual Statesman. Oxford, 1985.

MacLeod C. Heroes of Invention: Technology, Liberalism and British Identity, 1750–1914. Cambridge, 2007.

Magnus P. Gladstone: A Biography. London, 1954.

Mandler P. Aristocratic Government in the Age of Reform: Whigs and Liberals 1830–1852. Oxford, 1990.

Marriott J. A. R. England since Waterloo. London, 1913.

Marsden G. Victorian Values: Personalities and

Perspectives in Nineteenth-Century Society. London, 1990.

Martin K. The Triumph of Lord Palmerston: A Study of Public Opinion in England before the Crimean War. London, 1963.

McWilliam R. The Tichborne Claimant. London, 2006.

Mitchell L. G. Lord Melbourne, 1779–1848. Oxford, 1997.

Moneypenny W. F., Buckle G. E. The Life of Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfeld. 6 vols. London, 1910–1920.

Murphy P. T. Shooting Victoria: Madness, Mayhem, and the Rebirth of the British Monarchy. London, 2012.

Newsome D. The Victorian World Picture: Perceptions and Introspections in an Age of Change. London, 1997.

O'Brien C. C. Parnell and His Party, 1880–90. Oxford, 1957.

O'Gorman F. The Emergence of the British Two-Party System 1760–1832. London, 1982.

O'Kell R. Disraeli: The Romance of Politics. Toronto: 2013.

Pakenham T. The Boer War. London, 1979.

Palliser D. M., Clark P., Daunton M. J. The Cambridge

Urban History of Britain. 3 vols. Cambridge, 2000.

Parry J. P. Democracy and Religion: Gladstone and the Liberal Party, 1867–1875. Cambridge, 1986.

_____. The Rise and Fall of Liberal Government in Victorian Britain. New Haven, 1993.

Parsons G., Moore J. R., Wolffe J. (ed.). Religion in Victorian Britain. 5 vols. Manchester, 1988–1997.

Paterson M. A Brief History of Life in Victorian Britain: A Social History of Queen Victoria's Reign. London, 2008.

Pearce E. Reform! The Fight for the 1832 Reform Act. London, 2003.

Pelling H. The Origins of the Labour Party, 1880–1900. Oxford, 1966.

_____. Popular Politics and Society in Late Victorian Britain: Essays. London, 1968.

Perkin H. J. Origins of Modern English Society. London, 1985.

Plumb J. H. The First Four Georges. London, 1966.

Pollard A. The Victorians. London, 1970.

Porter A. N., Louis W. R. The Oxford History of the British Empire. Volume 3: The Nineteenth Century. Oxford, 1999.

Prest J. M. Lord John Russell. London, 1972.

Ramsay A. A. W. Sir Robert Peel. London, 1928.

Read D. Cobden and Bright: A Victorian Political

Partnership. London, 1967.

_____. Peel and the Victorians. Oxford, 1987.

Reay B. The Last Rising of the Agricultural Labourers: Rural Life and Protest in Nineteenth-Century England. Oxford, 1990.

Robbins K. John Bright. London, 1979.

Roberts A. Salisbury: Victorian Titan. London, 1999.

Robson R. (ed.). Ideas and Institutions of Victorian Britain: Essays in Honour of George Kitson Clark. London, 1967.

Royle E. Chartism. London, 1980.

Royle T. The Kitchener Enigma. London, 1985.

_____. Crimea: The Great Crimean War 1854–1856. London, 1999.

Russell C. A. Science and Social Change: 1700–1900. Basingstoke, 1983.

Saintsbury G. E. B. The Earl of Derby. London, 1892.

Schivelbusch W. The Railway Journey: Trains and Travel in the 19th Century. Oxford, 1980.

Searle G. R. Entrepreneurial Politics in Mid-Victorian Britain. Oxford, 1993.

Shannon R. Gladstone. 2 vols. London, 1982–1999.

_____. The Age of Disraeli, 1868–1881: The Rise of Tory Democracy. London, 1992.

_____. The Age of Salisbury, 1881–1902: Unionism

and Empire. London, 1996.

Shenton C. The Day Parliament Burned Down. Oxford, 2012.

Slater G. The Growth of Modern England. London, 1932.

Smelser N. J. Social Change in the Industrial Revolution: An Application of Theory to the Lancashire Cotton Industry, 1770–1840. London, 1959.

Smith E. A. Lord Grey, 1764–1845. Oxford, 1990.

_____. George IV. New Haven, 1999.

Smith F. B. The Making of the Second Reform Bill. Cambridge, 1966.

Somerset A. The Life and Times of William IV. London, 1980.

Southgate D. The Passing of the Whigs, 1832–1886. London, 1962.

Stansky P. Ambitions and Strategies: The Struggle for the Leadership of the Liberal Party in the 1890s. Oxford, 1964.

_____. Gladstone: A Progress in Politics. New York, 1979.

Stewart R. The Foundation of the Conservative Party, 1830–1867. London, 1978.

Swartz M. The Politics of British Foreign Policy in the Era of Disraeli and Gladstone. London, 1985.

Sweet M. Inventing the Victorians. London, 2001.

Taylor A. J. P. The Struggle for Mastery in Europe, 1848–1918. Oxford, 1954.

Temperley H. W. V. The Foreign Policy of Canning, 1822–1827. London, 1966.

Temperley H. W. V., Penson L. M. Foundations of British Foreign Policy from Pitt (1792) to Salisbury (1902); or, Documents, Old and New. Cambridge, 1938.

Tholfsen T. R. Working Class Radicalism in Mid-Victorian England. London, 1976.

Thompson D. The Chartists. London, 1984.

Thompson E. P. The Making of the English Working Class. London, 1980.

Thompson F. M. L. English Landed Society in the Nineteenth Century. London, 1963.

_____. The Rise of Respectable Society: A Social History of Victorian Britain, 1830–1900. London, 1988.

Thornton A. P. The Imperial Idea and Its Enemies: A Study in British Power. London, 1959.

Trevelyan G. M. British History in the Nineteenth Century (1782–1901). London, 1922.

_____. History of England. London, 1926.

_____. Lord Grey of the Reform Bill: The Life of Charles, Second Earl Grey. London, 1952.

Turner M. J. The Age of Unease: Government and

Reform in Britain, 1782–1832. Stroud, 2000.

Vernon J. Politics and the People: A Study in English Political Culture, c. 1815–1867. Cambridge, 1993.

_____. Re-reading the Constitution: New Narratives in the Political History of England's Long Nineteenth Century. Cambridge, 1996.

Vincent J. The Formation of the Liberal Party, 1857–1868. London, 1966. Disraeli. Oxford, 1990.

Walpole S. A History of England: from the Conclusion of the Great War in 1815. 6 vols. London, 1900–1912.

Lyall A. C. The History of Twenty-Five Years: 1876–1800. London, 1904–1908.

Webb R. K. Modern England: from the Eighteenth Century to the Present. London, 1969.

Webster C. K. The Foreign Policy of Castlereagh, 1812–1815: Britain and the Reconstruction of Europe. London, 1931.

_____. The Foreign Policy of Palmerston, 1830–1841: Britain, the Liberal Movement and the Eastern Question. London, 1951.

Weintraub S. Victoria. London, 1996.

Williams W. E. The Rise of Gladstone to the Leadership of the Liberal Party, 1859 to 1868. Cambridge, 1934.

Williamson J. A. The Evolution of England: A Commentary on the Facts. Oxford, 1931.

Wilson A. N. Victoria: A Life. London, 2014.

Wilson B. Decency and Disorder: The Age of Cant 1789–1837. London, 2007.

_____. The Making of Victorian Values: Decency and Dissent in Britain, 1789–1837. New York, 2007.

Winstanley M. J. Gladstone and the Liberal Party. London, 1990.

Wise S. Inconvenient People: Lunacy, Liberty and the Mad-doctors in Victorian England. London, 2012.

Woodham Smith C. Queen Victoria: Her Life and Times 1819–1861. London, 1995.

Young G. M. Early Victorian England, 1830–1865. London, 1934. Victorian England: Portrait of an Age. London, 1936.

Young G. M., Handcock W. D. Victorian Essays. London, 1962.

Ziegler P. Addington: A Life of Henry Addington, First Viscount Sidmouth. London, 1965.

_____. King William IV. London, 1971.

_____. Melbourne: A Biography of William Lamb, 2nd Viscount Melbourne. London, 1976.

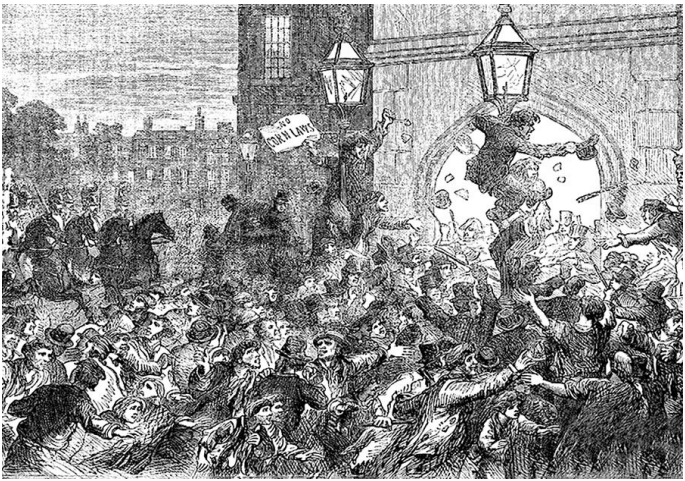
Фотоматериалы



1. Роберт Бэнкс Дженкинсон, 2-й граф Ливерпул



2. Георг IV, король Соединенного Королевства и Ганновера



3. Хлебный бунт (1815) у здания палаты общин. Причиной бунта стали законы о пошлинах на зерно



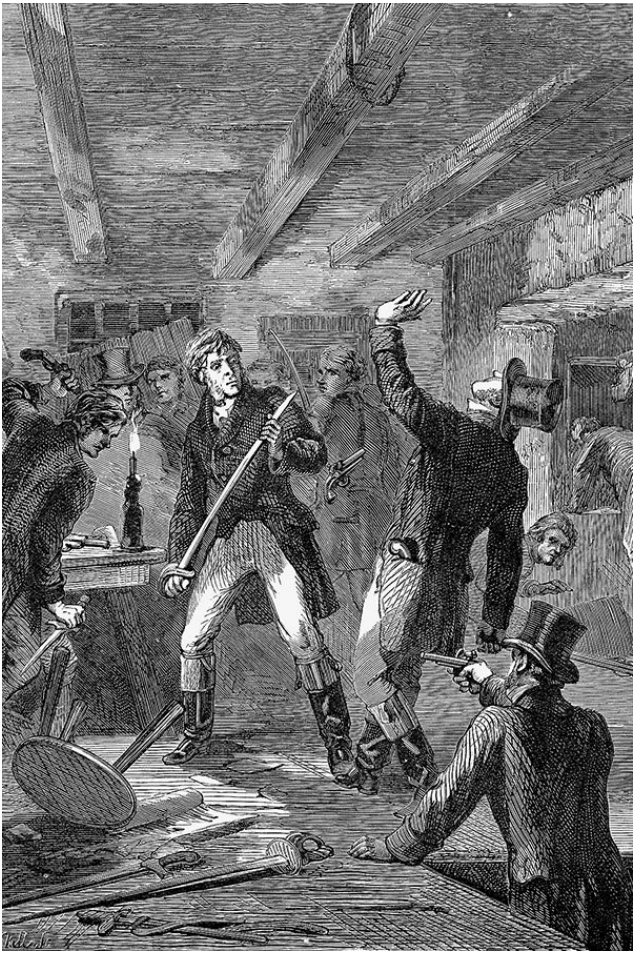
4. «Бойня при Петерлоо» на площади Святого Петра в Манчестере (1819)



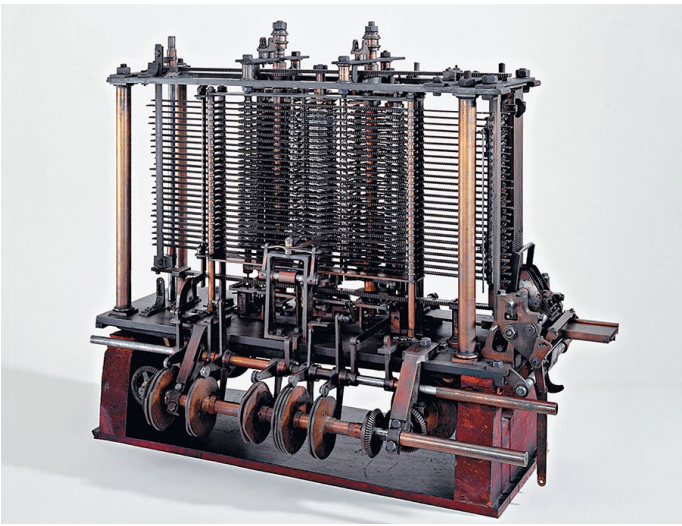
5. Роберт Стюарт, виконт Каслри и 2-й маркиз Лондондерри



6. Каролина Брауншвейгская, супруга Георга IV (1820)



7. Арест заговорщиков с Като-стрит (1820). Заговор получил название по месту встречи участников близ Эджвер-роуд

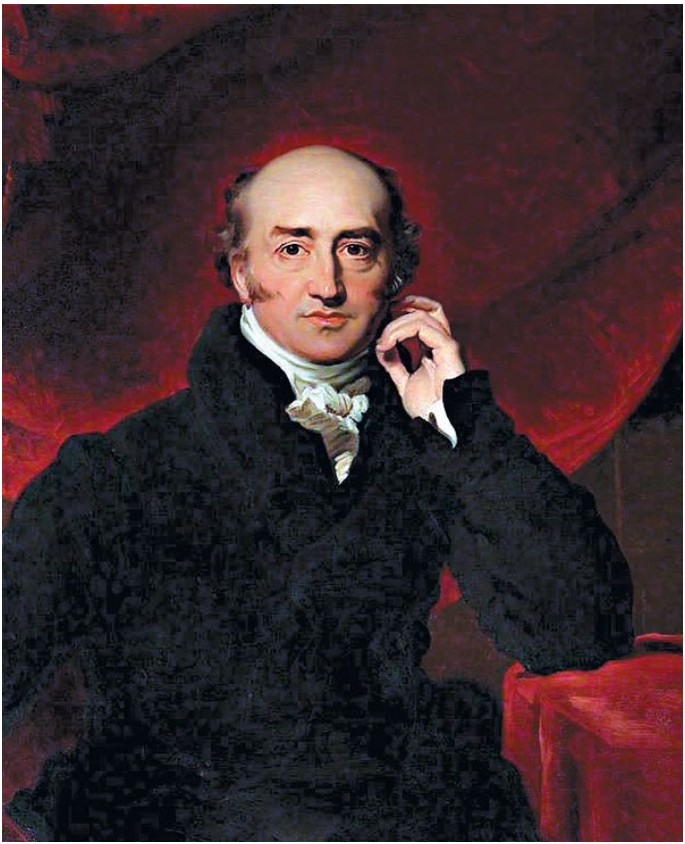


8. Модель аналитической машины Чарльза Бэббиджа — вычислительного аппарата, изобретенного в 1837 году

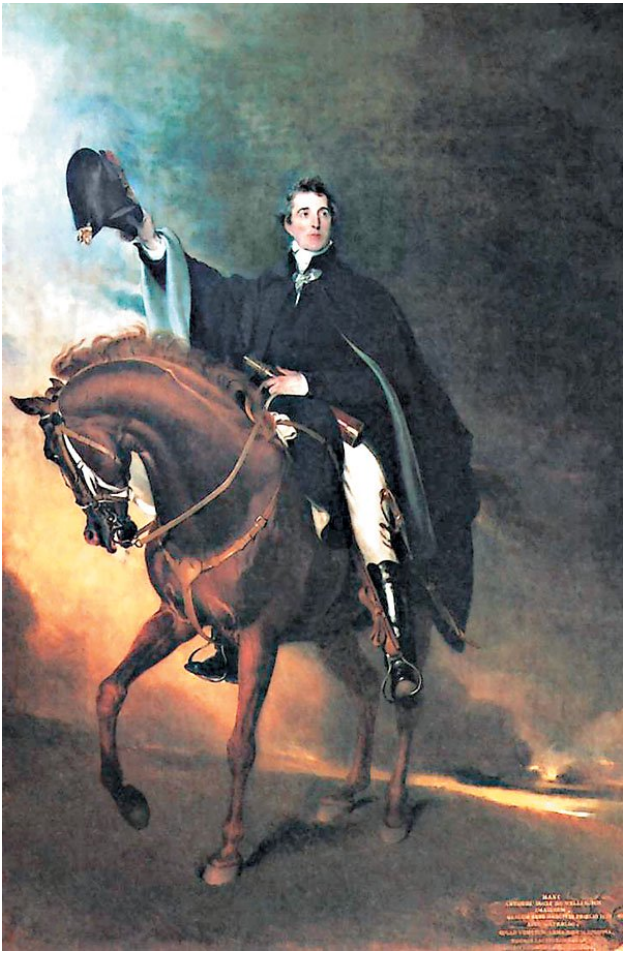


9. Мэри Эннинг из Лайм-Реджиса (Дорсет). Палеонтолог, одна из первых коллекционеров

ископаемых окаменелостей



10. Джордж Каннинг



11. Артур Уэлсли, герцог Веллингтон



12. Вильгельм IV, король Соединенного Королевства и Ганновера



13. Дэниел О’Коннелл



14. Граф Грей

THE LIFE

AND

HISTORY OF SWING,

THE

KENT RICK-BURNER.

WRITTEN BY HIMSELF.



See page 21.

LONDON:
PRINTED AND PUBLISHED BY R. CARLILE,
62, FLEET-STREET.
1830.

Price Threepence.

15. «Жизнь и история Свинга, поджигателя стогов из Кента». Титульный лист (1830)



16. Молодая королева Виктория (1842)



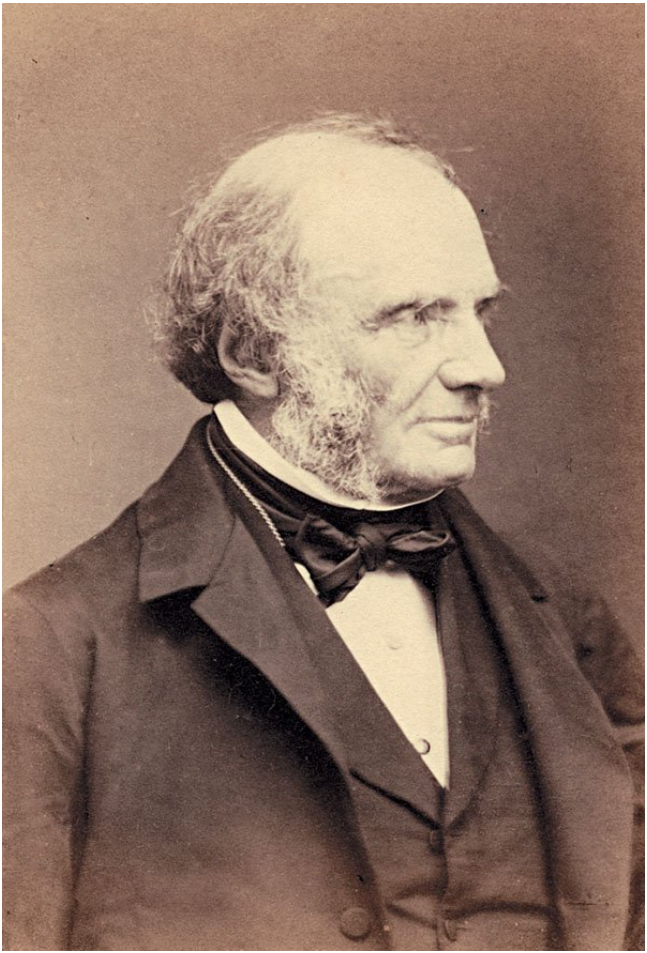
17. Принц Альберт (1840)



18. Уильям Лэм, 2-й виконт Мельбурн



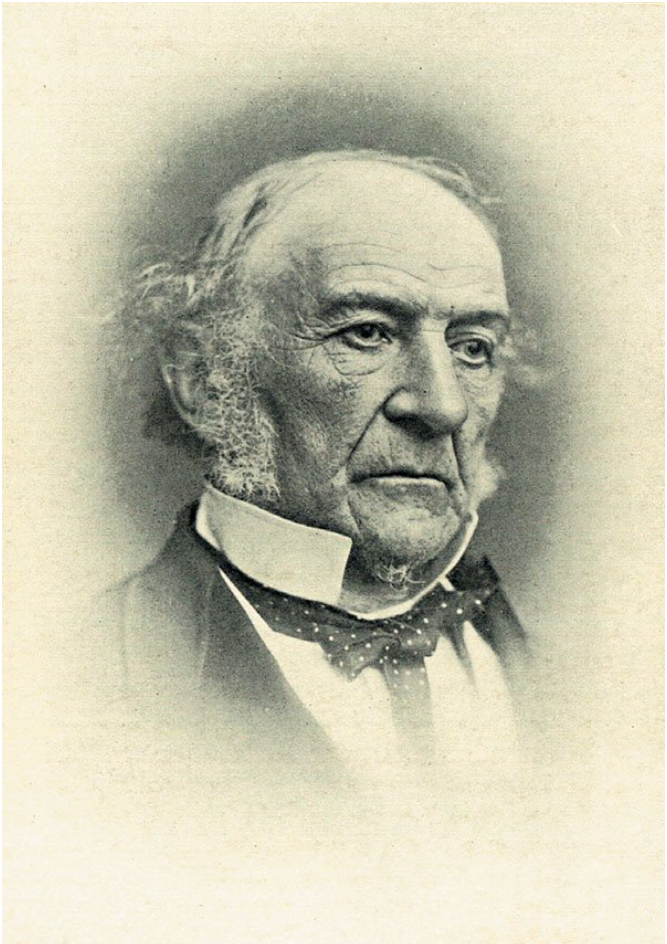
19. Роберт Пиль



20. Лорд Джон Рассел



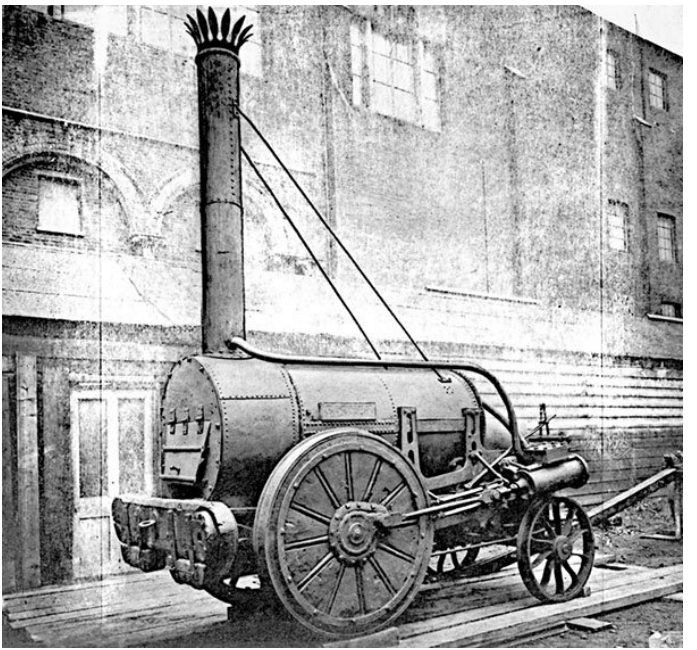
21. Лорд Палмерстон



22. Уильям Юарт Гладстон



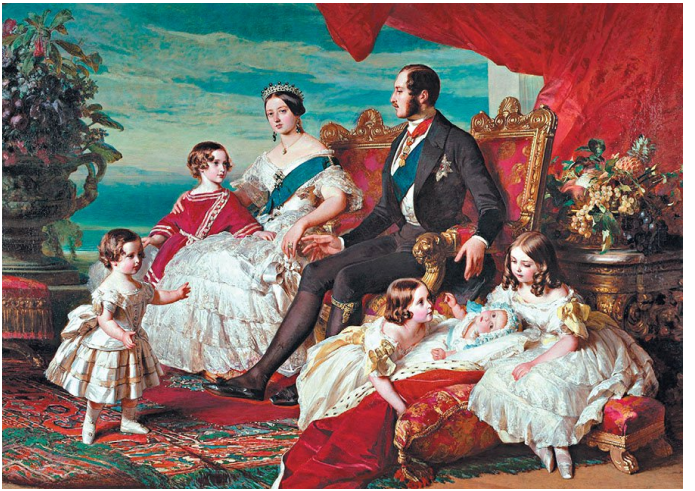
23. Бенджамин Дизраэли



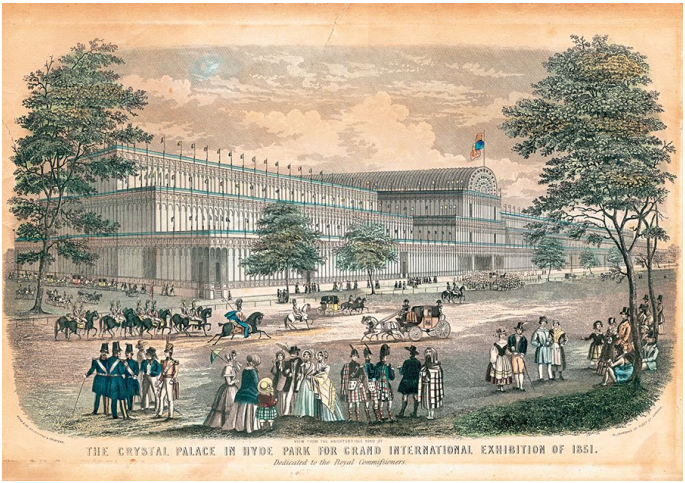
24. Локомотив Джорджа Стефенсона «Ракета» (построен в 1829)



25. Уильям Тёрнер. Дождь, пар и скорость — Великая Западная железная дорога (не позднее 1844)



26. Королевская семья (1846)



27. Всемирная выставка (1851) проходила в специально построенном Хрустальном дворце в Гайд-парке



28. Подмога для легкой бригады 25 октября 1854 года



29. Мэри Джейн Сикол



30. Губерт фон Геркомер. На забастовке (ок. 1891)


CHAIRMAN.

31. Артисты мюзик-холла

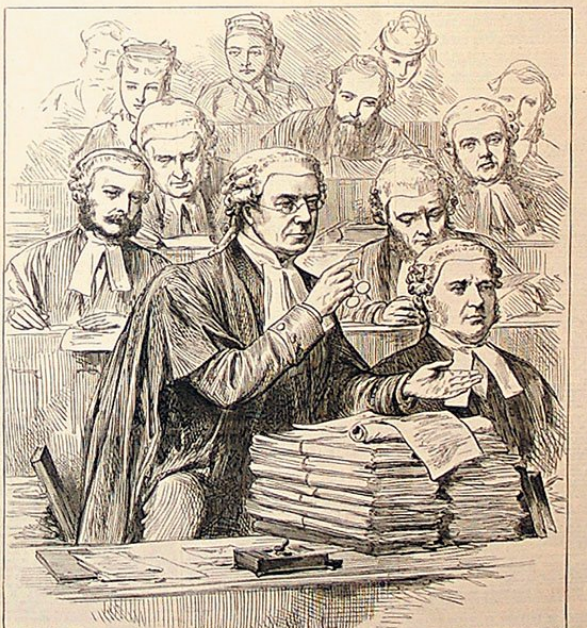


32. Уильям Пауэлл Фрайт. Рамсгейтские пески, или Жизнь на морском побережье

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS.

REGISTERED AT THE GENERAL POST-OFFICE FOR TRANSMISSION ABROAD.

No. 1796.—VOL. LXIV. SATURDAY, JANUARY 24, 1874. WITH EXTRA SUPPLEMENT | SIXPENCE. By Post, 6½d.



THE TICHBORNE TRIAL: MR. HAWKINS ADDRESSING THE JURY.

33. Мистер Хокинс обращается к присяжным во время суда над Претендентом Тичборном

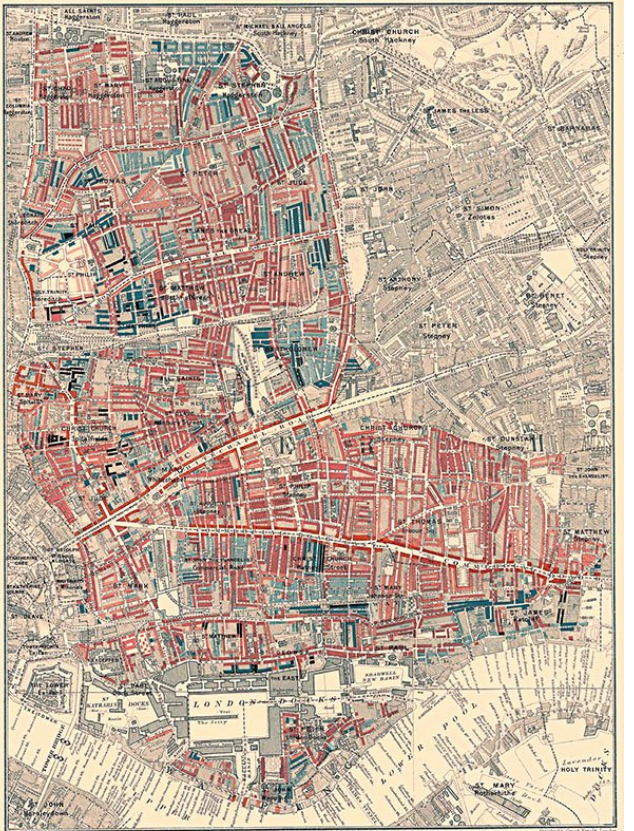


34. Анни Безант

MAP DESCRIPTIVE OF LONDON POVERTY, 1898-9

(IN 12 SHEETS)

SHEET 5.
EAST CENTRAL DISTRICT



THE STREETS ARE COLOURED ACCORDING TO THE GENERAL CONDITION OF THE INHABITANTS. AS UNDER:—

Lowest class. Vicious, semi-criminal	Very poor, casual. Chronic want.	Poor. 18s. to 21s. a week for a moderate family.	Mixed. Some comfortable, others poor.	Fairly comfortable. Good ordinary earnings.	Middle class. Well-to-do.	NIL	Upper-middle and Upper classes. Wealthy.

A combination of colours—as dark blue and black, or pink and red—indicates that the street contains a fair proportion of each of the classes represented by the respective colours.

35. Наглядная карта лондонской бедноты, составлена и раскрашена Чарльзом Бутом



36. Пояснения к карте лондонской бедноты, составленной Чарльзом Бутом



37. Лорд Роузбери



38. Бурские партизаны во время Второй Англо-бурской войны



39. Королева Виктория, императрица Индии, и Абдул Карим (мунши)



40. Оскар Уайльд

Правообладатели

1. Роберт Бэнкс Дженкинсон, 2-й граф Ливерпул (Томас Лоуренс, ок. 1825)

© Ickworth House, Suffolk, UK / National Trust Photographic Library / Bridgeman Images

2. Георг IV (Томас Лоуренс)

© Private Collection / Roy Miles Fine Paintings / Bridgeman Images

3. Хлебный бунт 1815 года у здания палаты общин, Вестминстер, Лондон. Гравюра (ок. 1895)

© The Print Collector / Print Collector / Getty Images

4. Бойня при Петерлоо на площади Святого Петра в Манчестере в 1819 году (Джордж Крукшанк)

© Granger / Bridgeman Images

5. Роберт Стюарт, виконт Каслри (Томас Лоуренс)

© Mount Stewart House & Garden, County Down, Northern Ireland / National Trust Photographic Library / Bridgeman Images

6. Каролина Брауншвейгская, супруга Георга IV (Джеймс Лонсдейл, ок. 1820)

© Guildhall Library & Art Gallery / Heritage Images / Getty Images

7. Арест заговорщиков с Като-стрит 23 февраля 1820 года

© Getty Images

8. Модель аналитической машины Чарльза Бэббиджа, изобретенной в 1837 году

© The Board of Trustees of the Science Museum

9. Мэри Эннинг, одна из первых коллекционеров ископаемых окаменелостей (не позднее

1842)

© Natural History Museum, London, UK / Bridgeman Images

10. Достопочтенный Джордж Каннинг, член парламента (Томас Лоуренс)

© Attingham Park, Shropshire, UK / National Trust Photographic Library / Bridgeman Images

11. Артур Уэлсли, герцог Веллингтон (Томас Лоуренс)

© Private Collection / Photo © Mark Fiennes / Bridgeman Images

12. Вильгельм IV (Мартин Арчер Ши, ок. 1834)

© Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2018 / Bridgeman Images

13. Дэниел О'Коннелл (Джордж Стодарт, рисунок)

© Chris Hellier / Corbis via Getty Images

14. Достопочтенный граф Грей (Генри Хетерингтон Эммерсон, ок. 1848)

© Laing Art Gallery, Newcastle-upon-Tyne, UK / © Tyne & Wear Archives & Museums / Bridgeman Images

15. «Жизнь и история Свинга, поджигателя стогов из Кента». Титульный лист (1830)

© Private Collection / Bridgeman Images

16. Виктория I, королева Англии (Франц Ксавер

Винтерхальтер)

© Leemage / Corbis via Getty Images

17. Принц Альберт (Джон Партридж, 1840)

© Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2018 / Bridgeman Images

18. Уильям Лэм, 2-й виконт Мельбурн (Джон Партридж, 1844)

© National Portrait Gallery, London, UK / Bridgeman Images

19. Роберт Пиль (Генри Уильям Пикерсгилл)

Public domain

20. Лорд Джон Рассел

Public domain

21. Лорд Палмерстон

Public domain

22. Достопочтенный У. Ю. Гладстон

Public domain

23. Бенджамин Дизраэли

Public domain

24. Локомотив Джорджа Стефенсона «Ракета», построен в 1829 году

© Getty Images

25. Уильям Тёрнер. Дождь, пар и скорость — Великая Западная железная дорога (не позднее 1844)

© DeAgostini / Getty Images

26. Королевская семья в 1846 году (Франц Ксавер Винтерхальтер)

© Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2018 / Bridgeman Images

27. Всемирная выставка 1851 года

Public domain

28. Подмога для легкой бригады 25 октября 1854 года

© National Army Museum, London / Bridgeman Images

29. Мэри Джейн Сикол (1869)

© Stefano Baldini / Bridgeman Images

30. Губерт фон Геркомер. На забастовке (ок. 1891)

© Royal Academy of Arts, London, UK / Bridgeman Images

31. Артисты мюзик-холла. Из журнала The Illustrated Sporting and Dramatic News, 1876

© Private Collection / © Look and Learn / Illustrated Papers Collection / Bridgeman Images

32. Уильям Пауэлл Фрайт. Рамсгейтские пески, или Жизнь на морском побережье. XIX век

© Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II, 2018 / Bridgeman Images

33. Мистер Хокинс обращается к присяжным во время суда над Претендентом Тичборном. Облож-

ка журнала The Illustrated London News, 1874

© Private Collection / © Look and Learn / Peter Jackson Collection / Bridgeman Images

34. Анни Безант

© F. Spenceley / © Library of Congress

35. Наглядная карта лондонской бедноты, составленная Чарльзом Бутом (1889)

© Museum of London, UK / Bridgeman Images

36. Пояснения к карте лондонской бедноты, составленной Чарльзом Бутом (1889)

© Museum of London, UK / Bridgeman Images

37. Лорд Роузбери. Фотография, XIX век

© Private Collection / © Look and Learn / Elgar Collection / Bridgeman Images

38. Бурские партизаны во время Второй Англо-бурской войны

Public domain

39. Королева Виктория, императрица Индии, и Абдул Карим (мунши) (ок. 1894)

© The Illustrated London News Picture Library, London, UK / Bridgeman Images

40. Оскар Уайльд (Наполеон Сарони)

© Universal History Archive / Getty Images